

НОВОБІТІ
МІНІР

НОВОБІТІ
МІНІР

1951

8

1951

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVII

№ 8

Август, 1951 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЕЛИКАЯ ЗАБОТА ПАРТИИ О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	3
ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ — Стихи о дружбе	9
ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ — Реки горят, роман. Продолжение. Авторизованный перевод с польского Е. Усиевич	13
НИКОЛАЙ АСЕЕВ — Три стихотворения	144
П. ПАВЛЕНКО — Неопубликованный рассказ	146
Н. МОСКАЛЕВ — Высотники, стихи.	157
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	
ИЗ ШАНДОРА ПЕТЕФИ. С венгерского.	
1. Переводы М. Исаковского	158
2. Переводы С. Маршака	161
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВАС. ФЕДОРОВ — Кузнечные сталевары	168
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
И. ЖМЫХОВ — В новом Китае. Окончание. Литературная обработка С. Артемьева	190
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
Б. БЫХОВСКИЙ — Философия регресса и вырождения	214
Трибуна читателя	
О НЕКОТОРЫХ ЯВЛЕНИЯХ И ВОПРОСАХ СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ	229
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	245
М. Козьмин. Выдающийся русский просветитель — Н. И. Новиков. — Г. Ленобль в эстонских колхозах. — А. Тарасенков. Без огня, без вдохновения. — Б. Беляев. Прочный фундамент. — С. Слепынин. В погоне за занимательностью. — А. Ложечко. Ставропольский альманах. — П. Топер. Малая энциклопедия лжи и клеветы.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр
<i>Политика и наука</i>	264
Кандидат исторических наук А. Кунина . Живые свидетельства американских злодеяний. — Кандидат исторических наук Е. Черняк . Традиции американских захватчиков. — Кандидат исторических наук А. Блинов . Чёрная война английских колонизаторов. — Генерал-майор Н. Гарнич . Ценный труд о Кутузове. — И. и Л. Крупениковы . Творцы русской лесной науки. — Б. Могилевский . Воспоминания русского учёного. — М. Буяновский . Три столицы.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Июнь — июль 1951 года)	284

ВЕЛИКАЯ ЗАБОТА ПАРТИИ О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

★

Пять лет назад Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) принял постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Это постановление, наряду с решениями ЦК ВКП(б) о репертуаре драматических театров, о кинофильме «Большая жизнь» и об опере «Великая дружба» В. Мурадели, явилось важнейшим событием в культурной жизни нашей страны. Вместе с тем в нём ярко выразилась неустанная забота партии Ленина—Сталина о развитии советской литературы, о её идейной чистоте и высоком художественном уровне.

Сурово критикуя идеологические ошибки — проявления безидейности, аполитичности, пошлости, — допущенные на страницах журналов «Звезда» и «Ленинград», Центральный Комитет подчеркнул большую общественно-преобразующую роль советской литературы. Наша литература — сильное оружие партии и советского государства в борьбе за коммунизм. Она является могучим средством воспитания народа в духе советского патриотизма, в духе великих идей Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. Центральный Комитет указывал, что у советской литературы нет и не может быть иных интересов, кроме интересов народа и государства. Наша литература всегда и во всём должна руководствоваться политикой советского государства, составляющей жизненную основу нашего строя.

После Великой Отечественной войны советское государство по начертаниям партии осуществляет грандиозное мирное строительство, знаменующее постепенный переход нашего общества от социализма к коммунизму. Советский народ с всодушевлением претворяет в жизнь Сталинский план преобразования природы, вдохновенно трудится на великих стройках коммунизма. В то же время, последовательно проводя свою неизменно миролюбивую внешнюю политику, Советский Союз во главе всего передового прогрессивного человечества настойчиво борется за мир, за демократию, — против поджигателей новой войны — американо-английских империалистов.

«Задача советской литературы, — указывал Центральный Комитет, — состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодёжь, ответить на её запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в своё дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия».

Отмечая крупный недостаток работы наших писателей, заключающийся в одностороннем увлечении исторической тематикой в ущерб современной советской теме, А. А. Жданов в своём докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград» говорил, что наш народ ждёт от советских литераторов осмысления и обобщения того громадного опыта, который

народ присобрёл в Великой Отечественной войне, и того героизма, с которым наши люди трудятся в послевоенные годы. «Народ, государство, партия хотят не удаления литературы от современности, а активного вторжения литературы во все стороны советского бытия». Показать новые высокие качества советских людей, показать наш народ не только в его сегодняшнем дне, но и заглянуть в его завтрашний день, помочь осветить прожектором его путь вперёд,— так определил А. А. Жданов задачу наших писателей. Он призывал их с помощью метода социалистического реализма добросовестнее и внимательнее изучать действительность, глубже проникать в сущность процессов нашего развития. Без этого невозможно создание подлинно высокоидейных произведений о наших людях, о нашей великой эпохе.

Высокий идейный уровень предполагает и совершенную художественную форму. От мастерства художника, от того, насколько ярко он сумел воплотить в своём творчестве действительность, зависит воспитательное воздействие его произведений, их идейная сила. Идейность и художественность неразрывно связаны между собою. Эту связь подчеркнул Центральный Комитет, указывая на ошибки журнала «Звезда»: «Допустив проникновение в журнал чуждых в идейном отношении произведений, редакция понизила также требовательность к художественным качествам печатаемого литературного материала».

Недостаточное внимание литератора к идейной стороне произведения неизбежно влечёт за собой художественную неполноценность. И, наоборот, недостатки художественного мастерства писателя обязательно сказываются на идейном уровне произведения. Неяркие образы героев, рыхлая, нестройная композиция, недочёты литературного стиля, вычурный или невыразительный язык — все эти и им подобные изъяны в художественной ткани произведения ослабляют его идейное воздействие на читателя.

«Уровень требований и вкусов нашего народа поднялся очень высоко,— говорил А. А. Жданов,— и тот, кто не хочет или неспособен подняться до этого уровня, будет оставлен позади. Литература призвана не только к тому, чтобы идти на уровне требований народа, но более того,— она обязана развивать вкусы народа, поднимать выше его требования, обогащать его новыми идеями, вести народ вперёд. Тот, кто неспособен идти в ногу с народом, удовлетворить его возросшие требования, быть на уровне задач развития советской культуры, неизбежно выйдет в тираж».

Решения Центрального Комитета ВКП(б) по идеологическим вопросам стали боевой программой, определили путь развития советской литературы в послевоенные годы. За пять лет на этом пути наша литература сумела добиться серьёзных успехов. Более 150 художественных произведений советских писателей были за эти годы удостоены Сталинских премий. В литературе произошёл решительный поворот к современной теме. Она обогатилась рядом значительных произведений, в которых ярко воплотились люди и дела наших дней, в которых удачно сочетаются острая идейная направленность и художественная полноценность.

Величайший боевой и трудовой героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны нашёл своё выражение в таких талантливых книгах, как «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Счастье» П. Павленко, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Белая берёза» М. Бубеннова, «Спутники» и «Кружилиха» В. Пановой, «Звезда» Э. Казакевича, «Далеко от Москвы» В. Ажаева, «Сталь и шлак» В. Попова.

Пафосом богатырского труда народа-победителя проникнуты многие произведения, посвящённые замечательным делам советских людей в послевоенном восстановлении и развитии хозяйства страны. Здесь и «Жатва» Г. Николаевой и «Водители» А. Рыбакова, «Живая вода» А. Кожевникова и «Кавалер Золотой Звезды» и «Свет над землёй» С. Бабаевского, рассказы С. Антонова и поэма «Флаг над сельсоветом» А. Недогонова.

Со страниц этих произведений встаёт величественный и обаятельный образ героя нашего времени — пламенного патриота, беспредельно преданного народу и партии Ленина — Сталина, беззаветного и отважного воина в дни войны, неутомимого труженика в годы мирного строительства, простого и скромного человека с ясным умом, негибаемой волей, с открытым сердцем и чуткой душой. И хотя разными художественными приёмами и средствами показывают этого героя писатели, и несхожими друг с другом предстают перед нами Алексей Маресьев и Алексей Воропаев, Василий Батманов и Сергей Тугаринов, Авдотья Бортникова и Таня Васильченко, — в каждом из них мы узнаём нашего современника, партийного или непартийного большевика, лучшие черты характера которого воспитаны в нём коммунистической партией и советским государством.

Равняясь на русскую советскую литературу, плодотворно развиваются литературы других братских народов СССР. В национальных республиках за последние годы появилось немало талантливых книг на современную тему. Среди них — завоевавшая всенародное признание трилогия «Знаменосцы» украинца Александра Гончара, роман «Честь» татарского писателя Гумера Баширова, стихи грузина Григола Абашидзе, дагестанца Гамзата Цадаса, армянина Геворка Эмина, повести эстонского прозаика Гауса Леберехта и туркменского — Берды Кербабая и многие другие.

За эти годы советские писатели, помня слова А. А. Жданова о том, что надо «...смело бичевать и нападать на буржуазную культуру, находящуюся в состоянии маразма и растреления», создали ряд произведений, посвящённых борьбе народов за мир, разоблачающих американско-английских империалистов. Широкою известностью получили сборники стихов — К. Симонова «Друзья и враги» и А. Суркова «Миру — мир!», М. Бажана «Английские впечатления» и А. Малышко «За синим морем»; пьесы — «Русский вопрос» К. Симонова и «Голос Америки» Б. Лавренёва; роман В. Собко «Залог мира» и др.

Современная тема ныне стала главной, ведущей темой нашей литературы. Но советские писатели создали также выдающиеся произведения, посвящённые давнему или недавнему прошлому нашей родины. Заслуженно высокую оценку народа получили «Повесть о детстве» и «Вольница» Фёдора Гладкова, «Первые радости» и «Необыкновенное лето» Константина Федина, «Бухара» основоположника таджикской прозы Садриддина Айни, «Абай» казахского писателя Мухтара Ауэзова, «Правда кузнеца Игнотаса» литовского прозаика А. Гудайтиса-Гузьявичюса и другие. Всё это — произведения, в которых прошлое показано подлинно правдиво, осмыслено политически остро — с боевых идейных позиций современности.

Партийная печать, советская общественность изо дня в день отмечали как успехи, так и ошибки наших прозаиков, поэтов, драматургов, критиков. С большевистской непримиримостью и принципиальностью, невзирая на лица, критиковали они каждое отступление от тех высоких требований, какие предъявляет к литературному произведению наш народ.

Строгой и справедливой критике подверглись на страницах партийной печати идейные и художественные недостатки романа «Молодая гвардия» А. Фадеева, повести «Дым отечества» К. Симонова, романов «За власть Советов» В. Катаева, «Большое искусство» Ф. Панфёрова. Партийная печать вскрыла порочную сущность таких произведений, как пьесы «Карьера Бекетова» А. Софронова и «Огненная река» В. Кожевникова, как повесть Н. Мельникова «Редакция».

Глубоко анализируя причины срывов в творчестве отдельных писателей, наша печать показала, что эти причины коренятся главным образом в недостаточном знании современной действительности. Идеиные и художественные ошибки в произведении возникают потому, что художник неглубоко изучил действительность, поверхностно осмыслил её, — и подлинную правду жизни подменяет надуманными, искусственными образами, мнимыми конфликтами, ложными ситуациями.

В самое последнее время партийная печать и широкая советская общественность снова отметили ряд серьёзных ошибок в области литературы. На страницах «Правды» была дана развёрнутая критика идейно-порочного националистического стихотворения В. Сосюры, напечатанного в журнале «Звезда», а также указано на отступление от исторической правды в либретто оперы «Богдан Хмельницкий» (авторы В. Василевская и А. Корнейчук). ЦК КП(б) Азербайджана недавно вскрыл ошибки в работе писательской организации республики и указал на идейно-художественные недочёты некоторых произведений азербайджанской литературы.

«Идеологические извращения в литературе, — писала «Правда» в передовой статье от 16 июля с. г., — свидетельствуют о том, что некоторые местные партийные организации, а также Союз советских писателей и редакции литературных журналов не сделали необходимых выводов из решений ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства».

Советские писатели, несмотря на значительные успехи нашей литературы, не имеют права самоуспокаиваться. Идеиные промахи в литературе становятся всё более нетерпимыми по мере движения нашей страны к коммунизму, по мере того, как растут культурный уровень и духовные запросы нашего народа. Ещё настойчивее бороться против безидейности, аполитичности, против проявлений пережитков национализма, против искажений жизненной правды, зорко оберегать идейную чистоту нашей литературы — первейшая задача советских писателей.

Одновременно и неразрывно с повышением идейности советской литературы должен расти и её художественный уровень. Между тем в нашей литературе не редкость — произведения, художественный уровень которых лиже их идейного замысла. Появляются в печати и просто художественно слабые произведения.

Так, в 1950 году на страницах «Нового мира» были опубликованы недоработанная, сырая «Московская повесть» Е. Леваковской, художественно слабая повесть П. Шebuнина «Стахановцы». Это говорит о недостаточной взыскательности редакции, о недопустимом снижении требований к художественным качествам печатаемых произведений.

Но даже отдельные выдающиеся произведения последних лет, отмеченные Сталинской премией, являются недостаточно совершенными по своей художественной форме. Критика указывала на недостатки композиции романа С. Бабаевского «Свет над землёй», на бледность и невыразительность, с которой очерчен ряд героев из романа В. Собко «Залог мира», на противоречивость развития некоторых образов в повести Ю. Трифонова «Студенты» и т. д. Всё это свидетельствует о том, что

наши писатели ещё мало работают над совершенствованием своего художественного мастерства.

А между тем нашим литераторам есть у кого учиться. Классическая русская литература в десятках и сотнях произведений являет примеры непревзойдённого мастерства, безупречного владения художественной формой. У великих русских художников Пушкина, Крылова, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Некрасова, Щедрина, Толстого, Чехова, Горького должны постоянно учиться художественному мастерству советские литераторы.

Основой основ в борьбе за повышение идейно-художественного уровня советской литературы являются гениальные работы товарища И. В. Сталина по вопросам языкознания — важный вклад в развитие марксистско-ленинской теории. Эти работы разбили в прах псевдомарксистские теории «классового языка», созданные Н. Я. Марром и его школой, разоблачили ухищрения в области языка всякого рода вульгаризаторов и формалистов и заложили основы для подлинно научного языкознания. Внимательное, вдумчивое, глубокое изучение сталинских трудов по вопросам языкознания — обязательное условие идейного роста и совершенствования художественного мастерства писателя.

Центральный Комитет в своих решениях по идеологическим вопросам неоднократно подчёркивал важную роль принципиальной большевистской критики в развитии литературы и искусства. Отмечая ошибки руководящих работников журналов «Звезда» и «Ленинград», ЦК ВКП(б) констатировал, что они «...поставили в основу своих отношений с литераторами не интересы правильного воспитания советских людей и политического направления деятельности литераторов, а интересы личные, приятельские». А. А. Жданов призывал работников идеологического фронта «...всячески развивать смелую критику своих недостатков, критику не подхалимскую, не групповую и приятельскую, а настоящую, смелую и независимую, идейную большевистскую критику». Он говорил, что там, где нет критики, — укореняется затхлость, застой, прекращается движение вперёд.

Партия постоянно заботилась о создании именно такой независимой, смелой большевистской критики, которая была бы верным и нелицеприятным помощником нашей литературы. Партийная печать на своих страницах показывала образцы настоящей принципиальной большевистской критики. Советская общественность непримиримо боролась с проникновением в нашу критику чуждых влияний, со всеми проявлениями буржуазной идеологии.

Партия разоблачила и разгромила группу критиков-антипатриотов, заражённых идеями космополитизма и буржуазного эстетства, и тем самым оградила нашу критику от влияний враждебной нам идеологии международного империализма.

Партийная печать подвергла уничтожающей критике новорапповское выступление А.Белика, его высокомерно-невежественное отношение к классическому наследию прошлого, его попытки вульгаризовать ленинский принцип партийности в литературе.

Повседневно чувствуя внимание и заботу партии, критика имеет все возможности стать авангардным отрядом советской литературы. Но в действительности этого пока ещё нет. В нашей литературе критика является наиболее слабым участком.

В литературной критике есть определённые достижения. За последние годы она обогатилась такими серьёзными работами, как монографии В. Ермилова о Чехове, Н. Макашина о Салтыкове-Щедрине, В. Кури-

ленкова о Серафимовиче, Б. Брайниной о Федине и другими. И всё же наша критика отстаёт от советской прозы, поэзии, драматургии. Она до сих пор очень редко обращается к современной теме. В печати почти не появлялось серьёзных работ, посвящённых животрепещущим проблемным вопросам нашей литературы.

Выходящие в свет критические работы нередко отличаются поверхностным разбором произведений. Критики порой подменяют пересказом содержания анализ достоинств и недостатков книги. Авторы критических статей, как правило, избегают затрагивать вопросы художественного мастерства писателей.

Не всегда ещё наша критика находится на должной принципиальной высоте. Порой острота критических выступлений притупляется в угоду приятельским отношениям. Именно так, например, до последнего времени обстояло дело с литературной критикой на Украине. В украинской писательской организации годами царил атмосфера самоуспокоенности, благодущия, взаимного захваливания, что и способствовало появлению в печати глубоко ошибочных произведений.

Развёртывание острой принципиальной большевистской критики — первоочередная задача советской литературы. Обязанность литературной общественности — обеспечить подъём советской критики, создать творческую атмосферу в среде литераторов, организовать широкие творческие обсуждения и дискуссии.

Каждый год советская литература пополняется новыми значительными произведениями. Каждый год присуждение Сталинских премий в области литературы и искусства превращается во всенародное торжество новой социалистической культуры.

Советские писатели законно могут гордиться успехами, одержанными в борьбе за выполнение исторических решений Центрального Комитета партии. Но ещё больше им предстоит сделать. Велика ответственность советских писателей за успешное осуществление исторической задачи нашей литературы — ярко, полнокровно, художественно воплотить в своих произведениях замечательного человека Сталинской эпохи, активного строителя коммунизма и его бессмертные дела.

Советские писатели должны выполнить эту благородную и трудную задачу. Их обязывает к этому великая отеческая забота нашего народа, партии большевиков и великого Сталина, та забота, о которой так проникновенно говорил писателям А. А. Жданов:

«Литература — это родное для народа дело. Вот почему каждый ваш успех, каждое значительное произведение народ рассматривает, как свою победу. Вот почему каждое удачное произведение можно сравнивать с выигранным сражением, или с крупной победой на хозяйственном фронте. Наоборот, каждая неудача в советской литературе глубоко обидна и горька народу, партии, государству».



ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

★

СТИХИ О ДРУЖБЕ

НАЗЫМ ХИКМЕТ В МОСКВЕ

Не год один,
а десять с лишним лет
хотел увидеть я тебя, Хикмет.

Твоею жизнью я в часы те жил,
когда стихи твои переводил,
в твои глаза заглядывал, Хикмет,
когда глядел на маленький портрет.

Да что там — я!
Все люди мира — мы,
стихи твои и мужество любя,
сквозь стены дальней Бурсывской тюрьмы
глядели с восхищеньем на тебя.

И вот в Москве,
в гостинице «Москва»
я слушаю спокойные слова.

Передо мною — строен и плечист, —
из стен тюремных выйдя, наконец,
стоит планеты нашей коммунист,
её рабочий и её певец.

Высокий лоб,
исполненный красоты.
Не русские, но русые усы.

В глазах его,
как в небе голубом,
сияет свет и затихает гром.

Нельзя не волноваться в этот час.
Твоя свобода — выигранный бой.
Ты снился нам — и ты теперь меж нас,
ты пел Москву — Москва теперь с тобой.

КНИЖКА УДАРНИКА

Перебирая
под праздники
письменный стол,
Книжку ударника
я между папок нашёл.

Книжка ударника,
красный ударный билет
давнего времени,
незабываемых лет!

В комнате вечером
снова призывно звучат
речи на митингах,
песни ударных бригад.

Вечером в комнате
снова встают предо мной
стройка Челябинска,
Бобрики и Днепрострой,

все общежитья,
в которых с друзьями я спал,
все те лопаты,
которыми землю копал,

все те станки,
на которых работать пришлось,
домны и клубы,
что мне возводить довелось.

Вновь надо мною
сияют
приметы тех лет:
красные лозунги,
красные цифры побед.

И возникают
оттуда, из прожитых дней,
юные лица
моих комсомольских друзей.

А за окном
занимается, рдеет заря.
— Что же, товарищи,
мы потрудились не зря!

Сооружения
наших ударных бригад
в вольных степях
и на реках привольных стоят.

Наши дела
по строительству нашей страны

в книгу Истории партии
занесены.

...Мы, увлечённые
делом своим трудовым,
на комсомольцев теперешних
нежно глядим.

И комсомольцы
на стройках Коммуны
сейчас
песни поют
и читают романы о нас.

Тот,
кто ведёт
экскаватор
в полтысячи сил,
старшего брата,
наверное, не позабыл.

Тот,
кто куёт
сталинградский коленчатый вал,
помнит того,
кто кувалдою
в кузне ковал.

Тот,
кто приволжскую землю
вздымает ковшом,
нашу работу,
друзья,
поминает добром...

ЧУМИЗА

Безо всякой таможенной визы,
продвигаясь к селу от села,
дочь китайского поля — чумиза
на поля Украины пришла.

Подружилась она, золотая,
с приднепровской пшеницей густой,
как народы России с Китаем,
как Пекин подружился с Москвой.

Осмотрелась она, огляделась,
оценила колхозную власть
и сама за крестьянское дело,
за работу свою принялась.

Всем понравится эта повадка:
не тоскует она и не спит —

подымается ввысь делегатка,
полноправно на ниве шумит.

Породнилась сестра гаоляна
с распорядком советской земли,
и её в побригадные планы
полеводы уже занесли.

Есть уже про неё поговорки;
и девчата, что трудятся тут,
о посеве её и уборке
обязательства Сталину шлют.

...Беспредельный рассвет наступает
и видать мне в предутренней мгле
наш подсолнух на пашне Китая
и чумизу на русской земле.



ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

★

РЕКИ ГОРЯТ

*Роман**

Глава 7

Солнце пекло, но в лугах стояли буйные, ещё свежие травы, и овцы бродили сытые, довольные, пощипывая сочные травинки или невзрачные, но, видимо, самые ароматные цветы и листья. Днём Тянь-Шань казался расплывчатой лиловой тенью на небе. Утром и вечером он переливался яркими красками, как пылающий уголь.

Три недели Ядвига пробыла на горных пастбищах. Эти три недели промелькнули как сон. Они полны были зелени и беспредельной голубизны, они растаяли в просторе, слились с ним так, как сливался воедино небо и земля, теряя свои границы.

В совхозе Ядвигу встретили новостью.

— Есть новенькая,— сказала госпожа Роек.

— Новенькая? Кто такая?

— Полковница! Может, помнишь, была с нами на пристани, а потом в теплушке, такая в чёрной шали.

— Полковница! Да не может быть! Что ей тут делать?

— Как что делать? Вот уже три дня присматривает себе работу. Нелегко выбрать, шутка сказать — полковница! А живёт в комнате, что, помнишь, весной перестроили из чулана.

— Ведь её должны были дать Матрёне?

— Ну да, а Матрёна согласилась остаться в общежитии, потому что та стала скандалить, что не может жить в казармах. Вот ей и дали комнату, полковнице.

— Интересно, как она тут очутилась?

— Говорит, её там травили. Так она, мол, и без них обойдётся. Уж как-нибудь, говорит, на себя заработаю.

— Что ж, посмотрим.

Полковница Жулавская мало изменилась с того времени, как они были на Аму-Дарье. Те же тонкие, кисло поджатые губы, то же бесцветное, сухое и сердитое лицо.

— Странно, почему вам не предложили ехать в Иран? — притворно удивлялась госпожа Роек.

— В Иран... Вы не знаете, как это делается? Взяли кто помоложе, покрасивее, а что ж я? Старуха. Кому я нужна? — ядовито рассказывала полковница, исполтишка осматривая комнату. — А вы, кажется, уже давно проводите здесь время? Как устроились?

— Да вот, как видите. Много ли человеку надо? Была бы крыша над головой да кусок хлеба.

* Продолжение. См. «Новый мир» № 7 с. г.

— Да, да... Потребности у людей, конечно, разные.— Госпожа Жулавская сидела прямая, напряжённая, словно пришла с официальным визитом.— И что ж, вы так и удовлетворились этой... физической работой?

— А почему бы не удовлетвориться? По правде сказать, что ещё я могла бы делать? — рассуждала госпожа Роек.— Образования я не получила, какая же может быть не физическая работа! А как свинарка я могу ещё и рекорды ставить, вот оно как!

Жулавская поморщилась.

— Да, разумеется... А вы, — обратилась она к Ядвиге, — тоже к свиньям приставлены?

— Нет, я к овцам, — ответила Ядвига спокойно, как бы не замечая насмешки. Но презрительное выражение на лице гостьи раздражило и её. Ядвига перешла в нападение: — Вы-то сами что намерены делать?

— Я? Да вот, осматриваюсь. Хотя, что поделаешь, может, и меня загонят в какой-нибудь... коровник? В конце концов, ведь я в полной зависимости от большевиков. Вот до чего довели меня дорогие соотечественники! Впрочем, вы читали в последнем номере «Польши»? Сам посол заявил, что нам придётся жить своим трудом.

— Мы посольский журнал не читаем, — сухо отрезала Ядвига.

— Но я вас уверяю — посол именно так и сказал! «К сожалению, — говорит, — к сожалению, каждому придётся жить своим трудом»... Конечно, господину послу легко говорить «к сожалению». Он-то ни в чём не нуждается. Что ему до того, что такой женщине, как я, пришлось скитаться, просить подаяния у большевиков? Выразил сожаление — и считает, что выполнил свой долг... Впрочем, посол говорит о тех, кто уезжает. Оказывается, в Иране они тоже не могут обеспечить людям кусок хлеба.

Госпожа Роек шумно вылила в корыто воду, подогревшуюся на печке, и принялась засучивать рукава:

— Ишь ты, как всякому охота на готовые хлеба... Ничего, пусть работают, не помрут от этого.

— Конечно, — процедила сквозь зубы Жулавская, — если кто к этому привык...

— А конечно. С малых лет работаю, и ничего, жива ещё. Уж мы-то работы не боимся, правда, Ядзя? — весело бросила она Ядвиге, старательно латавшей штанишки Олеся.

— Впрочем, — ещё выскомерней и злее процедила сквозь зубы Жулавская, — всё это скоро кончится.

— Что кончится? — удивилась госпожа Роек.

— Война.

— Вы полагаете?

— Конечно. Вы же знаете — немцы...

Да, они знали. Радостные весенние дни кончились. В глухом молчании, со сжимающимся сердцем люди слушали теперь сообщения Советского Информбюро. Остановилось наше наступление под Харьковом. Керчь и Феодосия снова были в руках врага. Не оправдались радостные обещания весны — лето было трудное, горькое лето тяжёлых оборонительных боёв.

— Мы должны работать вдвое больше, вдвое лучше. Мы должны прячь все силы, чтобы помочь фронту, — говорил Павел Алексеевич. — Здесь тоже фронт.

Чувствуя под руками мягкое, серебристое овечье руно, Ядвига думала о том, что оно превратится в сукно солдатской шинели, солдатской гимнастёрки. Солдат, который наденет эту шинель, никогда не узнает,

кто, с мыслью о нём, любящими руками ухаживал за овцами на далёких пастбищах и лугах Тянь-Шаня. Да и Ядвига никогда не узнает, кто надел шинель из шерсти выращенных ею овец. Может быть, Стефек, а может быть, и Пётр? Нет, скорее всего это будет неведомый человек, фронтовик, которого она никогда в жизни не видела. Но с этим неведомым человеком её связывают узы более крепкие, чем со многими, когда она хорошо знала. Ради него она дежурила по ночам, когда ягнились овцы. Ради него вскакивала на рассвете, чтобы выпустить их из ограды. Ему были посвящены все часы её труда, все её заботы, все её мысли и чувства. Особенно теперь, когда фронтовому солдату так трудно, особенно теперь нужно помогать ему всеми силами не только рук, но и сердца.

Что же тут рассказывает эта дамочка, которая, пробездельничав год, решила, наконец, взяться за работу, да и то ещё не совсем решила — вот уже три дня только «присматривается». Почему она считает, что война скоро кончится, хотя враг не изгнан и даже ещё дальше проник в глубь страны?

— Но это же совершенно ясно, — отвечала Жулавская. — Правда, целый год большевики продержались. Но ведь все заранее знали, что против немцев они не устоят.

Роек стирала так, что только брызги летели. Но тут она остановилась и подняла от корыта своё раскрасневшееся лицо.

— Что вы там рассказываете! Как бы там ни было, а фашистов они разобьют.

— Вы полагаете? — насмешливо взглянула на неё полковница.

— Что мне полагать! Ведь говорил Гитлер, «в два месяца войну кончу»? Видите, какие это два месяца... А под Москвой осенью его не побили? А весной не били?

— И вы верите? — спросила полковница тихо.

— Во что это?

— В эти победы...

— Во имя отца и сына! Чего же тут верить или не верить? Это всем известно!

— Ах, известно... А вы там были? Сами всё видели? Написать в газетах или сказать по радио можно что хочешь.

— Ну, знаете, это уж, я вам скажу... — захлебнулась от негодования госпожа Роек. — До такого додуматься!.. Что же, по-вашему, гибель миру пришла, что ли?

— Нет, почему же гибель? Англичане...

— Только уж вы мне об англичанах не рассказывайте! Видела я, как они Польше помогали. Уж мы-то на договор с ними надеялись, да... Как бы не так! Гитлер летал сколько хотел, бомбил Варшаву как хотел, а где англичане были? Рассказывают, что когда эти ваши англичане через три дня надумались объявить Гитлеру войну, так варшавяне на радостях манифестацию устроили перед их посольством... А много ли нам помогло их объявление войны? Хоть бы один самолёт нам прислали, хоть бы одну бомбу на Берлин тогда сбросили! И теперь то же самое. Большевики уже год дерутся, а те всё только болтают да болтают! Ещё осенью этот их — ну, как его?.. — приезжал в Москву... Опять договор заключили... А помощь где? Пальцем не шевельнули. А здесь, поглядите кругом, много вы тут мужчин видели? Все на фронте...

— Ну, это уж, так сказать, область высшей политики. Не станете же вы требовать, чтобы англичане лили кровь в защиту большевиков?

— Почему не стану? И почему в защиту большевиков? В свою, в свою защиту! Бомбил же их Гитлер там, в Лондоне, учил уму-разуму.

А они и себя-то защитить не умеют... А может, даже и снюхались с ним, кто их знает?

— Ну, сударыня, это уж слишком!

— Нет, нет, об англичанах вы мне лучше не говорите. Уж что я вижу, то вижу, тут вы меня с толку не собьёте. Если большевики Гитлера не побьют — никто его не побьёт. А если его не побьют, что же будет? Никто из нас родного дома не увидит... Хоть бери верёвку и вешайся, пока тебя немцы не повесили!

— Не всех же они вешают, — вставила полковница.

— Не всех? Так вы, наверно, не знаете, что там у нас творится. Покажи-ка, Ядзя, этот номер «Новых горизонтов»...

— «Новые горизонты»? — удивилась Жулавская.

— Ну да, польский журнал, что выходит в Куйбышеве...

— Да ведь орган посольства называется «Польша»?

— Э, что вы там из этой «Польшы» узнаете?.. Всё так же брешут, как до войны... Я даже удивляюсь, как им позволяют издавать эту «Польшу», только людям голову морочат! Вот почитайте-ка это, сами увидите...

Ядвига неохотно вынула из ящика номер журнала и, не говоря ни слова, подала гостье. Жулавская осторожно, двумя пальцами, словно боясь запачкаться, перелистала его и довольно быстро дала заключение:

— Это большевистское издание.

— Почему большевистское? Поляки издают. Вот, прочтите фамилии.

— Что фамилии! И среди поляков всякие бывают, это давно известно.

В сердце Ядвиги медленно, но неудержимо нарастал гнев. Она чувствовала, как он поднимается, подступает к горлу. Глазами, потемневшими от злобы, она глянула на эту тупую и чванливую женщину.

— Одного только я не понимаю... — начала Ядвига таким необычным, сдавленным голосом, что Роек удивлённо взглянула на неё.

— Простите, чего вы не понимаете? — любезно спросила полковница. Она всё время была любезна, подчёркнуто любезна. Но Ядвига чувствовала, что вся манера Жулавской рассчитана на то, чтобы они поняли её превосходство, чтобы они знали, какая это уступка с её стороны — сидеть и разговаривать с ними.

— Не понимаю, почему вы не остались в городе? Чего вам здесь надо? Ведь те господа в канцелярии — как раз подходящее общество для вас.

Полковница величественно поднялась.

— Это уж моё дело. Могу вас уверить, что если бы я искала общества, то, разумеется, не здесь. Но я, кажется, мешаю вам предаваться вашим занятиям...

Они не стали её удерживать, и полковница, презрительно пожав плечами, всё так же величественно выплыла из комнаты.

Все следующие дни она продолжала «присматриваться» в поисках работы, достойной её общественного положения. Постепенно выяснились некоторые подробности, частично объясняющие её неприязнь к людям, с которыми, казалось бы, она должна была во всём сойтись. Во-первых, она была не полковницей, а лишь тещей полковника. Во-вторых, этот полковник, в сентябрьские дни тридцать девятого года, погрузив чемоданы в лимузин, забыл, в качестве дополнения к чемоданам, захватить и жену; её место в лимузине заняла некая панна Мушка, машинистка из его отдела. Тем менее, разумеется, думал он о теще. Лимузин с панной Мушкой, с полковником и чемоданами, — в одном из которых за-

ключались меха и драгоценности полковницы, — благополучно добрался до румынской границы.

И вот своё священное негодование против зятя госпожа Жулавская перенесла на всё эмигрантское правительство и его армию. Вдобавок перед поездкой в Южный Казахстан она поссорилась с дочерью и очутилась в городке одна-одинёшенька, надоедая встречным своими претензиями и кислыми замечаниями о «наших господах министрах» и «нашем генералитете». В отместку уполномоченный посольства и вся его канцелярия с большим удовольствием заговорили о том, что она вовсе не полковница, а только выдаёт себя за неё. В конце концов отношения настолько испортились, что Жулавская решила на «героический» шаг: уехать в совхоз. Они ещё пожалеют, что вынудили её просить помощи у большевиков! Пусть, пусть все узнают, как у нас поступают с людьми! Подумать только: она — тёща полковника, вдова помещика, женщина из хорошей семьи, брошена в большевистский совхоз, на тяжкий труд, на унижение и обиды...

В глубине души ей не верилось, что с её решением так легко примирятся. Они поймут, что наделали, они испугаются, будут искать выход из неловкого положения. За ней приедет сам Лужняк, извинится, попросит прощения. Ну, разумеется, она не так-то легко простит; пусть они ещё подождут, помучатся, прежде чем она согласится вернуться в городок. Правда, никто её не удерживал, когда она оттуда уезжала. — но это, конечно, потому, что они не верили в серьёзность её решения. Теперь, небось, спохватились... Можно себе представить, какой скандал там разразился!

Но пока что-то никто за ней не ехал. Между тем здесь на неё уже косились и — что самое странное! — не большевики, а свои же поляки. Павел Алексеевич сразу дал ей комнату. И в столовке, когда она приходила поесть, её ни о чём не спрашивали. А вот эти две подозрительные женщины, польки, оказались хуже всяких большевиков. Эти не упустили ни одного случая, чтобы не сказать что-нибудь о дармоедах или не спросить её, как она себя чувствует и не утомилась ли, боже упаси... А сами работали совсем как простые бабы. Босиком, повязав головы ситцевыми платками, они копались в навозе, словно ничего другого в жизни не видели. И что за разговоры они ведут! О баранах и ярках, о свиноматках и хрюках, грубые, бесцеремонные разговоры, в которых все вещи называются своими именами. И с каким непостижимым, дикарским увлечением они говорят о корме для свиней, об овечьем руне! Госпожа Жулавская даже удивлялась, что всё это говорится по-польски. Она бы ещё поняла, если бы об этом разговаривали здешние большевики или «хохлушки», которых здесь была уйма, но польки? «Впрочем, какие это, прости господи, польки!» — утешала себя Жулавская, наблюдая с насмешливой улыбкой, как потная, запыхавшаяся Роек купает в корыте поросят.

Часы еды стали для неё часами пытки. Жестяные ложки были выщерблены, тарелки сделаны из грубого сероватого фаянса... Но не это было самое плохое. Больше всего её мучила мысль, что вот она сидит за одним столом со скотницами, со всякими свинарками, доярками, которых она не пустила бы к себе в дом даже в качестве прислуги. А тут они нисколько её не стесняются, ставят локти на стол, шумно выскребают ложкой тарелки, подбирают остатки еды хлебом.

Жулавская сидела за столом неестественно выпрямившись, прижав локти к бокам, ела маленькими кусочками, всячески подчёркивая изысканность своих манер. Морщась жевала чёрный хлеб и со скучающим лицом, выражающим покорность судьбе, медленно черпала ложкой горо-

ховую похлёбку. Ядвига тошно было глядеть, как Жулавская, есторожно помешивая ложкой суп, взирает на него, как на нечто совершенно несъедобное. Весь обед Жулавской был сплошным актом мученичества и тихим, но красноречивым протестом. И Ядвига с изумлением заметила в себе новую черту: ей совсем не хотелось избегать этой женщины — наоборот, хотелось с ней встречаться, преследовать её, ссориться с ней.

— Вы, кажется, давитесь этим хлебом? — тихонько спрашивала она, глядя, как морщится полковница, жуя хлеб.

Та поднимала глаза к небу.

— Хлеб... Разве это можно назвать хлебом?

— Вы бы предпочли булку, не правда ли? И, разумеется, даровую. А на фронте пусть бы хоть с голоду мёрли. Вы знаете, сколько мук нужно для фронта?

— Я в таких делах мало разбираюсь.

— А в чём вы разбираетесь? В том, чтобы жить на даровщинку и объедать совхоз?

— Ужасно я его объела... И вообще, я не знала, что вы здесь ведёте бухгалтерию.

— Вы прекрасно знаете, что я не веду бухгалтерии. Просто мне неприятно смотреть на паразитов.

— Прошу оставить меня в покое, это не ваше дело.

— А чьё же?

— Даже этот... директор меня не трогает.

— Очень жаль. Но мы тем более обязаны вам это говорить.

— Это почему же?

— Потому что у вас стыда нет. Потому что вы всех поляков срамите.

— Скажите, пожалуйста, какой патриотизм... Я даже не думала, что вы считаете себя полькой.

Лицо Ядвиги потемнело.

— А кем же мне себя считать?

— Не знаю, не знаю... — кисло улыбнулась Жулавская. — Я полагала, вы считаете себя... местной.

Так спорили они изо дня в день.

— Да оставь ты её в покое, — вмешалась, наконец, Анастасия Петровна. — Что уж, старуха она и работать не привыкла. Трудно ей.

— Она моложе вас. А вам разве не трудно?

— Мне-то? Нет, мне не трудно. Ведь для кого работаем? Для фронта, а там и моя Фрося. Да и кроме того... Живу я давно, много чего в жизни видела. Молодость у меня пропала зря. Я тогда в помещицкой усадьбе работала. У графа. Вот где было трудно! Эх, что вы теперь знаете, что вы можете знать!.. Бывало, каждую корку хлеба слезами поливаешь. А сейчас что? На своём работаю. Почёт, уважение имею. На старости лет читать-писать меня советская власть научила. Фермой дали мне заведывать, доверили. Даже в газетах про меня писали. А что я раньше была? Тёмная, безграмотная девка, которую всякий мог обидеть. Я как подумаю о своей молодости, так уж и не знаю, когда я была молода, тогда или теперь? Эх, если бы не война, если бы не война! Посмотрела бы ты, какая бы у нас тут жизнь была! Ведь уже вылезли из нужды, уже вышли на широкую дорогу. Кому это снилось в старые времена, чтобы и клубы, и библиотеки, и театр, и кино — всё чтобы для простого человека было! Я вон и на съезды ездила, и перед правительством с трибуны выступала, и сам Сталин слушал, когда я говорила... А ты говоришь, трудно, мол, мне. Нет, я своих лет и не чувствую, работа моя весёлая и старость у меня молодая, да и какая это ещё ста-

рость! Эх, кабы не война... А теперь ты на Жулавскую погляди — что она в жизни знала? Кислая, видать, была жизнь, хоть не голодная и не трудная, раз она так безо времени постарела. Да и сейчас... От дому далеко, всех своих с войной порастеряла, тоже не легко человеку.

— Вы бы послушали, что она говорит про вашу страну...

— А пусть говорит. Не отвечай ты ей, так она и говорить не станет, не перед кем будет. С людьми надо терпение иметь.

Но Ядвиге казалось, что все они тут чересчур терпеливы — и Анастасия Петровна, и Матрёна. Даже Павел Алексеевич спокойно относился к тому, что госпожа Жулавская всё ещё «присматривается», и не настаивал, чтобы она, наконец, приступила к какой-нибудь работе.

— Жаль мне её, — объяснял он Ядвиге. — Негодяй-офицеришка бросил старуху на произвол судьбы, обокрал жену... С дочерью она не поладила и осталась одинокая, бездомная, непривычная к работе... Что уж ей кусок хлеба жалеть? Пусть привыкнет, присмотрится, самой захочется что-нибудь делать.

Ядвига слушала, потупив глаза. Да, здесь люди добры, очень добры. Они как будто забывают о том, что сами страдают от войны, что война разметала и их гнёзда, что смерть подстерегает их близких. Как они работают! Напряжённые, как струна, они работают с единственной целью — помочь фронту! Победить фашизм, спасти великую советскую родину! И всё же они находят в себе сочувствие к этой чужой и неприятной женщине, которая явилась сюда незваная и ничем не желает помочь им. Ядвиге было непонятно, почему они прилагают к себе одну мерку, а к Жулавской — другую. От себя они требовали работы сверх сил, спокойствия, непоколебимой веры. От неё не требовали ничего и ещё её жалели. Люди здесь были добры — простой и мудрой человеческой добротой. Здешние девчата, может, и не умели есть так изысканно, как госпожа Жулавская, и девушка-зоотехник не знала, что к светлому платью не принято надевать тёмных чулок; но они знали тысячи вещей, о которых ничего не было известно госпоже Жулавской, и они излучали какой-то внутренний свет, который тёплой волной охватывал Ядвигу.

— Да, дитя моё, работаю я в этом хлеву, гляжу на этих свинарок, — изливала душу гослюжа Роек, — и знаешь, что я тебе скажу? У нас кричали, что в этой «большевии» никакой культуры нет, наши насмехались, что здесь галстука завязать не умеют, что не так вилку держат... А я вот смотрю на них и думаю — далеко ещё нам до них. Хо-хо! Вот этому бы научиться. Галстук завязать всякий хам, всякий Лужняк сумеет. А вот, как у них... Я уж не знаю, что со мной и делается. будто другим человеком стала, другими глазами на свет гляжу. Нет, уж теперь я бы не стала терпеть того, что раньше всю жизнь человек терпел. И скажу тебе, дитя моё, что вот вернёмся мы домой, так работы будет, работы! Подумать страшно...

— Если Лужняк вас впустит... — улыбнулась Ядвига.

— Да, вот ещё и Лужняк... Я думаю, что за них тут, наконец, примутся. Ты слышала, Павел Алексеевич говорил, что опять какие-то мошенничества обнаружены? Между нами говоря, я бы всех этих уполномоченных посольства разогнала на все четыре стороны. Читала в журнале? Оказывается, то, что у нас тут делается, вовсе не исключение, всюду одно и то же — дорвались до пирога, живут на наш счёт, да ещё нам же и головы дурманят. Шувара рассказывал про их газетку, что они в Иране издают, так это ужас что такое! И не скажешь, кто пишет, гитлеровцы или наши... А ведь всё это для солдат! И что они с этим Ираном думают, скажи ты мне? Всю войну на печке пережидать? Я уж

эти сводки просто слушать не могу, сердце сжимается, страшно на карту посмотреть. Столько крови, столько горя. А те сидят в Иране!

«Полковница» тоже слушала сводки. Маленький чёрный репродуктор, висящий на улице у входа в клуб, собирал вокруг себя по вечерам всё население совхоза. В тяжёлом молчании люди выслушивали горькие вести, а потом шли на работу и набрасывались на неё с таким неистовством, словно хотели сразу уничтожить последствия тяжёлых событий на фронте.

Не так слушала госпожа Жулавская. Крепко сжав тонкие губы, с непроницаемым лицом, она переживала своё торжество. Всего худшего она желала им, этим большевикам! Они завезли её сюда, в эту дичь и глушь, только за то, что она была помещицей и тещей полковника. Но теперь неизвестно, кому хуже будет. Куда-то они побегут, когда их припрут с двух сторон гитлеровцы и англичане? Неужели они воображают, будто англичане на самом деле их союзники? Как бы не так... Помаленьку, потихоньку, они дождутся случая, чтоб добиться того, что не удалось тридцать лет назад. Недаром генерал Андерс перевёл свою армию именно в Иран, на соединение с англичанами.

Но мысль об Иране снова приводила Жулавской на память польскую делегатуру в местечке и обиды, нанесённые соотечественниками. Никто что-то не приезжал из посольского представительства извиняться, приглашать Жулавскую обратно в местечко... С ней не посмеют так обращаться, когда придут англичане! Культурные люди поймут трагедию покинутой женщины, сумеют надлежащим образом позаботиться о ней. И этого недолго ждать. По всему видно, что развязка приближается. Ведь немцы уже дошли почти до Волги!

Ни посланцы Лужняка, ни сам Лужняк не приезжали в совхоз. Но в один прекрасный день Жулавскую вдруг навестил Малевский. Сперва она подумала, что он явился с официальным поручением, и приняла его сухо, холодно, с достоинством. Однако он сразу развеял её иллюзии.

— По правде сказать, я с этим Лужняком никаких отношений не поддерживаю...

— Почему?

— Да что ж... — поморщился он. — Ярый сторонник Сикорского!.. Да и вообще там своя братия, и не подступишься... Я просто так заехал, осмотреться, узнать, что они тут думают.

— Кто? Большевики?

— Да. Видите ли, надо на что-нибудь решаться. Самое время! Немцы продвигаются, теперь уже каждому дураку ясно, что войне скоро конец, тут и говорить не о чем. Я сам, чёрт меня возьми, немного просчитался: был бы в андерсовской армии, теперь бы от меня здесь и след простыл... Сидел бы себе за границей. Но кто ж его знал? Сомнительно, конечно, это было, а всё же думалось: вдруг и в самом деле пошлют на фронт? Ну уж, думаю, дураков нет! А оказалось, что они взяли да ушли, и остальные, кто ещё остался, тоже уйдут, говорят. Но теперь поздно, больше они никого не принимают, вот я и сижу на бобах. А тут, чёрт его знает, что ещё может быть...

— Что вы имеете в виду?

— Да что ж... В один прекрасный день возьмут эти казахи ножи в зубы да и начнут резать большевиков. И спрашивать не станут, кто большевики, кто нет. Раз ты не казах — под нож!

— Неужели это может быть, боже мой!..

— А что же? Уж они-то воспользуются случаем. Только нам от этого не легче, потому что и нам попадёт. Лес рубят — щепки летят.

— И вы думаете, что действительно...

— Да как же может быть иначе? Легко было в мирное время держать их в ежовых рукавицах. А сейчас чекистов на фронт взяли, так что, как начнётся резня, так и пойдёт, и пойдёт... Здесь что об этом говорят?

— Здесь? Я ничего не слышала... Они здесь всё ещё верят в победу, — растерянно ответила госпожа Жулавская. И вдруг почувствовала злобную радость. И пусть, пусть их всех вырежут. Ради этого она согласна, чтобы зарезали и её. Лишь бы им пришёл конец!

— Но только правда ли это? — вдруг забеспокоилась она. — Ведь вот сюда приезжает Канабек...

— Какой ещё Канабек?

— Казах из колхоза. И вроде ничего... В хороших отношениях с директором, разговаривает с ним. И в самом совхозе казахи работают — и тоже как будто всё в порядке.

Малевский улыбнулся:

— Эх, знаете ли, это ещё ничего не значит. Азиаты коварны. Тихонько, тихонько, ничего по ним незаметно, а потом — как дадут! Это даже лучше, что они так притаились. По крайней мере, те ничего не заметят.

— Но как же? — не понимала «полковница». — Ведь и те тоже азиаты?

— Кто — «те»?

— Ну, большевики.

— Ах да, ведь это так только говорится... Ну ладно — все они в общем азиаты. Но эти-то казахи — это уж самые настоящие азиаты, понимаете?

Она кивнула головой, хотя ничего не поняла.

— Но вы вполне уверены, что так будет?

— Да что вы, господь с вами! Что за сомнения? Это верно, как дважды два четыре... В любой день может начаться и обязательно начнётся... Вопрос в том, как нам теперь спастись, как вывернуться из всего этого? Потому что перейти границу вряд ли удастся, — говорят, здорово её охраняют, риск большой. Я хотел посмотреть: что тут? Главное — где-нибудь пританься, переждать, пока англичане не войдут. Тогда уж всё будет в порядке. Я думал, может здесь?.. Но если этот Канабек...

— Он сюда по разным земледельческим делам приезжает. К директору — советоваться.

Малевский лукаво прищурил глаз.

— И вы этому верите? По земледельческим... Уж я знаю всех этих казбеков! Приезжает по земледельческим делам, а сам, небось, так и шныряет глазами, так и высматривает! Наверно, у них уже весь план готов.

— Дорогой мой, но что же мне в таком случае делать?

— Вам? — удивился он, словно всё, что он говорил, касалось только его и не имело к ней ни малейшего отношения. — Вам? Ну что ж...

Она молитвенно сложила руки.

— Возьмите меня с собой! Умоляю вас!..

Он остолбенел.

— Кто? Я? Новое дело! Да куда я вас возьму?

— С собой... к англичанам!

— Где ещё они, эти англичане... И как я вас заберу? Всякий должен думать о себе.

— Да что же я, старая женщина, могу придумать?

— А может, для вас и лучше, что старая, — может, казахи вас ещё и не тронут. Во всяком случае, это шанс. Вы говорите, они тут работают?

— Работают, — беззвучно ответила она, мысленно созерцая разверзшуюся под ногами чёрную пропасть. — Значит, нет никакого выхода?

— Почём я знаю! Что вы всё меня спрашиваете? Сам выхода ишу. Что ж вы думаете, я столько часов тряса на машине, только чтобы вас навестить? Не те времена... Знал бы я, что делать, вы бы меня здесь не увидели... Да не ревите вы, много это теперь поможет! Надо было лучше зятяка держать, вот и сидели бы теперь в лондонском ресторане да ели омара в майонезе, а не гороховую похлёбку в совхозной столовке.

— Как вы смеете!

— А так вот и смею... Просто правду говорю: бывает, не спохватиться во-время — и пиши пропало. Так и с вами вышло.

К вечеру он уехал обратно на попутном грузовике, а Жулавская явилась к ужину мрачная, как ночь. Мрачность свою она так старательно выставляла напоказ, что госпожа Роек не могла не спросить её, что случилось.

— Что случилось? — тонкие губы сжались в узкую, прямую линию. — Да ничего... Покамест ничего.

— А я уж думала, бог весть, что стряслось.

«Полковница» страдальчески улыбнулась.

— Нет, нет. Что же могло случиться?..

И она принялась за картофельный суп, всем своим видом показывая, что это, быть может, последний суп в её жизни. Пусть Ядвига, Роек и другие простофили ничего не понимают, пусть разговаривают об известиях с фронта, будто это важнее всего на свете, и не догадываются, что их в любой момент могут вырезать. Она-то знает...

Но злоба подавляла в ней даже страх. Уж если начнётся резня, то не она одна будет жертвой. Погибнут любезный директор, и сумасшедшая Роек, и эта Ядвига, ехидная баба, которая будто бы жена осадника, а на самом деле, чёрт её знает, кто она такая, — может даже агент этого их гепеу или энкаведе, как оно там называется! И все эти доярки, свинарки, которые воображают, что равны ей, вдове крупного землевладельца, теще полковника... Нет, с этим Зеноном и вправду нехорошо вышло, а глупая Зоська всё ему готова простить — если, разумеется, найдёт его когда-нибудь. Из-за этого Жулавская и рассорилась с дочерью. Теперь вот и Зоська погибнет где-нибудь, если будет восстание. А восстание непременно будет — Малевский всегда прекрасно информирован. Так что всё, что тут делают, о чём говорят, в сущности, не имеет никакого значения. «Даже то, — с издевкой подумала она, прислушиваясь к обрывкам разговора, — выздоровеет ли хряк Самсон или не выздоровеет». Всё равно, всё будет сожжено и обращено в пепел, так что неважно даже и то, что среди зарезанных будет она, госпожа Жулавская. Пусть! Вот до чего её довели сперва любезный зятёк, потом большевики и, наконец, этот Лужник с компанией. Но теперь кара постигнет всех — и большевиков, и Лужняка. Да и зять лишь временно избежал наказания. Уж эта панна Мушка устроит ему хорошую жизнь там, в Лондоне, она его научит. Зенон ещё сто раз пожалеет, что не забрал жену и тещу, боком ему Зоськины меха и драгоценности вылезут! Пропадёт — и казахи с ножами для этого не понадобятся.

Жулавская не могла есть. Смешно есть, когда знаешь, что над тобой нависла неизбежная гибель.

— В клуб пойдёте?

Она вздрогнула, внезапно вырванная из круга чёрных мыслей голо- сом госпожи Роек.

— В клуб? Зачем мне в клуб?

— Сегодня вечер самодеятельности.

Жулавская только презрительно оттопырила губы.

— Очень интересно будет, — уговаривала Роек. — И из колхоза приедут.

Холодная дрожь пробежала по спине госпожи Жулавской. Из колхоза... Ведь это колхоз казахский, как раз этого самого Канабека! Нет, прав был Малевский — тут что-то начинается. Ну и ладно. Она нарочно пойдёт туда, посмотрит, как это будет — трусихой она никогда не бывала. Может, как раз в клубе и начнётся?

В клубе было жарко и душно. Мест на скамьях нехватало, народ толпился в проходах и под стенками, ребяташки карабкались на подоконники и теснились там, как неоперившиеся воробушки в гнёздах.

Пока Павел Алексеевич приветствовал казахских гостей, «полковница» пылливо всматривалась в широкие смуглые лица, чёрные глаза и блестящие волосы казахских девушек, в их цветные платья, похожие на халаты. Вот они какие — те, что вскоре возьмутся за ножи!..

Оглянувшись украдкой, она увидела, что Ядвига и госпожа Роек с сияющими лицами тоже рукоплещут, приветствуя гостей. Вот дуры... И только она, одна-единственная во всём зале, понимает, в чём тут дело, что это за «вечер самодеятельности».

Долго ещё будут хлопать? Нет, вот уже выходят на сцену — сперва свои, совхозные, украинские девушки. Они в праздничных нарядах: рукава сорочек вышиты, на головах венки.

Госпожа Жулавская с насмешкой смотрит на этих доярок, свинок, на этих скотниц, которым вздумалось выступать на сцене. Вот тоже, артистки... Видно, правду говорили ещё до войны польские газеты, что культура здесь давно утонула в навозе, растоптана ногами тёмного мужичья, которое вообразило себя равным ей, госпоже Жулавской.

Ядвига опёрлась подбородком о сложенные руки и заслушалась, закрыв глаза. Где она, кто это поёт? Крылатый голос Ольёны, сестры Петра, или голос Ольги? Поют у озера на мостках девчата. Пахнет татарником и мятой, пахнет жасмином из сада, звенит, заливаётся далёкая ночь словами украинской песни.

«Где я, где я вдруг очутилась? В Олышинах, в звенящих песней Олышинах?» Хочется забыть обо всём, раствориться в этой чудесной песне, в её глубокой мелодии, в знакомых, родных словах. Пойти по росистому лугу, побежать босиком по траве к этим девушкам на мостках... Вернуться туда, в Олышины.

Ты вернулась в Олышины, Ядвига, ты вернулась в Олышины... Но какая Ядвига туда вернулась? Та ли, юная, ничего ещё не ведающая, беззаветно влюблённая в Петра, или та, другая, которая с помертвевшим сердцем слушала далёкую песню, сидя в новом, пахнущем стружками и свежим деревом осадничьем доме? И почему не льются слёзы, почему не сжимается сердце?

Ядвига протягивает руку и в потёмках находит тёплую, слегка влажную руку Матрёны. Больше она уже не выпускает эту близкую, дружескую руку. Нет, нет! Ушли, отлетели, умерли тяжкие мысли. Ушёл, развеялся злой кошмар. «Могло ли когда-нибудь быть правдой, что я предала этих людей, что добровольно ушла от них и стала их врагом? Нет, этого не могло быть, разве что приснилось в тяжком сне». Как забавно выговаривает Матрёна её имя: Ядви-ся... Нет, она теперь не обособлена от всех, не сидит одна за наглухо запертыми дверями, за высоким за-

бором, охраняемая злой собакой, подстерегающей кого-то в потёмках. Ядвига опять вместе с этими людьми, теперь навеки. В горе и радости — навеки с ними. Словно время воротилось, пошло назад... Нет, не назад — оно словно стремительно ринулось вперёд, — потому что откуда же иначе взялась бы эта другая Ядвига, что сидит в тёмном клубном зале, в далёком Казахстане, и всё же чувствует себя дома, среди своих? Впервые в жизни Ядвига не одинока. Она взглянула на мир новыми глазами — и это мир, которого она не знала, которого даже не почувствовала.

Звенит, колышется зал в мелодии украинской песни.

Кто улыбается тебе, кто шлёт тебе привет, Ядвига? Быть может, Пётр. Да, быть может, даже Пётр. «Ты не мог поступить иначе», — говорит ему Ядвига, будто он может её услышать. Она говорит так, как разговаривала с ним в своих мыслях раньше, в былые годы: «Теперь и я поступила бы так же. Теперь и я не могла бы простить, не могла бы перекинуть мостик любви над чёрной бездной измены и предательства».

Да, теперь Ядвига может без боли вспоминать неподвижное, каменное лицо Петра в тот февральский день. Иначе и быть не могло. Чего же ты хотела, чего ты от него хотела? Чтобы он кинулся к тебе, своей грудью прикрыл тебя от того, что не было роковой случайностью, а лишь неизбежным последствием твоего собственного поступка? Каждый отвечает за себя. Есть поступки, которых ничем нельзя оправдать, и есть последствия их, которые ничто не в состоянии предотвратить. Люди бывают снисходительны, и то не всегда. А жизнь сурова и справедлива, и в такие времена, как сейчас, человек должен быть тоже суров и справедлив, если даже со стороны это кажется бесчеловечным.

Ей вспомнилась маленькая темноволосая женщина-врач, которая когда-то перевязывала ушко её сыну. Как просто она сказала Ядвиге:

— Да, тридцать девятый и сороковой — это были нелёгкие годы. Я работала тогда в госпитале во Львове. Сколько там умирало наших людей, наших лучших людей... От пули, от ножа, от яда... А моего мужа просто толкнули под трамвай.

— Как это? — испугалась Ядвига.

— Под трамвай. Делали и так. Он умер у меня в палате. — Женшина подняла на Ядвигу тёмные глаза и улыбнулась доброй, грустной улыбкой. — Трудные были годы. Трудные и непонятные и для многих из нас, и для многих из вас. Да. А когда всё стало там налаживаться, когда могла начаться настоящая жизнь — разразилась война.

Конечно, незачем было исповедываться перед этой маленькой, хрупкой женщиной в том, что в излучине Стыри, в Ольшинах, у Ядвиги была эта самая — как она называется? — «явочная квартира». Конечно, она тогда не понимала этого, но факт оставался фактом. И Пётр не мог, не должен был быть иным, чем он был в тот страшный вечер.

«Но, может быть, я ещё и потому могу теперь вспоминать об этом спокойно, Пётр, — думалось Ядвиге под напев девчат, — может, ещё и потому, что я ведь уже не люблю тебя. И хоть нет у меня обиды на тебя, хоть я знаю, что ты был прав, но нет у меня к тебе и любви. Всё кончилось. Кто знает? Может, я могла бы встретить тебя сейчас — и сердце даже не забило бы сильнее. Поздоровалась бы с тобой спокойно, как со знакомым прежних лет — только и всего»...

...На сцену вышла казашка. Она колыхалась в своём длинном платье-халате, как тростинка. Лицо смуглое, слегка плоское, тёмные косы до колен. Госпожа Жулавская так и впилась в неё глазами. Вот она — та, которая, быть может, через час зарежет всех, у кого нет таких

кос до колен, нет такого смуглого широкого лица с огромными чёрными глазами.

Внезапно зазвенели бубны, защебетали свирели. Что за дикая музыка! Именно чего-то в этом роде и ожидала «полковница». Интересно, как будет вопить эта дикарка.

Но тут весь зал вздрогнул. Казалось, зазвучал какой-то неведомый инструмент. Что это — стеклянная флейта, серебряная струна, рассыпающая вокруг алмазные искры? Что она поёт? Ведь это знакомые, много раз слышанные слова. Песня о родине, о широкой родной стране, равной которой нет в мире. Но в устах этой девушки песня стала совсем иной, не похожей на себя, словно бы освобождённой от всего земного. Звуки были легче ветра и чище соловьиной песни, они наполнили зал хрустальным звоном. «Нет, это немыслимо, невозможно поверить, чтобы в дикой стране среди дикарей происходило такое, — лихорадочно думает «полковница». — Здесь должен быть какой-то обман, какое-то мошенничество. Ведь не может же быть — девка из колхоза, да ещё из казахского колхоза!..»

Последний хрустальный звук вспорхнул к тёмным доскам потолка и долго дрожал там прозрачным, серебристым лучом.

Вскочила Ядвига, поднялся весь зал, благодаря эту девушку за её песню несмолкаемыми аплодисментами. Она улыбалась тихо и смущённо и кланялась восточным поклоном, прижимая скрещённые руки к груди. Ещё и ещё песня. Теперь она поёт по-казахски, рассказывая сперва по-русски содержание. Но в этом нет никакой надобности — могучее волшебство изумительного голоса пленяет сердца, до краёв наполняет сладостным волнением. Певицу долго не отпускают со сцены, за неё приходится вступить Павлу Алексевичу: ведь так можно и замучить человека. Певица спускается с эстрады и садится в публике, как рядом с Жулавской.

Ещё пение, танцы, декламация. Концерт затянулся до поздней ночи. «Наверно, у каждого человека, — думает Ядвига, — откуда бы он ни был родом, теперь есть две родины: одна — та, где он родился, и другая — советская страна, лучше которой нет на свете. Эта страна дала матери право радоваться рождению своего ребёнка, она дала человеку право радоваться своему труду, а этой казахской девушке, которая ещё недавно была рабыней, которую продавали и покупали, дала свободу и возможность радовать людей своим голосом».

Павел Алексеевич горячо спорил где-то в сторонке с Канабеком. И тотчас стало известно, что девушка поедет в Алма-Ату, в консерваторию.

— Через несколько лет она будет гордостью всего Казахстана, всего Советского Союза, — говорил Павел Алексеевич.

Побеждённый Канабек только вздыхал:

— Эх, ты бы только посмотрел, как она рис сажает!

Небо сверкало в звёздной выюге, серебристое и синее, мерцающее, неправдоподобное небо юга. Госпожа Жулавская куталась в шаль. Она уже оправилась от первого смущения и, возвращаясь к своему обычному состоянию, презрительно оттопыривала губы. Ну да, консерватория! Вздор и ложь! Какие в этой глуши могут быть консерватории? Да и вообще, что за вздор все эти планы... «Через несколько лет», — сказал этот директор. Будто немцы не прут на Кавказ, а здесь не готовится восстание! Через несколько лет... Нет, не через несколько лет, а гораздо раньше сюда придут либо немцы, либо англичане и наведут порядок. Не поможет и твой голосок, милая, придётся тебе вернуться на

свое место — к свиньям, к коровам, к навозу. Шутка сказать — «гордость всей страны». И кто? Девка, скотница... Это у них называется культурой! Нет, сами москали никогда не были культурными людьми, а что уж говорить о таких дикарях, как эти казахи? Были они кочующими дикими племенами, такими и должны остаться.

— Ядвися, — тихо сказала Матрёна, — я не пойду домой, пойду в больницу. Что-то мне кажется, что... началось.

Ядвига обняла её:

— Я пойду с тобой, провожу тебя.

— Да ведь поздно?

— Ах нет, мне совсем не хочется спать. Такая ночь чудесная и этот концерт...

— Знаешь, Ядвися, что я думаю? Я вот всё сына хотела, Василия. А если родится девочка, я её назову, как тебя, — Ядвися.

— Да ведь у вас нет такого имени?

— Нет — так будет! Польское имя. Ты ведь согласишься?

Узкий арык лепетал, бил о берег мелкой волной, брызгая на свесившиеся кусты тысячами серебряных искр. Мерцала, переливалась ночь на высоком небе. Где-то далеко во мраке спал невидимый сейчас Тянь-Шань. Оттуда, с юга, доносились мягкие, тёплые дуновения, нежно касающиеся лица.

Слёзы выступили на глазах Ядвиги.

— Соглашусь ли я? Родная моя, родная! Если бы ты только знала...

— Что знала?

Но Ядвига не ответила. Разве можно было сказать то, что она чувствовала? Для этого не было слов, она лишь ощущала это всем существом, каждым биением сердца.

— А я думаю, что у тебя будет сын, как ты хотела.

— Может быть. Говорят, в войну всё больше мальчики рождаются. Но знаешь ли, что сын, что дочь, всё одно — радость...

«Где ты, мой сынок, маленький, крохотный сыночек, которого я не умела любить? Какой ветер веет сейчас над далёким кладбищем, которого мне, пожалуй, и не найти теперь? Я покинула тебя там, в сыпучих песках, в бесплодной земле, — выросла ли на твоей могилке хоть травинка какая? Зачем, зачем тебе суждено было умереть? Бегал бы сейчас над арыком, собирал бы весной тюльпаны, знал бы по имени всех ягнят... И была бы у тебя другая мать — лучше, умнее, чем была тогда, чем та, что допустила тебя умереть, потому что ничего не знала, ничего не понимала...»

Над землёй стояло необычайное, ошеломляющее изобилием звёзд южное небо.

Возвращаясь домой, Ядвига увидела свет в окне госпожи Жулавской.

— Так поздно не спит? — мимоходом удивилась она. Этот огонёк, один-единственный в веренице тёмных, спящих домов, производил странное впечатление какой-то мелкой, пустой тревоги среди глубокого великого покоя. Где-то далеко крикнула птица.

«Скоро рассвет», — подумала Ядвига, входя в комнату тихонько, чтобы не разбудить Олеся и госпожу Роек.

Глава 8

Уполномоченный посольства, бывший полицейский унтер Лужняк волновался, и его дурное настроение отражалось на всех его подчинённых, сильно возросших в числе за последнее время. Панна Владя, его личная секретарша, поправляя тщательно уложенные локоны, тяжело вздыхала:

— Ничем не угодишь... Теперь вдруг начал придирается, что я плохо печатаю на машинке. Да что я, машинистка, что ли? Раньше ничего не говорил, а теперь придирается к каждой опечатке, да ещё сердится, что медленно пишу... А сам диктовать не умеет, то и дело ошибается, как же мне писать? Так и бросила бы всё...

— А что ж, за это время вы и вправду могли бы научиться печатать получше, — не без ехидства заметила госпожа Пшиходская, особа тошная, засушенная, как мумия, и вечно озлоблённая: вследствие полного отсутствия у неё женской привлекательности ей при делёжке тряпья всегда доставались худшие вещи.

— Учиться? На что мне это? Вы думаете, я намерена стать машинисткой! Ещё чего нехватало!..

— Панна Владислава! — раздалось из соседней комнаты. Она поспешно встала, глянула по привычке в зеркальце и, шурша плиссированной шёлковой юбкой, пошла в кабинет.

— Ещё и жалуется, — заметила Пшиходская. — Уж кому-кому, а ей-то, кажется, жаловаться не на что.

Никто ей не ответил. Дело известное — нынче Владя жалуется на Лужняка и тот кричит на неё, а завтра они помируются и всё опять будет в порядке. Не стоит с ней ссориться. Да и лучше уж Владя, чем эта Пшиходская, через Владю можно хоть иногда выхлопотать себе что-нибудь, а та только шпионит и доносит...

Лужняк мрачно взглянул на вошедшую.

— Почта есть?

— Есть.

— Что там?

— Ещё не просмотрела.

— Времени не было? А перед зеркалом жеманиться — есть время! Чем вы, собственно, занимались до сих пор?

— Перепечатала это письмо.

— И опять с ошибками?

Панна Владя надула губы.

— Ну что ты придираешься ко мне? То нехорошо, другое неладно... Что я тебе сделала?

— А ты поосторожней! Эти скоты наверняка подслушивают, опять о нас сплетни пойдут. Чёрт бы всё это взял, минуты спокойной нет... Не видите вы все, что вокруг творится, что ли?

— Да что уж такое творится?

— Им там в Куйбышеве легко говорить... Скупай драгоценности! А отвечать придётся мне. Ну, где я им в этой дыре возьму драгоценности?

— Да ведь Ляховский ездил.

— Ну и что? Много он привёз! Вам тут кажется, что эти несколько несчастных портсигаров уж бог весть что. Да он, наверно, ещё столько же припрятал для себя. Все крадут, все брешут мне в глаза, а из Куйбышева нажимают, требуют отчётов... Вот попадёт этакий отчёт в руки большевикам, только меня и видели!

— Ведь мы с курьером отправили.

— Курьер... Будто курьера нельзя арестовать по дороге... Сто раз просил: перемените шифр, нельзя всё время один и тот же, — так куда там! Хорошо им в посольстве сидеть, а вот попробовали бы на местах поработать... Да что! Вы разве поймёте... Просмотрите-ка поскорее почту и дайте мне сюда журналы. И пришлите Малевского поживей!

— Если только он здесь.

— А где ему ещё быть в служебное время?

— Очень он считается со служебными часами... — пробормотала она, выходя.

Но Малевский оказался на месте. Стоя у печки, он ораторствовал перед группой окруживших его молодых людей.

— Вас зовёт, — неприязненно бросила ему Владя.

— Опять рвёт и мечет?

— Идите да посмотрите.

— Судя по вашему настроеньицу...

— А в мои настроения не суйтесь. Это моё дело!

— Да разве я что-нибудь говорю? Вот, ей-богу, какая! По-моему, главное — хорошее настроение. А нет его у вас — так на нет и суда нет!

...Лужняк молча указал Малевскому на стул.

— Ну, как там?

— Да ничего. Вроде всё без перемен.

Лужняк встал и заложил руки за спину:

— Заявление епископа Гавлины распространено?

— Распространено. — Малевский раскурил папиросу. — Только я совсем не нахожу это мероприятие остроумным.

— Почему?

— Как, почему? Надо всё-таки знать меру и понимать, что годится только на экспорт, а что для внутреннего потребления. Я бы ни за что не стал распространять здесь эту чушь.

— Да ведь были прямые указания посольства?

— Ах, посольства!

Они оба не любили посольство. Оттуда сыпались приказы и инструкции, которые приходилось выполнять, как бы глупы они ни были. А они бывали очень неумны. Вот и теперь Лужняк, выполняя инструкцию посольства, распространил по всей области речь, произнесённую епископом Гавлиной в Нью-Йорке. В этой речи говорилось, будто советские власти вывезли в глубь Советского Союза миллион отобранных у родителей польских детей. Между тем совершенно ясно было, что эта речь годилась только для заграницы, там она могла произвести эффект, но здесь — никакого. Уж очень велика была цифра; его преосвященство явно переборщил. Ведь здесь сейчас собрались представители всех категорий высланных из западных областей поляков: осадники, семьи офицеров, беженцы... Уже с осени сорок первого года все эти люди живут более или менее большими группами, живут в одних местах, и каждый из них в точности знает всё о других. Отобрать у родителей и вывезти в глубину Советского Союза миллион детей — это не шутка! Кто поверит, что об этом никто не знал до выступления епископа в Нью-Йорке? Вдобавок епископ не потрудился даже придумать более правдоподобную дату. Тридцать девятый год! Да в тридцать девятом году даже осадники и полицейские сидели ещё на своих старых местах и никто их не трогал. Пожалуй, заявление епископа могло произвести впечатление правдоподобного на американских и английских поляков, на рядовых американцев и англичан; этой публикой и следовало ограничиться. Распространение выдумки здесь, в Советском Союзе, вызывало результаты прямо противоположные, могло лишь подорвать доверие к пропаганде посольства.

«Малевский прав, — думал Лужняк. — Но разве с ними столкнешься, с этими чиновниками из посольства. А из-за их ошибок работать становится всё труднее. Нельзя забывать, что ведь теперь уже не сорок второй год, что после Сталинграда советы стали крепки, как никогда. Нечего рассчитывать теперь на то, что большевики быстро проиграют войну. Откровение епископа Гавлины насчёт вывозки в Сибирь миллиона

польских детей было, конечно, прекрасным средством, чтобы немного охладить излишне восторженные высказывания о Советской Армии некоторых английских и американских органов печати... Но кто поверит этому здесь? Всякий здешний поляк знает, что он приехал сюда с детьми и никто их у него не отбирал. А тут, не угодно ли — миллион!»

— На таких выдумках мы далеко не уедем,— мрачно сказал Малевский. — Нужно что-то совсем другое.

— Что именно?

— Чёрт его знает, сам ещё не понимаю... А пока из-за всех этих глупостей большевики начинают всё больше присматривать за нами. Уже в прошлом году, когда они закрыли наши делегатуры, можно было предвидеть, что этим дело не кончится... Так зачем ещё раздражать их по пустякам? Это только мешает нашей работе. И вообще я бы считал...

— Что?

Малевский оглянулся на дверь и наклонился через стол к Лужняку.

— Нехорошо, что всё сосредоточено в одних и тех же руках. Помоему, кто занимается разведкой, пусть бы и занимался разведкой, а кто пропагандой — тот пропагандой. А так только лишний риск. С этим дурацким заявлением Гавлины очень легко засыпаться и тогда пропала вся моя работа.

— Ну, разведка — это сейчас не так важно, — заметил Лужняк.

— То есть как это не так важно?

— Ну, принимая во внимание положение на фронте...

Малевский фыркнул.

— Да, на фронте, конечно... Хотя... С этим Сталинградом всё сильно преувеличено. Раз удалось, в другой раз может и не удастся. Вот ведь и в сорок первом году трубили о победе под Москвой, а что вышло? И года не прошло, как гитлеровская армия очутилась на Волге!

— На Волге-то на Волге,— поморщился Лужняк.— А только немцам так накостиляли на этой Волге, что... Да и вообще...

Он мрачно задумался.

— Ну, что «вообще»?

— Ты вот говоришь, не прошло, мол, года... А вспомни-ка, что говорили гитлеровцы в сорок первом? В два месяца, мол, с большевиками разделаемся. Ничего себе — два месяца!

Малевский насвистывал, присев на угол письменного стола, и покачивал ногой.

— Ну, что ж из того? Превратности военной судьбы, как говорится. Немного просчитались, вот и всё. Оказалось, что у этих дикарей есть техника. И потом, азиаты же, им всё равно, жить или умереть. Вот они и дерутся.

Лужняк, разинув рот, глядел на собеседника. Такая точка зрения была для него полной неожиданностью; как-никак, храбрость ему всегда импонировала.

— Но дело даже не в этом,— продолжал Малевский.— Хуже то, что после Сталинграда даже англичане стали относиться к большевикам всерьёз... Струсили, попросту говоря. Нам от этого, конечно, непоздоровится. Что ж, Сикорский покамест взял верх...

— То есть как это — покамест? — резко перебил Лужняк.

— Э,— махнул рукой Малевский,— в политике ты ничего не смыслишь, это уж предоставь мне!

— Вот то-то и беда, что всё политика да политика, а какой толк? Я-то в такие дела не путаюсь. Я знаю одно — делаю свою работу, и всё. А вот теперь такое началось, что уж и не знаешь, что делать и за-

чем делать. Всё равно ничего не выйдет, а сам можешь засыпаться и пропасть. И с деньгами не густо...

— Деньги — другой разговор. Впрочем, я поднажму. Может, у меня тут выйдет одна комбинация. А что касается разведки, то ты очень ошибаешься. Она-то пригодится, она всегда пригодится, независимо от положения на фронтах. Исключительно выгодная для неё обстановка. Ну, когда можно было стольким людям разъезжать спокойно по этой стране, заглядывать во все углы? Если действовать толково, то можно разработать, область за областью, всю страну... Это же просто сокровище!

— И что ты будешь делать с этим сокровищем, раз большевики движутся на запад?

— Э, в том-то и дело! Разве у нас такой короткий прицел? Нет! Это не шутки. Сегодня не пригодится, а через год, через два или три, кто знает? Мало ли кого эти сведения заинтересуют, мало ли кому понадобятся! Ты думаешь, всё это так просто кончится? Не-ет! Не говорю уже о немецкой армии — с ней тоже дело не так-то просто: можно выиграть бой, да что я говорю — десять боёв, — и всё же это не решает судьбу войны. А после войны... Нет, увидишь, что это развлечение надолго, а очень долго. И надо быть дальновиднее.

— Так что же ты мне советуешь?

— Что советую? Послал бы ты им отчёт, да не дутый, — не то что, мол, столько-то и столько-то экземпляров речи Гавлины разослано на места, а прямо сообщил бы, что не клюёт! Не действует, мол, и всё тут. Пусть бы они над этим поразмыслили.

— Ты так думаешь?

— Да, вот так и думаю. Всякие сплетни, слухи, это было хорошо ещё в прошлом году. А сейчас пора подумать о чём-нибудь посерьёзнее. А главное — дифференцировать пропаганду. Для заграницы одно, а для внутреннего потребления другое. Иначе ничего не выйдет.

— Так и станут они прислушиваться к моим советам!

— Это уж как хочешь, это твоё дело. Я тебе советую, а там — делай, как знаешь.

Лужняк задумчиво рисовал на полях газеты какие-то уродливые цветочки. Что он может? Кто с ним считается? А работать всё труднее и труднее. Агитация за то, чтобы не принимать советские паспорта, проведённая по указаниям посольства, стоила много усилий и денег, но имела лишь частичный успех. Весьма частичный, если говорить откровенно: большинство поляков из Западной Украины и Белоруссии, несмотря на агитацию и на устрашающие слухи, всё же приняло советские паспорта. Это лишний раз доказало, что всё больше поляков ускользает из-под влияния посольства, не хочет больше слепо подчиняться его предписаниям. Оно и понятно — люди уж столько раз обжигались, вот хоть бы и с этой эвакуацией на юг, проведённой так неорганизованно и бессмысленно... Или на этих предсказаниях о скором поражении большевиков... Надо признать, что и уход андерсовской армии в Иран произвёл дурное впечатление: ведь всем известно, что эта армия сидит там, ничего не делая, и ждёт у моря погоды. А теперь, вдобавок ко всему, организовалась ещё группка левых поляков и издаёт уже два журнала, один в Куйбышеве, другой в Москве. Разумеется, это горсточка, но их контрпропаганда своё дело делает... Да, не легко в таких условиях вести работу. Приходится рисковать собой, а что за это получаешь?

Кроме того, Лужняк подозревал, что, например, его руководство Малевским весьма иллюзорно. С виду всё было в порядке: он давал Малевскому поручения, тот их выполнял. Но Лужняк уже давно чуял, что Ма-

левский получает ещё какие-то инструкции через голову Лужняка, что ему поручены ещё какие-то функции, о которых он Лужняку не сообщает. Кто знает, — может, в посольстве и ему, Лужняку, не доверяют, и этот Малевский просто-напросто его контролирует? Может быть и так. На каждом шагу надо оглядываться, всё время надо следить за собой, ни в ком нельзя быть уверенным. А тут ещё эта Владя — зря он затеял весь этот роман. Вечные капризы, вечные претензии, а пользы от неё никакой... Ни одной минуты спокойной нет!

В этот момент панна Владя всё с тем же оскорблённым видом положила перед ним груды газет и вышла, хлопнув дверью.

Он стал нехотя просматривать газеты. Всё запоздало, всё уже не актуально... А! Вот февральское заявление лондонского правительства — то, которое уже давно было напечатано, вместе с ответом советского правительства, в советской прессе. Лужняк внимательно прочёл теперь это заявление ещё раз — по-польски. С чего это большевики так разъярились? Ведь тут ничего нет, кроме того, что польское правительство в Лондоне признаёт незыблемыми границы, какими они были до тридцать девятого года, и отрицает, что Польша когда бы то ни было договаривалась с Германией против Советов. Что же тут такого? Об этих границах говорят и говорят без конца, ничего нового тут нет. Правда, что касается немцев... Об этом даже ему, Лужняку, кое-что известно, хотя он всего лишь унтер, а не какой-нибудь министр или политик. Он сам дежурил на вокзале, когда приезжал Геринг, а позже Гиммлер, и тогда ясно говорилось, в чём дело. Кому же теперь втирать очки? Но, в конце концов, с кем же тогда было договариваться — с большевиками, что ли? Нет, политика соглашения с немцами была тогда правильной. Стыдиться тут нечего. Кто же мог ожидать, что так выйдет?..

Что ещё в этой почте? Лондонские польские издания, польские газеты для армии в Иране... Ничего нового, всё одно и то же.

Откуда бы вот узнать такому человеку, как он, что ему делать здесь, на месте, когда на него, что ни день, насаждает польская колония, вечно чего-то требуя и добиваясь, а в это время ты никогда не знаешь, не следует ли за тобой энкаведе. А тут ещё посольство предъявляет всё новые требования, поди-ка выполни их! Ведь ещё совсем недавно он послал донесение о дорогах и этих ихних эмтеэсах — и хоть бы слово в ответ. Что ж им там, в посольстве, кажется, что это так просто — снять планы, начертить карты, собрать все данные? Всё им давай и давай! А когда он попросил предоставить в его распоряжение ещё мануфактуры, готового платья, белья для польских эмигрантов — что ему прислали? Барахло самого последнего сорта, за которое на базаре почти ничего не давали.

Теперь же ему ещё и неможется вдобавок. Побаливала печень, белки глаз часто принимали подозрительно желтоватый оттенок. Этот дурак, доктор Маковский, сказал, чтоб он бросил пить. Вот ещё! Разве он так уж много пьёт? Выпивает от времени до времени. А что ещё делать в этой проклятой дыре? Советские фильмы смотреть, что ли?

И когда всё это, наконец, кончится? Сорок третий год, от которого все они столько ожидали, явно не оправдывал надежд. В Лондоне всё грызутся, Сикорский с Андерсом, видимо, никак не могут прийти к соглашению. А кому за это приходится расплачиваться? В сущности говоря — ему, Лужняку. Попробуй разберись, кто в посольстве сторонник Сикорского, а кто — Андерса, и как с кем говорить. Того и гляди, сам того не зная, восстановишь против себя кого-нибудь из начальства. Малевский — ну, того, как пить дать, поддерживает второй отдел штаба,

да и не так, как его, Лужняка, а по-настоящему, во-всю! Потому-то он и ведёт себя так уверенно. А Лужняк что? Ну, набрал немножко золота на всякий случай, да ведь много ли?

Теперь он непрестанно упрекал себя за то, что согласился быть уполномоченным посольства. Раньше, когда ему предложили этот пост, он и минуты не колебался. Ещё бы! Оно хлопотливо, конечно, но ведь и местечко выгодное. Многие ему завидовали: все продовольственные транспорты, все вещи, все деньги шли через него. В сущности, здесь, на месте, он был всемогущим хозяином. Если кто и жаловался на него в посольство, так на это не обращали внимания. Да и то сказать, разве он был как уж плох? В конце концов, надо же и совесть иметь! Всех, конечно, не накормишь, не оденешь. Но теми, кто этого заслуживал, он занимался, и очень заботливо. Мало ли их устроилось при нём весьма прилично? Теперь оказывается, что он, пожалуй, сглупил. Не стоило быть добрым. Вздор, что печень у него болит от водки — это от непрестанного волнения. А как не волноваться, когда что ни день, то неприятность? И совершенно не знаешь, на кого рассчитывать. Взять хоть Малевского — кто он, собственно, такой? Какими полномочиями и кто его наделил? Даже этим бабёнкам в канцелярии нельзя верить — ведь вот подбросил же ему кто-то на письменный стол газетёнку этих изменников, подлизывающихся к большевикам. А в газетёнке была напечатана наглая корреспонденция, явно написанная кем-то, кто хорошо знал здешнюю обстановку. Нет, никого из своих работников он в такой подлости подозревать не мог. Это сделал кто-то «из города». Но хватит и того, что нашёлся сотрудник, который подбросил ему этот номер! А у него и так уже бессонница. Раньше, бывало, положишь голову на подушку и готов! А теперь?

И вот за все эти мучения его же поливают помоями! Нет, не надо было браться за эту работу, не надо было. Что там Малевский ни говори, а дела идут всё хуже. Англичане... На кого же, в таком случае, можно рассчитывать, если уж и англичане предают? Там, в Куйбышеве, в посольстве, видно, тоже нервничают, ни на один запрос невозможно добиться толкового ответа.

В одну из тех ночей, когда Лужняк долго ворочался на постели, страдая от мучительной тянущей боли в печени и уснул лишь за полночь, его внезапно разбудил Малевский.

— Слушай, было сообщение, под Смоленском нашли перебитых польских офицеров.

Лужняк протирает запухшие глаза.

— Каких ещё офицеров?

— наших, польских, понимаешь? Тысячи офицеров... Большевики поубивали в сороковом году...

Лужняк спустил ноги с кровати и первое, что он увидел, был рыжий столб копоти, который валит, как из трубы, из лампового стекла. Чёрт! Забыл потушить лампу, теперь весь стол в саже...

— Чьё сообщение, что ты болтаешь?

— Да проснись ты! Ясно тебе говорю: немцы передают, что в Катыни под Смоленском найдены могилы убитых польских офицеров. Сикорский обратился в Международный Красный Крест с просьбой расследовать дело...

— Как, в Красный Крест?

— А куда же? В дирекцию трамвайного общества, что ли, надо было, по-твоему, обращаться? Интересно, как теперь американцы и англичане распутаются со своим союзом?..

— С каким союзом?

Малевский пренебрежительно пожал плечами.

— О господи! Спишь ты ещё, что ли? Ведь это не баран начинал! Тут уж так называемое мировое общественное мнение должно будет сказать своё слово.

Лужняк медленно собирался с мыслями.

— Послушай-ка, так ведь это значит...

— Это значит, что нашему правительству придётся порвать с большевиками, понятно? Наконец-то Сикорскому дадут по шапке! Теперь-то уж кончатся эти нежности с советами. Положение вещей совершенно меняется. Ведь это уж не турусы на колёсах, которые Гавлина разводил, нет, тут уж другое, хо, хо!

— Слушай, ты это к чему о Гавлине? — пытливо взглянул вдруг на него Лужняк.

Малевский смутился.

— Как почему? Я просто так... что, мол, это совсем другое...

— Ты полагаешь...

— Ничего я не полагаю! С ума ты сошёл, что ли? Тут совсем другое дело... Были у тебя в руках имена и адреса вывезенных детей? Мог ты их показать кому-нибудь? Мог доказать, что четыреста тысяч детей умерло? Нет! А тут — комиссии, трупы, всё как полагается.

Но Лужняк всё ещё подозрительно всматривался в лицо гостя.

— Чему же ты так радуешься, если вправду столько поляков убили?

— Как это — чему? Эх, Лужняк, Лужняк, далеко с твоим умом не уйдёшь! Да ведь это же козырь, и какой козырь!

— Ладно. Положим, что так. — Лужняк мрачно жевал погасшую папиросу. — Но всё это, как ты называешь, большая политика, политика дальнего прицела. А с нами что будет, я тебя спрошу?

— То есть с кем — с нами?

— Ну, со мной, с тобой, со всеми нами тут, на месте?

— Ах, какое это теперь имеет значение! Как-нибудь да устроимся.

— Ты думаешь?

— Думаю. И, послушай, в политике ты всегда был дубом, но теперь и ты поймёшь, в каком положении оказались англичане и американцы. Ведь им придётся выбирать: мы или они?

— Какие они?

— Господи Иисусе Христе, как говорила моя покойная тётушка! И ты ещё обижаешься, когда я говорю, что в политике ты настоящий дуб. Ведь ясно, как апельсин, союзникам придётся выбирать — Польша или большевики, понимаешь? Такая каша заварится! Просто любо! До сих пор они ещё могли вилять, но теперь им придётся считаться с тем, что скажет широкое общественное мнение о таком союзе. Это можно было с самого начала предвидеть, а твой Сикорский дал обмануть себя, поверил в большевистскую дружбу...

— Генерал Сикорский всегда...

— Знаю, знаю, пусть будет так. Сейчас уже не о чём спорить. Теперь — капут.

Но Лужняка опять словно кольнуло что-то.

— Слушай, а откуда ты это знаешь?

— Я же говорю тебе, по радио передавали.

— Большевистское сообщение?

— Немецкое. И польское из Лондона.

Ну, конечно, Малевский всегда узнаёт обо всём раньше его. Есть какая-то секретная радиосвязь тут, поблизости, но его, Лужняка, не допускают до этой тайны. Такие сообщения всегда идут через Малевского...

— Ладно. Но только вызовет ли это и вправду такие последствия, как ты говоришь?

— Чёрт тебя знает, до чего ты несообразителен! Да пойми же ты, что теперь начнётся совсем другое, увидишь!

Лужняк, действительно, увидел. Через Малевского же, или через кого другого, новость распространилась с молниеносной быстротой. Утром сотрудники явились на работу с небывалой точностью. О работе никто и не думал, барышни пугливо перешёптывались.

— Одного только я не понимаю, — робко спрашивала панна Станислава, — зачем они их, собственно, поубивали? Ведь все другие наши офицеры после амнистии вышли на свободу?

— Зачем? Это уж вы большевиков спросите — зачем!

— Может, это ещё неправда? — усомнился кто-то.

Но Малевский сообщал всё новые подробности. В Катыни уже побывала по приглашению немецких фашистских властей какая-то польская комиссия. Уже публиковались фамилии убитых. Уже на место преступления приезжали корреспонденты, приглашённые ведомством Геббельса, и заверяли, что они убеждены в правильности обвинения против большевиков.

Никто не задумывался, как эти сведения могут так быстро доходить сюда — из-за границы и через фронт. Как бы то ни было, они быстро распространялись.

— Увидите, что ещё будет! — торжествовал Малевский.

Двадцать пятого апреля по радио и в печати опубликовано было советское сообщение. Вокруг уличных репродукторов в городке стояли группки поляков. У чёрной тарелки, висящей на стене канцелярии, собрались все сотрудники. На этот раз это была ведь не военная сводка, — сводки Советского Информбюро они перестали слушать с тех пор, как радио стало передавать сообщения о советских победах. Нет, это была советская нота польскому правительству в Лондоне, уведомляющая о разрыве дипломатических отношений и обвиняющая эмигрантское правительство в том, что оно подхватило немецкую провокацию, предпринятую для того, чтобы вызвать раскол между союзниками.

Работники канцелярии уполномоченного выслушали ноту в мрачном молчании.

— Что же теперь будет с нами? — робко спросил, наконец, кто-то, но ответа не получил. Оживление внёс подошедший Малевский.

— С нами? Никто нас не тронет, не беспокойтесь! Наше положение сейчас лучше, чем когда бы то ни было...

Но и весёлое настроение Малевского вскоре стало портиться. Впервые, было получено известие о сроке выезда из Советского Союза польского посольства и о ликвидации всех его отделений на местах. Вторых, ни англичане, ни американцы не присоединились официально к обвинениям, выдвинутым эмигрантским лондонским правительством.

— Скоты! — сердился Малевский. — Впрочем, это можно было предвидеть.

— Ты же сам говорил, что им придётся порвать с большевиками.

— Говорил, говорил, мало ли что я говорил! Струсилы наши союзники, вот и всё. Большевиков испугались, герои! Да и чего от них можно было ожидать? Не первый и не последний раз нас надувают.

Впрочем, и персонал уполномоченного оказался не на высоте. Сотрудники охали, вздыхали, но меньше всего их интересовало катынское дело — люди беспокоились о собственной судьбе.

— Что теперь будет? — мрачно спрашивала госпожа Пшиходская. — Они там затевают авантюры, а расплачиваться придётся нам.

— Вы это считаете авантюрой? — тотчас прицепилась к ней Влада. Но та лишь поджала губы и не ответила, красноречиво передёрнув костлявыми плечами.

— Теперь уж без неприятностей не обойдётся! — мрачно предсказывал высокий блондин, тайный поклонник панны Вледи, тщательно скрывавший, однако, от Лужняка свои поползновения. Впрочем, и избранница «самого» уполномоченного отвечала блондину лишь подчёркнутым презрением.

— Что ж, вы-то должны бы радоваться.

— Я? Почему именно я?

— А мало вы ругали Сикорского за договор с большевиками?

— Это другое дело. Вам этого не понять.

— Разумеется, где мне понять вашу мудрость... Вчера было, по-вашему, плохо, что завязали отношения с большевиками, сегодня плохо, что отношения порывают...

— Не Сикорский порывает, а большевики.

— Одно на одно получается.

— О чём тут спорить? — снова вмешалась Пшиходская. — Так или иначе, а кончится тем, что все мы подойдем в тюрьме, а заступиться никому будет.

— Много за нас раньше заступались!

— Если вам не нравится наше правительство, так есть ведь ещё эти большевистские прихвостни в Москве. Может, они за вас заступятся!

— Орала ведь вчера по радио из Москвы эта баба — как её там? — что никому ничего не будет, чтобы поляки сохраняли спокойствие и работали. Они и воспользуются случаем, чтобы погнать нас всех на работу.

— Ну, я-то уж на них работать не буду!

— Будете, если поприжмут как следует.

— Уже нашлись прохвосты в нашем городе, которые говорят, что это к лучшему, что теперь хоть большевики нами займутся по-настоящему.

— Ну вот, то же и эта баба кричала по радио!

А поляки в городе, действительно, загворили. И меньше всего о Катьни. Обсуждали, что теперь будет, как сложится обстановка. Некоторые рассчитывали на группу, издающую газету в Москве. И среди них были такие, которые раньше и слышать о московской газете не хотели.

— А что касается этой Катьни, то просто повторяется история с поджогом рейхстага.

— Какого ещё рейхстага? — удивлялись дамы.

— Новая немецкая провокация, вот и всё!

— Кажется, знаем, что в Польше творится.

— Русских пленных убивают, с чего же наших станут щадить?

— Два года уже сидят гитлеровцы в Смоленске, а теперь, когда их стали лупить, вдруг отыскались эти могилы...

— Что там могилы! Тут надо думать, что с нами самими будет? Как бы нам всем не пришлось отвечать за эти лондонские штуки?

Малевский ходил от группы к группе, прислушивался к разговорам и всё мрачнел.

— Скоты, а не люди... — бормотал он сквозь зубы, убеждаясь, что происходит нечто совершенно для него неожиданное.

Четвёртого мая появились в печати ответы Сталина на вопросы английского корреспондента относительно Польши и с быстротой молнии облетели все углы и закоулки, где только находилось хоть несколько поляков. Эти ответы внесли полное успокоение и породили новые, ещё небывалые надежды.

Малевский ожесточённо грыз ногти. Нет, не на это он рассчитывал, не этого ожидал. Вдобавок ко всему его беспокоило ещё одно обстоятельство. Связной, который должен был ожидать его в условленном месте, не явился. Нельзя было понять, провал ли это или просто начавшаяся дезорганизация. Но, во всяком случае, Малевский чувствовал, что земля начинает накаляться под его ногами. Высокий блондин, который знал о нём кое-что, явно старался избегать его... Боится, разумеется, — но как узнать, до какой степени он напуган? Ещё побежит к большевикам и расскажет всё, что знает! Правда, знает он далеко не всё, но для начала и этого достаточно, а там уж по ниточке дойдут и до клубка. Проще всего, конечно, было бы смыться; но тогда ещё труднее будет восстановить потерянную связь. В сущности, совершенно неизвестно, что делать. И посоветоваться не с кем.

Лужняк окончательно опротивел Малевскому, но всё же он решил поговорить с ним ещё раз. Панна Владя сперва не хотела впускать его.

— Занят. Сказал, чтобы ему не мешали.

— Ого! А ну-ка посторонитесь, барышня, свои штуки можете разыгрывать перед дураками. Я тоже занят, однако вот пришёл же.

И грубо оттолкнув её локтем, он вошёл в кабинет. Лужняк торопливо жёг какие-то бумаги, откладывая в сторону другие. Малевский пристал сквозь зубы и стал молча наблюдать за ним.

— Ну что? — спросил, наконец, тот. — Где твои великие перемены, весь этот международный переворот?

— Что поделаешь, политика... Англичане и американцы нас ещё раз предали, не хотят портить отношений с большевиками, когда те идут вперёд... Но это ещё не конец, время ещё покажет.

— Опять дальний прицел?

— Да, так и знай! Увидишь сам, что всё это ещё боком большевикам вылезет.

Лужняк махнул рукой.

— Э, то же самое ты и тогда ночью говорил. Пока что это нам боком вылезает. Опять же, возьми и то в расчёт: посольство преспокойно укладывает чемоданы и уезжает, ну а мы? Что мне, например, делать? Итти работать в колхоз, как призывают эти польские большевики из Москвы?

— Поступай, как считаешь лучше.

— Разумеется, так. Сперва лезь из кожи, рискуй собой из-за вас, а потом — поступай как знаешь! А ты что думаешь делать?

— Я? Исчезнуть на некоторое время.

— Легко сказать — исчезнуть! Куда ты здесь исчезнешь?

— Страна большая, места много.

Лужняк с ненавистью поглядел на него.

— Легче всего, кажется, тебе будет найти место в тюрьме.

— Зачем же? Что они могут доказать, какие обвинения мне предъявят? Кто я тут был, за что могу отвечать? Мелкий служащий... Ты — дело другое, уполномоченный посольства — как-никак, фигура.

— Я уже не уполномоченный.

— Разумеется. Но ведь дел-то ты ещё не сдал.

— А вот и сдал. Фиалковскому сдал.

— Это ещё что?

— Да, знаешь, так будет лучше. Я тут работал два года, а он человек новый. Ему легче будет сдать дела, если потребуется.

— Вон что вы придумали! Что ж, пожалуй, это правильно. Чёрт его знает только, кто будет принимать? Большевики или эти польские сволочи из Москвы?

— Понятия не имею, никто мне ничего не говорил. Но это уж дело Фиалковского. А я вот только приведу в порядок свои бумаги — и что они мне могут сделать?

— Лучше вовсе не иметь бумаг, вот как я... Раньше говорилось: ничто так не пятнает репутацию женщины, как чернила. Это, брат, не только к женщинам относится! Особенно при неряшливости нашего посольства. Мой принцип — ни одной строчки, ни одной буквы... Слушай, а может, и ты драпанёшь?

— Куда?

— Куда-нибудь. Здесь тебя все знают... На всякий бы случай? А? Чёрт их знает, что им тут известно. А в каком-нибудь новом месте... Лужняк колебался.

— Нет, — сказал он наконец. — Как раз, если я попытаюсь уехать, они могут меня сцапать. Да и с Владей как мне быть?

— Как, с Владей? Этого только нехватало! Бабу за собой таскать... И что ты в ней нашёл, не понимаю? Самая обыкновенная дрянь.

— Да брось ты, охота в такой момент бог знает о чём говорить...

— В такой момент... Видишь ли, в любой момент прежде всего не следует терять головы. Это главное. Спокойно, без истерик! Тогда как-нибудь да вывернешься.

— Если бы я хоть знал, что им известно...

— Ишь чего захотел! Если бы ты знал... За тобой следили, это не подлежит сомнению. Но что им известно?.. Поди угадай!

— Так что же мне делать?! — завопил наконец Лужняк. Лицо его налилось кровью, руки сжались в кулаки. Малевский вынул изо рта папиросу. В голове его ни с того ни с сего промелькнула мысль: а что, если Лужняк его выдаст? Что, если, почувствовав себя припёртым к стене, он пойдёт и расскажет всё что знает, чтобы за его, Малевского, счёт спасти собственную шкуру?

Он сразу успокоился, мозг его заработал холодно и ясно, мысли были отчётливы. Он внимательно рассматривал собеседника. Не лучше ли подобру-поздорову убрать его, пока не поздно? Сомнительно, чтобы кто-нибудь заинтересовался его исчезновением. Подумают, что сбежал — и ищи ветра в поле. Устроить это не трудно, он достаточно глуп, чтобы явиться на свидание, хотя бы в тот лесок за городом. Труп закопать в песок — когда ещё его найдут! Пожалуй, это будет умнее всего, Лужняк знает вполне достаточно, чтобы подвести под расстрел.

Лужняк вдруг побледнел и приподнялся на стуле.

— Ты что на меня так смотришь?

— Я? — холодно и спокойно переспросил Малевский. — И не думал!

— Слушай, ты не лги! Что тебе сейчас пришло в голову? Не воображай, что тебе удастся сыграть со мной штуку!

— С ума ты сошёл? Какую ещё штуку?

— Уж я тебя знаю, — бормотал Лужняк, тяжело опускаясь на стул. — Я знаю, что тебе может в голову прийти...

— Например?

— Лучше не тяни меня за язык. Знаю я ваши штучки.

Малевский вдруг наклонился к нему почти вплотную, лицом к лицу.

— А может, это ты вздумал со мной штуку выкинуть? Смотри, брат!

— Что — я? — отшатнулся Лужняк и слегка выдвинул ящик стола. Малевский заметил это движение и быстро овладел собой.

— Э! — махнул он рукой. — Всё это вздор. Время ли сейчас ссориться? Поступай, как знаешь. Не маленький. Подумай только хорошенько.

Но времени раздумывать не было. В тот же вечер Лужняк был арестован.

Разумеется, это не способствовало успокоению и без того перепуганных служащих миссии. Адвокат Фиалковский рвал бы на себе волосы, если бы на его лысом черепе осталось их хоть сколько-нибудь.

— Что я наделал, что я наделал! И зачем я впутался во всё это...

— Конечно, лучше всего сидеть за печкой и ни во что не вмешиваться, — язвительно заметила панна Владя. Она была полна горечи. По упакованным вещам и сожжённой бумаге видно было, что Лужняк собирался уехать, и уехать без неё. Так что если бы его и не арестовали, она всё равно осталась бы на бобах. Это преисполнило её горечью и недоверием к мужчинам — соблазнить девушку, а потом бросить её на произвол судьбы!

— Уж и соблазнить! — ядовито вставил кто-то из мужчин.

Владя приняла выражение оскорблённой королевы и яростно набросилась на павшего духом адвоката Фиалковского.

— Надо же что-нибудь делать, что-нибудь предпринимать!

— Но что, что? — стонал тот. — Хоть бы этот Малевский пришёл, он всё же ориентируется в положении!

— Ну да, Малевский! Ищите ветра в поле, — злорадно ответила Владя.

— Что такое? Что вы говорите? Разве он не приходил сегодня?

— И не думал.

— Так, может, послать к нему на квартиру?

— Незачем. Его там нет.

— Видно, и его арестовали, — предположила одна из барышень. Госпожа Пшиходская всхлипнула:

— Всех нас, всех переарестуют, всех перебьют!

— А вы бы лучше держали язык за зубами. Из-за такой вот болтовни всё так и выходит. Ну, кто вас тут трогал? Послушайте, панна Владя, что с Малевским?

— Я вам говорю: не все так глупы, чтобы ждать, пока их посадят.

— Правда, правда... Но в таком случае, мы-то чего здесь ждём?

— А куда нам итти?

Итти было, действительно, некуда. За два года они привыкли ежедневно приходиться сюда, будто в клуб или в кафе. Куда же теперь деваться? К тому же в канцелярию ежеминутно являлись взволнованные посетители с вопросами и претензиями.

— Что теперь с нами будет? Что нам теперь делать? Вот до чего нас довели!

— Прошу оставить меня в покое! — кричал Фиалковский. — Я ничего не знаю, ничего не хочу знать, ничему не могу помочь! Оставьте меня в покое! Через час, самое большее — через два, я сдам эти, прости господи, дела, и точка.

— Кому вы их сдадите?

— Всё равно кому! Милиции, пожарной охране, энкаведе, — мне совершенно безразлично... Хорошо этому Лужняку, свалил всё на меня...

— Какие глупости, — резко прервала Владя. — Лужняку хорошо! Да ведь его арестовали...

Он очнулся и вдруг удивлённо взглянул на неё.

— Как вы со мной разговариваете, барышня? Что за ужасный персонал, распушенный, недисциплинированный!

— Я вам не персонал. Если не нравлюсь, могу хоть сейчас уйти.

— Идите куда хотите, только оставьте меня в покое! С ума сойти можно! А вам что угодно? — обратился он ко вновь вошедшей посетительнице.

— Мы хотели узнать, к кому нам теперь обращаться по поводу...

— Ничего не знаю. Панна Владислава, вывесьте объявление, что сегодня приёма нет.

— Вы это мне говорите?

— А кому же ещё?

— Меня вы только что уволили.

— Я вас уволил? Когда? Господи, хоть бы уж скорей кто-нибудь пришёл и всё забрал...

— Говорят, будто эти, из Москвы, должны приехать.

— Кто ещё?

— Ну, эти — из Союза польских патриотов.

— Вы с ума сошли? Сколько их всего-то? Неужели им всё передадут?

— Да что передавать-то? Склад давно пуст.

— Будет пуст, когда всё на базар перетаскали.

Начались бесконечные взаимные попрёки, вспоминались все обиды. И крепдешинное платье с хризантемами, которое Лужняк отдал Владе, и туфли крокодиловой кожи, которые исчезли неведомо куда, и ящик ананасов, который как сквозь землю провалился. Никто уже не стеснялся, женщины чуть не дрались, не обращая внимания на то, что в комнатах полно было «непосвящённых» — поляков и полек, пришедших из города за разъяснениями. Выбалтывали всё, что до сих пор хранили в секрете, не желая выносить сор из избы.

Новый уполномоченный слёг в постель и прикладывал к сердцу холодные компрессы, оглашая квартиру жалобными стонами.

— Очень это тебе нужно было, — ворчала жена, заваривая какие-то травы. — Сто раз тебе говорила...

— Говорила! Этот Лужняк просто обманул меня!

— Сам хорош. Адвокат, юрист, а дал себя обмануть простому унтеру.

— Перестань, Зузя, ну что ты знаешь? Положение было такое, что я не мог отказаться, — понимаешь, не мог. Кто мог предположить, что его арестуют? И потом, он как-то так это представил, что мне показалось, будто так будет лучше. Да и за что же я тут могу отвечать? Ведь я только что приступил к исполнению обязанностей, ни в чём ещё не разобрался, ничего не знаю...

— Ну, между нами говоря, все эти два года вы работали вместе и неплохо зарабатывали. Найдутся приятели, которые донесут, что ты вёл дела с Лужняком...

— И это ты мне говоришь? Да если бы не ты...

— Не кричи. На Лужняка надо было кричать, а не на меня!

В сенях раздался стук, и Фиалковская вышла.

— Что там ещё? — простонал муж.

— Ничего. За тобой приходили.

— Кто? Что? Как это, за мной?

— Да успокойся ты, ради бога! Сотрудники твои приходили. Спрашивают, почему тебя нет на работе. Я сказала, что ты болен.

Паника, начавшаяся в канцелярии уполномоченного, быстро перекинулась в город, где среди поляков сразу возникли группы и группки, по-разному оценивающие положение.

— Я говорила, что этим кончится, вот и доигрались!

— А отвечать за всё придётся нам.

— За что это мы будем отвечать?

— Хорошо вам говорить... Вы-то взяли советский паспорт — что вам теперь?

— А вы почему не брали? Угодно было Лужняка слушаться, теперь и расхлёбывайте эту кашу!

— Выходит, что это я во всём виновата?

— Нет, вы другое скажите: как они могли бросить нас на произвол судьбы?

— Вам-то что, произвол судьбы... Бумазейку от большевиков, небось, получали?

— Ну и что из этого? Почему мне было не брать, раз давали? Посольских шелков дожидаться?

— Ну да, таким-то хорошо, а вот мы...

В совхоз, где работали Ядвига и Роек, новость дошла в другой форме. Там узнали о событиях из советского коммюнике.

— Ну, и слава богу! — высказалась госпожа Роек. — Теперь, наконец, всё ясно, а то это посольство только голову людям морочило. То одно, то другое, дёргают людей, а толку ни на грош. И вы только поглядите, как они в два счёта с немцами договорились!

Госпожа Жулавская сидела надутая. Она всё ещё не работала, ссылаясь на больную ногу, которая будто бы от времени до времени распухла. Павел Алексеевич смотрел на её безделье сквозь пальцы, кормить её в столовой продолжали, и ей оставалось только бродить по совхозу с кислым лицом несправедливо обиженного человека.

— Ну, уж будто бы они с немцами договаривались! — тотчас возразила она.

— А то нет? Вот, почитайте! Одиннадцатого немцы объявили об этих могилах, а те, в Лондоне, уже шестнадцатого не нашли ничего лучшего, как кинуться в Красный Крест! А к Советскому Союзу обратились с нотой только двадцать первого, да так, будто всё это уже проверено и доказано!

— Что ж, это ведь не преступление — обратиться в Красный Крест, затем он и существует.

— Ну, конечно! А фашисты так сейчас и впустят этот Красный Крест, так и позволят ему всё осматривать? И вы верите в эти гитлеровские штуки? И как они, боже ты мой, плачут над этими польскими офицерами! Такие вдруг оказались чувствительные! И польскую комиссию туда сейчас же отправили... Будто мы не знаем, что за поляки в этой комиссии. Что ж вы не знаете, что в Польше творится? Кому же, как не фашистам, понадобилось наших офицеров убивать? Нет, брат, нас не надуешь!

Вечером явились Шувара и мальчики.

— Дело ясное, — согласился с госпожой Роек Шувара. — Может, и не сам Сикорский и даже скорее всего не он, но кто-то в этом пресловутом правительстве снюхался с гестапо и согласовал с ними всю кампанию. Слишком уж быстро и организованно всё это пошло... Да и цель ясна. На фронте сейчас гитлеровцам не везёт, вот они и пытаются ослабить противников другими средствами.

— Нашлись у поляков защитники!

— Вот именно!

— Но как бы то ни было, — твёрдо объявила госпожа Роек, — а мы должны от этого отмежеваться.

— Как это, отмежеваться? — удивилась Ядвига. — При чём же тут мы? Что у нас с этим общего?

— Разумеется, ничего, дитя моё. Но ведь надо, чтобы это было ясно для всех. Правда? — обратилась она к Шуваре.

— Надо послать телеграмму в Москву, в газету «Свободная Польша», — согласился тот.

— От кого?

— От нас всех. Но газета газетой, а где же этот Союз польских патриотов? Что он делает? Довольно уже уполномоченным посольства пакостить, хватит с нас всего этого! Кажется, пора нам самим взяться за работу среди поляков.

— Ну вот, видите? — обрадовалась Роек. — Я так сразу и сказала: слава, мол, богу! А то, что это? Ни богу свечка, ни чёрту кочерга — вроде и союзники, а кроме мерзостей, тут от поляков ничего и не выдали. Ну-ка, пишите телеграмму.

— Совсем уж хотите на большевистское попечение перейти, — вздохнула «полковница».

Госпожа Роек всплеснула руками.

— А до сих пор кто обо мне попечение имел? Кто меня кормил, кто меня одевал?

— Одевали-то вас не так чтоб очень роскошно.

— Что у самих было, в то и одевали! Я к шелкам не привыкла, да в свинарнике они и не нужны. А кто мне дал крышу над головой? Да и вам-то, много вам те дали? Если бы не Павел Алексеевич, что с вами было бы? Вот вы здесь на даровых хлебах сидите, а попрекнул вас что-нибудь хоть словом?

— Я человек больной, — с достоинством возразила Жулавская.

— А больной, так почему вас эти польские уполномоченные не лечили? Небось, здесь чуть не каждый день в амбулаторию бегаете! Руки у вас здоровые, могли бы работать, кабы охота была... Но не в этом дело... Кто-кто, а я о посольских заботах плакать не стану! Боком эти заботы людям выходили... Советские паспорта запрещали брать, в спекуляцию людей втягивали, а то и похуже. Не один, кто их слушался, в порьму за это попал, да ещё мучеником и национальным героем себя считает, болван! От работы людей отбили, паразитов, нищих из них сделали, которые только и ждут, не перепадёт ли им что с барского стола. Сколько солдат из-за них пропадает — кому нужны всякие эти Багдады, куда их отправили? Нет уж, и не говорите мне о них, об этих наших лондонских заступниках! Ну, что ж вы? — обратилась госпожа Роек к Шуваре. — Пишите телеграмму, вот вам бумага.

Первой подписалась Роек, за ней другие.

— А вы? — обратилась она к «полковнице».

— Я? Вы хотите, чтобы я тоже подписала?

— Не хотите, не надо. Вольному воля.

Но та направилась к столу:

— Почему же нет! Могу подписать. Хуже мне от этого не будет.

— Смотрите! Господин Малевский вас в Польшу за это не впустит, — пошутил Владек. Она смерила его холодным взглядом:

— При чём тут Малевский? Я ещё, слава богу, ему не подчинена.

Она подписала, тщательно выводя буквы.

«Малевский... — думала она, — такой же мошенник, как другие! Чем он помог, что посоветовал? И вообще... Таким притворялся осведомлённым, такие всегда у него были новости, прямо из первоисточника, а оказалось, всё одно враньё и хвастовство». Она вспомнила, чего он только ни наговорил ей о готовящемся казахском восстании. Между тем ни о каком восстании и речи нет. Зато соседний колхоз успел за эти дни устроить праздник в честь Героя Советского Союза — казаха, уроженца этой деревни. Никто и не думал брать ножи в зубы, никому и не снилось нападать на большевиков. Зря она тогда не спала столько ночей, ожидая, что вот-вот раздадутся дикие крики, взвьётся пламя. А Малевскому что? Поговорил в досталь, напугал её и исчез. Да и

остальные его предсказания... Утверждал же он, что гитлеровцы со дня на день форсируют Волгу, а они не только её не перешли, но вся их армия позорно погибла под Сталинградом. Рассчитывал на японцев, которые якобы вот-вот перейдут границу, а японцы что-то и не шевелятся. Обещал, что сюда войдут англичане, а англичане и не думали входить. Нет, она ещё раз убедилась, что верить никому нельзя. А теперь и совсем неизвестно, что будет. Конечно, здесь не рай, в этом совхозе, она привыкла к другой жизни. Но как-то жить всё же и здесь можно. Да и здешние люди, хотя они не из её круга, оказались, в сущности, гораздо порядочнее, чем все другие. Лучше не порывать с ними. И какое значение имеет эта телеграмма? Бумажка, только и всего. Вряд ли за неё придётся отвечать. И, наконец, на кого ей рассчитывать, если это посольство и раньше не отвечало ни на одно её письмо, а теперь и вовсе убирается за границу?

Мужчины вечером долго сидели у Павла Алексеевича, обсуждая прошедшее.

— Одно ясно,— заметил в заключение разговора Павел Алексеевич,— начинается что-то новое. И чувствует моя душа, что у меня в совхозе долго вас не оставят. Уж это наверняка.

— И настоящая польская армия теперь, наконец, будет, правда? — допытывался Владек.

— Ну, а как же! Разве ты не читал в газете? В первом же номере писали!

В эту ночь никто не мог спать. Изумительно, как быстро развёртывались события, которые могут изменить всю жизнь до основания!

Ядвига вышла во двор. Марцьёс стоял, опершись о палисадник, и смотрел куда-то вдаль, в густую тьму. Бархатная глубина казалась ещё чернее на фоне неба, пылающего крупными звёздами. Тёплые дуновения доносились с гор. Ещё только конец апреля, но здесь это уже не весна, а цветущее лето.

Ядвига встала у забора рядом с Марцьёсом.

— Как вы думаете, ответят нам на телеграмму? — задумчиво спросил он.

— Наверно ответят, ведь теперь люди понадобятся. Теперь и ты пойдёшь в армию... В новую армию, которую сейчас создадут... А помнишь, как мы тогда узнали, что те уходят в Иран?

— Уже год прошёл...

— Тюльпаны тогда цвели... Год! А кажется, так давно, так давно это было... И вот всё начинается сызнова.

— Тогда немцы шли на Кавказ...

— А теперь наши идут на Украину.

С минуту они помолчали, задумавшись. В траве звенели цикады.

— Марцьёс, а помнишь песенку, которую ты пел тогда на вечеринке? Песенку о тюльпанах?

— Ах, эта... Я как-то слышал её от горцев на экскурсии в Татры. Только моё пение...

— Нет, нет, спой. Только так, потихоньку, я хочу вспомнить.

Он стал тихонько напевать, глядя во тьму, и вспоминал ту ночь в Хохловской долине. Они жгли костёр ночью, шумел горный поток, позвякивали овечьи колокольчики в ограде. Светила луна, серебра росную траву. Такая странная, удивительно тихая, чёрная и серебряная ночь! Чёрные тени на серебряной траве и высоченные сли с обвисшими лапами гигантских ветвей.

Ведут Яся, тянут... что с ним делать станут?
 На площадь выводят, под петлю подводят.
 — Не жаль тебе, Ясю, ни отца ни мамы?
 — Жаль, мне не удастся с люббой попрощаться.
 — Яничек, сыночек, ты нас огорчаешь!
 Скоро ли вернуться к нам ты обещаешь?
 — Как взойдут тюльпаны на столе у вас —
 К вам я возвращуся в тот же самый час!
 — Где ж о том слыхали, где ж это видали,
 Чтоб вот так тюльпаны в хате выростали?!

Отчего наворачиваются слёзы на глаза? О ком говорит песня? О тех, кто пошёл, о тех, кто пойдёт воевать? О Стефеке, о Петре, о Марцусе? И неужели вечно придётся с кем-то расставаться, кого-то терять? Но на этот раз пусть будет так. В эту армию пойдут все — и Шувара, и Скворонский, и Хобот, все...

— Как взойдут тюльпаны на столе у вас —
 К вам я возвращуся в тот же самый час!

— Какая тёплая ночь, — сказала вышедшая за ними госпожа Роек. — Мне тоже что-то спать не хочется. Что это ты тут пел?

— Да так, одна горская песенка...

— Голосов вам бог не дал, тут уж ничего не сделаешь. Но слух у них есть, это от отца... — начала было госпожа Роек и вдруг умолкла, будто прислушиваясь к далёкой музыке цикад, как золотые искорки рассыпанной в траве. И неожиданно закончила: — Ну только что касается Владека, то и речи быть не может! Найдётся ему работа и не в армии.

Марцусь даже вздрогнул от неожиданности.

— Что вы, мама? О чём это вы?

— Да о чём же ещё? Видно, уж доля моя такая... Слава богу, что я тебя хоть от этого Андерса уберегла. Сам видишь, что я была права. Вот теперь будет настоящая армия, теперь другое дело.

Он вдруг наклонился и поцеловал матери руку.

— Что это ты? — удивилась она.

— Ничего... Спасибо, мама.

Они стояли в темноте под искрящимся, золотым небом. Звенели, играли, заливались цикады. И в такт их скрипичным звукам Ядвига упорно вспоминались строчки:

— Как взойдут тюльпаны на столе у вас —
 К вам я возвращуся в тот же самый час!

То не была ни грусть, ни печаль, хотя глаза были мокры от слёз. Почему они все трое подумали об одном? Об этом невозможно было не думать. «А ведь, пожалуй, и я могла бы пойти в эту армию, — мечтала Ядвига. — И если мне суждено ещё встретить Стефека, то, конечно, там... Только будут ли принимать в армию женщин? И Олесь... Как тогда быть с Олесем?»

— Ну, политика политикой, а спать всё равно пора, — решительно заявила вдруг Роек. — Работы завтра по горло. Надо напоследок показать, что не даром хлеб ели.

— Почему — напоследок?

— Дитя моё, не будем же мы здесь сидеть, когда начнётся работа. Придётся уж этих поросят кому-нибудь другому мыть. Нам придётся приниматься за другие дела. Людей-то ведь мало.

— Ого, ещё вам мало, — вмешался Марцусь.

— Ну, дорогой мой, есть люди и люди! Видел, что в городке творится? Ты-то, конечно, помчишься в армию, но ведь и на эту армию тоже кому-то придётся работать. Ещё как пригодимся!

— Вижу, мама, вам опять уже хочется путешествовать...

— Путешествовать не путешествовать, но и вправду я уж что-то за-сиделась на месте, вроде как у себя в Груйце... А вчера у меня целый день левая рука чесалась — это к дороге.

— Раньше вы говорили, что это значит — с кем-то здороваться придётся.

— Ничего ты не понимаешь. Здороваться, это если правая рука чешется. А левая — к дороге. Не подумай только, Ядвина, что я верю в эти глупости. Так, по привычке говорится... Как эти сверчки звенят!

— Не сверчки, а цикады.

— Ты бы лучше не поправлял мать на каждом шагу. Сто раз уже слышала, что цикады. Ну, и пусть будут цикады, а по-нашему — сверчки.

По небу скатилась звезда, оставив за собой огненную полосу, долго сиявшую в небе, зачёркивая золотистые звёздные лучи.

Глава 9

— Ты только не бойся. Голову выше, и берись за них хорошенько. Да смелей! Знаем мы, что это за банда!

— Сумею ли я? — вздыхала Ядвига.

— Что за глупый вопрос! Должна суметь, вот и всё... Впрочем, с тобой ведь будет Кузнецова из Горно, вдвоём справитесь. Да, наконец, в чём дело? Должна сделать, и точка. И кого ты, собственно, боишься?

— Да я не боюсь, я только...

— Знаем мы таких! Ты с самого начала держи себя твёрдо и не давай втереть себе очки. Сразу — карты на стол! И всё сама проверишь, книги, документы — ни одного слова не принимай на веру. И протокол составь, чтобы всё было в порядке.

— Это-то я знаю...

— Ну, а что ещё? Людей боишься? Так какие же это люди!

— Вы бы сами всё лучше сделали, чем я.

— Ах, вот в чём дело! Ну, нет, милая моя, не отвертись. Я буду делать своё, а ты своё. Можно подумать, что ты такая уж овечка. Небось, Жулавскую умела поедом есть, возьми-ка теперь за этих.

Всё это было верно. Но с первого же момента, как началась работа, Ядвига жила почти в непрерывном ужасе. Придётся сталкиваться с чужими и неприятными людьми, ссориться с ними. Надо дать им почувствовать, что никакие увёртки не помогут, что она представляет собой до некоторой степени власть — власть, которой её, Ядвигу, наделили избравшие её на этот пост люди. Она приняла пост — и точка. Надо работать. И всё же всякий раз её охватывал страх перед столкновением с враждебно настроенными людьми, перед тем, что придётся с ними говорить, давать им распоряжения. Она завидовала уверенности госпожи Роек. Побывав на съезде Союза польских патриотов в Москве, та развила ещё большую энергию и мало-помалу становилась главным лицом среди польского населения района. Шувара остался работать в Москве.

— И правильно! — говорила госпожа Роек. — Там он нужнее, здесь и я справлюсь. Что ты так смотришь, не веришь? — вдруг обратилась она к Ядвиге.

— Почему — не верю? Конечно, справитесь. Просто я завидую.

— Есть чему! Тому, что я людей не боюсь? А чего их бояться? Если порядочный человек — его бояться нечего. А если свинья, так тем более.

Сколько раз я уже убеждалась, что если кто прорвётся, так обязательно и трус. Прикрикнуть на него — сразу притихнет. Ведь мы в своём праве. Так чего бояться? Помни только — с самого начала построже!.. Представляю, что у них в этом детском доме делалось. Эх, жалко, Марцыся нет, а то он бы сходил с тобой, — вздохнула она. И вдруг вспомнила: — Но Владека я на фронт не пушу, вот чтоб мне кончины не дожидаться — не пушу. Ну скажи сама, какой в этом смысл? Сопляк, совсем ещё дитя — и вдруг на фронт!

— Вы же сами говорили, что там есть и помоложе.

— Мало ли что я говорю! И сейчас вот говорю, а какой толк? Как я его не пушу? Станет он меня спрашивать! Нет, так уж мне, видно, на роду писано... Хорошо хоть, что оба вместе будут, Марцысь в случае чего за ним присмотрит... И знаешь, что я тебе скажу? Может, когда наведём здесь порядок, я и сама махну в эту дивизию...

— Ну, уж вы придумаете!

— А что? Думаешь, не пригожусь? Ещё как бы пригодилась! Я тебе даже скажу, раз уж на то пошло, что я говорила об этом с Шуварой.

— А он что?

— Не советовал, — вздохнула Роек. — Сказал, что здесь некому будет работать, а работа на местах не менее важна, чем в дивизии. Что ж, разве я не понимаю, что ли? А только вот как на духу тебе признаюсь — так мне захотелось в армию, ты даже представить себе не можешь... Думаю себе — вот бы муж-покойник удивился, если бы меня увидел... Ну, да не в этом дело. Приехала я сюда — вижу, работы и вправду уйма. Ну уж я им покажу! Только вот ты, дитя моё, в этом детском доме всё как следует...

— Не беспокойтесь, всё будет в порядке, — заверила её Ядвига, чувствуя невыносимое стеснение в груди от страха.

Детский дом помещался на окраине, в тихом, спокойном переулочке. Входные двери были полуоткрыты. Маленькое существо, чистившее в сенях картошку, подняло на входящих голубые глаза, на которые свисали растрёпанные светлые, давно не чёсанные волосы.

— Ты что тут делаешь?

— Картошку чищу, — шепнула девочка, стряхивая с платья шелуху.

— А где директор?

— Госпожа директорша? Не знаю.

— Как же так, не знаешь! У себя она или ушла куда-нибудь?

— Не знаю. — Девочка поднялась с пола, неуверенно взглянула на стоящих перед ней женщин и принялась тереть грязным кулаком глаза. — Чего же ты плачешь? Мы детей не едим. Ну, проводи нас, покажи, где здесь канцелярия.

— Да я же не знаю...

Девочка совсем расплакалась.

Кузнецова потянула Ядвигу за рукав.

— Девочка, видно, запугана, ничего мы от неё не узнаем. Идёмте, поищем сами.

Длинный коридор был пуст, нигде не слышно было ни звука, не видно было никаких признаков жизни.

— Странно. Не могли же все сразу уйти.

Но в конце коридора вдруг показался высокий молодой человек в куртке внакидку и в стоптанных ночных туфлях на босу ногу.

— Что надо?

- Где здесь канцелярия?
- Какая ещё канцелярия?
- Канцелярия детского дома, — ответила Ядвига. Сейчас госпоже Роек уже не пришлось бы ободрять её. Весь её страх исчез, уступив место гневу.
- А на что вам канцелярия?
- У нас дело к директору.
- Госпожа директорша вряд ли сейчас вас примет. Зайдите позже.
- А по какому делу?
- Это вас не касается. А вы тут, собственно, кто?
- Я? А вам зачем знать? Это моё дело.
- Так где же, наконец, канцелярия?
- Нет тут никакой канцелярии. Выдумают тоже! И без канцелярии места нехватает.
- Ну, где в таком случае, принимает директорша?
- Наверно, у себя в комнате, вот там, вторые двери налево. Только я ведь сказал, зайдите позже. Сейчас она, вероятно, ещё опит...
- В одиннадцать часов?
- Молодой человек свистнул сквозь зубы.
- А что, в одиннадцать часов спать не разрешается? Новый закон вышел? Мы тут что-то о нём не слышали.
- Вы тут, кажется, о многом ещё не слышали.
- Может быть. Только я бы вам посоветовал не шнырять здесь, делать вам тут совершенно нечего.
- Пожав плечами, Ядвига постучала в указанную дверь. Изнутри не ответили. Она постучала громче.
- Кто там? — раздался из комнаты хриплый женский голос. — Чего надо?
- Откройте. Комиссия.
- Внутри послышалось движение, шлёпанье босых ног. Дверь приоткрылась, в щель появился один глаз и розовая щека.
- Что за комиссия? Приходите позже, я ещё не встала.
- Дверь явно собирались захлопнуть, но Ядвига, сама удивляясь своей смелости, вставила ногу в щель.
- Прошу немедленно открыть. Понятно? Комиссия по приёму детского дома!
- Что? Что? Какому приёму?
- Будьте любезны, прочтите. — Ядвига просунула в щель свой мандат. С минуту бумага шелестела в невидимых руках.
- Я не умею читать по-русски.
- Там есть и польский текст. По-польски вы тоже не умеете?
- В глубине комнаты послышался шёпот. Ему ответил другой.
- Я сейчас... — Дверь, наконец, приоткрылась, но лишь настолько, чтобы выпустить в коридор молодую особу в ярком халатике, и поспешно захлопнулась.
- Я ничего не знаю, — тотчас заняла особа. — Никто мне ничего не говорил... Дом находится под контролем господина уполномоченного Фиалковского... Господин Фиалковский не дал мне никаких указаний, без него я не имею права...
- Вы ознакомились с нашими полномочиями?
- Ознакомилась. Вот только если бы господин Фиалковский...
- Господин Фиалковский нас пока не интересуется. Будьте любезны сдать счета, документы, запасы, показать списки инвентаря... И потом, быть может, у вас найдётся всё же какое-нибудь место, где мы с вами поговорим?

— Место, место... У нас так тесно... — Дамочка с минуту соображала. — Тогда, может, в столовой?

— Давайте в столовой.

Дом оживал. Послышались шаги, хлопанье дверей, отголоски приглушённой ссоры.

— Сюда, пожалуйста!

Столовая оказалась довольно большой комнатой, где на круглом столе громоздились горы грязных тарелок, валялись пустые бутылки, недоеденные ломти хлеба, — всё это в достаточной степени объёняло заспанный вид и директорши, и встреченного комиссией в коридоре молодого человека.

— Вот здесь можно присесть. — Дамочка в халатике указала на диван с высокой спинкой.

— К сожалению, там кто-то спит, — заметила Ядвига.

— Спит? Ах да, действительно... Чесек, Чесек, вставай сейчас же!

Из-под натянутого на голову пальто появились сперва растрёпанные волосы, потом запухшие глаза и, наконец, всё лицо, молодое, но отёкшее и желтоватое.

— Чего надо? Чего орёшь? Поспать человеку не дадут...

— Вставай, Чесек. Комиссия пришла!

— Чихал я на твою комиссию! — буркнул молодой человек, как две капли воды похожий на встреченного в коридоре, и опять натянул на голову пальто, собираясь заснуть. Но директорша уже рассердилась.

— Сейчас же вставай, чёрт тебя возьми, слышишь? Напились, скот!.. — крикнула она, стремительно рванув с него пальто.

— Сама, небось, больше напилась, — мрачно бормотал юноша и, спустив с дивана босые грязные ноги, с неожиданным интересом уставился на них.

— Убирайся, что б я тебя тут больше не видела!

— Не ори. Убираться, так убираться. Подумаешь, комиссия... Две бабы...

Директорша наклонилась и что-то шепнула ему на ухо.

Он исподлобья окинул взглядом Ядвигу и Кузнецову:

— Ага, добрались и до вас! Говорил я вам...

Он встал и, волоча по полу пальто, не спеша направился к выходу.

— Ну, так вот, времени у нас мало. Будьте добры, покажите книги, счета.

— Книги? Да что вы, сударыня, какие там книги! — любезно улыбаясь, заговорила директорша. — У нас никаких книг не ведётся, я ведь не бухгалтер.

— А кто вы, собственно?

— Я? Как — кто? Просто господин уполномоченный Фиалковский попросил меня заняться этим домом, и я согласилась из любезности. Он мой старый знакомый, так вот, чтобы услужить ему... Это такой милый человек... Вы его знаете?

«Не позволяй втереть себе очки», — вспомнились Ядвиге слова госпожи Роек. Но это нельзя даже назвать очковтирательством. Эта дура как будто и вправду не понимает, что происходит.

Кузнецова в это время внимательно рассматривала стол, оглядела столовую и только махнула рукой, когда Ядвига хотела перевести ей ответ директорши относительно отчётности.

— Не надо, я понимаю, всё поняла... Ничего не поделасшь, надо сперва обойти весь дом и посмотреть, что здесь происходит.

Дама в халате хоть и уверяла, что не знает русского языка, видимо, отлично поняла слова Кузнецовой.

— О, пожалуйста, если вам угодно... Только я не знаю, имею ли право показывать.

— Как, имеете ли право? Вы видели наши мандаты.

Дама тщательно застёгивала упорно расстёгивавшуюся кнопку халатика.

— Видела. Но дело в том, что я назначена сюда делегатурой нашего правительства и уполномоченным посольства. Так что без них неудобно...

— Не морочьте голову! — грубо перебила её Ядвига. — Делегатура давно ликвидирована, это вам прекрасно известно, ведь почти год, слава богу, прошёл. А уполномоченный посольства арестован за мошенничество, что тоже, вероятно, для вас не секрет.

Та прикусила губу.

— Я не говорю о... господине Лужняке, — выговорила она как бы с усилием. — Меня просил господин Фиалковский, который заменил его на посту уполномоченного.

— Чьего уполномоченного? Впрочем... Фиалковский, на которого вы всё время ссылаетесь, тоже уже в тюрьме.

Директорша пискнула и отшатнулась.

— Господин Фиалковский?! Такой порядочный, такой милый человек!.. Боже мой!

— Вот, вот! Так что не стоит на него и ссылаться. А если вам угодно, мы можем через десять минут явиться сюда с милицией. Может быть, хоть она вас убедит, что существуют законы.

— Милиция... Натравить на беззащитную женщину милицию?..

— Мы тоже беззащитные женщины. Так вот, будете вы нам показывать дом или нам одним итти?

— Отчего же не показать, если вам интересно? Могу показать. Только тут нет ничего любопытного. С чего прикажете начинать?

— С самого начала.

— Только... Только вот не знаю, как быть...

— Что такое?

— Не все ещё встали, так что...

— Не беда.

— Как хотите.

Она без стука открыла первую дверь. Одевающаяся женщина взвизгнула и прикрыла голые плечи схваченной со стула блузкой.

— Это кто-нибудь из персонала?

— Конечно, конечно... Может, хотите войти?

— Не надо. А дальше?

Но дальше тоже оказались жилые комнаты. В них были одни взрослые — мужчины, женщины, но ни одного ребёнка. Кузнецова вдруг забеспокоилась.

— Это ведь Завальная улица четыре? Детский дом?

— Да. О чём она спрашивает? — обратилась директорша к Ядвиге, во-время вспомнив, что не знает русского языка.

— А где же дети?

— Ах, дети... Разумеется, дети есть... Только часть мы недавно перевели в другой дом, здесь было так тесно... Так что детей сейчас... не очень много. Мы как раз ожидаем новую партию.

— Тогда, будьте любезны, покажите комнаты, приготовленные для этой новой партии.

— Комнаты? Но у нас всё, всё занято. Вы сами видите, какая теснота... Повернуться негде!

— Вот что: прикажите созвать весь персонал в эту столовую, или как она у вас называется, — распорядилась Кузнецова.

— Леон! — пискливо крикнула директорша. В дверях появился пожилой плечистый усач.

— Это наш надзиратель. Леон, пусть все сейчас же соберутся в столовой. Ну что вы тарачите на меня глаза? По-польски не понимаете?

— В столовой пан Чесек спит.

— Давно встал. Идите же! Сто раз вам повторять, что ли?

— Да мне-то что! Не спит, так не спит! А только когда я хотел собрать со стола, он как запустит в меня сапогом...

Снова захлопали двери, послышались шаги. Где-то на другом конце коридора заспорили:

— Холера им в бок, не пойду! Кто мне может приказать, ну кто?

— Иди, слышишь, а то... Что ты, боишься их, что ли?

— Я боюсь? Кого? Этой большевистской комиссии? Двух баб прислали! Да я бы их за шиворот — и вон! Так бы и вылетели!

— Ну, ну, не беспокойся, за углом, наверно, милиция ждёт.

— Боюсь я их милиции! Помнишь, в Ташкенте мы им...

— Вот, вот! Самое время и место об этом вспоминать! Входи уж, входи.

Комната медленно заполнялась. Все входили не здороваясь, равнодушно становились вдоль стены. Преимущественно молодые люди, несколько женщин. Усатый надзиратель был единственным пожилым человеком среди них.

— Сколько персонала в доме? — спросила Кузнецова, раскладывая на краешке неубранного стола бумаги и вынимая самопишущее перо.

— Ого, записывать собираются!

— Свирепая баба... А другая кто — полька, что ли?

— Да, из тех полек, которые, знаешь...

— Прошу потише! — Кузнецова сказала это тихо, но в голосе было что-то, от чего все сразу умолкли. Лишь один из молодых людей демонстративно цыркнул сквозь зубы в угол.

— Сколько у вас персонала?

— Восемь человек, — неохотно выдавила из себя директорша.

— Восемь? А остальные? Сколько вас здесь, господа?

Молчание.

— Ну что ж, сосчитаем сами, — согласилась Ядвига. — Присутствуют тридцать человек.

— Как тридцать? — возмутился юноша, которого они видели спящим в столовой, но вмешался усатый надзиратель.

— А что ж, верно. Дамочка правильно сосчитала. Тридцать человек, как из пушки.

— И что вы тут, собственно говоря, делаете? — спросила Ядвига.

Они неуверенно переглядывались, но не отвечали: ведь вопрос не был задан никому в отдельности. Ядвига поняла свой промах.

— Ну, вот вы, например, делаете здесь что-нибудь, несёте какие-нибудь функции?

— Я? Ещё чего нехватало! Нет, я тут никаких функций не несу.

— Так что же вы делаете в детском доме? Как сюда попали?

— Я? У меня сестра здесь работает.

— Ах так, сестра... Ну, а вы?

— Временно, милостивая государыня, временно, всего на несколько дней!

После долгих расспросов, уклончивых ответов и пререканий удалось, наконец, разбить присутствующих на две группы. Восемь человек персонала и двадцать два человека, не имеющих никакого отношения к детскому дому.

— Кто из персонала имеет рабочую квалификацию? Может, вы будете так любезны продиктовать, — обратилась Ядвига к директорше.

— Я? Как я могу? Откуда я знаю! — пожала та плечами.

— Ведь вы, кажется, директор?

— Директор. Что же из этого? Я ведь сказала, что я только из любезности. Господин Фиалковский просил... Притом я и сама тут так недавно...

— И не успели ещё ознакомиться с персоналом?

— Не успела, — поспешно подтвердила та.

— Любопытно! Что ж, тогда пусть каждый сам продиктует.

Никто не шевельнулся.

— Прошу вас. Ваша фамилия?

— Пенчковская, — неохотно ответила крашеная блондинка, поправляя растрёпанные локоны.

— Ну-с, так какая же у вас квалификация?

— Квалификация?

— Что это вы, господа, будто самых простых слов не понимаете? Какая у вас профессиональная квалификация, что вы умеете, что вы окончили? Курсы заведующих яслями, педагогические курсы, университет?

— Никаких я курсов не кончала, — обиженно ответила блондинка.

— На каком же основании вы получили работу в детском доме? Ведь вы здесь числитесь?

— Вы нас упрекаете, — вмешалась директорша, — что мы ничего не понимаем, а сами точно с луны свалились. Что ж, вы не знаете, что война?

— Очень хорошо знаю, — сухо ответила Ядвига. — Не понимаю только, при чём тут война?

— Как при чём? О каких квалификациях может идти речь? Кто соглашался работать, того и брали. Подумаешь, наука — смотреть за ребятами. Для этого университетов не требуется.

— Вы так полагаете?

— А конечно. Надо считаться с людьми, не то...

— Хорошо, хорошо. Есть ли среди вас, господа, учителя?

Но среди восьми человек персонала ни одного учителя не оказалось. Не оказалось и ни одного человека хотя бы с минимальной педагогической подготовкой.

— Ну, а сами вы, — обратилась Ядвига к директорше, — чем вы занимались в Польше?

В толпе присутствующих раздались сдавленные смешки. Директорша снова прибегла к своей любезной улыбочке:

— Я? О, я — то тем, то другим... Я же сразу сказала, что с детскими домами не имею ничего общего... Но по просьбе господина Фиалковского, из любезности...

— Из любезности... Понятно.

Кузнецова быстро записывала данные. Затем подняла голову.

— Прекрасно. Со взрослыми кончено. Теперь мы хотели бы увидеть детей.

— Детей? Да, конечно... детей можно. Конечно... Леон! — директорша обратилась к усачу. — Приведите детей.

— Нет, нет, мы сами к ним пойдём, — поспешно сказала Кузнецова. — Не надо звать.

— Но зачем же? Он сейчас, спю минуточку... Леон, сказано вам!..

Усач выжидательно смотрел на Ядвигу.

— Не надо звать. Отведите нас к детям.

— Я сейчас сама! — вскочила директорша.

— Благодарю вас, вы можете тоже пойти с нами. Но проводит нас этот гражданин...

— Ого, Леона уже в граждане произвели! — язвительно заметил кто-то в толпе. Усач двинулся по коридору. В углу ещё валялась картофельная шелуха, но девочки уже не было.

— А где же девочка?

— Какая девочка? — любезно заинтересовалась директорша.

— Которая чистила здесь картошку.

— Картошку? Какую картошку? — всё больше удивлялась та.

— Ну, Ганка же! — подсказал надзиратель.

— Ах, Ганка! Вечно она с этой картошкой... Сколько раз я ей говорила, чтобы она не смела!

Они спустились по расшатанной деревянной лесенке во двор. На земле валялся навоз, возле огромной колоды лежали топор и мелко нарубленные дрова.

— Куда мы идём? — удивилась Ядвига.

Усач насмешливо улыбнулся.

— Ведь вы, дамочка, к детям хотели? Вот я вас к детям и веду.

Скрипнула дверь наскоро сколоченного сарайчика.

— Как, здесь живут дети? — остолбенела Кузнецова.

— Да, знаете, — заторопилась директорша с приятнейшей из своих улыбок. — В доме тесно, вы сами видели, да и воздуха здесь больше. Летом, знаете, такая жара... Так что детям здесь лучше, здоровее. Воздух!

Кузнецова отстранила её. Усач распахнул дверь.

— Осторожнее, нагнитесь немного.

Внутри царил полумрак. Лишь когда глаза привыкли к потёмкам, Ядвига заметила лежащие на глиняном полу охапки соломы. Сквозь щели в сарайчик проникали тонкие солнечные лучи, и пыль мерцала тысячами золотых вспыхивающих и тотчас гаснущих искорок.

— Но ведь здесь никого нет!

— Ну да, как же нет! Попрыгались цыплята... Ну-ка, цыплята, вылезай! — весело крикнул усач.

Солома зашевелилась. Из неё выглянула всё та же светлая, растрёпанная головка, которую они уже видели в снях.

— Ну, ну, смелей! Нечего бояться! Вылезай, вылезай по очереди!

Снова зашуршала солома. Кузнецова схватила за руку Ядвигу и сжала её так, что та чуть не вскрикнула.

— Ну вот и всё наше хозяйство, — сообщил усач, когда из соломы один за другим вылезли пятеро детей и, отряхиваясь, исподлобья, с опаской уставились на присутствующих.

— Сколько же вас тут?

— Пять, — ответил тоненький голосок.

— Ну хорошо, выходите, выходите на солнышко. Сядем вот тут на брёвках и поболтаем, — пригласила Ядвига и, перехватив быстрый взгляд, брошенный одним из мальчиков на директоршу, прибавила: — А госпожа директорша пойдёт вон туда, подальше, посидит там на скамеечке под деревном, подождёт, пока мы поговорим.

Та хотела было возразить, но, встретив взгляд Ядвиги, подчинилась.

— А Леону тоже уйти или пусть останется с нами? — спросила Ядвига. Один из мальчиков как бы невольно улыбнулся усачу.

— Можно Леону остаться? — спросил сам надзиратель. — Леона цыплята не боятся, правда?

Быстрые улыбочки промелькнули на лицах и моментально исчезли. Ядвига поняла, что усача можно не опасаться.

— Ну вот, — начала Ядвига. — Мы из попечительства о детях. Из настоящего попечительства. А эта дама — из советского детского дома. Из такого дома, где у детей своя столовая, спальные комнаты и где они спят в белых, чистых кроватях. И у них есть игрушки...

Она вдруг остановилась, заметив, что детские лица, с самого начала недоверчивые, сейчас стали враждебными. Из-под всклокоченных волос на неё искоса смотрели насмешливые глаза. Худенький, чёрненький мальчик усмехнулся иронической усмешкой взрослого. И эта усмешка, словно в зеркале, отразилась на личиках остальных. Они глумливо улыбались недетской, коварной улыбкой.

Нет, нет, не надо обращать на это внимания, не надо, чтобы они заметили, что она видела эти улыбки. Ядвига почувствовала, как дрожат её руки. Она не испугалась пьяных, наглых прохвостов, которые рассматривали её, обмениваясь какими-то грязными замечаниями. А теперь она испугалась — испугалась этих детей, всего, что таилось за их мрачными улыбками. Собрав все силы, она преодолела дрожь в руках и повторила:

— У них есть игрушки. И мячи, и куклы, и качели во дворе. И книжки с картинками... У вас есть книжки?

Они переглянулись. Маленькая блондиночка — видимо, самая храбрая из всех, — наконец, решилась:

— Нет, была одна, но без картинок... Только она давно уже потерялась...

— Ну, вот видишь... А я из комитета по попечительству о детях. Мы пришли посмотреть, как вам живётся в этом доме, и забрать вас, если вам плохо.

— В советский детский дом? — спросил хмурый, худой мальчик, расцарапывая струн на локте.

— Нет. Может, временно и возьмём в советский, но потом в польский. Только уже в другой, настоящий детский дом.

— А то, если в советский, то я не хочу, — заявил мальчик.

— Почему же так?

— Там запрещают разговаривать по-польски.

— Кто это тебе сказал?

— Директорша. И там зимой поливают детей водой и выбрасывают на мороз.

— И это тоже директорша тебе сказала?

— Когда он разбил стекло, — вмешалась девочка, чистившая раньше картошку, — директорша сказала, что если он и дальше будет так плохо вести себя, его отправят в советский дом, а там уж ему покажут!

— Там бьют железными прутьями по рукам.

— А здесь вас били? — спросила вдруг Кузнецова.

Дети замолкли, неуверенно поглядывая друг на друга.

— Ну что уж там, цыплята! Говорить так говорить. Ну, карты на стол! — добродушно подбадривал Леон.

— Били, — неохотно признался замурзанный, косой мальчик. — Только не железными палками.

— И тарелок там не дают, из одной миски с собаками едят!

— Это тоже директорша сказала?

— И она, и пан Чеслав. Они говорили, что отправят нас туда, если мы будем плохо себя вести.

— Ну вот, теперь сам посмотришь и убедишься, правда ли это. А здесь вам было хорошо?

Никто не ответил.

— Вы что же, всегда в этом сарае живёте?

— Нет, зимой мы в кухне.

— И так целый день и сидите в сарае?

— Нет! — выскочила опять белокурая девчушка. — Только когда кто приезжает, мы сейчас же в сарай!

— Чтобы никто не увидел, — объяснил усач. — А посетителям говорят, что дети, мол, ушли на прогулку. Да кто сюда и заглядывал? Я вам правду скажу, дамочка, что если бы не я, так этих цыплят тут бы давно голодом заморили... Детский дом! Бордак, извиняюсь, они тут себе устроили, бордак, а не детский дом. Пьяны с утра до вечера, жрут, танцуют, патефон заводят, и так почти до утра... Зато спят потом до полудня, — так я тут хоть цыплят успею покормить чем бог послал. Так вот и бедуем...

— И вы никуда не жаловались, не сообщали?

— Э, кому жаловаться? Выгнали бы меня, только и всего. А что же с этими бедняжками будет? Так что уж как придётся... А если правду говорить, так просто крадёшь, бывало, для них, что удастся, и всё!

— Ведь посольство доставляло продукты?

— Доставляло, как же, доставляло... И Советы тоже давали, как же! Только разве на тридцать взрослых хулиганов напасёшься? Да и то сказать, из посольства всё больше вино и водку привозили, а нашим лучшего и не надо. Вон поглядите на ребят, в каких лохмотьях... Что было из одежды, они всё на базаре меняли на всякую всячину. Оно и выходило, что разве я что раздобуду для детишек, а не то и перемёрли бы. Потому, у меня дома двое таких осталось, вот и жалко их. Взрослый мучится, так тот хоть может понять, что и как, а эти цыплята — за что? Вы только смотрите, как бы вас не обманули. Книг там, правда, никаких нет, а всё-таки на складе ещё кое-что осталось, не растащили бы напоследок. Пригодится малышам. — Он наклонился к Ядвиге и спросил полушёпотом: — Правда это, дамочка, что их всех прогонят и другие порядки наведут?

— Правда.

— Вот и они то же самое говорили — ругались, страх! Ну, а мы не очень верили. Какие там другие порядки, думаем. Вон, когда вместо Лужняка Фиалковского назначили, тоже говорили, что всё по-другому будет, а как было, так и осталось... Потому, надо вам знать, что эта наша директорша этому самому унтеру Лужняку сестрица будет. Как же, как же, родная сестра. Перед войной-то она, знаете, на лёгкий хлеб польстилась, ну, короче говоря, по рукам ходила, так что некоторые здесь её и знать не хотели... Ну а теперь, когда вышло, что Лужняк, так сказать, жертва большевизма, так уж о ней этот адвокат Фиалковский позаботился, сюда её устроил. Они тут всё больше из полиции.

— Из полиции?

— Ну да... Довоенные полицейские. И ихние барышни, одному там она сестра, другому — ещё что, а в общем своя компания. Цыплята мои столько от них натерпелись, что и сказать трудно. И боязно, конечно, как бы они совсем тут не пропали.

Дети, сбившись в кучку, жались друг к другу. Ноги их были босы, все в струпьях и царапинах. Ядвига увидела чёрную треснувшую пятку девчушки. Она знала эти глубокие, болезненные трещины на пятках. Кожа лопается от грязи и не заживает, в чёрной щели видно живое мясо. Глаза у всех впалые, руки худенькие, хрупкие, с вьёвшейся под ногти грязью. Ей вспомнились дети из Ольшин в трудные летние месяцы перед новым урожаем, дети вдовы Паручихи... Только здесь не было

даже молодого тростника, чтобы обмануть голод. Одежда в лохмотьях. Но не это самое страшное — детишек можно вымыть, одеть, откормить. Но сколько времени, сколько усилий понадобится, чтобы изменился взгляд их глаз — недоверчивый, враждебный, чтобы исчезли эти недетские, коварные улыбочки, это старческое выражение лиц...

Усач придвинулся ближе.

— Я так соображаю, вы из наших — полька, значит... А та другая, — только вы не обижайтесь, — она что, советская?

— Да.

— Я насчёт того... Если их в советский дом берут, — вы вон сами сказали так, — что же, из них и вправду русских сделают, из цыплят-то?

— Почему? Мы теперь открываем новые польские дома, берём в свои руки прежние. Может, пока они и побудут в русском детском доме, но с польской воспитательницей. А потом поедут в польский дом, под Москвой открывается.

Усач вздохнул.

— Раз уж вы так говорите — может, и я бы в этом детском доме на что-нибудь пригодился? Потому что, я вам скажу, давно уж бросил бы всё это, кабы этих цыплят жалко не было.

«Грязные мальчишки, чёрные от грязи ноги. Чьи же это дети? — думала Ядвига. — Маленький сынок на далёком кладбище в песках... Детские ручонки. Тёмные, широко раскрытые, прямо в сердце глядящие глаза... Чьи же это дети? Неизвестных, умерших родителей, затерявшихся в военной вьюге отцов и матерей, или мои, мои собственные?»

Кузнецова записывала что-то в толстую тетрадь. Директорша спокойно поглядывала на неё и на Ядвигу.

— Ну как? Долго я буду тут сидеть? Арестована я, что ли?

— Мы уже кончили.

— Слава тебе господи! Всё точно записали?

— Нет, ещё не всё. Вы ещё будете любезны показать нам склад, потом составим опись инвентаря. Мы должны расписаться в приёме.

— Боже, сколько церемоний!.. Мне никакие расписки не нужны. Господин Фиалковский мне и на слово поверит, я не из таких, он меня знает...

— Оставьте вы в покое своего Фиалковского, он вами больше заниматься не будет. Не так-то скоро его выпустят.

— Да на что он мне? Подумаешь! Как-нибудь устроюсь. Очень мне нужен этот детский дом... Сколько я тут намучилась, нахлопоталась, да ещё такие неприятности.

Склад был почти пуст. Полотняные простыни, грязные, сваленные в кучу, гнили у сырой стены, никогда не стиранные, ни разу не проветренные. Детского платья не было совсем. Зато в комнате директорши чемоданы лопались от шёлкового белья.

— Да этого никому нет дела. Это моё собственное бельё.

— А откуда вы его взяли?

— Как это — откуда взяла? Не украла. Вот и всё. Что это, уж личной рубашки нельзя человеку иметь? Не всякая готова в большевистских лохмотьях ходить, — добавила она, окинув насмешливым взглядом выцветшее ситцевое платье Ядвиги и её парусиновые туфли. — Впрочем, может, если кто привык. Но я приучена к другому.

Все обитатели дома теснились в дверях, наблюдая действия комиссии. Мужчины подталкивали друг друга локтями, вполголоса обменивались замечаниями. Кузнецова, наконец, оглянулась на них.

— А вам, господа, придётся немедленно покинуть помещение.

Толпа взволновалась.

— Хорошие порядки! Куда же нам деваться прикажете?

— В канаве нам, что ли, ночевать?

— Пока что можете ночевать в сарае. Вот в том самом, который вы предоставили в распоряжение детей.

— Я протестую, — вдруг выступил вперёд молодой человек в стоптанных ночных туфлях. — Нет такого закона, чтобы можно было выбрасывать людей на улицу. Даже у большевиков нет.

— А на каком основании вы здесь живёте? Прописаны? — тихо спросила Кузнецова. Тот смутился и поспешно спрятался за других.

— Прописан? Зачем ему советская прописка? Ведь это наш, польский дом! — обозлилась директорша.

— Что ж из этого? Экстерриториальным было только посольство, а уж ни в коем случае не детский дом...

— Что же, и нам тоже отправляться на улицу? — пискливым срывающимся голосом спросила Пенчковская, обнаруживая все признаки приближающегося истерического припадка.

— Восемь человек из персонала могут пока остаться. Детей мы сегодня забираем. Но завтра начнётся ремонт и уборка дома. Так что советую заблаговременно поискать себе приют. Неквалифицированный персонал мы дольше держать не можем.

— Да что это всё персонал да персонал? А мы? — опять вмешался кто-то из молодых людей.

— О вас нам ничего неизвестно, и мы даже не понимаем, как вы сюда попали. Ваш возраст как будто для воспитанников сиротского дома не совсем подходит.

— А я как раз и есть сирота, — издевался верзила в расшлёпанных ночных туфлях. — Ни папы, ни мамы — пожалели бы меня, дамочка!

— Я вижу, вам очень весело? — сухо спросила Ядвига.

— А почему бы нет? Плакать мне, что ли? Такая хорошенькая женщина авось сжалится над нами... Чем мы не кавалеры! Куда же нам деваться?

— Работать идите. Любой колхоз охотно примет, и крыша над головой найдётся...

— Тю! Колхоз!.. Нет, этого от меня не дождутся... Казашки, наверно, барабанными тулурами пропахли — ни к ней притулиться, ни приластаться...

— Вы в таком весёлом настроении, что, пожалуй, нам лучше уйти.

— Лучше, чернобровая, куда лучше!

— Только сперва уйдёте вы. Прошу немедленно взять личные вещи, но на этот раз исключительно свои. Понятно? Собственные! И уйти. Понятно?

— А если мы не уйдём?

— Тогда вас милиция попросит.

— Смотрите-ка, смотрите! Какие у неё связи с милицией...

— А что ж ты хочешь? На безрыбьи... Без мужчины, оно тяжко. Ну, так хоть миллионер...

Кузнецова посмотрела на часы.

— Даю вам пятнадцать минут.

Притихнув, они разбрелись по комнатам, тащили какие-то гитары, мандолины, высокие сапоги. Всё это сопровождалось непрерывной бранью и ссорами. Женщины всхлипывали, укладывая в чемоданы пёстрые тряпки. Директорша мрачно восседала на проваленном диване.

— Будьте любезны, подпишите протокол, — обратилась к ней Кузнецова. — Здесь записано всё, что мы от вас приняли, что у вас нашли на складе.

- А если я не подпишу?
- Можете не подписывать, — вмешалась Ядвига. — Вот гражданин Леон за вас подпишет, в качестве понятого.
- Могу, отчего же, — согласился усач. — Всё точно записано, могу засвидетельствовать.
- И пока не явится новый человек, вы тут за всё отвечаете.
- Я? То есть как это?
- Вы же сами просили какую-нибудь работу?
- Ага, так... Ну, тогда спасибо вам, дамочка. Здесь подписаться?
- Прочтите сперва.
- А я уже прочитал. Всё в аккурат верно. Сколько они добра запропастили, прямо сердце надрывается.
- Директорша ломала руки.
- Значит я, я буду под начальством Леона?
- Нет, вы пока останетесь в своей комнате, а завтра выяснится, как с вами быть.
- Что ж, мне сидеть в комнате как арестованной?
- Удивительно, как часто вы упоминаете об аресте!
- А вы думаете, я боюсь? Известно, если человек порядочный, так большевики его обязательно в тюрьму посадят. Уж они не дадут приличному человеку гулять на свободе. Да ещё с мандатами... знаю я таких!
- Ядвига вышла из дому вслед за группой его непрощенных обитателей. Она чувствовала, что ноги у неё дрожат от усталости. Леон вызвался проводить детей, и те шли, цепляясь за него со всех сторон, как стайка вспугнутых и всё же любопытных воробушков. Их радовала эта прогулка, столь редкая в их жизни, ограниченной прямоугольником двора. Увидев, что Ядвига хочет попрощаться с ними, они испугались.
- Не надо бояться. У меня ещё много дел в городе, а вечером я непременно загляну к вам. Леон вас проводит, а там вас ожидает панна Люся.
- А она будет говорить с нами по-польски?
- Разумеется.
- А то я и по-русски умею, — похвалился чернявый мальчонка.
- Вот видишь, какой ты умница. Но там вас и по-польски поймут.
- Она постояла ещё с минуту, глядя на удаляющихся детей, и вернулась к домику, где помещалось местное правление Союза польских патриотов — это был тот самый домик, где раньше была канцелярия польского уполномоченного. Вот лесенка, по которой она поднималась тогда, чтобы предстать перед надменной барышней в локонах. Боже, как давно это было, вся жизнь изменилась. Нет больше Лужняка, нет его заместителя, этого гнусного адвоката с выпученными, рыбьими глазами, нет всего этого аппарата, как выяснилось — целых ста человек. Сто человек, получавших жалованье, продовольственные пайки, одежду, сто человек, утопавших в довольстве среди моря польской нищеты! И вот теперь этот дом...
- Госпожа Роек встретила её шумными возгласами.
- Что так долго? Я уж хотела звонить, узнавать... И на что ты похожа? Как с креста снятая! Протокол есть?
- Есть.
- Сколько детей?
- Пятеро.
- Сколько?
- Пятеро детей. И тридцать человек взрослых.
- Роек схватилась за голову.
- Ну, знаешь, дитя моё, если бы мне раньше такое рассказали, я

бы и не поверила. Стася, Стася, — позвала она секретаршу, — садись за машинку, Ядвига тебе продиктует. Надо послать отчёт в Москву.

Ядвига прислонилась к стене, пальцы Стаси забегали по клавишам. Как хорошо в этой маленькой комнате, какое милое лицо у этой госпожи Рокк. И эта Стася, с первого взгляда такая невзрачная, маленькая, а присмотришься — и видишь, какое тонкое, даже красивое у неё лицо. Со вздохом облегчения Ядвига принимается диктовать. Перед глазами так и стоит этот злополучный детский дом, наглые морды полицейских, кривляющаяся директорша.

Но с этим покончено раз навсегда. Сейчас этих пятерых детишеккупают, моют, вычёсывают, сейчас они уже своими глазами убедились, что в советском доме детей и вправду укладывают в чистые белые кровати, кормят и никто никого не бьёт железными прутьями.

— Кончишь диктовать, пошла бы отдохнуть, — замечает госпожа Рокк. — Ужас, как ты выглядишь!

— Нет, я не устала. Если бы можно было достать машину, я бы лучше сразу съездила ещё во второй дом. Лучше не откладывать.

Да, откладывать нельзя. Ведь и там тоже есть какие-то дети — вероятно, горстка детей среди шайки взрослых пьяниц. И вдобавок там может не быть и Леона, даже этого единственного Леона.

«А между тем и здесь есть немало дел. — думала Ядвига, — вот хотя бы недавно прибывший и ещё запломбированный вагон с продовольствием, ожидающий разгрузки. Нет, когда тут отдыхать».

Словно угадав её мысли, госпожа Рокк припомнила:

— Ах, да! Продовольствие? Его уже регистрирует Жулавская.

Чудесно! Значит, одной заботой меньше. Жулавская со своим вечно кислым лицом, с поджатыми губами, сидит и записывает, следя глазами василиска за всеми, кто разгружает вагон, за всяким, кто касается мешков и ящичков. У неё-то не пропадёт ни крошки, она не допустит ошибки ни на один грамм. И самое странное, что эта Жулавская — работающая Жулавская — ни на иоту не изменилась, осталась точь-в-точь такой, какой была. Когда она заявила, что хочет работать, это всех изумило. Да и само это заявление было сделано в её обычном тоне, словно она решалась принять мученический венец. И вдруг Жулавская оказалась незаменимым работником. Она была несносной, капризной попрежнему, а всё же приходилось признать, что это незаменимый работник. Она смотрела всем на руки, словно была единственным честным человеком в мире, не доверяла никому. Но после распушенности, к которой люди привыкли во времена польской делегатуры и хозяйничанья уполномоченного, это было как раз то, что нужно. И что только творилось у неё в голове? Почему она вдруг взялась за работу? Это было так же непонятно, как и то, что она ни с того ни с сего подписала тогда телеграмму в Москву. Во всём этом было что-то подчёркнутое, демонстративное, чувствовался какой-то протест. Против кого? Против зятя, который сбежал, обокрав её дочь? Против бывшего уполномоченного и его чиновников, которые принудили её уехать в совхоз? Или против всего польского лондонского правительства, которое не проявляло никаких забот о ней, а теперь окончательно бросило «на произвол большевиков»? Никто не мог бы ответить на эти вопросы, никто с ней не говорил об этом, и она никому не исповедывалась. Но она работала, а это было главное, — и работала прямо-таки с ожесточением.

Вот и сейчас — как она взялась за этот вагон с продовольствием, который уже несколько дней мучил Ядвигу... Теперь, слава богу, об этом вагоне можно не тревожиться. Но есть, кажется, ещё что-то... Ах да, обувь, присланная для распределения! Но главное — это дети, все

эти дети, которых необходимо разыскать, отогреть, накормить, которыми необходимо заняться.

Маленькие беспомощные ручонки, крохотные ножки... Сыночек, родной, любимый, оставленный в песках далёкого кладбища... Резкая боль пронизывает сердце. Неподаляку, в соседнем городке, где тоже есть польский детский дом, быть может, и сейчас какие-нибудь детишки сидят в сарайчике и гложут жалкие объедки со стола директорши.

— Милая моя, золотая, позвоните, попросите, чтобы дали хоть грузовик. Непременно надо поехать сегодня же!

— А с Кузнецовой ты говорила?

— Она поедет, я знаю, что поедет! Вот только бы машину!

Грузовик нашёлся. Ядвига, не слушая возражений Кузнецовой, усадила её в кабинку шофёра, а сама села в кузов. И вот уже исчезли городские домишки, промелькнула тополевая аллея. Вокруг без конца, без края раскинулась широкая степь. Точь-в-точь, как там, в совхозе. Но совхозная жизнь для неё, Ядвиги, кончилась. Какой тихой и спокойной она кажется теперь по сравнению с водоворотом, в котором Ядвига сейчас закружилась. Что они поделывают сейчас там, в совхозе? Близок вечер, люди возвращаются с полей, скоро будут донть коров... Как там Матрёнин ребёнок? Непременно надо написать Матрёне хоть открыточку. Может, она за это время получила известие от мужа. Не приходится рассчитывать на то, что Ядвиге удастся туда съездить. Интересно, кто теперь живёт в комнате, где уютилась она с госпожой Роек и Олесем? Вся жизнь Ядвиги стремительным потоком рванулась вперёд. И это она, Ядвига? «Деятельница», — писал о ней Шувара в письме. Нечего сказать, хороша деятельница! Хотя... Разве раньше она выдержала бы разговоры, какие сейчас ей приходится вести ежедневно? Разве нашла бы нужные слова? Ей вспомнилось пьяное олухшее лицо этого наглеца, который сегодня, час назад, бросал ей в лицо гнусные оскорбления. Раньше она бы, наверно, сквозь землю провалилась, а теперь спокойно смотрела в эту пьяную морду полицейского, обкрадывавшего детей, — и он испугался, притих под её взглядом. Неужели человек может так меняться? Или же он неожиданно открывает в себе то, что в нём было и раньше, но таилось где-то на дне? Нет, это не так. Того, что есть в ней сейчас, наверняка не было в Ядвиге, которая когда-то переносила воркотню матери, которая не знала, куда себя девать, что с собой делать, которая была, как лист на ветру. Казалось бы, именно теперь она похожа на лист на ветру — никогда не знает, что принесёт следующий день, не знает, где очутится завтра. Но зато она знает одно — что идёт по верному, ясно определённой пути, и идёт по собственной воле к решению. Сама помогает прокладывать этот путь. Сейчас те пятеро запуганных детишек уже знают, что им нечего опасаться. Она не уберегла своего маленького сына. Но она убережёт, сохранит, приведёт в родные дома в далёкой Польше сотни и сотни польских детей, рассеянных по советской земле, тысячи детей, о которых до сих пор по-настоящему заботились только русские большевики. Собственные соотечественники лишь обкрадывали их и обрекали на гибель. Но она, Ядвига, будет среди тех, кто с помощью русских спасёт их и вернёт родным домам, родной стране.

И это страстное, непреодолимое стремление немедленно уничтожить обнаруженное зло — тоже было новым для Ядвиги.

Ей вспомнилась маленькая Авдотья, внучка Петручихи, вспомнилась и вся ольшинская трудная жизнь, горькая доля ольшинских крестьян. Да, конечно, Ядвига и тогда жалела всех. Она плакала, когда Петручиха мучилась без врача с больной ногой, когда она умерла без меди-

цинской помощи. Плакала, когда пришло сообщение, что умер в тюрьме Сашко, брат Ольги. Плакала, когда летом, перед новым урожаем, умирали с голоду дети. Плакала — и только. Ей казалось, что так всегда будет, что иначе и не может быть. То, что крестьянские дети ходят в лохмотьях, что знахарство заменяет медицинскую помощь, что перед каждой осенью в избы заглядывает голод и что всю жизнь люди, в сущности, никогда не бывают сыты, — всё это казалось ей непреодолимым, как сила природы. Можно лишь немного и в отдельных случаях облегчить зло.

— Куда девался хлеб? — строго спрашивала мать. — Опять снесла в деревню? Что ж ты думаешь — всю деревню накормить, что ли?

В ней закипал гнев. Разумеется, ей не накормить всю деревню. Но хоть одного или двух детей.

Однако, когда она давала кусок хлеба одному голодному ребёнку, на неё жадно смотрели десятки. И она возвращалась домой опечаленная, ещё больше уверенная, что ничего не поделаешь, и что, хотя мать неправа, в её словах есть какая-то доля истины. Только эту истину Ядвига не могла принять, не могла с ней примириться.

— Так было, так будет, так уж устроен мир, — говорила госпожа Плонская. И Ядвига могла возразить только одно:

— Это несправедливое устройство.

Но как его изменить, она не знала.

Между тем, оказывается, средства есть. Ведь уже за первые месяцы после прихода Красной Армии в Ольшины, ещё до высылки Ядвиги, вся жизнь деревни, весь этот веками установленный и якобы вечный порядок вещей совершенно изменился.

И так же как в Ольшинах, он мог измениться повсюду. Сейчас трудно даже понять, как она раньше могла не знать этого, почему ей всё казалось таким безнадежным и мрачным. Теперь словно отыскались и распахнулись двери в высокой, глухой стене, открылись широкие пути, ведущие в светлую даль, в цветущие сады, в настоящую жизнь, радостно улыбающуюся всем.

«Вот так будет и в Польше, — думалось Ядвиге под свист тёплого степного ветра. — Не будет голодных детей, не будет Карвовских, обманывающих крестьян, не будет безграмотных женщин, не будет безработных и не будет людей, которые за то, что стремятся к всеобщему благу, попадают за тюремные решётки. Такой должна быть Польша, куда мы заберём отсюда всех этих детей, выкинутых из родных гнезд, обиженных, так много испытавших за эти тяжёлые годы войны. И нужно, чтобы, прежде чем наступит время возвращения на родину, дети уже знали, что и сами они не должны никого обижать, что в стране, куда они поедут, будет работа для всех, и возможность учиться для всех, и что они будут расти среди такой же всеобщей любви и заботы, среди какой растут дети в советской стране».

Как странно — ведь ещё совсем недавно ей и в голову не приходило, что на её долю выпадет изменять жизнь, строить заново жизнь — такую, какой она должна быть... Страшно хотелось заняться не только детскими домами этого района. Хотелось знать, как обстоит дело и в других местах, всюду ли уже сделано всё, что следует. Попасть в польский детский дом под Москвой, куда она должна поехать, когда закончат дела здесь. Но дело не в одном этом доме, пусть даже образцовом. Она попросит, чтобы ей поручили все детские дома, всех сирот. А когда уже можно будет ехать домой на родину, в Польшу, она поедет вместе с ними.

Теперь уже иначе выговаривалось в мыслях Ядвиги это слово: Польша. Иначе выговаривалось слово: родина. И сама Ядвига не была больше, как лист на ветру. Она знала своё место сейчас и видела своё место в будущем. Дети! Это будут счастливые дети, растущие в счастливой стране, где никто не будет умирать с голоду, где будет врач для каждого ребёнка, и белые кровати в больницах, и светлые классы в школах, и сады, и парки.

Шумел, свистел тёплый ветер. Машина тряслась и подскакивала на ухабах. Но Ядвига была рада, что села не в кабину, а в кузов. Кругом раскинулась широкая степь, и из кабинки шофёра она не охватила бы взглядом всего этого раздолья.

Солнце медленно катилось вниз. Они успеют доехать ещё засветло, теперь уже недалеко. Она не боялась больше. Что ж, ещё какая-нибудь директорша или какой-нибудь директор, ещё какие-нибудь незаконные жильцы... Но кто может ей помешать делать то, что она делает, — спасти детей от нищеты, горя, заброшенности, спасти детей для новой родины? Она чувствовала себя ответственной за эту новую родину — и была огромная радость в мысли, что она, Ядвига, вместе с другими строит здесь, на гостеприимной братской земле, фундамент новой жизни.

Пусть это только дети, птенчики, выброшенные военным ураганом из гнёзд. Но из них вырастет новое поколение новой родины. Они в недалёком будущем встанут на место Ядвиги и других. И надо передать им, влить в их сердца всё уважение к приютившей их стране, всю любовь к её людям, всё то новое, к чему она, Ядвига, здесь пришла, что так поздно она поняла, — всё великое и прекрасное, заключающееся в слове «родина».

Нет, теперь она уже не могла бы, не сумела бы жить, как раньше, в том маленьком, тесном мирке, который столько лет казался ей единственным существующим миром. Что ж, пожалуй, она и в самом деле становится деятельницей, как сказал Шувара...

Перед её глазами вдруг вынырнули верхушки тополей, и грузовик стал спускаться в долину, где поблескивала серебром сеть арыков и виднелись заросшие виноградом домики соседнего городка.

Где-то здесь, среди этих домиков, расположен и детский дом, который надо принять. Но даже сейчас, соскакивая с машины, Ядвига всё ещё видела перед собой дом её мечты, светлый, прекрасный дом для всех детей, дом, полный смеха, радости и счастья, далёкую, но уже видимую, уже достижимую родину.

Глава 10

Дует ветер, тёплый и стремительный, раскачивая кроны сосен. Откуда он несётся, этот ветер, шумный, радостный, буйный?

Шумят, гудят сосны. Не та ли это сосна, что густо растёт в лесах под Варшавой или поднимается над мазовецкими песчаными равнинами, — зелёная, смолистая, благоухающая сосна?

Закрой глаза — и покажется, что ты в сосновом лесу под Анином, под Рембертовом, в Милосьне, в Мендзышине. Вот-вот послышится знакомый гул — это мчится электрический поезд из Варшавы. Из вагонов высыплет публика — женщины, дети, молодёжь, и по основному лесу раздастся весёлый смех, пение.

Зелёный сосновый лес пахнет смолой, горячей хвоей, ветром. Родной, родиной пахнет сосновый лес...

Можно даже и не закрывать глаз. Взгляни — колыхнется, шумит с детства знакомый зелёный сосновый лес. Сосны мягко расступаются,

открывая широкую поляну. По краям поляна поросла высоким, перистым, нарядным папоротником — тем самым, что высоко, по самое плечо, вырастает под Варшавой в лесу. И здесь он высок, хотя и не до плеча. Но, может быть, я сам вырос за прошедшие годы, а этот папоротник не ниже того, польского?.. Листки черники, густые, кудрявые, кустики и кое-где лиловый колокольчик — тоже точь-в-точь, как там. А дальше река. Как зовут тебя, река, такая похожая на Вислу, река, шумящая по ночам тем же шумом, сверкающая тем же блеском, что Висла в июньский солнечный зной?..

Кто придумал, кто мог придумать для их лагеря место, где всё, как на родине? Ничто здесь не чуждо поляку, ничто не отличается от его родных мест. Вислинской волной переливается Ока, варшавскими соснами шумит прибрежный лес. Привет тебе, русская река, советская река, похожая на Вислу, заговорившая по-польски с польскими скитальцами! Привет вам, русские сосны, советские сосны, родные сёстры анинских, рембертовских, сьрудборовских сосен!

Рядовой Марцель Роек стоит вытянувшись по команде «смирно». Да, он с первого же дня видел, что это так, — на этом клочке земли они нашли образ родных краёв. Это замечали все, и это с первой минуты хватало за сердце — ещё прежде, чем в глаза бросалась надпись на арке у входа в лагерь: «Привет, вчерашний скиталец, ныне солдат!».

Сегодня, сейчас это чувствуется особенно остро. Польские сосны над польской рекой. Вот выйдешь из этого леса, пройдёшь по песчаной дороге — и перед тобой окажется не село на Оке, а прикорнувшая у лесочка польская деревня. По улице пойдут польские девушки в сборчатых юбках и передниках, в ярких платочках на голове, запоют о розмарине, о Ясе, что ушёл воевать.

Нет здесь узких полосок, изрезанных межами, где пахнет богородицной травой и чебрецом, не пестрит нива синими васильками, красными маками. Здесь чистые, как море, расстилаются широкие поля и, сколько хватает глаз, ровно колосится хлеб без единого сорняка. И девушки здесь одеты иначе, и другие песни звенят по вечерам над деревней. А всё же можно вообразить, что за лесом раскинулась именно польская деревня. Горбатая, вся изогнувшаяся от ветра сосна — разве не похожа она точь-в-точь на ту сосну под Груйцем? Сквозь сеть ветвей, колеблемых стремительным тёплым ветром, сверкает вода — не Висла ли это?..

Пальцы крепко сжимают винтовку. Нет, это уже не полусонная мечта, нашёптываемая самому себе в длинные вечера, когда сон смежает веки. Не фантазия, взлелеянная горячим желанием. О, если бы его мог увидеть Илья — в настоящей военной форме, с новенькой винтовкой в руках... Если бы его мог теперь увидеть старик Егор...

Какой ветер! Какой радостный, упительный. Он проносится над этой лесной поляной, открытой ласковым лучам солнца, насыщенной запахом смолы, тёплым благоуханием трав.

На поляне, от края и до края — длинные, ровные ряды солдат. Ветер развеивает флаги на трибуне. Полыхает щедро расшитое золотом, серебром, шелками знамя дивизии.

Днём и ночью вышивали знамя умелыми руками московские работницы. Подбирали нитки, в тысячный раз сверялись с образцом, вышивали незнакомые буквы, польские слова: «Честь и Отчизна» и лозунг «За нашу и вашу свободу».

Жёсткая, негибкая нить. Трудно вышить лицо Костюшки, чьё имя носит дивизия. Трудно вышить серебряного орла. Одно за другим возникали на знамени пёрышки, складываясь в широкие крылья, в крылья

пестовского орла. Над ним изгибается лавровый венец. Кому суждены эти лавры, кто будет ими увенчан?

Коротки московские летние ночи. Чёрными листьями завешены окна — война. За этими затемнёнными окнами сидят жёны, матери и сёстры красноармейцев — московские работницы.

Трудный, запутанный узор. Насколько легче вышить знамёна, под которыми идут в бой их мужья, сыновья, братья! Насколько меньше требуют они работы. Но ничего, ничего... Тех дивизий много, тех дивизий сотни, и они сражаются уже два года. А эта — одна-единственная, и она впервые движется в бой. Не жаль отказаться от сна, вышивая знамя пришельцам из соседней страны: им предстоит ещё дальний и тяжкий путь на родину. Пусть же позолотит им этот путь сердце московских работниц, пусть посеребрит им его сестринская улыбка, пусть облегчат их солдатскую жизнь пожелания доброго пути.

Колышется на ветру знамя Первой дивизии. Ветер с трудом вздымает отягощённую золотом ткань. Знамя такое же, как было раньше... Но нет, не такое! Лозунг отцов, забытый, брошенный политиками междувоенной Польши, лозунг, покрывшийся вековой пылью, сверкает на багрянце знамени, взывает: «За нашу и вашу свободу». Кто понесёт тебя в бой, завет отцов наших? Тысячи рук вздымаются вверх. И тысячи уст медленно, торжественно повторяют слова присяги.

— «Присягаю польской земле...» Слышишь, далёкая? Тебе говорю я эти слова, перед тобой склоняюсь, о тебе эти слёзы, которые пеленой застилают глаза. Слышишь, польская земля? Тебе присягаю, тебе...

— «Присягаю польскому народу...» Слышите вы, борющиеся с врагом? Слышите за своими железными решётками, за колючими проволоками концентрационных лагерей, непокорённые, родные, свои? «Польский народ»... Никогда ещё это слово не звучало так сильно, как теперь, как здесь, далеко от родины, в этом военном лагере на Оке, где тебя посвящают в рыцари польского народа...

— «Присягаю на союзническую верность Советскому Союзу». Марцысь поднимает глаза, пытается рассмотреть на трибуне представителей советского командования. Верность Советскому Союзу... Огромная, прекрасная земля, она дала мне приют в дни горя и ужаса... Она научила меня труду и открыла перед глазами широкие горизонты, пути в будущее... Она дала мне оружие для борьбы с врагом и солдатскую форму, которая из скитальца и изгнанника сделала меня бойцом. Она посвятила меня в рыцари польского народа, в рыцари свободы — великая, советская земля!.. Армия, что идёт на запад, армия, что несёт освобождение, овеянная славой армия — тебе присягаю на верность, верность на веки веков.

Гремят голоса. словно заговорила вся поляна, словно произносит солдатскую присягу сама земля, лежащая по берегам Оки близ сердца России, Москвы.

Откуда вы, солдаты, стоящие здесь? Из Казахстана, из морозных лесов Коми, с Енисея, с бурного, мчащегося по скалам Иртыша, из долин Ферганы? Нет, нет. Из Варшавы, из Радома, Кракова и Груйца люди польской земли, идущие в польскую землю...

Рядовой Новацкий вместе с другими повторяет слова присяги. Он не старается постичь их точный смысл. Дело не в словах! Главное — что, наконец-то, у него в руках винтовка, что он снова в армии и она оказалась настоящей армией.

Новацкий ехал сюда готовый на всё: пусть его обманули, будто возрождается польское войско, пусть это будут просто советские части, в

которых разрешено служить полякам, пусть так! Хватит с него этих четырёх лет, когда он был бездомным бродягой... Он разглядывал надписи, знамёна, транспаранты. Они обращались к нему на польском языке. Только орёл немного другой. Пястовский, говорят, республиканский, без короны, старинный польский. Возможно. Новацкий всё равно знает, что где-то за всеми этими польскими надписями таится коварство. Но ему до этого нет дела.

И всё-таки где это коварство? В чём оно состоит? Утром и вечером поют «Клятву»¹, и поют её поляки, а не русские, — здесь всё в порядке. А вот что такое «культурно-просветительный офицер»?.. Этой должности в польской армии никогда не было. Ага, вот это, наверно, и есть большевистский комиссар. Однако в первый же день Новацкому пришлось поговорить с таким офицером. И он оказался не более русским, чем сам Новацкий. Бывший студент из Варшавы, это несомненно.

Правда, здесь введены какие-то новые порядки — кто их знает, на что это надо! Но как бы то ни было, это польская армия.

А главное — это настоящая армия. Постепенно Новацкий убеждался, что гораздо более настоящая, чем та, в которой он служил в тридцать девятом году.

Присягу они тоже переделали. Но что в ней плохого? Он может и хочет присягать польской земле и польскому народу. Союзническая верность? Пусть и это. А кому ещё верить, кому присягать в союзнической верности, если не советской стране? Он помнил тот день в Варшаве, когда он бегал вместе с другими к английскому и французскому посольству кричать «ура» в честь союзников, которые объявили войну немцам. И он кричал «ура», забывая, что уже рушились дома в предместье Окентье и на улице Новый Свет, что уже сыпались бомбы на аэродромы и никакие союзники не защищали гибнущую Варшаву, хотя обещали, обещали... Не помогли в первый день, и потом, после этих восторженных демонстраций — ничего, ничего в течение долгих трёх недель! Чем платили нам за верность те союзники? Одними словами, патетическими словами, патетическими речами о героизме варшавян. Слова, — а нужны были самолёты, и ведь их обещали дать тотчас, обещали в первый же день войны ударить на гитлеровцев с запада...

Ни Англия, ни Франция, ни Америка не сделали для Польши ничего. Они не оттянули, не приняли на себя ни одной из семидесяти обрушившихся на Польшу вооружённых до зубов дивизий, ни одного фашистского солдата. Там, на западе, почти не было немецких войск, Гитлер собрал и бросил на восток всё, что мог. Видно, был уверен, видно, знал, что никакой помощи полякам, кроме громких слов, с запада не будет.

Нет, это был слишком горький опыт, чтобы Новацкий мог попрежнему верить в западных союзников, предавших, покинувших поляков в страшный час.

Они предавали не только тогда. И не только Польшу. Ведь и теперь считается, что они воюют, а разве это война? Почему они не наступают с запада, когда все немецкие силы ринулись сюда, на этот тысячекилометровый фронт? Они обещают, болтают, как будто хотят оплатить кровь героических советских солдат речами об их героизме... Слова и слова... Союзники! А где их Одесса, где их Севастополь, где, чёрт возьми, их Сталинград? Союзники... И эта Африка, о которой они так шумят, — что это по сравнению с тем, что происходит здесь? Новацкий собственными глазами видел окрашенные в цвет африканских песков немецкие танки, переброшенные сюда, в Россию, из Африки. Видно, здесь немцам жарче, чем в Африке.

¹ Польский военный гимн на слова Марии Коломицикской.

А большевики, какие они там ни будь, дерутся уже два года. И дали полякам оружие. ох, какое оружие! Уж если можно было кричать «ура» в честь тех, то тем более можно идти с этими. Неважно, что будет дальше. Пусть будет что угодно. Он не политик, а солдат. Ему дали возможность снова быть солдатом, и за эту цену он готов присягнуть в союзнической верности кому угодно. Тем более, что русские солдаты — прекрасные солдаты. Что-что, а это они уже доказали и доказывают ежедневно.

Издываясь над самим собой, он вспоминал брехню того — как была фамилия этого толстого помещика? — о «фанерных танках», о «липовой армии», весь вздор, которому он столько лет верил. Теперь русские показали свои «фанерные» танки, показали, какая она «липовая», их армия! Их можно ненавидеть, можно не верить им, но факт останется фактом — это армия героев. Они сражаются — сражаются с врагом, который враг и полякам, и они бьют этого врага. И благодаря им, а не кому другому, Новацкий тоже получил, наконец, возможность драться. И он, и столько других, которые до сих пор пропадали зря, люди без правительства, без государства, без армии и полководца.

Он не видел лиц своих товарищей, кроме двух ближайших соседей справа и слева. Один был совсем молодой паренёк, веснушчатый, со щёткой светлых волос. Второй был пожилой — видимо, рабочий. Их лица были мокры от слёз. Внятно, отчётливо они повторяли слова присяги и плакали. Слёзы быстро высыхали на тёплом ветру, овеивающем лица, и снова и снова ручьями лились из глаз.

Сам он не плакал. В нём не было энтузиазма, была лишь холодная решимость, холодная и чуточку враждебная. Он перебирал в памяти долгие дни, прошедшие с тех пор, как он носил мундир. И свои прошлые дела, о которых никто не знал. И свою настоящую фамилию и настоящее звание, о которых тоже никто не знал. Но всё это неважно. Важно то, что он выполнит присягу. Он будет честно драться, а больше от него ничего не требуется.

Он слышит всхлипыванье и позади себя. Плачут. Пусть плачут. Он тоже плакал когда-то, в тридцать девятом году, плакал от злобы, гнева, отчаяния. Сейчас нечего разжалобливаться. Он добился своего, он в армии, и в руках у него оружие. Им обещали, что не будут долго держать в учебном лагере, пошлют на фронт. Это основное.

В чём они могут обмануть его? Быть может, все разговоры о независимости Польши — лишь приманка? Но как всё это ещё далеко... Во всяком случае, что-то изменится. А так — ведь всё равно всё пропало. Польша лежит в руинах под фашистским сапогом. А западные союзники? О, над ними не каплет! Что им в Лондоне, в Нью-Йорке до этой земли над Вислой? Вчера они отдали её Гитлеру, завтра её пробуют прибрать к своим рукам...

Но до всего этого ещё далеко, сейчас незачем забивать себе голову — он всего лишь рядовой, ему остаётся только выполнять приказы. Да ведь может, наконец, случиться и так, что он погибнет в первом же бою и ничего этого не увидит.

«Чтобы я мог жить и умереть, — повторяет он слова присяги, — как доблестный солдат Польши». Да, это лучше всего — умереть в бою! Но в бою, «как доблестный солдат Польши», а не в придорожной канаве, как бездомный бродяга.

Жить не хотелось. Какой смысл имела эта разбитая в сентябре тридцать девятого жизнь? Смысл имела только борьба, и только через смерть, именно через смерть его жизнь могла приобрести какой-то смысл. Только бы не носить в сердце этот сентябрь, навсегда отравивший каж-

дую мысль и каждое чувство. Собственной кровью вытравить его из памяти, зачеркнуть этот сентябрь чем угодно — пусть даже ценой службы большевикам...

Правда, из Лондона предупреждали, что кто пойдёт в эту дивизию, тот потеряет польское гражданство так же, как несколько лет назад потеряли его те, что пошли сражаться за республиканскую Испанию. Губы его искривились горькой усмешкой. Разве он давно уже не потерял этого гражданства? Гражданином какой страны он был, когда без командования, без приказов брёл по сентябрьским дорогам, а в стране уже давно не было правительства? Гражданином какой страны он был, когда скитался с места на место, никому не нужный бродяга? Они, убежавшие за границу, бросившие на произвол судьбы Польшу в те дни, когда солдаты ещё дрались, — они имеют право на польское гражданство? Так пусть же забирают себе это своё гражданство, немногого оно стоит. Пустое слово! Чтобы быть гражданином какой-нибудь страны, надо, прежде всего, чтобы эта страна существовала, чтобы в ней были правительство и законы. Где оно, это правительство? Его нет. Тех господ в Лондоне правительством считать нельзя. Это просто трусы, сбежавшие при первых выстрелах, при первых бомбах. Дезертиры. Грязными дезертирами были, ими и остались. А он? Он снова солдат, без них и вопреки им. И вот он присягает. Да. И будет верен своей присяге. Он-то никогда не был и не будет дезертиром. Тем более, что теперь в этом мифическом Лондоне уже не с кем и считаться. Единственный человек, которого там можно было уважать, погиб. Всего несколько дней тому назад поступили сообщения об этом. Они были неясными, сбивчивыми. Но ясно было одно: командующий польской армией и премьер-министр эмигрантского польского правительства генерал Сикорский погиб во время авиационной катастрофы где-то поблизости от Гибралтара.

— Ясно, сами они его и угробили, — выразил общее мнение один из унтар-офицеров.

Что-то тёмное, неизвестное происходило там, в Лондоне. Кому-то понадобилось устранить командующего. Это был единственный из них, на кого не падала ответственность за тридцать девятый год. Его ещё раньше выгнали из армии, и он был частным лицом, когда на Польшу обрушились первые бомбы. Он не имел ничего общего ни с правительством, ни с генералитетом в то время, когда те заигрывали с гитлеровской Германией, когда потихоньку сговаривались с ней. Он не был с ними, когда они кричали о мощи польской армии, формируя кавалерийские полки вместо бронетанковых бригад. Он не был виновен в отсутствии оружия, отсутствии планов, во всём этом безумии, которое до сих пор неутолимой горечью наполняло измученные польские сердца. И именно **его-то и не стало**. Его просто убрали.

Рядовой Новацкий сразу поверил в это, даже и не слишком раздумывая. Сикорский был единственным человеком из всех лондонских политиков, на кого не распространялась жгучая ненависть Новацкого за сентябрьские дни. Не удивительно, что в конце концов для Сикорского не оказалось места среди них. И рядовой Новацкий включил эту смерть в свой счёт к бывшим правителям Польши.

А всё же не умел он, видно, справиться с этими господами, генерал Сикорский! Нянчился с ними, считался с их мнением, действовал с оглядкой на них. Не умел поставить на своём, пойти напролом. И вот позволил им вывести в Иран ту первую армию, что здесь сформировалась. Допустил, в сущности, повторение того, что было проделано в тридцать девятом. Попросту говоря — дезертирство, причём и тогда и теперь

перед лицом того же самого врага — гитлеризма. Но теперь ещё сюда припутывают какую-то «высокую политику». Да, политиканствовать они не отвыкли, хотя Польше от этого nepоздоровилось. Так что — кто его знает? — может, не стоит так уж сожалеть о генерале Сикорском? Может, его честность была лишь ещё одной из польских легенд, рассыпавшихся в прах при первом соприкосновении с действительностью?

Но если даже так, всё равно. Пусть дезертирует кто хочет, он-то, рядовой Новацкий, дезертиром не будет. Вопреки им всем он будет верен присяге. Ох, если бы они могли его видеть — не рядового Новацкого, а того, кем он был раньше. Если бы они могли видеть его поднятую руку, слышать, как он, польский офицер, чётко и внятно выговаривает слова этой присяги перед этой ненавистной для них трибуной, в этой ненавистной им стране! Польское гражданство... Плевать ему на это их гражданство, вместе с которым они предали его, бросили в жертву безумию сентябрьских дней. Теперь — пусть! Пусть! Не только перед польским знаменем, на котором парит, сверкая на солнце, польский орёл, — нет, если бы они могли это увидеть, он был бы готов присягнуть перед красным знаменем любого советского полка. И что могли бы сказать ему, солдату, те — дезертиры?

Так с холодной яростью думал он, громко и отчётливо повторяя слова присяги.

Пусть это будет какая угодно дивизия, ясно одно: снова началась жизнь, которой будто и не было в течение долгих, страшных четырёх лет. И эти молодчики ещё смеют считать себя лучше большевиков! В чём? В чём? Не большевики оставили Польшу без защиты, без оружия, не большевики бежали, как тольки началась война. Не большевики спасали свои чемоданы, забыв спасти свой родной народ. А теперь эти большевики показали, на что они способны. Показали под Сталинградом, показали в Ленинграде, показали на всём огромном тысячекилометровом фронте. Их правительство не покинуло поставленную под угрозу столицу, их полководцы не бросили армию на произвол судьбы, они умели вместе со своей армией сражаться, стоять насмерть и побеждать. С кем вздумали равняться эти польские щёголи, не имеющие понятия о современной войне, эти идиоты, предназначенные только для парадов, эти шуты, притворяющиеся военными, эти опереточные «вожди»?

Рядового Новацкого душа злорада при одной мысли о них. Он произносил присягу, как обет мести, — не только гитлеровцам, с которыми сейчас пойдёт сражаться, но мести также и тем, в Лондоне, — в первую голову им.

Присягал и Малевский. В этот день он изо всех сил старался быть замеченным. Утром он с преувеличенным усердием бегал от одного солдата к другому, никем не прошенный проверял оружие, пуговицы, пояса, шапки.

— Чтобы всё горело, как золото! — говорил он, заглядывая в стволы винтовок.

— Тебе-то что? — осадил его кто-то.

— Как — что? Ты знаешь, что такое присяга?

— Не хуже тебя знаю.

— Не хуже меня, а пуговица еле держится. Солдат!.. Заметят — ьсему взводу позор.

Во время присяги Малевскому повезло. Он стоял в первом ряду, почти против трибуны. Громко, чтобы никто не усомнился, выговаривал он слова присяги и в то же время краешком глаза наблюдал за своим соседом справа. Он заметил, что тот, правда, поднял по уставу три пальца, но молчит.

«Надо будет им заняться,— отметил Малевский, неподвижно глядя на трибуну. Пусть видят, как усердно, с каким энтузиазмом он присягает.— Выдумают тоже! Присяга в союзнической верности... Посмотрим ещё, как оно будет с этой верностью...»

Однако настроение у Малевского, признаться, было неважное. Лагерь дивизии его горько разочаровал. Здесьние организаторы оказались умнее, чем он думал. Они знали, как можно увлечь людей. Ну ясно, эти коммунисты, пообтёршиеся по всем польским тюрьмам, — научились, как к кому подойти... Они опьянили патриотизмом этих людей, измученных тоской по родине. Даже ксёндза им откуда-то достали, Малевский долго присматривался к нему, не веря своим глазам: перодегтьй большевик, что ли? Нет, ксёндз оказался настоящим ксёндзом, военнослужащие могли посещать богослужения, бывать у исповеди, принимать причастие — всё по всем правилам. Утром и вечером в ротах пели «Клятву», и всякий раз люди неудержимо плакали при этом.

Малевский, как ястреб, накидывался на группы вновь прибывающих — некоторые приходили хмурые, озлобленные, уже успевшие побывать в местах заключения, чёрт знает где. Казалось бы — золото, а не материал. Кому же сильнее ненавидеть большевиков и всё, что от них исходит? Но постепенно и в недолгое время даже их недоверие рассеивалось, перешёптывания по углам умолкали. А когда было, наконец, получено оружие, Малевский окончательно почувствовал, что вся его работа разваливается. Нечего было и мечтать о том, что он задумывал сперва на основе сведений, оказавшихся большей частью ложью. Оставалось только выискивать недовольных, у которых есть особые счёты с большевиками, находить людей, не могущих устоять перед соблазном наживы. Но и с деньгами у него было туговато: не легко было договориться о них, не легко и пересылать. Впрочем, он сам просил, чтобы с ним сносились как можно реже. Здесь это было далеко не безопасно. Вся его жизнь — день и ночь у всех на виду. Приходилось немало раздумывать, как отлучиться на назначенное свидание, не вызывая подозрений. Ближняя деревня была слишком мелким пунктом, и там сразу замечали всякого незнакомого. О том, чтобы связаться по радио, и думать было нечего. Малевский лишь вздыхал, вспоминая о временах, когда под крылышком польского посольства он мог разъезжать по всей стране.

Вдобавок ко всему, он ещё не ориентировался в обстановке. Ему, например, ничего не было известно о группе, которая вдруг, тихо и незаметно, была арестована властями.

Ничего не скажешь, чисто сработано! Наряд на разгрузку продуктов с барж. Кто мог заподозрить что-либо? Продовольствие часто получалось по реке, разгрузка барж была обычной работой. И только на третий день этот хлыщ из третьего батальона, на которого ему указали, как на помощника, — и помощничек же, господи прости! — осторожно прошептал ему:

— А тех, что пошли разгружать баржу, уже нет.

— То есть, как так нет?

— А так. Фюить — и крышка!

— Неужели сбежали?

— Как бы не так, сбежали! Всех взяли с баржи, только их и видели. Сейчас, наверно, уже допрашивают.

— Кто там был?

— Чёрт их знает! Шестнадцать человек, все из разных частей. Как тут станешь допытываться?

Да, допытываться было, разумеется, небезопасно.

Вот так штука! Шестнадцать человек, без шума, без крика, исчезли, как сквозь землю провалились. Видимо, эти здешние знали больше, чем могло казаться, и умели присматриваться. Шестнадцать человек... Вероятно, организация, раз их взяли из разных частей. А они, наверно, и не замечали слежки, ведь скрыться отсюда было бы не так уж трудно. Взята ли вся организация или только часть её? Шестнадцать... Что это были за люди?

Здесь, на пространстве в несколько квадратных километров, скрещивались тайные нити, тянущиеся со всех сторон. Никакого координирующего центра не было, и каждый действовал на свой риск и страх. Нет, его руководители были уж слишком осторожны — ведь вот и ему они не пожелали назвать всех фамилий, и он всё время ступал, как по топкому болоту, которое ежеминутно может расступиться под ногами и затянуть его на дно.

Надежд Малевского не оправдывали даже люди, на которых он рассчитывал наверняка. У них тоже закружились головы от этих патристических песен, от этого оружия, от атмосферы непрерывного подъёма. Ни с кем уже нельзя было говорить спокойно — часто люди не желали слушать самой осторожной критики, возмущались при выражении малейшего сомнения. И откуда их столько берётся? Они шли, ехали, брели сюда пешком, неведомо откуда.

Кампания, которую думали повести против советских инструкторов, тоже провалилась. Они знали своё дело, умели показать, объяснить, обучить — им не мешало даже слабое знание польского языка или полное незнание его: солдаты хотели учиться, хотели овладеть оружием, которое было им дано. Малевский и оглянуться не успел, как оказалось, что руководство группы советских офицеров в деле боевой и технической подготовки перестало кого-либо смущать; наоборот, наличие советских инструкторов солдаты рассматривали как ещё одно доказательство доброй воли большевиков.

Глухая злоба кипела в Малевском. На кого же, в конце концов, можно рассчитывать? Люди приезжали с Енисея, из-за Уральского хребта, из северных лесов — и в течение нескольких дней менялись до неузнаваемости. словно, бросая истрёпанный штатский костюм, переставали быть беженцами, эмигрантами, жертвами войны, военнопленными, и, надевая военный мундир, становились обыкновенными, полноправными людьми, становились просто солдатами.

А с солдатом, просто солдатом, разговаривать было трудно. У него были свои аргументы — орёл на шапке, польский мундир и новое, совершенное, великолепное оружие. И эти аргументы были сильнее всего, что мог сказать Малевский. Даже такие козыри, как Львов и Вильно, не имели прежнего действия. Кое-кто отвечал на них Гданском, морским побережьем или Силезией, которые Польша получит взамен Львова, кое-кто с насмешкой спрашивал, не считает ли он, что Варшава и Краков стоят Львова и Вильно. Но бывали и такие — притом вовсе не коммунисты, — которые открыто заявляли, что нечего лезть к украинцам и литовцам, что из этого и раньше никогда ничего хорошего не выходило. Выплыла и старая история с Желиговским и его якобы самовольным захватом Вильно, вспоминали и об усмирениях крестьян на Волыни. Но, главное, большинство солдат и вовсе не хотело думать об этих вопросах. «Теперь, когда вся Польша занята немцами, не время об этом рассуждать, — говорили они. — Побьём Гитлера, тогда успеем договориться».

Конечно, были и такие, с которыми можно бы столкнуться. Но Ма-

левский слишком хорошо понимал, что охотно слушающие его люди — прежде всего труссы, которые хотели в этой дивизии только приодеться и наесться и которым совсем не нравились постоянно повторяемые командованием обещания скоро отпривать часть на фронт. Потом — спекулянты, привезшие под беженскими лохмотьями большие тысячи и пытающиеся пустить их здесь в оборот — всевозможный сброд, держащийся где-то на грани уголовщины и готовый продать и купить всякого, кто вступил бы с ним в какие-нибудь отношения. С такими поговорить можно, но какой толк? Ни на какой риск никто из них не пойдёт. Попытки организовать их были бы бесполезной потерей времени, притом сопряжённой с опасностью провала.

Надо было искать иные способы, других людей. Ведь наверняка и здесь где-то растут неудовлетворённые амбиции, наполеоновские мечты и замашки, которые можно использовать. Но это длительная — быть может, очень длительная работа.. И тоже весьма не лёгкая. Прежде всего — как пробраться в высшие сферы дивизии, где, быть может, и удалось бы что-нибудь сделать? На это нужны были полномочия из Лондона, а их у него не было. Там не подумали, что можно действовать и по этой линии, или считали, что для такой работы нужен другой человек. Что же касается гитлеровской разведки, которая тоже пользовалась его услугами, то о таких сложных приёмах там и понятия не имели. У них если пропаганда, то как дубиной по башке. Если ложные сообщения, то излишне подробные, с явно сомнительными цифрами, фактами и со всеми данными. Он было пытался объяснить, что работать здесь не так-то просто. Они не понимали или не хотели понимать. Впрочем, сначала, несмотря на его предупреждения, они не верили, что с новой польской дивизией выйдет что-нибудь серьёзное. В Лондоне до тех пор кричали, что «всё это липа», пока сами в это не поверили, да и немецкую разведку убедили. А теперь поздно. И подумали только, что его же попрекали плохой информацией! Как их ещё информировать, когда они воображают, что сами всё лучше знают, когда у них всегда свои сведения, которые впоследствии оказываются вздорными? В сущности, они не помогали, а только мешали ему работать. Да и откуда им знать, как здесь работается? «Им неоткуда взять офицеров», «все ненавидят большевиков», «в Советском Союзе не осталось поляков, годных к военной службе», «это необученные солдаты» и прочее. Послушаешь — просто идиллия... а потом — тарашат глаза и ничего не понимают. Да ещё предъявляют претензии... Попробовали бы сами! Им-то хорошо сидеть в безопасности и мудрить, а ведь здесь каждый шаг, каждое слово — риск. На каждом шагу торчит и сверлит глазами «просветительный офицер», этаким большевистский прихвостень, которому, видите ли, охота «спасать мир». И ведь соблюдает эту программу, как евангелие, и «подаёт пример», а как же! И в самом деле подаёт пример. И притом такой офицер доступен, солдат может ему всё рассказать, во всём довериться, попросить у него совета. И на все вопросы у такого офицера готов ответ. И не так-то просто зачеркнуть его авторитет одним словом «коммунист», или там «еврейский дядька», «большевистский подголосок» — этому перестали верить. Одна надежда, что эти интеллигентшишки будут молодцами, пока дивизия формируется на Оке, в глубоком тылу, а как дело дойдёт до драки, начнут труса праздновать. Но и то... Чёрт их знает! Глаза у этакого горят, как у волка, — видно, сам верит в то, что говорит. Чем чёрт не шутит? Пожалуй, и на фронте начнёт героя разыгрывать, а тогда уж пиши пропало!

Чёрт его знает, что делать... За эти три месяца Малевский не продвинулся ни на шаг вперёд. Наоборот, сначала ему казалось, что будет

легко, а чем дальше, тем становилось всё труднее и труднее, будто они чем-то околдовывают людей.

И вдобавок, все нити рвутся. Человек, который несколько раз ездил через Москву в Среднюю Азию и попутно выполнял кое-какие поручения Малевского, правда, тоже не заслуживал полного доверия, — ко всё же он делал кое-что, хоть и неохотно и всегда опасаясь. Всё же это была какая-то связь. Но и он не вернулся из своего третьего, последнего путешествия. Некоторое время Малевский ещё надеялся, что он просто удрал, но оказалось, что сидит. Малевскому он повредить не мог, даже если бы рассказал, что знает, — сообщения передавались в законспирированной форме. Но связь с Ираном, надёжная, верная связь оборвалась. В сущности, неизвестно, что делать. Пока что приходится стоять на этой поляне и присягать с обнажённой головой, с поднятыми вверх тремя пальцами, выговаривать торжественные слова присяги так, чтобы все это видели, чтобы все обратили внимание на его усердие и преданность. Это всегда пригодится. А дальше — видно будет.

Была, правда, ещё одна опасность, о которой он не мог не думать. Рано или поздно среди этих собравшихся со всего Советского Союза людей можно носом к носу столкнуться с кем-нибудь знакомым по Казахстану, с кем-нибудь, кто вспомнит Лужняка и разные тамошние дела. Слава богу, что хоть Лужняк сидит, а то и этот мог бы надеяться на неприятностей. Но ведь есть и другие, десятки и сотни людей, с которыми он соприкасался и которые в нём, образцовом солдате Первой дивизии, могли узнать «деятеля» из Казахстана. Но, в крайнем случае, из этого всегда можно как-нибудь вывернуться, тем более — здесь. Изменился, мол, понял многое, — вот и всё. Мало ли здесь людей, которые сперва собирались убивать культурно-просветительных офицеров, а теперь плачут, выговаривая слова присяги? Мало ли таких, которые грозились, что до смерти не забудут большевикам своих обид — а вся их ненависть растаяла в один день, когда они получили оружие? Здесь есть всякие. И коммунисты, и социалисты, и национал-демократы, и людовцы, и беспартийные всех оттенков. Есть даже один раскаявшийся оэнэровец¹, который до войны пикетировал перед еврейскими магазинами на Шпитальной, а теперь из кожи лезет, чтобы заслужить похвалу своего культурно-просветительного офицера — как назло, еврея! Так что же невероятного в том, что и он, Малевский, тоже изменился, зачеркнул свою прошлую жизнь и стал подлинным, так и пышущим энтузиазмом солдатом Костюшковской дивизии? Всякий поверит. Здесь выдвигали вещи и почудней, и никого здесь ничем не удивишь. Так что, собственно, нечего бояться и нечего вспоминать, не видел ли он раньше этого паренька слева. Может быть, его лицо только кажется знакомым. Но если даже так — всё равно, здесь прошлое не считается достаточно весомым, чтобы по нему оценивали настоящее. Пусть у Малевского были «тогда» — скажем, месяц назад, — такие-то и такие-то убеждения, которые он и выражал. Ну, и что из того? Если даже окажется, что кто-нибудь знает о нём и кое-что похуже — тоже не беда. Сейчас он примерный солдат и тянется в струнку, приковав влюблённые взоры к трибуне...

Чтоб они все сгорели!.. Может, и ему заплакать? Но нет, это не в его духе — вышло бы, пожалуй, неестественно. А этот осёл слева так и заливается слезами... Интересно, надолго ли ещё хватит этим дуракам умилённых слёз?

¹ «Людовцы» — крестьянская партия, руководство которой в довоенной Польше было захвачено представителями кулачества. «ОНР» — польская фашистская группировка. (Прим. перев.).

Антон Хобот плачет и не стыдится своих слёз. Рядом плачут его товарищи, плачет и он. Такие уж теперь дни, что никто не смеётся над мужскими слезами, их невозможно сдержатъ.

Этот день — величайший день в жизни Хобота. Над поляной веет сосновый ветер. Он, Антон Хобот, стоит в шеренге и приносит солдатскую присягу. Он солдат — и ничего больше. Никогда он не был карманным воришкой, человеком, для которого самым героическим подвигом была кража со взломом, — за неё он и сидел в тюрьме здесь, в Советском Союзе. Никогда не было сырого подвала и пьяницы-отца, выбрасывающего маленького Антося за дверь пинком тяжёлого, рваного сапога. Не было того дня, когда отца нашли мёртвым во рву, а его мать за невнесённую квартирную плату вышвырнули из каморки. Быть может, мать ещё жива, спаслась как-нибудь? Теперь к ней придёт другой сын — не карманный вор, нет, а солдат польской дивизии Антон Хобот, который сражался за родину. Он сам принесёт новую родину этой матери, не видевшей ни одной радости в жизни. Новое отечество, в котором для него, Антека, найдётся столько работы, что только выбирай. Быть может, он будет даже учиться — ведь только сегодня просветительный офицер сказал, что ещё совсем не поздно. И он будет учиться, будет зарабатывать, а у матери будут, наконец, новые ботинки и платье, о каком она всегда мечтала — чёрное шерстяное. Найдётся и комнатка — теперь уж у всякого будет крыша над головой. И будет старушка спокойно жить на старости лет. Эх... Поверит ли она, что это он, Антек, из-за которого она столько плакала? Должна будет поверить. Ведь он покажет благодарственную грамоту с тракторной станции, покажет воинский билет. И она сама увидит форму — солдатскую форму. Нет, не может быть, чтобы она умерла, это было бы несправедливо. Кто-кто, а уж она-то заслужила счастье увидеть новую Польшу — ту Польшу, верно служить которой присягает сегодня Антон Хобот. Ты думаешь, что меня давно нет в живых? А я приду, и приду не с пустыми руками. Принесу тебе новую счастливую жизнь...

— «Чтобы я мог жить и умереть, как доблестный солдат Польши»... — побледневшими губами повторяет Марцьесь Роек. Можно сто раз умереть, тысячу раз в муках умереть за этот день, окрыляющий душу и делающий из людей титанов. Загремела «Клятва». Снова обнажаются головы. Из тысячи грудей рвётся к небу над Окой военный польский гимн. Нет, не к небу над Окой — в польском небе, над польской землёй бьёт крыльями песня, словно именно для этого дня была она создана много лет назад. И вот зазвучал золотой рог, воспетый в песнях. Кто дал тебе золотой рог, польский солдат? Кто дал тебе золотой рог, утерянный на путях горя, втоптаный в пыль на путях кривды, затерявшийся на путях безумия — казалось бы, навсегда? Вот он гремит, золотой рог, поёт в лесах над Окой, будит мир гимном, нерушимой клятвой. Ты держишь в своих руках золотой рог, польский солдат!

Трепещут флаги на трибуне, тяжело полыхает знамя Первой дивизии. Идут полки. Сверкает оружие. Новенькие винтовки с далёкого Урала, с заводов Сибири. Противотанковые ружья — неведомое раньше, никогда не виданное в Польше оружие.

Ровно, упругим шагом идут полки. Пусть гудит земля, пусть эти шаги услышат далеко, в Варшаве, в Кракове, в Познани... Пусть отдаётся по всей земле глухой гул этих шагов, возвещающий свободу...

Оружие, советское оружие в польских руках! С грохотом и стоном

катятся орудия — лёгкие, средние, тяжёлые. Одно за другим, целым потоком катятся орудия. Солдаты впервые видят их все сразу. Сколько их!

Оружие, оружие... Его не было тогда, в тридцать девятом. Кто слышал о таких орудиях? Кто видел такие винтовки, автоматы?

Но вот из лесу, словно допотопные чудища, выползают танки. Фонтанами вздымается песок из-под гусениц. Кто вас удержит, танки, когда вы лавиной ринетесь на запад, пробивая сквозь неприятельские позиции путь в Польшу?

И час, и другой, и третий движутся войска. Оружие без конца, без края.

— Слушай, а не ходят ли они просто кругом? — вполголоса обращается к приятелю иностранный журналист.

— Как это — кругом?

— Ну, войдут в лес, а оттуда другой дорогой обратно?

Тот пожал плечами.

— Глупости! Ведь это всё новые части.

— А я бы всё-таки, знаешь, проверил.

— Что ж, проверяй, коли тебе охота время терять.

Движутся, движутся ряды солдат. Поскрипывают ремни, блестят штыки на солнце. Низко, над самым лесом, над поляной кувыркается маленький самолёт.

Иностранный журналист возвращается к трибуне.

— Ну что?

— Ничего. Они уходят к реке, а оттуда другой дороги нет... Решительно ничего не понимаю.

— Я тебе сто раз говорил, что тут ничего не понять...

Шелестят листки записных книжек, заполняются мелкими тёмными строчками. Украдкой посматривает на них Шувара.

«Пишите, пишите, сколько душе угодно! Уж сегодня-то вам есть что записать. Только кто это напечатает? Да и что вы знаете, что можете написать? Кто из вас поймёт блеск этого дня?»

Далеко-далеко в прошлое отошло всё тяжёлое, дурное. Нет больше разрушенного дома, в котором погибли все близкие в тот сентябрьский день. Ясно улыбаются милые тёмные глаза жены. Она возвращается такой, какой была всю жизнь, спокойная даже в те чёрные дни, когда приходилось прощаться на долгие годы, когда приходилось протаптывать дорожки в судебных коридорах и ждать с рассвета до вечера в тюремных приёмных.

Как они умирали? Как умирала она и с ней двое детей? Какая тоска овладевала им в те ночи, когда он просыпался весь в холодном поту от мысли, что, быть может, они погибли не сразу, что долго мучились, заживо похороненные в чёрной могиле, под обломками четырёх этажей?

Все муки и все жертвы перестают быть бессмысленными в сиянии нынешнего дня. Может быть, необходимо было, чтобы чудовищный ураган разметал всё кругом, чтобы всё рухнуло в страшной катастрофе и только так могла возродиться из пепла новая, свободная, демократическая Польша?

Быть может, лишь такой удар и мог победить упрямую тупость, тёмные суеверия, измену, спесь, нищету, гнёт, насилие — всё, что погубило Польшу?

Быть может, не было иного пути — только один этот, ужасающий, но ведущий к нынешнему дню?

Осуществилась пламеннейшая мечта — вот они, бесконечные солдатские ряды, стройно движущиеся по огромной поляне.

Что же вы, господа буржуазные наблюдатели, можете написать об этом в своих записках? Как можете вы понять то, что происходит, что значит для народов нынешний день?

Уже издали, как затихающий гром, грохочут танки. Уже почти не доносятся голоса, скрип колёс, пение солдат. И снова становится слышен серьёзный, с детства знакомый шум сосен. Странная тишина. Но вот застучали шаги по деревянной лесенке, ведущей с трибуны. Шувара хмурится. Сейчас надо настроиться на другой лад. Преодолеть в себе огонь восторга, огромный душевный подъём, стать сдержанно-любезным собеседником.

Иностранные журналисты, пылая нетерпением, торопливо раскладывают на длинном дощатом столе свои записки, тетради, блокноты.

— Это всё полянки?

Вопрос задан «просто так», на всякий случай. Без убеждения. Ведь это-то они знают. Недаром ещё со вчерашнего вечера вертелись тут, шныряли, разнохивали по всем углам. Не это их интересует. Не дожидаясь ответа на свой первый вопрос, подвижной человечек в очках бросает новый:

— Откуда же здесь столько полянков?

А, вот в чём дело! Эти журналисты ехали сюда, уверенные, что увидят жалкую горсточку, декоративное войско, созданное, чтобы втереть очки...

— Как, откуда? Вы, конечно, читали, что здесь остались сотни тысяч полянков — ведь об этом ежедневно твердит польская пресса в Лондоне. Чему же вы удивляетесь?

— Ах, пресса!..

Худошавый журналист усмехается со снисходительной иронией. Разумеется, они, представители крупнейших заграничных агентств, прекрасно знают, что такое пресса — их пресса.

Но и это, кажется, не главное, что они хотят разузнать. Они что-то нащупывают, описывают круги, в воздухе висит какой-то вопрос. Они не хотят задать его сразу, подходят издали, небрежно закуривая и что-то время от времени небрежно записывая. Этот вопрос возникает вдруг, как бы сам собой, как бы естественно вытекая из общего разговора.

Но все глаза сразу впиваются в собеседника. Лёгкий жест, небольшая перемена позы, только и всего, — но это уже не те элегантные журналисты, которые только что с привычной небрежностью выполняли свою повседневную работу. Они насторожились, на их лицах появилось напряжённое внимание. Этот вопрос — западня, расставленная для собеседников. Вот когда вскрыется необходимая им сенсация, в которой можно будет утопить тот неприятный факт, что здесь создаётся настоящая польская армия, что эта настоящая армия уже существует!

Маленький человечек в очках, весь как будто погружённый в свои записки, задаёт невинный с виду вопрос:

— Откуда у вас средства на всё это?

У Шувара вдруг пересыхает во рту от внезапного гнева. Ах ты, скотина, глупая, подлая скотина! Вот, значит, и всё, что ты увидел, всё, что ты понял? Вот что тебя только и интересует!

Но Шувара тут же успокаивается. Что же, ведь затем они сюда и приехали.

— Советский Союз даёт нам оружие, продовольствие, обмундирование. Он даёт также инструкторов для наших солдат и офицеров, — спокойно отвечает он.

— Ваши долги, разумеется, уплатит в будущем польское государство?

Глаза за стёклами очков безучастно смотрят в сторону, но лица всех корреспондентов наклоняются поближе. Не пропустить ни одного слова, ни одного оттенка! Хотя торопиться как будто не к чему: ведь им надо ждать, пока переводчик переведёт ответ. Но чёрт их знает — может, они понимают по-польски? Разумеется, для них удобнее «не понимать», пользоваться услугами переводчика. Наверно, многие понимают. А впрочем, ну их... Но до чего же наивна эта ловушка, этот брошенный мимоходом почти небрежный вопрос!

Шувара отвечает:

— Польское государство? Мы не считаем себя вправе принимать какие бы то ни было обязательства от имени польского государства или польского народа. Мы не представители польского государства, а просто поляки, считающие долгом помочь своей родной стране, борющейся против фашизма. Мы не имеем права и не намерены ничем обременять страну, не делаем от её имени никаких долгов.

Не слишком ли много он говорит? Не слишком ли нажимает на этот пункт? Но нет, надо раз навсегда выбить из их головы намерение сыграть на этом вопросе.

— Никаких долгов, кроме единственного, вечного и неоплатного долга — долга братства. Братства, в котором клялась сегодня наша дивизия.

Брови иностранных журналистов поднимаются в любезном удивлении. На губах блуждает неуверенная улыбочка, недоверчивая и оскорбительная.

Англичанин напрягает все усилия, чтобы выпытать тайну. Должно же что-то таиться за всем этим? Не может же быть, чтобы всё было так просто и ясно, как говорят эти люди!

— Значит, вы не приняли никаких обязательств от имени будущего правительства?

Англичанин торопливо записывает что-то в своём блокноте. «Продолжать незачем, — решает Шувара, — он всё равно не поймёт». Не понял бы, даже если бы ему передать тот разговор, даже если бы он сам услышал спокойные слова человека в Кремле. Слова о том, что советский народ не торгует кровью, что он и сейчас повторяет то, что сказал в девятьсот семнадцатом: свободная, независимая Польша; что он поможет Польше стать действительно свободной и независимой.

Да, здесь, в Советской стране, знают, что такое жизнь и что такое смерть. Здесь знают, что такое кровь, пролитая на поле боя. И здесь не ведут бухгалтерию, в которой рубриками являются человеческие жизни, переведённые на язык золотых монет, и человеческие слёзы, перечисленные в шуршащие банкноты валют. Здесь говорят прямо, что думают. Но английский журналист не может этого понять. Для него слово «политика» всегда означает лишь одно: более или менее хитрый обман. И хоть душу выговори, всё равно его не убедишь, что здесь всё по-иному, что здесь не торгуют кровью.

За стенами домика гудит земля. Это возвращаются в своё расположение танки. Англичанин снова записывает что-то в блокнот. Видно, его мучит не только то, что эта польская дивизия оказалась настоящей польской дивизией, но и то, что он ещё раз воочию увидел силу Советского Союза, силу Советской Армии. Откуда в этом тяжёлом году столько прекрасного нового оружия, столько машин, которые советская страна смогла дать полякам? Где предел силам и возможностям этой страны? Как ни досадно, не оправдывается то, что все они — и он сам,

конечно, — не раз писали: «последние силы», «исчерпанные запасы», «истощённые человеческие резервы».

Шувара украдкой рассматривает человека в очках. Не он ли самый вредный? Хотя, чёрт его знает — может, самый вредный как раз тот, что дружелюбно улыбается, поддакивает, кивает головой. Кто их разберёт?

Журналист в очках начинает нервничать. Его круглое лицо краснеет. Что он, ребёнок? Неужели они думают, что его так легко надуть? Или, быть может, его собеседники сами наивны, как дети? Ведь невозможно поверить, что это так, что за этими танками не стоят шахты, которые обещаны Советскому Союзу. Шахты, приносящие столько прибылей немцам, бельгийцам, кому угодно... Что за длинными стволами орудий не маячат польские текстильные фабрики, дававшие золото французам, и немцам, и кому угодно... Что в кремлёвском сейфе не лежит договор, согласно которому после победы всё будет подсчитано до копейки, все эти орудия, танки, самолёты, обмундирование, все эти палатки и постройки лагеря. И в результате, в ущерб всем западным акционерам, — на польских заводах, в польских шахтах водворятся советские комиссары, советские инженеры, советские контролёры, которые уж присмотрят, чтобы было заплачено с лихвой за всё — и за танки, и за орудия, и за самолёты — потому что ведь то, что они сегодня видели, это ещё не всё. Эти люди утверждают, что это лишь начало — формируется и вторая дивизия... Так кто же здесь наивен — эти поляки, полагающие, что всё это им даётся даром, в порядке помощи, или же наивны они сами, иностранные корреспонденты, работники разведок всех стран, всё же потерявшие уверенность в существовании такого договора?

Журналист стирает пот с лица. Ну что ж, не удивительно, что такие, как Шувара, не хотят говорить правду — это был бы такой козырь в руках лондонского правительства! Но как бы то ни было, сюрприз, надо сказать, не из приятных. Ведь всего две недели назад лондонские поляки уверяли, ссылаясь на специалистов, что вся эта дивизия — пропагандистская ложь, что о дивизии не может быть и речи, а если и создана какая-нибудь мнимо-польская часть, то на самом деле она вовсе не польская...

Журналист вспомнил польские лагеря в Шотландии, которые он недавно посетил. Там всё было понятно. А то, что он видел здесь, было непостижимо, хотя и это несомненно поляки. «Может быть, потому, что там, в Шотландии, больше польской интеллигенции?» — подумал он. Но, взглянув на сидящих вокруг него людей, он отбросил и это предположение.

Разговор становился всё более утомительным, и обе стороны облегчённо вздохнули, когда он наконец окончился.

В лесу сгустились сумерки. Ветер улёгся, чувствовались лишь тихие дуновения, несущие свежесть реки. Сосны едва покачивались.

— Нас приглашают на банкет.

— Превосходно. По правде сказать, давно пора. Видно, даже пресловутое славянское гостеприимство не мешает им из-за политики забывать о хлебе насущном.

Журналист в очках, довольный своей иронической фразой, приостановился под сосной, закуривая сигарету. Худошавый подал ему спичку.

— Послушай, — сказал он, разминая в пальцах сосновую хвою, — ты тут что-нибудь понимаешь?

— Я уж давно тебе сказал: нет, не понимаю. Это непонятная страна и странные люди.

- Ну да, Россия непостижима... Но ведь это поляки?
- Они сейчас тоже здесь, в этой стране.
- Что же из этого следует?

— Не знаю. Во всяком случае, что-то следует. И это лучше всего доказывается тем, что ничего невозможно понять. Говорю тебе, Россия — странное явление. Вспомни французские войска в Одессе во время гражданской войны. Понять трудно, но одно могу тебе сказать наверняка: твёрдый орешек придётся разгрызть этому их польскому правительству в Лондоне! А пока — пойдём-ка на банкет.

На тропинке они разминулись с Шуварой. Он свернул вниз, к реке. Предвечерний шёпот проносился по соснам. Медленно, сонно покачивались ветви. В траве монотонно кричали сверчки. В небе горел закат, и в сиянии последних, невидимых уже лучей медленно и величаво погружался улетающий орёл.

Шувара вспомнил, что орёл парил в небе сегодня утром, ко да они принесли присягу. Он видел, как с трибуны его показывали иностранным журналистам. И глаза его невольно следили за полётом птицы туда, на запад, где всё уже подёргивалось тенью и где погас ещё минуту назад горевший на крыльях птицы блеск. Орёл словно растаял в надвигающемся вечере.

Под меркнувшим небом, среди звенящей сверчками тишины, река текла огнём и кровью.

Глава 11

В эти дни умирал осадник Хожиняк.

Ещё утром, на учении, он почувствовал омерзительную, назойливую тошноту. Ноги были, точно из ваты, и не держали тела. Сперва он подумал, что это от консервов: во рту был вкус тухлого жира, и становилось дурно при одном воспоминании о розовой, облепленной жёлтым жиром массе. Но когда он шёл в палатку, у него разболелась голова, заплясали перед глазами красные пятна. Шатаясь, как пьяный, он с трудом добрался до растянутой на кольях грязной парусины палаток. Теперь он знал, что с ним и чем это кончится. Злым, враждебным было это чужое солнце, пылающее как факел над злой, враждебной пустыней. Злой, враждебной была каменистая почва под ногами. Всё здесь было враждебным и чуждым. Его не манили к себе даже пальмы — единственная зелень в этих краях. Они высились вдали, прямые, с мощными стволами, будто обёрнутыми в старые, косматые мешки, и их широкие султаны казались в прозрачном воздухе ненастоящими, вырезанными из бумаги, — не верилось, что они могут давать тень. Да, впрочем, и они были далеко, за частым заграждением из колючей проволоки, охватывающим со всех сторон лагерь.

Неудержимый приступ рвоты заставил его с трудом подняться с постели, и он прочёл свой приговор не только в стремительном, задыхающемся биении своего сердца, но и в глазах товарищей. От этого не уйти. Раз поймав человека в свои хищные когти, злое, чуждое солнце никогда не выпустит его.

Он ещё пытался бродить по палатке. Голова гудела, трещала от боли. Рой красных пятен, ярких, жгучих, мелькал перед глазами. Сердце подступало к самому горлу.

На следующий день он уже не мог стащить своё тело с подстилки. «Это конец», — сказал он себе сурово и просто. Пришла его очередь — после столько других, кого он сам помогал выносить из палаток. Не выдержали они, не выдержит и он.

Палатка была, как фонарь, с которым там, в родной деревне, ребята ходят в сочельник по избам колядовать. Как грязный, желтоватый фонарь из промасленной бумаги. Светились щели и дырки в протёртой ткани, на ней темнели грязные пятна. Но никакая палатка, никакие стены не заслонили бы от его мысленного взора того, что было снаружи, что терзало чудовищной болью голову, вызывало сумасшедшее сердцебиение и мучительное жжение в глазах. Там высился прозрачный купол раскалённого воздуха, неподвижный, беспощадно сияющий над рядами палаток, над заграждением из колючей проволоки, над арабскими лавочками и виднеющимися вдали строениями английского военного лагеря. Ужасающий, безжалостный стеклянный купол, герметически закрывающий мир, непроницаемый купол, врезавшийся краями в горизонт. Слово за ним уж ничего и не было.

А между тем ведь было, было...

— О чём это я думал? — с трудом припоминал Хожиняк, пробираясь сквозь тревожно, как в набат, бьющие в ушах волны крови, сквозь шум и грохот в голове. В голове ли? Нет, на этот раз, кажется, не в голове. Это летят самолёты на озеро Хабания, огромные, никогда раньше не виданные летающие лодки «Ямки клиппер». Шум моторов напоминает рокот грома. «В Индию летят, — сонно подумалось Хожиняку. — Какая она, эта Индия? Так же добела выжженная солнцем, так же плотно накрытая стеклянным куполом, голубоватым, напоминающим своим цветом о свежести и прохладе, но удушающим, как раскалённая свинцовая крыша?»

Но он ведь думал не об Индии. И даже не о родной деревне под Калишем, не о хате у дороги, не о выгоне за рекой. Всё время ему думалось как раз о том, о чём он думать не хотел: о Полесье. О траве на Оцинке, высокой, зелёной, буйной траве под тенью калин. О Стыри. О той зелёной, сонной, заросшей тростниками и мятой излучине, по которой он ездил на лодке к дому Ядвиги. «Ядвига... Кто это — Ядвига?» — пытался вспомнить Хожиняк, но Ядвига исчезала, и лишь тихо журчала вода, ласково переливаясь у бортов лодки. Плескалось озеро, вздыхало огромной грудью, мелкими волнами разбивалось о прибрежную гальку, о гладкие, блестящие, отполированные тысячелетиями камушки. Что это за озеро? Хабания? Нет, ведь он никогда не видел Хабании, хотя оно было так близко, что слышно было, как с разгону соскальзывают на него со стеклянного купола лодки-самолёты. Но от этого озера их отделяла непреодолимой стеной колючая проволока, раз навсегда перечеркнувшая своей частой решёткой все дороги и тропки. Нет, это не Хабания. Это плещется и журчит полесское озеро. Шелестит тростник, с листьев чёрной ольхи серебристыми шариками каплет влага, и на волне трепещут подхваченные течением зелёные кудри ив, густо разросшихся над заливчиком, в уютных углублениях берега, в ямах, оставшихся после весеннего половодья.

«Где же отцовский дом?» — удивился Хожиняк, но не мог найти его, вызвать в помрачённой памяти.

Вёсла запутываются во выюнке, перекинувшимся летучим мостом через воду и издающем странный горьковатый запах. Должно быть, уже вечереет, раз чашечки его цветов раскрылись так широко. Или, может, это лишь раннее утро, голубовато-розовый рассвет, наполняющий росой плоские тарелочки листьев, глубокие чарочки цветов? Шумят, журчат, плещутся в частых зелёных лесах ручейки, ручьи, речушки и реки, шумит озеро. Зелень прибрежных, прошитых тростником и осокой зарослей переходит в зелень калиновых рощ, в зелень леса, живую, тенистую, непроходимую.

Полесье! Конечно, это Полесье. Всюду светлая, звенящая вода ласково омывает землю. Нет, это не деревня под Калишем. О той осталось лишь одно воспоминание — девичья песенка, простой мотив, доносящийся с выгона за дорогой.

Несчастлива, несчастлива та година,
Когда меня мать породила...

Поёт маленькая пастушка. Из-под вылинявшей рваной юбочки видны худые, загорелые ноги. В руках у девочки ивовый прут. По выгону бродят коровы, лениво, неохотно пощипывая вытопанную, обьеденную траву. Маленькая пастушка поёт. Как же её звали? Да ведь это соседская Викто — конечно, Викто.

Несчастлива, несчастлива та година,
Когда меня мать породила...

Откуда припуталась эта песенка к татарнику, к прохладным чашечкам вьюнка, ко всему этому зелёному полесскому миру плещущей, журчащей, шепчущей воды?

Как же там дальше?

И будто кто-то подсказал, будто где-то рядом давно забытым, тоненьким детским голоском кто-то пропел:

Несчастливы, несчастливы все дорожки,
Где ходили, где ходили мои ножки...

И жалко становится Хожиняку самого себя, так жалко! Он мог бы заплакать, если бы его силы не поглощала боль в голове, — эта боль сверлит, пронизывает и вдруг тяжко наваливается, словно на голове лежит камень. Был такой камень за его сараем. Сперва он хотел его выкопать, но камень глубоко впился в землю — кто знает, как глубоко ушёл в неё? Так и остался лежать, серый, ненужный, огромный. Это было в Ольшинах...

На мгновение всё исчезает. Остаются лишь наполненная злым, ярким светом палатка, да тёмные пятна на желтоватой парусине. Кто-то ходит невдалеке, и каждый шаг ударом отдаётся в измученной голове Хожиняка. Острая, внезапная боль в сердце нагоняет ужас.

— Пей, — говорит кто-то, и Хожиняк чувствует у своих губ край посуды. Тёплая отвратительная жидкость пахнет жиром. Он старается пить. «Только всё равно напрасно», — думается ему. Лучше бы уж его оставили в покое. У англичан, говорят, есть лёд. Валас ходил туда как-то с капитаном Нехциким и рассказывал, что там вино стоит в ведёрках со льдом. Врёт, наверно. Откуда здесь может быть лёд, под этим раскалённым куполом, где всё кипит от жары!

Чужая, враждебная земля. А ведь говорили, что где-то здесь в Ираке, за рекой Евфрат, был когда-то рай — рай, где жили Адам и Ева. Не может этого быть.

А может, рай был не здесь, а именно там, в зелёных чащах татарника и мяты, в глубинах величавой Стыри, в тихом журчании Стохода, в плавнях Припяти, в быстрой струе Горыни, в серебряной, зелёной, тенистой полесской земле, засмотревшейся в небо глазами озёр? Нет, и там его не было. «Что же мешало и этой земле быть раем?» — удивляется Хожиняк. Он упорно роется в памяти, он знает наверно, что за зелёной тенью, за тихим журчанием вод таится что-то мрачное, что-то мучительное, что-то спрятанное в глубине и вонзающееся в живое тело жестоким острием. Вспомнить, вспомнить...

Но память об этом померкла. Вдруг открылась перед Хожиняком узкая, заснеженная тропинка между деревьями. Ага, это дорога в Румынию, едва протоптанная тропинка, след дикого зверя или браконьера, или такого же, как он, беглеца, идущего к границе. Белый, сыпучий, нетронутый снег, лежащий повсюду огромными пластами, толстыми шапками накрывший еловые вершины.

Несчастливы, несчастливы все дорожки,
Где ходили, где ходили мои ножки...

Не вывела тропинка за границу. Не задалась дорога на Румынию, как и та первая — на Литву. У советских пограничников зелёные шапки, зелёные, как татарник над озером. «Почему я вспоминаю о них без злости?» — удивляется сам себе Хожиняк. И даже о тюрьме он думает теперь без злости, без ненависти. «Почему это? Где я? И кто я?» — спрашивает он себя, еле различая свои слова сквозь грохот и шум, разрывающий голову, перекатывающийся по жилам, как лавина мелких камушков, непрерывно катящаяся с горы. И медленно, вдумчиво, с усилием, стараясь явственно выговаривать слова, отвечает себе вслух:

— Я, Владислав Хожиняк, сержант третьего полка второй дивизии армии генерала Андерса.

И тотчас стало легче, будто нашлась точка опоры среди вертящихся цветных пятен, головокружения, сумасшедшего биения сердца, среди этого отвратительного, колеблющегося пространства.

Но кто-то сейчас же сказал — кто это сказал? — ага, это капитан Нехцицкий: «Сержант? Скотина вы, а не сержант, обыкновенная скотина»...

— За что ж это так? — удивился Хожиняк, но капитан не отвечает. Конечно, капитана здесь нет, его и не может быть в солдатской палатке. Здесь только он, Владислав Хожиняк. Но что ещё говорил капитан Нехцицкий? Это надо хорошенько запомнить, потому что оказывается, что верховный главнокомандующий генерал Сикорский — изменник. И есть только один подлинный поляк и подлинный офицер — это генерал Андерс. Как же так? Верховный главнокомандующий — и вдруг изменник!

— Ну да, — объясняет Валас, присев на корточки у входа в палатку. — Сикорский снюхался с большевиками, хотел, чтобы мы помогли советам под этим ихним Сталинградом. А генерал Андерс не согласился и увёл армию под протекторат союзников в Иран, а потом сюда, в Ирак.

Кто же эти союзники? «Ну конечно, это англичане», — объясняет себе Хожиняк. Англичане, которые над озером Хабания пьют вино со льда. Над озером... И вот оно уже плещет волнами, колышется лесом тростника. Но Хожиняк не даёт озеру увлечь себя, защищается от него. Нужно ещё что-то додумать до конца. И уж тогда можно будет поплыть, погрузиться в прохладные волны, в шумную глубину... Нет, нет, сейчас ещё нельзя, ещё не время, потому что ведь война! «Ну конечно, война!» — вдруг вспомнил Хожиняк. Как мог он раньше забыть об этом! Ну да.. Но если война, почему же он не на войне, он, сержант Хожиняк? Ведь он был совсем сопляком, когда бежал из дому на ту, на первую войну. И в двадцатом году тоже был, и был ранен в ногу... Давно это было. А теперь?

Дзынь! Где-то за холстом палатки покатила, звякнув, пустая жестянка из-под консервов, упав на кучу других. Кто-то идёт и разбрасывает ногами жестянки, валяющиеся вокруг палаток. Их столько здесь повсюду, этих жестянок от консервов!.. Их облепляют мухи, рон огромных чёрных мух с цветными головками, отсвечивающими металличе-

ским блеском. Здесь в палатке тоже полно мух, они ползают по лицу, но рука слишком тяжела, не поднимается отогнать их.

Опять тошнота, опять тяжёлый запах отвратительного жира. Кто-то подогревает консервы. Консервы, всё консервы, консервы... Солёные, жирные, наперченные. Консервы из запасов, сделанных ещё перед первой мировой войной,— это говорил повар. А уж он-то знает, ведь ему приходится ежедневно открывать их сотнями. С первой мировой войны — сколько это лет? — они валялись на складах, никому не нужные, и, наконец, нашли потребителей в пустыне под Багдадом. Тут неподалёку Багдад. Был когда-то такой фильм — «Багдадский вор». И какой это был прекрасный, таинственный, красочный Багдад, Багдад из сказки. Но всё это, конечно, была неправда, обычная кинобрехня. Что здесь может быть прекрасного, в этой проклятой богом стране, под раскалённым стеклянным куполом? Там, за проволочными заграждениями, бродят арабские дети, чёрные, оборванные, с гноящимися от трахомы глазами, и пытаются худыми ручонками выловить из-за колючей проволоки жестянку от консервов, чтобы вылизать остатки густого жёлтого жира. Кто это? Арабчонок, худой как скелет, всклокоченный, вшивый, или соседская Викта, пасущая коров на выгоне?

Несчастливы, несчастливы все дорожки,
Где ходили, где ходили мои ножки...

А что, если бы ему удалось тогда уйти в Румынию? Тоже ничего, тоже ничего... Те, из Румынии, отправлены в Африку. А если здесь такая жара, то в Африке, верно, ещё хуже...

...Зелёные, зелёные чащи. Ядвига идёт вниз, к мосткам, где покачивается в тенистом заливчике лодка. Плотно заплетены длинные тёмные косы. Панна Ядвиня... Но ведь это его жена Ядвига, Ядвига Хожиняк!.. Он достал её адрес, написал ей, чтобы она ехала в Иран. Только поехала ли она? И если поехала... Ведь этот, как его, что был в Тегеране, рассказывал: по рукам пошли среди персов, американцев и англичан польские женщины, офицерские жёны, офицерские дочери — в персидские публичные дома, в кабаки, на углы тегеранских улиц... Ядвига... Где же Ядвига?

А может, и вправду надо было, как говорил тот — как же его фамилия? — ну, тот высокий солдат, — надо было скрыться, не дать им вывезти себя в Иран, надо было итти сражаться под Сталинград?..

Но как же это могло быть! Ведь он дрался против них в двадцатом году! И медаль за это получил, и землю. Где она, эта земля? Там, над Стырюю, конечно. Ох, как пахнут татарник и мята. И как поют оборванные арабские дети, бродящие вокруг лагеря! Они по-польски поют:

Несчастлива, несчастлива та година,
Когда меня мать породила...

Того высокого, впрочем, расстреляли. Капитан Нехцицкий сказал, что это большевистский агент. Большевистский агент... Странно, как это он попал в большевистские агенты, польский крестьянин из-под Кракова? Но так сказал капитан Нехцицкий. И его, Хожиняка, тоже допрашивали, не уговаривал ли его тот остаться в Советском Союзе? Но ничего им Хожиняк не сказал, отпёрся начисто. Почему он так сделал? Ведь тот действительно уговаривал его. Но Хожиняк, глядя прямо в глаза капитану Нехцицкому, сказал: нет, ничего такого он не слышал. Вот тогда-то капитан и сказал ему, что он скотина. Что ж, пусть! Но нашлись, видно, другие, которые выдали, потому что того всё равно расстреляли. А он рассказывал, что под Краковом у него остались жена и

дети, и он хочет идти к ним, и что прямая дорога на Краков — вот от этого самого Сталинграда, а не через Ираны и Африки. Так он сказал... «Так оно, видно, и есть, — думалось Хожиняку. — И большевики ведь дерутся с немцами, третий год дерутся»...

Но теперь это уже не имеет никакого значения. Того расстреляли. И не только его — в лагере расстреливали часто. А Хожиняк умирал сам. И знал, что умирает. Ведь он уже сто раз видел, как здесь умирают от солнечного удара. Сперва головная боль, сердцебиение и рвота, а потом человек лежит, как колода, и только дышит жаром. «Тут, чтобы спастись, нужны тень, лёд и холодная вода, много холодной воды», — сказал ему кто-то. Но льда не было, а вода воняла и была густая и тёплая. И повсюду проникал докучный, резкий, пронзительный свет, от которого не было спасения, который колот глаза даже сквозь закрытые веки. Хожиняк раскачивался в ослепительно сияющем стеклянном шаре и знал, что это конец. Смерть — голая, как каменная пустыня, бесстыдная, режуще-яркая, южная пустынная смерть суждена ему, Хожиняку.

«Где я?» — снова попытался он вспомнить. В ноздри врывается упорный, назойливый запах гари. Ах, это Красноводск... Армия грузится на пароходы, чтобы переправиться через Каспийское море в Иран. А на берегу огромным костром пылают запасы, которые не вместились в трюмы. Кто-то целыми кипами бросает в огонь пушистые английские одеяла. Пусть горят, лишь бы не оставить их большевикам. «Стыд и срам, — ворчат солдаты. — Столько наших здесь остаётся, пригодились бы им...» Но капитан Нехцицкий тотчас резко кричит: «Большевикам хотите оставить?» А хоть бы и большевикам! Страшно смотреть, как без пользы гибнет в огне столько добра. Накалывают на штык банки мясных консервов, жестянки со сгущённым молоком, и всё это бросают в огонь. Кипит, пылают жир, хлопья сожжённой шерсти носятся в воздухе и чёрной сажой оседают на руках, на лицах. Всё, всё, что не удалось погрузить на пароходы, — всё к чертям! Одеяла, консервы, мешки какао, кули муки, лекарства, перевязочный материал. Только бы не досталось большевикам! Бегают, командуют, покрикивают офицеры: бей, жги, пусть пропадает, лишь бы не досталось большевикам! Высоко вздымается пламя, чёрный дым стелется по желтоватому морю, которое здесь, в порту, пахнет нефтью и машинным маслом. За этим морем граница. Отчалить от берега — и между ними и советской землёй лягут огромные водные просторы...

Ещё и ещё жестянки сгущённого молока. И с каким-то бешенством пронзают их штыками, чтобы они наверняка пропали, чтобы никакой пользы не было от них большевикам.

«Молоко... Где это говорили о молоке? — Хожиняк мучительно собирает мысли в раскаляющейся от боли голове. — Ага, в Ташкенте... В Ташкенте, куда с севера, из степей, из посёлков прибыли поляки, большинство целыми семьями, с детьми, и наводнили город, раскинувшись бивуаками на улицах. Делегация пришла к польскому генералу просить сгущённого молока для голодных детей. Но генерал заявил, что молока нет, что он ничем не может помочь. А когда делегация ушла, Хожиняк собственными ушами слышал, как он сказал капитану Нехцицкому, что пусть, мол, умирают. И чем больше, тем лучше. Тем больший счёт будет предъявлен большевикам. Смерть каждого ребёнка, который умрёт здесь, падёт на их голову... Но как же это? Ведь можно было спасти этих детей, можно было накормить их! И для армии меньше было бы хлопот с этими запасами, которые потом тащили в Красноводск, чтобы сжечь их здесь, на берегу. Молоко было — ведь вот оно! Теперь его приходится уничтожать сотнями и тысячами жестянок. Оно

могло спасти польских детей. Но, оказывается, чем больше их умрёт, тем лучше, всё это будет поставлено в счёт большевикам... Почему большевикам, а не польскому генералу, который отказал в помощи? И они умирали...

А сейчас кто умирает? Зажецкий? Нет, Зажецкий уже умер вчера — или нет, не вчера, — когда же это было? Как путаются дни, недели, года... Ведь это же не Красноводск, это лагерь над озером Хабанна! И умирают не дети в Ташкенте, а он сам, Хожиняк. На чью голову падёт его смерть? Его не убили в Полесье, не убили на румынской границе, он в польской армии, он уже не на советской земле... И он умирает. Кому будет поставлена в счёт, на чью голову падёт его смерть?

И вдруг над самым ухом спокойный, тихий голос генерала: «Чем больше их умрёт, тем лучше». Хожиняк вздрогнул. Да, это о нём говорил генерал. Это его, Хожиняка, приговорили к смерти, и ему не дадут воды, которая могла бы его спасти. Потому что — чем больше хожиняков умрёт, тем лучше.

Однако откуда же тут взялся генерал? Ах, выпить бы воды. Пить! Пить!

Но вода здесь отвратительно разит прогорклым салом. Наверно, по ней плавают круги нефти, как там, на Каспийском море... Нельзя лечь на берегу и прильнуть к воде губами, вода горько-солёная, и она пахнет нефтью, она только распалит жажду, не утолит и не утишит её... Здесь всюду соль. Она скрипит и трещит под ногами, и песок здесь белый, как соль, он набивается в рот, скрипит на зубах — горький, как соль.

«Я ещё не умер, — думает Хожиняк, — но когда умру, меня не заруют в песок, здесь даже песка нет, а завалят кучкой камней, как Зажецкого и кого-то ещё... Кого? И когда это было?»...

«Пить!» Пересохшие губы не могут выговорить и этого слова. На его голове лежит мокрая тряпка, но от этого ещё хуже — она нагрелась и жжёт — кажется, мозг закипит под ней. Руки бессильны, как парализованные. Он даже не может согнать мух, которые, он чувствует, ползают по его пальцам, — не то что сбросить с головы эту горячую обжигающую тряпку. Хожиняк теперь как будто смотрел на самого себя со стороны. Он смотрел на того Хожиняка, что лежит неподвижно и бредит, сивясь ухватиться за какой-нибудь точный образ, за какое-нибудь определённое воспоминание, — ведь тогда прекратится это колыханье и мельканье, и всё станет простым и ясным. Но над ним лишь гладкий стеклянный купол, вокруг лишь прозрачная, раскалённая жара.

Несчастливы, несчастливы все дорожки,
Где ходили, где ходили мои ножки...

Да, да... Сегодня он, вчера Зажецкий, завтра ещё кто-нибудь... Так они и перелобхнут здесь все на раскалённых камнях, за колючей проволокой, среди позвякивания и смрада консервных банок. Ведь вот приходил недавно тот англичанин, нет, даже не один он был, а двое англичан, в коротеньких штанишках, в белых пробковых шлемах, прохладно пахнущие одеколоном. Они оживлённо спорили о чём-то между собой, и капитан Нехщицкий что-то объяснял им. Потом Валас говорил, что тот, пониже, — врач, и очень удивлялся, почему поляки так невыносимы: только выйдут на солнце — и мрут, как мухи.

Валас всегда всё знает, главный подлиза при капитане Нехщицком. И по-английски понимает, успел побывать и в Англии. И Сикорского видел, верховного главнокомандующего...

Но ведь верховный главнокомандующий, — вспоминает вдруг Хожиняк, — оказался предателем... Почему? Ах, да, он хотел оставить их там,

в России, чтобы они сражались против немцев, ведь все говорили вначале, что так будет. А генерал Андерс привёл их сюда, в лагерь над озером Хабаниа. Только какое же тут озеро? Они его и не видели ни разу, между ними и озером протянута колючая проволока... В польских военных лагерях близ Бузулука, в России, не было колючей проволоки...

Стеклянный купол стал вдруг угасать. Здесь почти не было перехода между днём и ночью. Полотно палатки вдруг стало серым, словно кто-то одним взмахом руки стёр с небосклона солнце.

Темно. Но жара не спала, и ночь не принесла облегчения.

В пустыне залаяли шакалы. Они бродят вокруг, подкрадываются к самому лагерю в поисках пищи. Который-нибудь из них заглянет в палатку, увидит неподвижное тело, вонзят зубы, а человек, лежащий на грязной подстилке, даже и тогда не сможет пошевелинуться... Как хорошо это знал Хожиняк, смотрящий на себя со стороны! Вокруг него ходили люди. Он слышал их шаги и голоса, отдающиеся эхом в его огромной, опухшей голове,— всё это было смутно, словно за толстой стеной. Но почему сквозь неё так отчётливо доносились воющие жалобы шакалов?

Сквозь дыру в палатке видна звезда. Крупная, яркая, с длинными лучами. Это была неестественно яркая, зловеще мерцающая звезда Юга. Но он глядел на неё не сводя глаз, и это помогло: бредовые видения рассеялись. «Это звезда над озером Хабаниа»,— подумал Хожиняк. Он остро ощутил себя. Теперь это были не двое — один, лежащий без сил, и другой, глядящий на него, думающий за него. Теперь Хожиняк был один человек, и этот человек был не в Полесье, не в Красноводске,— он лежал здесь, на вонючем матраце.

Вот как умирает от солнечного удара Владислав Хожиняк, сержант польской армии, потом осадник — и снова сержант.

Не удалось ему бежать в Литву. Пришлось вернуться, скрываться, бродить по болотам. Не удалось бежать и в Румынию. Его арестовали на границе, он сидел в тюрьме. А потом его освободили, и он пошёл в армию генерала Андерса, чтобы драться с немецкими фашистами. И тогда вдруг оказалось, что не они являются главным врагом, хотя ведь это они захватили, разрушили, утопили в крови Польшу. Но сержант Хожиняк не должен был драться против них. Он должен был умирать в лагере над озером Хабаниа, где союзники окружили их колючей проволокой и обильно снабдили консервами, приготовленными ещё перед первой мировой войной. Здесь они должны были сидеть и ждать. Так объяснял капитан Нехцицкий. А там пусть большевики дерутся с немцами, пока не обессилят друг друга — тогда двинется генерал Андерс и покончит с теми и другими. Так говорил капитан, но Валас подсмеивался над этим и говорил, что лучше уж тогда им вообще ни с кем не воевать. Они подождут, когда бои кончатся, тогда англичане дадут им спокойно возвратиться в Польшу, чтобы вместе с ними наводить порядок. Зачем же рисковать до того времени головами?

Кто вернётся в Польшу? Кто вырвется туда из-под этого стеклянного купола, из-за этой колючей проволоки, из этих дырявых палаток? Хожиняк подохнет здесь, как подохло уже столько его товарищей. Его завалят камнями в этой пустыне, где нет не только земли, но даже песка. Придут шакалы, выцарапают труп из-под накалённых солнцем камней, растащат кости по огромной равнине под чуждым, враждебным небом, где даже звёзды зловещи и яростны, а ночь не приносит прохлады.

Снова боль рванула сердце. Единственное, что ещё не было неподвижным в его теле, — это трепещущее, колотящееся сердце. Оно при-

останавливалось на миг и вновь напрягалось, раскачивалось, било в набат, чтобы бессильно опасть и затихнуть.

«Удивительно, как невыносимы эти поляки!» — вспоминалось Хожиняку. Как же так? Он был выносливым в первую войну, ещё каким выносливым! Был выносливым в двадцатом году. И потом, в Полесье. И когда шёл в Литву, зимовал в болотах и укрывался в плавнях рек. «Железный мужик», — говорили про него. А тут вдруг оказался невыносливым. «Но откуда я тут взялся?» — опять мучительно вспоминал Хожиняк, сопротивляясь надвигающейся выюге ярких пятен, неистовой головной боли и оглушающему стuku сердца.

Сквозь отверстие в полотне он снова увидел звезду, неестественно огромную, иссиня-белую, чуждую и злую.

Он помнил одну звёздную ночь двадцатого года. Да, это было в двадцатом году, летом...

В двадцатом году он лил свою и чужую кровь — думал тогда, что ради защиты своей родины. Но теперь и с этим что-то оказалось не так, и это повернулось какой-то другой стороной. Кроме того высокого солдата, которого расстреляли, был ещё другой — Словиковский, что ли. Куда он девался? Может, и его расстреляли? Нет, об этом ничего не было слышно, — видно, так, потихоньку убрали. Так вот, этот Словиковский сказал ему: «Дурак ты! Пилсудский сам напал на большевиков, чтобы снова отдать украинскую землю нашим помещикам»...

Но он тогда Словиковскому не поверил. Как можно! Ведь все тогда в двадцатом году шли — дети, молодёжь — спасать родину от большевиков, которые напали на Польшу, едва только восстановившую свою независимость... А Словиковский утверждал, что как раз большевики первыми признали независимость Польши. «Должно быть, врёт», — решил тогда Хожиняк. Но ведь потом и капитан Нехцицкий сказал: «Вот если бы Пилсудскому удалось в двадцатом году, всё бы теперь по-иному пошло»... — «Если бы что удалось?» — глуповато спросил Валас. — «Поход на Киев, осёл!» — сказал капитан Нехцицкий. Стало быть, и он знал, что большевики не напали на Польшу, что это Пилсудский... Ох, как тошнит, как болит голова... Оказывается, ложью был весь двадцатый год. А в таком случае, кто же такой он сам, сержант Хожиняк, который считал своей честью и гордостью, что защищал тогда родину? И землю он получил именно за это... Как же это? Зачем его обманули, почему всё было не так, как говорили, как печатали в газетах, как провозглашали в выступлениях? И этот полк мальчиков, почти детей, погибший под Варшавой... Они кричали «мама», когда умирали за родину. А теперь оказывается, что не за родину они умирали и не за своих матерей, а за то, чтобы польские помещики могли вернуться на Украину и отобрать землю, которая уже попала в руки крестьян... Что же это такое? Кто же он сам, Хожиняк? Крестьянин, и никто другой... А вот, годы спустя, оказалось, что он сражался не за Польшу, а за помещиков... «И за английские, французские, американские концессии на Украине и на Кавказе», — язвительно прибавлял Словиковский. Какое ему, Хожиняку, дело до чьих-то там концессий? Нет, зря пропала жизнь, сыпучим песком рассыпалась в руках. Ох, если бы этот Словиковский лгал... Но он не лгал, нет, сам капитан Нехцицкий подтвердил, что это был «великий план Пилсудского», «великий крестовый поход на Восток»...

Двадцатый год... Сколько ему было тогда, в двадцатом? Совсем был сопляк, и не диво, что дал обмануть себя... Но ведь шли и другие — и постарше, и развитее. И ведь не только тогда, но и позже считалось, что они собственной грудью защищали отечество от врага... Как же

удалось обмануть весь народ, всех? Но нет, не всех. Вот господин капитан Нехцицкий знает, в чём тут дело; знал, наверное, уже и тогда... А вот он, Хожиняк, ничего не знал... Где теперь этот Словиковский? Надо бы его расспросить хорошенько, подробно, чтобы уже раз навсегда понять, что и как. Но Словиковского нет. Пропал без вести...

Да, тогда на фронте не мало людей пропадало без вести. Но тут ведь нет никакого фронта, тут лагерь в пустыне, окружённый заграждениями из колючей проволоки, как же здесь можно пропасть? Куда отсюда можно уйти? Об этом шли разговоры среди солдат. Украдкой, по секрету. Конечно, шкура всякому дорога, а тому, кто пропал, уж всё равно не поможешь. Лежит теперь где-нибудь под этим мелким, хрустящим гравием пустыни и никому уже больше не расскажет, как обстояло дело в двадцатом году. А непременно надо бы ещё раз выспросить...

Ох, как трещит, лопается голова, как кипит в ней мозг, ничего не поймёшь.

...Горит солома... Это снова пылают пшеничные снопы. Подождли!.. Кто? Виновники опять не будут найдены, это уже известно... Виновники... Это слово отделилось от мысли о горящих снопах, гвоздём вонзилось в голову. Виновники... Кто виновники? Виновники чего? Огня, который охватывает его голову? Этого лагеря в пустыне, этого двадцатого года, когда неизвестно за каким чёртом напали на большевиков, вместо того чтобы восстанавливать свою страну?.. А Силезию отдали тогда немцам — Словиковский рассказывал.

Пустыня... Как же это вышло? Он помнит,— столько раз тогда прочёл, что наизусть помнит,— как тогда сказал генерал Сикорский. Слова возникают, словно выжженные раскалённым железом в мозгу, он читает их, будто на огромной доске. Но это не доска, это пустыня. И на жёлтом песке пустыни явственно видны слова генерала Сикорского: «Борьба с оружием в руках на восточном фронте будет новым вкладом Польши в эту войну, вкладом, имеющим огромное политическое значение в будущем...» Да, вот так и было сказано. А где теперь этот фронт? Далеко, далеко, птицей до него не долетишь... Вот чего хотел генерал Сикорский. Но если генерал Сикорский изменник, потому что хотел союза с большевиками, то были ведь и другие слова, Хожиняк своими ушами слышал их из Москвы, и говорил их по радио не кто иной, как генерал Андерс: «Мой долг собрать вас всех, способных к ношению оружия, организовать и создать возможно большие вооружённые силы. Они будут частью польской армии, совершенно суверенной и борющейся плечом к плечу с советской армией против общего врага — Германии!» Да, так говорил генерал Андерс... Как же так?

Валас смеётся! Ох, до чего же туп этот Хожиняк! В том-то всё и дело, что Сикорский всё это принимал всерьёз, а генерал Андерс просто надул большевиков. Армию организовал? Организовал! Монету от большевиков получил? Получил! Ну, и до свиданья. Хватит. Нет, генерал Андерс хитро обделал это дельце...

Кого же надул генерал Андерс? «Азиатов», — говорит Валас... Но он, Хожиняк, поляк, а его тоже надули, ох, как надули! Ведь он-то хотел драться, драться за родину... А теперь оказалось, что всё это была комедия, липа, и вот приходится умирать в этой голой пустыне, неведомо за что и почему... Нет, не только «азиатов», тысячи собственных солдат надул генерал Андерс... Так уж оно, видно, должно быть, так уж оно, видно, и есть всегда, что говорится одно — делается другое... Только почему должен за это умирать Хожиняк? И другие? Мало ли их уже засыпали этим сухим, хрустящим хабанийским гравием. И сколько ещё засыплут?

«Гениальные планы» Пилсудского, Рыдза, Андерса... Почему так много этих гениальных планов и почему они всегда кончались катастрофой? «Гениальный замысел марша на Киев»... Что из него вышло, кроме крови, горя, несчастья, не говоря уж о том, что поляки чуть не потеряли собственной столицы? А позже — «гениальная внешняя политика», ведь именно так о ней писали в газетах, говорили в речах, и Хожиняк верил в эту гениальную политику, завещанную Пилсудским... И что вышло из этой «гениальной» политики, из этого «гениального» плана — опираться на Германию против большевиков? Развалины и пепелища, Польша, обращённая в груды золы. Руины городов, сожжённые деревни, миллионы убитых, сотни тысяч поляков, рассеянных по всему миру...

И в сорок втором году тоже ведь был у Андерса свой «гениальный план» — о нём шептались друг другу на ухо, под страшным секретом, но знали о нём многие. План — не идти в Иран, а вместо этого ударить самим на Кавказ, захватить Баку — нефть, к которой рвались немцы, и встретить англичан с таким козырем в руках... Только что же — немцы, если им действительно удастся побить большевиков, — так и останутся при виде польских дивизий, держащих это самое Баку, пусть даже вместе с англичанами? Об этом как-то не говорилось. Только бы захватить — и тогда встреча с английскими союзниками будет выглядеть иначе. Тогда можно будет поставить условия, требования — много получить взамен за эту нефть.

Этот «гениальный план» не был почему-то выполнен. Кто-то помешал. Может, они слишком рано ушли в Иран. А может, большевики всё разузнали — неизвестно. Но ещё здесь, в лагере под Хабанией, Хожиняку случалось слышать тихие вздохи о том, что этот план не был выполнен, — «а жаль, очень жаль, гениальный был план»...

Почему он только теперь видит всё так ясно, всю свою пропадающую, обманутую, погибшую жизнь — теперь, когда уже поздно? Его послали в двадцатом году драться не за то, за что он думал. Его толкнули в тридцать девятом и сороковом на преступление и на горе — мало ли он настрадался в то время, скиталец, преследуемый беглец, узник? И, наконец, отправили его сюда, умирать в этой ужасающей голой пустыне — зачем? За что? «Ведь кто же я такой? Крестьянский сын, простой крестьянин, из которого господы сделали себе слугу и игрушку...»

Грохотало в голове, грохотало в груди, гремело пространство, словно на хабанийский аэродром шли целые соединения «летающих крепостей». И среди этого гула, сквозь который он провалился куда-то вниз, Хожиняк подумал, что прав был тот высокий, которого расстреляли. Отсюда не было пути в Польшу. Отсюда был лишь один путь — к бесславной гибели, к смерти.

«Но теперь поздно», — сказал себе Хожиняк, слушая, как гул самолётов, шакалий вой пустыни и сумасшедшие удары сердца сливаются в один хор, как чужая, враждебная земля тысячами голосов поёт близкие, родные слова:

Несчастлива, несчастлива та година,
 Когда меня мать породила...
 Несчастливы, несчастливы все дорожки,
 Где ходили, где ходили мои ножки...

Он силился приподняться, но всё тело словно свинцом налилось. Расплавленный свинец пульсировал в жилах, расплавленный свинец гнал обезумевшее сердце, расплавленный свинец клокотал в горле. Дорога была одна — в раскалённую добела, жестокую, пустынную смерть. Путь заканчивался. И осадник Хожиняк соскользнул с него в глубь замыкаю-

щего мир стеклянного купола как раз в тот момент, когда из-за горизонта вдруг сверкнуло огромное, яростное, беспощадное солнце и безжалостным светом залило белые, как кости, камни, валяющиеся вокруг консервные банки, людей, спящих тяжёлым, лихорадочным сном у грязных палаток, и человеческие кости тут же за лагерем, вытащенные из каменных могил шакалами, и всю горестную долю лагеря над озером Хабаниа — огороженного колючей проволокой лагеря в жгучей каменной пустыне.

Глава 12

По небу переваливаются тяжёлые тучи, их гонит высокий ветер, незаметный на земле. В просветах туч, словно в глубоком колодце, вдруг покажется затуманенный, сонный месяц и белым мертвенным блеском осветит пологие холмы и чёрные группы берёз, ольхи, обнажённые деревья с облетевшей листвой. Где-то внизу лунный свет зажигается на узкой речушке, и она одно мгновение блестит, как осколок разбитого зеркала.

Эх, речка, узкая, извилистая речка Мерей! Кому суждено тебя перейти?

Длинна октябрьская ночь. Не спится в эту ночь. Не даёшь ты спать, не даёшь уснуть, речка Мерей, выющаяся по топким долинкам...

Мокрая глина окопов. Марцьёсь плотнее кутается в шинель. Воздух насыщен сыростью. Но, в сущности, трудно понять, холод ли пронизывает до костей или это внутренняя дрожь. «Лихорадка? — дивится сам себе Марцьёсь.— Я ведь совсем здоров!» И всё же зубы стучат от озноба, а на лбу выступает пот. Не от тебя ли веет холодом и жаром, речка Мерей? Не от тебя ли идут горячие волны и мелкая дрожь, пробегающие по телу?

Вдали взлетают трассирующие пули прямо в небо и потом падают полукругом вниз, как узенькая струйка фонтана или маленькая комета, оставляющая за собой пунктирный след.

Снова показывается месяц из-за туч. По ту сторону долины, за речкой Мереей — крутые склоны холмов. Там прикорнули деревни, тихие, примолкшие. Лишь мимолётно, когда ветер разгоняет тучи, виднеются высокие силуэты деревьев. «Тополя, — думает Марцьёсь.— Да, это тополя». Мелькает воспоминание: такие тополя, как там, в совхозе. Только здесь нет аллеи, а лишь отдельные деревья, чернеющие, будто потасшие факелы. Куда же он шёл по зелёной тополевой аллее в необозримой казахстанской степи? Сюда, к речке Мерее, — к новой грани, к воротам в новую жизнь.

Где-то справа за рекой — выстрел. Но, видимо, ещё случайный — трудно поверить, что это фронт, что в тех вон деревнях, по холмам, за речкой проходят фашистские позиции.

Границей пролегла речка Мерей. Где же Варшава, где Груец? Далеко на запад. Не одну ещё речку, не одну долину, не одну гряду холмов придётся перейти... И всё же это уже не то, что было вчера. Великий путь на родину начался. Начался и его, Марцьёсь, путь. По сравнению с этим всё остальное потеряло значение, стало неважным и мелким. Как смешно, что недавно, сидя на тракторе, распахивая поле в Казахстане, он воображал себя капитаном корабля и гордился тем, что чувствовал мощные, шумящие крылья за спиной! Нет, подлинная жизнь начинается только сегодня.

Она началась даже не там, над Окой, где он впервые увидел бело-красное знамя и сменил на военную форму свой вылинявший совхозный комбинезон. А ведь и тогда казалось, что вот уже начинается настоя-

шая жизнь!.. Даже когда он получил винтовку и думал, что такого счастья, такого восторга ему уж больше не пережить,— и это было ещё не то.

Самое важное в жизни началось только сегодня. Только сейчас. Когда он знает, что утром будет то, о чём говорил вчерашний приказ: «Вперёд, в бой, солдаты Первой дивизии!..»

И слова, запомнившиеся, как присяга: «За вами пойдут на фронт другие польские дивизии. Но никто не отнимет у вас того, что вы — Первая дивизия. Будьте же ею не только по названию!..»

А в ней, в этой дивизии, кто будет первым? Быть может, как раз он, Марцысь Роек из Груйца, тракторист-стахановец из совхоза в Казахстане...

Немцы знают, кто стоит против них. Недаром они вчера бросили листовки, совершенно дурацкие, нелепые листовки, воображая, что могут кого-то переманить или напугать. Но откуда они так быстро узнали, что против них стоят поляки? Как это дошло до них в тот же день, когда дивизия прибыла на этот участок фронта?

Марцысь беспокожно оглянулся. Возможно ли, чтобы здесь, среди людей, которые плакали, как дети, получая оружие, и целовали орлов на своих шапках, — возможно ли, чтобы среди них был кто-то, кто даёт вести врагам, кто высокими словами прикрывает подлую измену? Быть может, он сейчас крадётся туда...

Но в окопах тихо. Люди молчат, дремлют или так же, как он, закутавшись в шинели, стоят, прильнув к холодной глине окопа, всматриваясь в предательскую тьму того берега.

Впрочем, пусть враг знает, кто перед ним. О, пусть знает! Завтра он узнает ещё лучше. Он снова увидит орлов на шапках и бело-красное знамя, и услышит польские слова... Но на этот раз всё будет иначе, чем тогда, в тридцать девятом!

Марцысь ласково гладит ствол винтовки, вспоминая старую песню: «Мои возлюбленные — винтовка и сабли отточенной лезвие».

Ну, сабля — это уж романтическая старина. Но винтовка — другое дело... Эх, и покажет он им! За ту польскую дорогу, по которой он уходил с сердцем, пылающим от ненависти и стыда, за ту дорогу, наводнённую бегущими женщинами и детьми, забитую безнадёжно бредущими солдатами разбитых частей, солдатами без сапог, без оружия, без офицеров... Тогда он бежал от гитлеровцев. Теперь он, Марцысь Роек из Груйца, заставит их бежать...

Сравнятся с теми, кто стоят с правого и левого флангов, с солдатами, сражавшимися под Москвой, с героями Сталинграда, с солдатами Красной Армии! Доказать, что поляки умеют не только дезертировать в Ирак, что есть ещё польская отвага! Пусть и друзья и враги увидят, как поляки ходят в атаку! Так неужели вот эта речка, эта извилистая, болотистая речушка будет им преградой? На крыльях перелетят они её, возьмут её одним прыжком!

За речкой вражеские окопы. Боевое задание — форсировать речку, захватить окопы, прорвать линию обороны, овладеть деревней.

Только бы скорей, только бы не дожидаться больше... Там, за речкой Мереей, — Варшава. Ничего, что до неё ещё сотни километров. Самое главное — взять этот рубеж, отделяющий вчерашний день от завтрашнего, от того дня, когда начнётся новая, настоящая, стремительная жизнь. За этим рубежом — прямая дорога до самого дома. Теперь уж ничто не остановит поляков, ничто не заставит их свернуть с пути.

Может быть, сам он погибнет... Но нет, не может быть! Если погибнешь, всё для тебя кончится. А ведь этот бой — лишь начало...

— Светает вроде, — слышится рядом чей-то сонный голос.

И правда, ночь, видно, кончилась, хотя стало ещё темнее. Подул холодный, влажный ветерок. Луна исчезла, и из ночных теней медленно стала вырисовываться долина. Мрачная, серая. Чернел реденький березнячок и более густые, приземистые заросли ольхи. Уже виднелись крыши домов на той стороне. Густой белый туман, растрёпанный, как грязная вата, стлался внизу, где извивалась речка Мерея. Казалось, будто клубы туч, что ночью бродили по небу, теперь осели, прилегли на глинистые склоны, на серое топкое дно долинки.

Где-то далеко в стороне раздался стонущий гул.

— Артиллерия, — снова шепнул кто-то.

Но почему здесь так тихо, почему здесь ничего не происходит? Пальцы заоченели на холодном стволе винтовки. Заоченели ноги в сапогах. Сонное, мокрое осеннее утро пронизывает холодом. Долго ли ещё стоять?

И вдруг, будто над самым ухом, неожиданно чётко и ясно раздалась русская команда:

— За овободную, независимую Польшу — огонь!

И тотчас, словно эхо — по-польски:

— *Za wolną, niepodległą Polską — ognia!*

С головы до ног обдаёт горячая волна взволнованной крови. Бьют орудия, советские и польские. Бьют по склонам холмов, по противоположному берегу речки Мереи. Это — правда, это, наконец, — братство оружия, совместный бой!

Но почему их заставляют ещё торчать в окопе, бездейтельно стоять на месте, когда уже началось?

Дрожит, стонет, гудит земля. Гремит ураганный огонь по фашистским позициям. Вдруг над головами вой и свист, прохот и шум, и сотни светящихся снарядов пролетают над окопами.

— Катюши! Катюши! — радостно кричит кто-то, но голос едва слышен, хотя Марцысь видит широко раскрытый рот и блеск удивительно белых зубов.

Бьют, бьют орудия. Теперь уже не видно ни холмов, ни крыш деревенских домов, ни стройных тополей. Одна сплошная стена дыма и пыли с вкрапленными в неё языками огня.

И вдруг:

— Вперёд! В атаку!

Марцысь уже не понимает — подал ли поручик команду или это ему померещилось в чёрном, грохочущем смерче? Но все вылезают, выскакивают из окопов. Сапоги скользят по обмякшей, мокрой от утреннего тумана глине.

Вперёд, вперёд, к этой высокой чёрной стене, сверкающей языками пламени!

Ноги путаются в высоко срезанной стерне, задевают комья глины. — Вперёд, вперёд!

Дальше, вниз, к речке Мерее... Стерня кончилась. Ноги вязнут в раскопанном, грязном поле, где раньше росла картошка. Глина налипает на сапоги. Откуда-то, повидимому, по ним стреляют — рядом с Марцысем кто-то упал. Вот и другой. Но он знает лишь одно: вперёд, вперёд! К речке Мерее, к этой чёрной стене дыма — скорей, скорей!

Под ногами хлюпнуло — это уже заболоченный берег. С кваканьем рвётся мина. Снаряды роют в топкой почве глубокие воронки, кажется, что взрывается внутренность земли, выбрасывая высокие чёрные фонтаны.

Что это? Вода?

Как обманчива Мерей: издали казалась узеньким ручейком, но теперь видно — её не перескочишь. Так в воду! Только бы поскорей!

Вода по колено, вода по пояс — холодная или тёплая, Марцысь не чувствует. Только бы не замочить винтовку, не растерять патроны. Вперёд! Вперёд!

Вот и противоположный берег, вот перед глазами высокая чёрная стена, стена дыма с кровавыми языками пламени. Так это и есть огневой вал?.. Скорей, скорей за этой ревущей стихией, за брызгами земли, за стеной чёрного дыма, вперёд! Прижиматься к артиллерийскому огню, — так говорили на учениях.

Боже, боже, на учениях всё было совсем иначе... Люди падают...

Что это с ним? Почему он спрыгнул куда-то вниз, в разверзшуюся под ногами яму? Нет, это не яма, это вражеские окопы. Куда теперь, что теперь?

— Поручик убит! — кричит кто-то. Смятение. Но из дыма вдруг появляется советский офицер.

— Товарищи поляки! За свободную, независимую Польшу! Вперёд! Скорей, за ним!

Артиллерия перенесла огонь дальше. Перебежать ещё двести метров. Нет, не кланяться, не падать, не прижиматься к земле... Прямо, прямо, бегом! Ноги путаются в низких спиралях проволоки. Но вот и зеленые мундиры — это бегут фашисты. Они убегают!.. Так скорей же вперёд, за советским офицером, который бежит с револьвером в руке...

...И это всё? Ошеломлённый, словно внезапно разбуженный, Марцысь останавливается на деревенской улице. Противника нет. Где он? Куда девался?

— Чудак! Мы взяли деревню, — кричит ему кто-то прямо в лицо.

Марцысь отирает рукавом мокрый лоб. Шатается, как пьяный. Как? И это всё? Так захватывают деревни?

Ствол винтовки ещё горячий. У Марцыся не осталось ни одного патрона. Значит, он стрелял. В кого и как? Он не помнит. Несужели бой окончен? Но ведь всё вокруг ещё гудит и грохочет, взлетают чёрные фонтаны земли, а на краю деревни ясным пламенем горит изба. В ноздрях запах гари. Что же теперь? Где остальные товарищи? Кругом незнакомые лица — видно, батальоны смешались.

— Беги в штаб, доложи, что деревня занята, что наш левый фланг открыт и нехватает боеприпасов! — кричит ему незнакомый капитан. В штаб? Где он? Но спрашивать некого — капитан уже ушёл, а приказ есть приказ.

Это ещё что? Немецкий налёт. Низко над головой рокочит самолёты. Грохнула бомба, засыпав Марцыся песком... Скорей в штаб! Кто-нибудь его укажет.

Вот штаб, но нет, это танкисты. У радиоаппарата безумствует Антек Хобот.

— Где танки? Где танки? — волнуется командир танкового полка.

— Искра, Искра, я Варшава, отзовись, Искра! — кричит охрипший Хобот. — Пять машин, где пять машин? Всего за несколько минут до этого они сообщили, что пройдены немецкие окопы. Всего минуту тому назад они донесли: «Деревня занята, идём вперёд!».

И Хобот радостно докладывал:

— Гражданин капитан, деревня занята, они пошли дальше.

А потом тишина. Долгая тишина.

— Искра, Искра, — кричит Хобот. — Не отзываются, гражданин капитан, — докладывает он взволнованно.

— Вызывай, пока не отзовутся!

— Искра, Искра, я Варшава, где вы, Искра, Искра?

Гремит и воем поле боя. «Они прошли окопы. Прошли деревни...» Хобот сжимает пальцы: «Ах танки, чудо-машины. Какой был праздник, когда они прибыли туда, на Оку! Как они шли, с ходу преодолевая пригорки, валя берёзы. И вот теперь пошли прямо на врага... Прошли, как таран, сквозь деревья, давя и рассеивая фашистов... Где же они? Почему молчат?».

— Искра, Искра! Отвечай, Искра! Искра, я Варшава!

Зовёт, зовёт Варшава... Нет, это не Антек Хобот в землянке штаба. Далёкая Варшава зовёт танки, которые ринулись на неприятельские позиции, прошли неприятельские окопы, прорвали линию обороны, ворвались в неприятельские тылы и ринулись, как буря, грома врага. Зовёт, зовёт Варшава экипажи танков, катящихся лавиной. Вперёд, вперёд! Мощные крылья у ненависти, мощные крылья у любви. Вперёд, на запад! в неудержимом порыве, в упоении борьбой! Зовёт, зовёт далёкая Варшава, изнывающая под фашистским ярмом, Варшава в крови и слезах, — слышите, танкисты?..

— Не отвечай, гражданин капитан! — докладывает Антон Хобот.

— Зови ещё! — слышит он приказ. И охрипшим, усталым голосом, уже полным отчаяния, Антон Хобот упрямо, монотонно зовёт:

— Искра, Искра, отвечай, я Варшава, я Варшава! Искра, где ты?

Молчат танки. Их поглотил боевой день. Они больше не отзовутся.

Быть может, в эти октябрьские туманы, в тёмные октябрьские ночи на запад идут танки-призраки с мёртвым экипажем, устремившим глаза в смотровые щели? Быть может, они движутся, туманные и таинственные, сквозь белорусские леса, сквозь деревни и болота, на запад, на запад, куда их зовёт Варшава, город в слезах и крови? Быть может, на рассвете, в утренних сумерках, они возникают из мглы перед испуганными глазами врага, далеко за линией фронта? Быть может, в ужасе кинется бежать фашист, встретив лицом к лицу за сотни километров от фронта странный призрак — пять танков с мёртвыми экипажами, идущих на зов Варшавы по захваченной врагом земле?..

— Искра, Искра, Искра! — хрипло зовёт Антек Хобот. Он ничего не слышит. Вдруг закачалась землянка — небо черно от вражеских самолётов, они идут на польские позиции по тридцати, сорок машин, волна за волной, чтобы забросать их, уничтожить лавиной огня. Дыбом становится земля, вскапываемая разрывами бомб. Рыжие фонтаны глины, жёлтые фонтаны песка взмываются в воздух. Пронзительный воющий свист и вой отдельных бомб сливаются в протяжный рёв. Бьют пулемёты с машин, летящих на бреющем полёте.

Бомба, ещё бомба. Вздымается столб пламени — это загорелся автомобиль.

— Документы, штабные документы! — страшным голосом кричит кто-то. И в пылающую машину бросается автоматчица. Раскалённое железо обжигает её руки. Над её головой бушует пламя. Ничего, только бы бумаги, бумаги... Вот они!.. Почему же так черно перед глазами? Это дым, он душит горло... Ничего, только бы выбросить наружу документы! Что ещё осталось? Пальцы её немеют.

Ещё одна бомба — прямо в машину. В штабной машине горит девушка-автоматчица. Пылает огнём крестьянская дочь, огненный факел на пути в Польшу.

Немцы контратакуют.

— Вперёд, мстители Варшавы! — кричит майор.

До Варшавы ещё сотни километров. Но до родного дома майора —

рукой подать, всего семь километров. За семь километров отсюда родной дом в белорусской деревушке. «Недолго вам ждать, родные мои, мы идём вперёд, идём вперёд. Ещё прежде чем придётся освободить Варшаву, я освобожу родную деревню, обниму светлые головки детей... Ох, знакомые, до чего ж знакомые места — речка Мерей, холмы над рекой, стерня колхозных полей... Берёзовые рощи, весной мерцающие майской зеленью, сыплющие золотом в осеннюю пору, обнажённые и гнущиеся от ветра в мокрый октябрьский день. Дороги, дорожки, сотни раз измеренные ногами. Отсюда уже рукой подать, ещё немного — и вот она, родная деревня».

И вдруг — удар прямо в сердце. У самого порога родной избы падает майор, падает не на польскую — на белорусскую, но родную землю.

Кого ещё несут на носилках? Марцысь узнаёт: это поручик, его поручик. Тот самый, что был раньше у Андерса. Бывший польский жандарм. Но он не бежал в Иран, а остался здесь, сражался под деревней Ленино, в первом бою Первой дивизии. С носилок каплет кровь. Поручик спрашивает лишь одно:

— Где знамя, где командующий?

— Всё в порядке. Командующий жив, знамя цело.

И поручик снова падает на носилки. Лицо его проясняется.

— Тогда я могу умереть спокойно, — вятно говорит он.

Дальше, дальше! Не задерживаться ни возле поручика, ни у обугленной машины, где сгорела крестьянка в военной форме. Скорей в штаб, доложить: «Левый фланг открыт, нехватает боеприпасов». Надо быстрее перебежать от воронки к воронке, ползти по изрытой земле, перескакивать через трупы. «Ложисы!» — кричит кто-то. Некогда ложиться, когда левый фланг открыт и нет патронов... Он бежит всё быстрее, прыжками. В ушах свистит ветер. Нет, это не ветер, это воет бомба — и вот ещё новая воронка, совсем близко перед ним. В лицо бьёт волна горячего воздуха.

Что это? Конец света? Пламя, крики, гул авиационных моторов... Но скорей, скорей, вперёд — ведь теперь он уже знает, где штаб. Пусть помогут, пусть поскорей помогут...

И вдруг оказывается, что всё это не нужно: к левому флангу поляков уже подошли советские части.

Марцысь сидит в землянке и тупыми от усталости глазами смотрит на пустые нары. Что же он, в сущности, сделал? Ничего. Бежал, как сумасшедший, это правда. Но, во-первых, это было легче, чем отбивать врага, во-вторых, это было ненужно. Никто не напишет в донесении: «Марцель Роек, своевременно передав донесение, спас...» Ничего и никогда он не спас! Казался себе героем, а между тем просто бежал по полю боя и радовался, что бежит так быстро, когда левый фланг уже твёрдо и уверенно поддержало братское плечо красноармейцев.

— А ты слышал, когда мы шли в атаку, как советские кричали: «Молодцы поляки»?

Действительно, он, как сквозь сон, припоминает, что, кажется, так и было. Но что с того? Ведь шли все, и оказалось, это не так трудно, как он ожидал, потому что бежишь ничего не видя, не понимая, как в безумии. А тут, когда он, именно он, Марцысь Роек, получил задание — вышло, что всё ни к чему!

Можно было задержаться возле поручика и признаться, что сперва ему не доверял, и не столько из-за Андерса — ведь от Андерса тот

сбежал,— сколько из-за прошлой службы в жандармерии... А теперь оказалось... Впрочем, очень интересно поручику знать, что о нём думает Марцель Роек!..

В сущности, этот первый день боёв пропал для Марцуса совершенно зря. А утром он мечтал...

Он тяжело поднялся.

— Куда ты? — спросил его капитан.

— Надо возвращаться в часть.

— Сиди, раз тебя не посылают. Еле на ногах держишься. Сколько лет?

Марцусь нахмурился.

— Лет?

— Вот именно, лет.

— Лет мне... семнадцатый.

— Шестнадцать, значит?

— Семнадцатый.

— Ну ладно, пусть будет семнадцатый. Отдохни немного.

— Да мне надо...

— Ты что? Дискуссию открывать собираешься? Сиди, слышал? У нас телефониста осколком убило. Захотелось ему вылезть, посмотреть на «мессершмитты», вместо того чтобы смотреть за своим аппаратом... Подежуришь у телефона. Ясно?

— Есть, дежурить у телефона, гражданин капитан.

— Ну вот! Там лежит кусок колбасы. Бери и ешь. И чтоб ты мне присох у телефона, слышишь? Я на минуту к соседям. Пленных видел?

— Видел.

— Ну, то-то. Хлеб тоже есть. Чёрствый, да авось сгрызёшь.

Марцусь принялся за колбасу. Оказалось, что он очень голоден. Голова кружилась, совершенно как в лагере дивизии, когда ему предложили водки и он глотнул, чтобы показать, что уже не маленький, а это оказался спирт.

Ладно, он посидит у телефона, раз так нужно... Может, хоть в этом окажется какой-нибудь смысл. Видно, не так-то легко стать героем. Впрочем, не всё ещё потеряно, ведь это только начало...

Снаружи утихло — советские зенитки отогнали фашистские самолёты.

Он проснулся, когда в землянку вошёл капитан. Испуганно вскочил.

— Ничего, брат, ничего. Наверно, всю ночь не спал. Немного отдохнул? Теперь можешь идти искать своих. Всё перемешалось, такая каша, надо навести порядок. Немцы маленько поутихли, только, верно, не надолго...

Уже смеркалось. Было тихо, но запах гари всё ещё стоял в воздухе. Справа невдалеке догорал пожар.

Своих Марцусь нашёл лишь через несколько часов.

— Ты где шатался? — спросил его Малевский. — Мы уж думали, что тебе капут.

— Ходил с донесением.

— А мы тут насилу собрались. Беспорядок чёрт его знает какой! Приказано почистить и проверить оружие, а эти... — он грубо выругался, — солдаты называются — перепачкали всё, будто год воевали...

Марцусь проворчал что-то и взялся за чистку своей винтовки, которая действительно оказалась очень грязной. Даже в ствол набился песок. «Ещё бы, когда целые фонтаны земли поднимались!» — подумал он. И ещё подумал, что Малевскому, хотя тот и получил за что-то сержантские нашивки, совершенно нечего тут мудрить над солдатами. В конце концов, кто он такой? Какой-то тёмный тип... Чего он только

в Казахстане не выделял, не говорил... Чёрт его знает, откуда и зачем он тут взялся? Хотя... Марцусь вспомнил убитого поручика. Но нет, поручик другое дело — тот не бродяга, не лодырь, тот в андерсовскую армию сразу пошёл, а когда те уходили в Иран, от них сбежал... А этот к Андерсу итти не хотел, хотя на словах был такой завзятый андерсовец, и союз польских патриотов ругал на все корки, про новую польскую дивизию сплетни распускал. А теперь ни с того ни с сего — сержант! Да ещё таким воякой притворяется... А в общем, чёрт с ним!

Но это легче было сказать, чем сделать: забыть о Малевском не удалось.

Оружие вычистили, взвод собрался. Было уже известно, кто погиб. И Малевский снова разглагольствовал:

— Вы смотрите — как будто специально в коммунистов целились.

— А может, это потому, что коммунисты шли в первых рядах? — возразил ему пожилой коренастый солдат.

— Может быть... — неохотно согласился Малевский и оборвал разговор. Нехватало ещё, чтобы кто-нибудь сообразил, чего ему стоит признание, что те действительно шли в первых рядах...

Худшие предположения Малевского оправдывались. К авторитету коммунистов, завоеванному знаниями и организованностью, прибавится теперь ещё авторитет героизма. Слава погибших озарит и оставшихся в живых. Он-то понимал, что теперь уж не помогут никакие сплетни и слухи о «большевистских комиссарах», которые якобы с револьверами в руках гонят людей в бой, а сами остаются сзади. Солдаты видели, как бежали в атаку коммунисты, как выручали они других солдат, как бросались в самые опасные места. В этом бою они добились того, что навсегда снискали солдатскую любовь, солдатское доверие.

Нет, почва ускользает из-под ног Малевского и его друзей, дальше тут делать нечего. Хороши и немцы! Вообразили, что чего-то достигнут этими своими листовками. А только и вышло, что солдаты над ними посмеялись и ещё больше возгордились: вот, мол, какие мы важные, специально для нас враг листовки печатал... И вдобавок в листовках полно было ошибок, будто эти геббельсовские чиновники не могли найти человека, грамотно пишущего по-польски. Впрочем, какое это теперь имеет значение?

Глухая, бессильная злоба охватила Малевского. Зря он рисковал собой столько месяцев. Ещё угробят его в бою или прикончат какой-нибудь случайной бомбой... Не так он представлял себе всё это! Да наконец он просто боится, боится такой глупой смерти. Ведь достаточно одной пули, чтобы он попал в списки героев... Нет, пусть ищут других дураков, довольно он намучился — и, в сущности, ради чего? Вечно ему достаётся самая грязная работа, вечно он получает задания, которые оказываются невыполнимыми. Какая-то бессмысленная авантюра, в которой ничего невозможно предусмотреть. Другие как-то умеют устроиться, а он всегда попадает, как кур во щи. Всегда он рассчитывал, что ему, наконец, повезёт, что начальство его оценит, но, видно, для этого надо действовать как-то иначе. Правда, он и сам сглупил — передал сведения, которые оказались ложными. Но откуда он мог знать, что эта дивизия вздумает разыгрывать героев? Одно дело бахвальство — он был уверен что это бахвальство, — а они взяли да и выполнили все свои хвастливые обещания! За это его, конечно, не похвалят. Если бы он сам был там, на той стороне и объяснил, почему этого никто не мог предвидеть, ему было бы всё-таки лучше. А то ведь может ещё получиться и такая история, что немецкие разведчики подумают, будто он

ведёт двойную игру. Он даже похолодел при этой мысли: тогда уж наверняка пиши пропало. Ведь наверно на них и кроме него кто-то здесь работает, так что расправиться с ним не трудно. Шальная пуля, выстрел в темноте — что в этом удивительного здесь, где постоянно стреляюг,— и точка! Уж он-то знает, как такие дела делаются... Нет, надо поскорей смываться. Вдобавок, после того как поляки взяли деревню, он опять потерял контакт. Можно, конечно, подождать, пока немцы сами его разыщут. Нет, рискованно! Чёрт их знает, с какой целью они будут его искать? Лучше опередить события.

На мгновение он пожалел, что не ушёл тогда в Иран. Но о чём тут говорить? Приказ был ясен: оставаться и итти к костюшковцам — немедленно, как только началась вся эта история. В Иране у них, наверно, достаточно своих людей, притом повыше чином, чем Малевский. Там работать на немцев много проще. А вот ему вечно приходится понадать из огня да в полымя. Удалось же ему скрыться во-время, когда разразилась эта история с Лужняком и можно было бы пожить спокойно,— так нет, его заставили итти в дивизию, размахивать винтовкой, распевать этот ненавистный гимн. Ведь дошло даже до того, что он при-нуждён был вместе с другими бежать сегодня в атаку и орать «ура». И не для виду, а по-настоящему бежать в атаку, по-настоящему, вместе со всеми, брать эту деревню... Омерзительное положение! Надо как можно скорей выбираться отсюда, тем более, что здесь действительно нечего делать. Для простой сигнализации, для того, чтобы давать знать о передвижении дивизии, здесь наверняка есть другие, помельче,— должны быть! У него иные задания, инструкции остались прежними, только положение изменилось. О какой пропаганде может быть теперь речь, когда вдруг появилось столько героев, что хоть сотнями считай... Пора ликвидировать дела.

В сырую туманную ночь они вышли в разведку. В немецких окопах было тихо. Невозможно было представить себе, что всего несколько часов тому назад земля здесь становилась дыбом, воздух сотрясался от ужасающего рёва и небо смешивалось с землёй в сумасшедшей тряске. Самым странным казалось, что не слышно стало рокота самолётов, что бомбы и снаряды не валяются людям на головы, что кругом такая тишина. Время от времени на горизонте сверкали синие и жёлтые огни. Из окопов, словно откуда-то из-под земли, доносились тихие голоса.

— Тише,— шёпотом предостерёг Малевский, хотя они и так крались, как призраки.

Где-то неподалёку должны быть немецкие позиции. И впервые Мар-цысю вдруг стало страшно. Их всего пятеро, и этот сержант Малевский во главе... Теперь они продвигались ползком — местность была почти ровная, открытая, а ночь не слишком тёмная,— силуэты людей на фоне неба можно было заметить издалека. А ведь неизвестно, где гаятся высматривающие глаза, где засел неприятель, зорко наблюдая, что делается перед ним.

— Доползём до того ольшанника, остановитесь. Я проползу немного вперёд, потом подам знак.

Они прильнули к земле. Теперь, прижимаясь к земле, они слышали далёкие удары, которых не слышали стоя. Где-то далеко били орудия, их приглушённый, грозный гул раздавался словно из самого нутра земли.

Время тянулось.

— Куда он девался? — не выдержал кто-то из пятёрки.

— Тише!

Неожиданно Малевский появился прямо перед ними. Они вдруг увидели его силуэт, чернеющий на сером фоне ночи.

— Ползите цепочкой. Когда я свистну, остановитесь.

Они снова поползли. Марцысь чувствовал под рукой мокрую, липкую глину, а у самого лица мокрые подошвы товарища. Они ползли друг за другом, удерживая дыхание. Немецкие позиции должны быть где-то совсем близко. В потёмках раздалось лёгкое щёлканье бензиновой зажигалки. Они замерли, но в тот же момент послышался лёгкий свист. И снова глухое молчание. Секунды растягивались в бесконечность.

— Глушак! — тихо позвал Малевский.

Рядовой Глушак полз первым. Они удивились. Почему он вызывает по фамилии, почему ползут не все сразу? Но тотчас снова раздался приглушённый голос:

— Разовский!

Разовский пополз вперёд. Марцысь осторожно приготовился ползти за ним, опёрся на локти, подтянул одеревеневшее колено. Вдруг в потёмках заметались какие-то тени, послышался шум борьбы.

— Не ходите! Тут немцы, тут нем... — прорезал тишину страшный крик Разовского и перешёл в хрип, задушенный грубой рукой. Ползущий впереди Марцыся Левинский вскочил и огромным прыжком кинулся назад. Грянул выстрел. Пуля свистнула возле самого уха Марцыся. Второй выстрел. Не укрываясь, в паническом ужасе они мчались изо всех сил, спотыкаясь о комья глины, падали, поднимались, с трудом переводя дыхание, бежали дальше. Вослед раздалось ещё несколько выстрелов. Потом всё затихло, но они продолжали безумно мчаться к своим, скорей, скорей к своим! Неужели они так далеко уползли? Не заблудились ли?

— Стой, кто идёт?

Наконец-то! Они стояли молча, дыша воздух широко раскрытыми ртами. Встревоженный выстрелами патруль встретил их насторожённо, с винтовками наизготовку.

— Чуть-чуть нас не накрыли, как птенцов в гнезде, никто бы и не знал, что случилось... Глушак и Разовский... Подумать только! Разовского, наверно, на месте убили...

— Живыми хотели нас взять...

Чем более отдалялась та минута, тем страшнее становилось Марцысю.

Немцы... Он помнил свой путь из Груйца на восток. Только бы дальше, во что бы то ни стало дальше, только бы не попасть им в лапы, не увидеть, как они безнаказанно идут по польской земле. Ему казалось тогда, что он не выдержит, умрёт от ненависти при одном их виде. А кем он тогда был? Сопливым мальчишкой, на которого они, может, и внимания не обратили бы. А теперь? Живым, без борьбы, попасть к ним в руки... Что могло быть? Ведь они на всё способны. У него были документы, — а если б он их успел уничтожить, ведь там был Малевский, он назвал бы его имя, если б даже Марцысь молчал или был убит. Завтра сюда, в окопы, в землянки, на ещё горячее поле боя Первой дивизии могли быть сброшены листовки, якобы подписанные им, Марцелем Роеком, и призывающие его товарищей переходить на сторону фашистов... И никто не знал бы, что случилось, и могли бы подумать, что он и вправду изменил...

Теперь ясно, почему Малевский не пошёл в армию Андерса, хотя там ему и место было. Не пошёл в Иран, хотя так ненавидел большевиков. И вдруг ни с того ни с сего явился в лагерь и стал примерным

служакой, так что за ним признали даже звание сержанта, которого у него, может, никогда и не было. И зачем он путался по всему Казахстану, зачем шнырял повсюду — ведь даже к ним в совхоз заезжал! Видно, и там он вёл предательскую работу. Некоторые уже тогда подозревали его, только думали, что он шпионит для англичан, а теперь — немцы... Хотя, быть может, он продался сразу и англичанам, и немцам? Подлец! Повёл и отдал палачам двух хороших людей... Разовский ещё в тридцать девятом был ранен под Кутном...

— Как же мы могли не догадаться, как я сразу не увидел, в чём тут дело? Ведь я же прекрасно знал, что это мерзавец!

Марцысь извивался от ненависти и невыносимого, жгучего чувства своей вины. Он думал и раздумывал, как бы ему стать героем, одно это у него и было в голове, а между тем на его глазах двух польских солдат предали врагу.

Они-то ничего не знали о Малевском. Но как он позволил обмануть себя?

Видно, Глушаку и пикнуть не дали. Если бы не Разовский... — страшно подумать, что было бы, если бы не Разовский!

Не только Марцысю, всем остальным тоже не спалось в эту ночь. В окопах, в землянках подсчитывали потери, рассказывали друг другу о событиях этого дня. И странно — каждый всё видел иначе, по-своему. Бой ни в одной подробности не был похож на то, что представлялось заранее в воображении, о чём когда-то в детстве читали в любимых тогда романах Пшиборовского, Гонсеровского. Это было не согласованное движение масс, а словно мозаика из тысячи эпизодов. Не только каждый батальон, не только каждый взвод, но почти каждый человек пережил этот бой, как свою отдельную, особую историю.

«Например, я, — думал Марцысь. — Атака... Ну да, здесь-то мы шли все вместе, но и то... Одному вода доходила до пояса, другому почти до шеи, один бежал так, другой иначе... Ну, а уж потом, потом всякий видел другое».

— Бреешь, — упирался Левинский, слушая рассказ усатого Рузги. — Бреешь, вот и всё!

Но Марцысь знал, что тот, может, вовсе не врёт; каждый солдат дивизии пережил эту битву по-своему. Хотя это была не тысяча битв, а одна битва, которая так и будет называться: «Битва под Ленино», но среди бойцов возникнет тысяча версий о том, какова была эта битва, и каждая версия будет правдивой и ни одна не будет полной и для всех достоверной.

В одном только все были согласны в этот вечер — в том, что одержали большую победу. Победу, которая может определить судьбу войны. Ничего, что пришлось отступить из взятой деревни — это потому, что соседи справа опоздали и надо было оттянуть выдвинутые части, чтобы они не были отрезаны. Но никто не сомневался, что это была крупная и очень важная победоносная битва.

— Первый раз с тридцать девятого года... — сказал кто-то.

Да, первый раз после четырёх лет немецкие фашисты поднимали руки вверх перед поляками и просили пощады. И это сейчас было главное для бойцов Первой дивизии.

Второй день был другой. Они уже привыкли к тому, что случилось. Всё уже не было таким новым и неожиданным, и всё переживалось иначе, виделось как-то отчётливее — не было радостного ослепления первого дня.

Теперь знали, чего эта победа стоила. Нет, не то чтобы они испуга-

лись потерь. Но день был омрачён воспоминанием о погибших. Вчера видели, как они падали, но тогда все были захвачены боевым порывом. А сегодня не один солдат отчётливо знал, что никогда не увидит брата, что отец едва дышал, когда его уносили в санбат, что сыну оторвало ноги. Ведь многие были здесь целыми семьями — сыновья, отцы, братья на одном поле боя.

Все знали, что так должно быть, иначе и быть не может. Но грусть легла тенью на все лица.

Не дождались... Суждено им было погибнуть в первый день их пути к Варшаве. Не увидят они её любящими глазами. Не перейдут вместе со всеми Бут, останутся навеки здесь, так далеко от родины...

Вечером пришла неожиданная весть:

— Нас отводят в тыл.

— Как в тыл? — удивился Марцьёсь.

— Да так. Обыкновенно, в тыл.

— Что ж мы, оставим это немцам?

— Каким там ещё немцам! На наше место придут советские части.

Солдаты ворчали:

— Что же это такое? Мы своё сделали, приказ выполнили, а теперь ни с того ни с сего — в тыл.

Марцьёсь помчался изливать душу культурно-просветительному офицеру.

— Это правда, что мы отсюда уходим?

— Правда. Через полчаса выступаем.

— Значит, мы уже не будем драться?

Высокий, темноволосый заместитель командира роты по культурно-просветительной части рассмеялся.

— Подожди, хватит ещё войны и на нашу долю. Но пока...

Марцьёсь по-детски надул губы:

— Это несправедливо!

Офицер внимательно взглянул на него.

— Скажи-ка мне, — сказал он, — на сколько таких дней, как последние два, хватит, по-твоему, людей в нашей дивизии?

Марцьёсь смутился. Да, об этом он не подумал. Ведь после боя говорили, что это «нормальный процент потерь», а между тем сколько недосчитались в каждой части! Об этом он как-то не подумал, слыша фамилии погибших.

— Ну, вот видишь. Поэтому нас и отводят в тыл. Понятно?

Да, он понял и спросил ещё только:

— А этот приказ — он откуда?

— Ишь, какой любопытный! Приказ есть приказ. Но если уж тебе так хочется знать, то приказ дан из Москвы. Так что можешь сам догадаться, кто его дал.

Шагая в потёмках по грязной дороге, Марцьёсь с болью в сердце думал о соседях справа и слева, которые пришли сюда вместе с ними и теперь остаются на месте, хотя и у них есть «нормальный процент потерь». Однако они будут стоять здесь и пойдут вперёд — без таких передышек, какая дана их дивизии.

— Эх, когда мы стояли под Казачьим Курганом — знаешь, сколько штыков было в нашей дивизии? — спросил вчера вечером советский артиллерийский лейтенант, который пришёл навестить польских соседей. — Двести двадцать штыков во всей дивизии. Уж потом пришлось пополнение.

Да, да... Они останутся здесь на месте, и с утра на них снова начнут падать бомбы, и они пойдут в атаку, будут закреплять захва-

ченные рубежи и двигаться вперёд, оставляя на этих пригорках, на этих мокрых лугах и почерневших полях «нормальный процент потерь»...

И только их Первую дивизию, только поляков, которые впервые с тридцать девятого года выступили против врага, отводят в безопасное место, чтобы сохранить это малое ядро будущей польской армии. Об этом позаботились в Кремле, который Марцусь мимолётно видел, остановившись на день в Москве, по пути, в дивизию.

Человек в Кремле руководил движением сотен дивизий на тысячевёрстных фронтах. И он нашёл время узнать, что сделала одна эта дивизия, позаботился о том, чтобы дать ей отдохнуть, заживить раны, нанесённые двухдневными боями. Их, поляков, испытали в бою, дали им самим испытать себя, почувствовать пламя борьбы, пройти боевое крещение. Смыть позор армии Андерса, которая запятнала Польшу, покрыла стыдом имя поляка. Им дано было счастье показать врагу, что польская армия жива, хотя четыре года тому назад этот враг хвастал, что она скончалась и не воскреснет. Им дано было счастье перед глазами всего мира высоко поднять знамя Польши — знамя пленённого, но не порабощённого народа. Им дано было своей борьбой засвидетельствовать, что «Польша ещё не погибла», как говорят слова гимна. А затем заботливо подсчитали их «нормальный процент потерь» — ведь среди сотен дивизий они были одной-единственной польской дивизией! И тот человек в Кремле помнил об этом и чувствовал это так, словно сам был с ними. Он знал, что перед ними ещё длинный путь, взвесил их судьбы отцовской рукой и решил.

Там, в захваченной деревне, будут теперь обороняться и потом пойдут дальше братья в форме Советской Армии. Они будут проливать кровь на пути, ведущем в Польшу, выполнять боевую работу не только за себя, но и за них, поляков.

Да, это было понятно, ясно и просто. И всё же тяжело было маршировать по этой дороге на восток, в то время как навстречу шли машины, полные солдат, тёмными колоннами двигалась пехота, грохотали орудия, идущие вперёд, на запад. На запад шли войска, на запад — по варшавскому шоссе, к Варшаве...

Кто проходил навстречу полякам, кто шёл занять их место? Вспомнилась Анастасия Петровна из совхоза — может, это её Фрося проходила сейчас мимо, с глазами, устремлёнными в зарево далёкого пожара? Может, брат Володи-конюха?.. В ночной тьме к линии фронта шли незнакомые и всё же такие знакомые люди, крестьяне из колхозов, рабочие с заводов и фабрик, молодёжь, советские люди со всех концов своей необъятной родины, все в одной солдатской форме... Шли по этому варшавскому шоссе, на запад, к Варшаве.

Позже на место отдыха и формирования Первой дивизии придёт приказ. Он скажет, что дивизия выполнила боевое задание, прорвав оборону немцев. Будут розданы награды. И всем уже будет понятно, что дело было не в том, о чём говорили тогда, в вечер после боя, — что это, мол, великая битва, которая может определить судьбу войны.

Но уже и сейчас все понимают два измерения этой битвы. Это была одна из тысячи битв, какие уже два с половиной года идут на фронте. Битва настолько незначительная, что если бы в ней не участвовала Первая польская дивизия, она не имела бы даже своего имени — прекрасного имени «Битва под Ленино».

Но, вместе с тем, если эта битва и не определяет судьбу войны, то она определяет судьбу Польши. Польша будет именно такой, какой она должна быть! Она будет связана вечным братством с Советским Союзом. Теперь поляки — уже не группки рассеянных по всему миру беспо-

мощных людей, а союзник, который своей кровью засвидетельствовал великую истину братства народов. Это был их первый бой с тридцать девятого года — бой, который вела организованная, сознающая свои цели и задачи боевая единица.

Нет, не только линия немецко-фашистской обороны была прорвана в эти два дня. Была прорвана ложь, которой так долго окутывали историю. Исторические обиды и несправедливости были рассеяны этой битвой. Всё это отодвинулось в древнюю историю, и началась новая история, которую создают они все — значит и он, Марцысь Роек из Груйца.

«И как удивительно, — думал Марцысь, — что как раз этот первый бой новой польской армии навеки теперь связал нас с именем Ленина, с именем человека, который годы назад от имени революции, от имени народа сказал великие слова о праве Польши на независимость!».

Правители Польши приложили все усилия к тому, чтобы заставить польский народ забыть об этих словах. Они приложили все усилия, чтобы о них никто в Польше не знал. Мусором лжи засыпали пламенные слова. И понадобились все эти страшные годы, чтобы лозунг польской свободы снова прозвучал из уст Сталина и был услышан сотнями тысяч поляков, которые донесут его до миллионов своих братьев.

И вот как раз эта первая битва, которой никому не вычеркнуть из истории, называется «Битва под Ленино»... Случайность? Нет, справедливое веление истории — чтобы на этот раз уже никогда, никогда...

«Ведь вот и я сам — разве я знал? Нет, ничего не знал. В школе меня учили лжи, давали мне читать книги, полные обмана. И вместе со мной обманывали целые поколения».

Но теперь они уже знают. Во второй раз именно эта страна, а не другая, именно этот народ, а не другой, возвестили миру, что Польша будет независимой. И, в сущности, во второй раз русские льют свою кровь за эту независимость. Потому что ведь и тогда, когда они свергли царя и победили белых генералов, которые хотели, чтобы Россия продолжала быть старой Россией, кровь, пролитая в Петрограде, в Москве, под Царицыном, была кровью, проливаемой за свободу всего человечества — также и за свободу поляков. И теперь советские люди идут на запад, и это они кровью своих рабочих и крестьян, кровью своей молодёжи, кровью целого поколения спасают и освобождают человечество и Польшу.

О битве под Ленино знают уже все. Солдаты вырывают друг у друга газеты. На всём протяжении Советского Союза в этот день люди читают в сводке, напечатанной на первой странице:

«Выполняя боевое задание советского командования, польские пехотинцы частей дивизии имени Тадеуша Костюшко и танкисты танковой части имени «Героев Вестерплатте» в районе местечка Л. прорвали оборону немцев и стремительной атакой выбили их из нескольких населённых пунктов. Противнику нанесён большой урон в живой силе и технике. Около 300 гитлеровцев, в том числе 13 немецких офицеров, сдались в плен полякам.

Попытки противника остановить стремительное наступление польской пехоты путём массового применения пикирующих бомбардировщиков и контратак, поддержанных самоходными пушками «Фердинанд» и танками, не увенчались успехом. Контратаки немцев были отбиты с большими для них потерями. Гитлеровцы не выдерживали штыковых ударов и артиллерийского огня поляков»...

Теперь уже во всём Советском Союзе знают, что на этот раз поляки не обманули доверия, что на этот раз они выполнили обещание и могут прямо смотреть в глаза честным советским людям — всем, кто борется уже третий год, всем, кто потерял на фронте своих близких.

И там, в далёкой Варшаве, быть может, уже тоже знают. Весть прилетит туда, прилетит через фронты, через все заграждения, через все запреты. Привет тебе, далёкая отчизна, привет вам, братья в неволе, привет всем, кто в тёмную ночь выходит на борьбу с врагом! Всем, кто, не сдаваясь, умирает за стенами тюрем, за колючей проволокой концентрационных лагерей! Привет сражающейся родине! Услышьте наши слова ободрения, примите братское пожатие наших рук!

И во всём этом есть и его, Марцыся, доля. «Может, стоило бы дать знать маме?» — подумал он. Но мать уже, верно, и так знает. Открытку всё-таки надо послать — одну матери, другую Ядвиге. Обыкновенные, короткие открыточки. Ведь, в сущности, ему нечем похвалиться: он не получил ордена, не получил даже медали. Он и вправду не заслужил ни ордена, ни медали. Что он делал? Шёл в атаку, когда шли все, а потом бегал по полю боя, пока над ним, над сопляком, которому ещё и семнадцати лет нет, не сжалился капитан и не приказал отдохнуть в землянке. И одно только осталось и останется навсегда — что всё же он принимал участие в этом бою, в битве под Ленино.

— Смотри-ка, шинель тебе прострелили... — сказал Марцысю какой-то солдат.

И правда, рукав его шинели прострелен. Удивительно, как не задело руку! Висит оторванный лоскут манжеты. Пальцы нащупывают в нём что-то шелестящее. Что это? Сложенный четверо листок бумаги, слегка опалённый осколком.

Марцысь осторожно разворачивает листок. Неумело, но чётко выведенные буквы. Он подносит листок к огоньку коптилки.

«Польскому солдату, для которого я шью эту шинель, желаю счастья, здоровья, желаю храбро бить врага и благополучно дойти до Родины».

И даже фамилия не подписана. Просто — «Таня».

Чужая русская девушка, которой он не знает, которую никогда в жизни не увидит, с любовью шила эту шинель, вложила в каждый стежок своё горячее сердце. Послала польскому солдату свои пожелания, улыбку своих губ. Какая она, эта незнакомая Таня?

— А здорово, брат, выбрался ты из этой истории, — говорит Шигельский после того, как уже в сотый раз было обсуждено происшествие с Малевским.

Да, да. Ему посчастливилось. Быть может, в эти чёрные минуты измены и предательства его заслонили, спасли добрые пожелания Тани, работницы военно-обмундировочной мастерской? Конечно, это смешно — верить таким предрассудкам, но на дне его сердца всё же горит крохотный тёплый огонёк веры, что именно Таня спасла его своими добрыми пожеланиями.

Марцысь ещё и ещё раз перечитывает выученную уже наизусть сводку Советского Информбюро. Будто эта простреленная шинель вернула ему уверенность в себе. Ведь и он мог погибнуть: пролети эта пуля чуть ближе к телу — и он лежал бы в госпитале или был среди тех, о ком говорится в приказе: «Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость...»

Ведь всё это и обо мне! Ведь и я шёл вместе с другими в штыковую атаку, которой не выдержали немцы. Ведь это и со мной, в числе других, не справились пикирующие бомбардировщики. Это обо всех нас — значит, и обо мне...

Теперь читает газету Павел Алексеевич в совхозе и знает, что и его тракторист Марцель Роек выполнил боевое задание, выполнил свой обет, работал так же честно, как на тракторе. Вечером, после работы,

сойдутся прежние товарищи, они поговорят об этом приказе и помянут добрым словом всех поляков, которые работали вместе с ними, а теперь выполнили боевое задание. Приедет в совхоз Канабек — быть может, этот приказ вычеркнет из его памяти тех поляков, которые обманули и обокрали его колхоз, сбежав перед весенними работами.

Прочтут мать и Ядвига и будут знать, что он не обманул доверия, хотя не стал сразу героем. Не так-то просто это оказалось!.. Надо хоть шинель зашить так, чтобы видно было, что это дырка от пули. Чтобы Владек увидел. Только Владеку это и можно показать. Матери и Ядвиге, пожалуй, не надо... Только Владеку.

Ядвига и мать узнали о битве раньше, чем пришли открытки от Марцыся.

...Пасмурный октябрьский день. Созваны все сотрудники. Собираются в самой большой комнате правления Союза польских патриотов.

— Что случилось?

Все ждут именно этого. Но вдруг другое?

— Наши близкие прошли боевое крещение. Первая дивизия в бою выполнила свою присягу.

В ответ — тишина. В комнате набито битком, но никто не шеломается. Стоят сёстры, жёны, матери тех, что вчера и позавчера пролили свою кровь на поле боя. У каждой из этих женщин, работающих здесь, в Москве, есть кто-нибудь близкий в Первой дивизии.

И вот они стоят тут. Ручьями струятся слёзы. Высокое мгновение, которого ожидали четыре года.

И ни одного вопроса. Ни одна из женщин, стоящих здесь в набожном молчании, не знает, не осталась ли она вдовой, сиротой, навеки одинокой. Ни одна не знает, жив ли близкий человек или погиб, выполняя боевое задание. Но ни одна, ни одна не спрашивает... Это мгновение выше, чем своя радость, чем своя скорбь. Первая дивизия — это не мой брат, муж, сын. Первая дивизия — это тысячи самых дорогих, самых близких сердцу людей. Во всём мире нет сейчас людей более близких.

Переворачивается страница истории. Светлой, широкой дорогой ложится путь на запад, путь домой, путь на родину. Можно высоко поднять голову. И ни одна женщина не спрашивает, ни одна не дрожит от беспокойства. Слёзы, текущие по лицам, — это слёзы радости.

Для других слёз придёт время позже. Но сейчас здесь нет ни вдов, ни сирот. Сейчас все они — объединённый счастьем и гордостью союз людей, которые вступили на великий путь, путь к новой, счастливой родине.

Шувара слушает. Он слышит затаённое дыхание, безмолвный голос этого мгновения. И вдруг чувствует невыносимую тяжесть своих пятидесяти лет. Ох, не просто пятидесяти лет! — десяти долгих лет тюремного заключения, тяжких дней безработицы и нищеты, отзывающихся во всём теле какими-то неясными, мучительными болезнями. Он не был там, туда его не пустили. «Вы нужнее здесь», — было сказано ему. И этому можно было верить — вплоть до сегодняшнего дня. И, может, он будет этому верить завтра. Но только не сегодня, только не в эту минуту...

С тихими сосредоточенными лицами стоят жёны, матери, сёстры. И ни одна не спросит, ни одна не выдаст своей тревоги. Хочется выйти на середину комнаты и низко поклониться им, этим женщинам, каждая из которых, быть может, в это мгновение уже осталась вдовой, сиротой, навеки одинокой на земле. Низко, по-крестьянски поклониться им за это молчание и за эту ясность, которая неожиданной красотой озаряет их строгие лица.

Глава 13

Тучи — вздутые, огромные, темносиние, светящиеся по краям. Они движутся, клубятся, мягко оседают и снова вздуваются, как подушки или пухлые перины. Странно лежать на тучах, взлетать и опускаться вместе с ними. Хотелось бы коснуться их рукой, но пальцы онемели настолько, что их как будто и нет. Он лишь знает о них, как о чём-то несомненном, не требующем проверки.

Интересно, каковы эти мягкие тучи наощупь — как хлопок, овечья шерсть или как шёлк? По краям, там, где их окаймляет светлая полоска, они кажутся шелковистыми... И лежать на них должно быть хорошо — мягче чем на пуху. Почему же голова так нестерпимо болит, будто под ней доски? Повернуть бы её немного, коснуться тучи щекой... Но голова тоже тяжёлая и огромная, её не сдвинешь, не стоит тратить силы напрасно. Вот если бы кто-нибудь положил ему под голову вон ту тучу, тогда, может, стало бы легче... Но нет, лежать на тучах плохо. Они качаются так, что у него внутренности подступают к горлу. И такой странный, сладковатый запах. Не от этого ли запаха его тошнит? Или это от непрестанной качки?

Перины облаков раздвигаются, быстро уходят в стороны. «Вот теперь я упаду», — думается ему, и он отчаянно хватается за белую, мягкую шерсть, за какие-то шелковистые пряди, за клубки спутанных нитей. Пальцы деревянные, не сгибаются, всё быстро выскальзывает из них, как гонимая ветром паутина, и он падает, падает, голова кружится от этого полёта, и его тошнит, невыносимо тошнит...

И вдруг тучи исчезают, а рядом слышатся два голоса.

— Лежите, лежите спокойно! — это по-польски.

И тотчас другой голос, по-русски:

— Спокойно, спокойно, голубчик!

Ещё одна тучка, маленькая, белая, скользит куда-то в сторону. А те, что были над головой, останавливаются, застывают, как лужа на морозном ветру. Прямые, белые линии карниза. Да это не тучи — это просто потолок, белый потолок... Где же это я?

— Просыпается! — слышит он польские слова. И снова по-русски:

— Доктор, доктор! Пожалуйста, на минутку...

Чьи-то пальцы, тёплые и приятные, нащупывают его пульс. Его глаза, поворачиваясь с трудом, глядят по сторонам. Это уже не потолок, что же это такое белое? Ах, это белый халат. Высокий мужчина в халате наклоняется над ним и осторожно касается головы. Глаза невольно жмурятся от страха. Нет, нет, не надо меня трогать, не надо касаться! Голова такая огромная, такая чужая и непонятная, так нестерпимо болит... Но это прикосновение даже не чувствуется, такое оно лёгкое. «Пить», — говорит он, и сам не уверен, что это слово вышло из его уст, а не прозвучало только внутри него самого. Но он сказал это слово.

Он слышит его, только будто откуда-то издали. Голос сиплый, незнакомый, словно говорит не он, а кто-то другой.

Но те всё же поняли. Ему отвечает голос, говорящий по-русски:

— Сейчас, сейчас, сынок...

Губы чувствуют прохладное прикосновение. Что это? Какая-то воронка... Скосив глаза, он видит маленький чайник. Почему его поят из чайничка? — удивился он. И сразу находит ответ. — Это, чтобы не надо было поднимать головы. Как хорошо, что не надо поднимать...

— Пьёт! — это по-польски, откуда-то со стороны.

— Как же, как же, он уже совсем молодцом! — это по-русски.

Какое вкусное питьё — прохладное, кисловатое. Маленькие глотки

проходят через горло, освежая его, — жаль только, что такие маленькие... Ох, только бы не заболела опять голова.

Хорошо, что под ним уже не раскачиваются тучи, что он лежит на чём-то надёжном. Над его головой белый потолок. А что по сторонам? Справа и слева?

— Не шевелись, Новацкий! — говорит кто-то. Этот голос ему уже знаком. Но чей он? Мысль Новацкого напряжённо работает. И вдруг он догадывается: ведь это тот же голос, который несколько минут назад говорил: «просыпается», говорил: «пьёт». Вот откуда он его знает. Только о ком это говорилось, с кем эти два голоса говорят? Новацкий... Тоже знакомая фамилия. Но кто такой Новацкий?

И снова собственный хриплый голос:

— Где я?

Откуда-то сбоку ответ:

— В госпитале, в Москве. Что ж ты, парень, ничего не помнишь?

Почему в госпитале? Ах, верно, потому, что так болит голова. Но почему она болит? Что-то мешает в горле. Хочется откашляться, но сейчас появляется страх — нельзя, заболит ещё больше.

Всё кругом бело. Глаза блуждают по потолку, не находя ничего другого. Но даже потолка ему виден лишь маленький кусочек. Всё же остальное исчезает где-то справа, слева, вокруг. Надо бы повернуть голову. Но и здесь инстинкт настороже, словно кто-то сидит рядом и предупреждает: лучше не шевелись. И голова не шевелится, глаза остаются устремлёнными только в этот кусочек потолка. Но уж и то счастье, что мир остановился и не раскачивается. Неподвижность потолка утомляет, но даёт как бы гарантию чего-то очень важного.

«Отчего я так устал?» — пытается он понять. Но в конце концов это не важно. Можно ведь отдохнуть. Можно прикрыть глаза — и нет потолка, нет ничего. Да, так лучше. Не стоит открывать глаза. Кто-то проходит мимо очень осторожно, кровать нисколько не сотрясается от шагов. Можно бы взглянуть, кто это, но не хочется поднимать веки. Всё тело охвачено ленью. Даже головная боль как будто отодвинулась.

— Спит, — слышит он голос рядом. Но он вовсе не спит, он слышит всё — и шаги, и разговоры, даже шёпотом произносимые слова. Можно бы сказать этим невидимым людям, чтобы они не стеснялись, пусть разговаривают, ему это не мешает. Но и рта раскрывать не хочется. Приятно лежать так и всё сознавать, но быть отгороженным от внешнего мира сном, который вовсе и не сон. Рядом тихий разговор — из мира яви; он слышит его, понимает его смысл. Но этот разговор вплетается в сонные видения, лениво проплывающие мимо, как нити паутины. Вода, узким ручейком журчащая по камням, — это сон, тут не может быть никакой воды. И то, что он идёт по дороге — это тоже сон. И эти цветы на стене, огромные, странные, светящиеся. Нет здесь никакой дороги, а таких цветов вообще нигде не бывает. Если открыть глаза, то сразу появится белый потолок, настоящий, реальный потолок, но глаза открывать не хочется. Эта стена называется Новацкий. Смешно! Раньше он никогда не слыхивал, чтобы у стен были фамилии, как у людей. Но чья эта фамилия? Ведь так называется не только стена. Он слышит эту фамилию в тихом разговоре соседей. Надо дойти до угла, там должна быть улочка, и в этой улочке всё станет ясно.

Новацкий... Чья же это фамилия? Что-то странно знакомое!

И вдруг — нет стены и свешивающихся с неё странных светящихся цветов. Он ясно и отчётливо видит — как это можно видеть? — не надпись, нет, но и не сказанные вслух слова: «Твоя фамилия Забельский».

Читает он это или слышит? Странно — ведь это правда! И теперь это уже не сон. Он сам говорит:

— Моя фамилия Забельский.

Медленно, внятно, будто учась выговаривать эти слова или, верней, будто заново их вспоминая — потому что когда-то он это прекрасно знал.

— Бредит, — говорит голос рядом. — Сестрица, ему, видно, хуже.

Ему хочется сказать, что это неважно. Надо только повторить ещё раз свою фамилию, чтобы не забыть, спаси боже, не забыть её опять! Но мысли путаются. И вдруг неведомо откуда — страх и грохот. Всё рушится. Под закрытыми веками вспыхивают язычки огня. Что это?..

...Глаза снова открываются. Снова хочется пить. Белого потолка над ним уже нет. Ох, нет — есть, вот он. Но, повидимому, уже вечер. Откуда-то падает затемнённый свет. Что это было? Не потерять, не потерять то, что ему надо удержать во что бы то ни стало..

Но нет, теперь это не повторится. Теперь он ощущает всё своё тело — от пальцев на ногах до головы.

«Я поручик Забельский», — констатирует он ещё раз.

Его бросает в жар и в холод. Губы жадно ищут фарфоровый поильничек. Вот носик его наклоняется к губам, можно пить. Он мог бы и сказать что-нибудь. Но лучше не надо. Сперван надо разрешить что-то очень важное, неотложное. И не торопиться.

Хорошо, что уже ночь, что всюду так тихо и никого нет. Серые тени скользят по потолку. Из них можно сложить чёткую надпись:

«Я поручик Забельский».

Почему же говорили — Новацкий? Ведь Новацкий это был тот, что в Литву...

Исподтишка, украдкой мысль подбирается к этому Новацкому. И вдруг словно разорвались тени на потолке. Поручик Забельский спокойно лежит в постели — и твёрдо, точно, холодно знает, как было дело.

Плавни Стыри. Тропинки через топи. Перестрелка у железнодорожной насыпи. Там он был ранен. И потому-то и попал в больницу, в советскую больницу. Сейчас он опять в госпитале, но тогда он назывался Новацким, рядовым Новацким.

На всякий случай. Чтобы не быть офицером. Все говорили, что так безопаснее, что к рядовым не так придираются. А Новацкий был тот солдат, что умер от тифа или от чего-то другого. Вот. «А свои документы сожги!» — посоветовал ему кто-то. Маленький огонёк жадно пожирает бумагу. Цепляется за край фото — на мгновение приостанавливается. Фото съживается, чернеет. Теперь достаточно тронуть ногой — и чёрные лоскутки превратятся в пепел, ветер рассеет золу. И вот уже нет поручика Забельского, есть рядовой Новацкий. Взял чужое имя и чужую фамилию и тем самым перестал существовать.

Что ему известно о рядовом Новацком? Ничего. Он мучительно старается припомнить, какой он был, этот рядовой, но в памяти ничего не осталось. Рядовой, и всё. И так как-то незаметно, спокойно умер, никто вроде и не огорчился. А теперь так хочется знать, кто же он был? Ведь был же такой человек — Новацкий, и прежде чем стать рядовым тоже был кем-то. Где-то жил, чем-то занимался. Может, у него были родители, невеста. Были люди, для которых он был чем-то главным в жизни. Он, Забельский, носит его фамилию, как нечто постороннее, особое, что можно от себя отделить. Но ведь эта фамилия означала кого-то определённого, именно такого, а не иного человека. Какой же он был? Что думал о людях, о мире, как пережил этот страшный сентябрь? Ничего нельзя узнать, потому что тот умер.

Странно — умер и продолжает существовать. Существует рядовой Новацкий. Существует потому, что он, поручик Забельский, вынул из кармана покойника потёртый чёрный бумажник с документами и переложил его в свой карман. Сперва это не казалось чем-то существенным. Рядового Новацкого ведь не было в живых, он не вернётся, они похоронили его там, на Стыри. Лишь потом, когда Забельский был ранен у железнодорожной насыпи, у него был найден этот документ, и так его и зарегистрировали в госпитале — Новацкий. И вот тогда-то перестал существовать Забельский, а ожил Новацкий.

Что-то где-то оборвалось — что? Надо взять в руки концы разорванной нити и связать их узлом. Деревянные пальцы не гнутся. Как трудно связать эти концы... Но он всё же вяжет. Смутно, неясно всё то, что было на Припяти, на Стыри. Гораздо легче припомнить более раннее время — сентябрь.

И вдруг громко и внятно, на всю палату, он спрашивает:

— Который у нас год?

— Бредит,— шепчет кто-то вблизи, но другой голос тотчас отвечает:

— Сорок третий. Ты что, брат, года перепутал?

Внезапная радость охватывает Забельского. Значит, четыре года! Четыре года отделяют его от того времени! И неправда, что они совсем выпали. Они есть. Странно только, что более отдалённое время он помнит отчётливей. Опять жизнь раздвоилась на явь и сон. Тридцать девятый — явь. Потом — сон. Вся жизнь расколослась на две части. Был Забельский, стал рядовой Новацкий. Имеет ли фамилия какое-нибудь значение? Ведь я остаюсь самим собой, как бы ни назывался? Оказывается, это не так. И даже не фамилия, что-то другое досаждало ему, как чужие, тесные сапоги. Не фамилия, но что же тогда? Имя! Ведь его всю жизнь звали Станислав, Стасек, Стась — и вдруг Юзеф...

Серые тени на потолке складываются в надписи — два имени, две фамилии. Что же теперь делать с этими двумя именами, двумя фамилиями, старой и новой? Кому сказать, что он поручик Забельский? И следует ли это говорить? Что правильнее — жить попрежнему как Юзеф Новацкий, или вдруг явиться поручиком Забельским?

...Тени на потолке собираются в гибкие, мягкие складки, в завитки тёмных локонов. Поручик Забельский идёт с визитом к полковнику — точнее говоря, не к полковнику, а к полковничьей дочери. Сам полковник и его жена, тучная дама, полная чувства собственного достоинства, — лишь неизбежное приложение, без которого нельзя обойтись. Жарко. Раскалённый асфальт на улице Новый Свет поддаётся под ногами... Но что за вздор? Ведь семья полковника на взморье, и он идёт вовсе не с визитом. Он идёт на призывной пункт. Мобилизация!

Дребезжат по выбитой дороге полковые орудия. Куда идти? Никто не знает. Штаб полка неизвестно где. Жара. И небо, как назло, без единого облачка. Дороги в клубах белой пыли, тучами поднимающейся из-под ног, врывающейся в рот. Ни облачка. И немецкие самолёты не уходят с неба. Ни часа передышки...

— Уходите огюда, от нашего дома! — кричит солдатам женщина в завязанном под подбородком платке. — Они сейчас же прилетят за вами...

Колодец почти сухой, солдаты ругаются.

Женщина сказала правду: не успели ещё утихнуть бабьи причитания, как раздаётся прерывистый воющий звук.

— Чтоб вас холера взяла, чтоб вас бог покарал! — кричит женщина и, с ребёнком на руках, мчится по истоптанному сотнями ног огоро-

ду, к выкопанной на картофельном поле яме. Но не добегает. Чёрный фонтан выброшенной кверху земли, вырванные с корнями кусты, короткий блеск пламени...

Они уходят дальше, дальше. Вот лесок у дороги, немного тени среди сожжённого поля. Но едва успеваешь вздохнуть, снять фуражку с вспотевшей головы — снова стонущий гул в воздухе. Неприязненно глядят на солдат беженцы, бредущие по дорогам.

— Уходите, на вас налетят — все пропадём!

Деревня. Лесок. Одинокая изба. Заросли. Где ни приостановишься отдохнуть хоть мгновение от этой невыносимой жары — они уже тут. Прерывистый воющий гул под лазурным небом. Свист падающих бомб. Татаканье пулемёта с воздуха.

— Не стрелять, не стрелять! А то увидит!

Но «он» и так видит. «Он» всюду. Безошибочно идёт по следам, находит. Да и как не найти?

Из роши — ракета. Из зарослей — трассирующая пуля. Из деревни — бумажный змей. Из избы — огонёк лампы.

— Чтоб они сгорели! — ворчат солдаты. — Что же это, одни шпионы во всей Польше живут, что ли?

Но, кроме сигналов, кроме всех этих ракет, огоньков, бумажных змеев, выдаёт и поток людей, идущих, рекой катящихся на восток и на юг. На них сыплются бомбы, снаряды, их поливают пулемётными очередями. В канавах, лесочках и зарослях остаются сотни трупов, и их некому убирать, и они гниют на жарком солнце, в накалённых струях душного воздуха.

Ох, как жарко, как жарко жжёт это безжалостное, страшное, добела раскалённое солнце. Воздух, который вдыхаешь, горяч и густ, он обжигает горло. Ступни горят, будто сапоги сделаны из раскалённого железа, тело под мундиром истекает горячим потом. Пить, пить! Но откуда взять воды? Колодцы выпиты, лишь вязкий ил на дне. Мужики отгоняют от них солдат — боятся налётов, которые следуют за каждой воинской частью, за каждым отрядом, остановившимся на привал. Нет воды.

И всё же в рот льётся прохладная жидкость. Чья-то рука прикасается к его лицу. Такая прохладная рука — хочется прильнуть к ней головой...

— Сестрица, его лихорадит? — спрашивает знакомый уже голос. И женский голос отвечает:

— Ничего, ничего, положим ему лёд на голову.

Лёд, кто это говорит о льде? И откуда лёд в эту необычную для сентября жару, среди сыпучих песков, сожжённых деревень, ужасающего, грызущего ноздри запаха гари?

Холод на темени на лбу. Ох, как хорошо! Из мрака пыльных облаков выплывает потолок. Нет, это не путь из Варшавы в Полесье — это, слава богу, госпиталь в Москве.

Это сорок третий год. «Перед нами великая, святая цель, а на пути стоит смертный враг. По его трупам — дорога в Польшу».

Рядовой Новацкий... Поручик Забельский в шкуре рядового Новацкого. Может, их двое? Нет! Это именно он, поручик Забельский, опять носит мундир. Он опять в армии. И всё становится ясно и просто. Он отчётливо помнит кусты справа, и деревенские крыши, и пылающую машину. «Там меня, должно быть, и ранило, — думает Забельский. — Я просто ранен и меня привезли в госпиталь».

Что же это за госпиталь, однако? Рядом разговаривают по-польски. Видно, наши. А сестра русская. Это, должно быть, советский госпиталь в Москве.

Мысли Забельского больше не путаются, потому что он ведь установил уже многое: сорок третий год и Первая дивизия, и первый бой после тридцать девятого года.

Пески, пески... Там не было боёв. Какая там была борьба? Взбесившийся помещик, жгуший украинскую деревню... Как из-под земли, вырастает высокий мужик, хочет задержать... Бежать, немедленно бежать. И выстрел в мужика... Какая жара — это горит, пылает подождённая с четырёх концов украинская деревня. И со всех сторон выстрелы, со всех сторон вздымается страшное, красное пламя.

— Тихо, тихо. Лежи, миленький, лежи, нельзя так!

Мягкий, приятный голос. На мгновение огненное кольцо разрывается. Какая слабость... Чьи-то руки обхватывают его мягким, но уверенным объятием. Укладывают на подушку, но подушка жжёт, как огнём. На губах влага, но горьковатая, неприятная на вкус.

— Ничего, ничего. Пей голубчик, пей. Сразу лучше станет...

Хочется плакать. Какая слабость, боже мой, какая слабость! И надо ведь непременно сказать, наконец, что его фамилия не Новацкий, потому что иначе он опять потеряется и не сможет найти себя. Узкая тропинка исчезает в тростниках, он опять заблудился... Если бы сказать свою фамилию, всё опять стало бы на свои места, мысли сделались бы такими же ясными и прозрачными, как раньше... Но сухие губы не шевелятся, язык во рту, как деревяшка, и только мешает... Нет, видно, ничего не удастся сказать.

...Теперь уже можно открыть глаза. Куда девалась жара? Холодно. Потолок на своём месте. Но есть ещё что-то, пониже. Тёмная линия и от неё вниз — белизна.

«Меня загородили ширмами... Меня загородили ширмами»...

Где он это видел? Ах, да — в первом госпитале. А потом раненого вынесли, он умер за такими ширмами. Чтобы другие не видели. Значит, и я умираю...

Голова как будто не болит. Холодно. Хоть бы укрыли чем-нибудь... Но нет, одеяло тут, на нём, и натянуто до самого подбородка. И всё же холодно рукам, ногам, всему телу. Ведь ещё только осень? Может, здесь так холодно потому, что это север, Москва?

«Нет, это потому, что я должен умереть. Я ранен в голову и умираю», — понял он.

— Холодно!

— Холодно? Сейчас, сейчас, голубчик, — наклоняется к нему женское лицо.

Руки осторожно подтыкают с боков одеяло. Ногам становится горячо, — к ним, наверно, положили пузырь с горячей водой.

— Я умираю?

И сразу отвечает милый, тёплый голос:

— Что вы, что вы? Будете жить, надо жить, надо ещё Варшаву увидеть... Вы только слабенький, но это пройдёт!

«Это пройдёт», — повторяет про себя поручик Забельский. Что пройдёт? Нет, его не обманут, он знает, что означают эти ширмы, он их видел в том, другом госпитале. Варшава... Что она знает о Варшаве? Бомбы разнесли в куски улицу Новый Свет... Нет, видно, так уж оно и будет, придётся умереть. Рана, должно быть, тяжёлая — операцию он перенёс, а теперь умрёт.

Ширма отодвигается. У койки вдруг становится тесно. Мужчина в очках, в смешной белой шапочке. Будто повар. За ним другой. И сестра, которая говорила: «это пройдёт». И ещё кто-то.

— Ну, как живём? — спрашивает высокий мужчина. И сестра пока-

зывает ему бумажку с какими-то записями, что-то шепчет, а тот утвердительно кивает головой.

— Профессор, а может, ему бы...

Ага, значит это профессор. Сколько их тут собралось возле его койки! Но он всё равно умрёт. Надо бы ещё увидеть Варшаву... Но и Варшавы уж нет... Как стыдно — люди смотрят, а он плачет, взрослый мужчина, поручик. Одна за другой катятся слёзы по щекам.

— Не надо, не надо. Такой хороший мальчик...

Какие смешные слова! Мягкий носовой платочек отирает ему глаза.

— О чём слёзы? — ворчливо спрашивает профессор. — Будем жить, обязательно будем жить, Варшаву ещё брать будем!

Варшавы нет. Её смели с лица земли, разнесли в куски снаряды. Ведь они сами знают это, должны знать. И всё-таки говорят о Варшаве. Значит, не надо умирать?

Тянется утро, день, и снова приходит вечер. Не хочется думать, не хочется разговаривать. Но страх куда-то исчез, будто его отогнали слова того высокого профессора.

«Может, я всё-таки выживу?» — думает поручик Забельский.

Дни однообразны, как две капли воды похожи один на другой. Утро, день, вечер. Разница лишь в том, что теперь он пьёт не только воду, а ещё бульон, и ест компот, и перевязки не так болезненны. Только слабость во всём теле. По правде сказать, он мог бы уже и поговорить. Ведь и справа и слева лежат свои, товарищи по дивизии. Иногда даже хочется спросить кое о чём, помочь своей памяти. Но ещё не время. Прежде надо решить самое важное: кто он такой? Кем он встанет с этой госпитальной койки? Поручиком Забельским или рядовым Новацким?

Долгие, долгие часы. Есть время точно восстановить в памяти всё. Всю эту историю в Полесье. Высокого крестьянина во дворе, где валялась солома. Он видит его так отчётливо, будто это было сегодня. Высокий мужик, в избе которого они нашли приют. И выстрел — прямо в лицо.

Вспоминается словно о ком-то другом, не о себе. Но ведь это был он, поручик Забельский. И дальше, и дальше — вплоть до литовской границы. Вся история поручика Забельского. Но ведь дело не в этом. Никому не докопаться до старых историй, никто не нападёт на его след. Огнём и кровью снесло ту деревню, огнём и кровью снесло всю ту жизнь, ураган прокатился по тем местам и, верно, не осталось ни одного свидетеля. Нет, дело не в этом...

«Но в чём же? В чём? — мучается раненый. — Я Новацкий... И дело с концом».

Но нет, это тоже неправда. Как трудно продумать всё по порядку, до конца. Неправда, что всё вернулось на свои места. Издалека, чуждо всматривается он в того, другого, в поручика Забельского. Не только чуждо — враждебно. Но кто же смотрит так на поручика Забельского? Рядовой Новацкий? Рядового Новацкого давно нет на свете. Бог его знает, откуда и зачем он пристал к той группке, что пыталась пробиться в Литву. Хотя...

Теперь вдруг вспоминаются некоторые мелочи, незамеченные тогда, незначительные подробности.

Нет, тот, у кого он забрал документы, тоже не был рядовым Новацким. Неизвестно, где и когда погиб рядовой Новацкий — тот, что умер от тифа, тоже несомненно был офицером. Все они в этой хибарке над Стырью были офицерами. И только один — но этот один был осадником... Да, а тот, что умер от тифа, вероятно, ещё раньше достал себе

документы Новацкого. Уже третий человек носит эту фамилию. А кем, каким человеком был первый, подлинный рядовой Новацкий? О нём поручик Забельский ничего никогда не узнает. Зато знает о третьем... «О каком третьем? — вдруг удивляется он. — Да ведь третий — это как раз я сам».

Солдат Первой дивизии. Арка в лесу, зелёные гирлянды хвои, красно-белые флажки и надпись: «Привет, вчерашний скиталец, ныне солдат!». Орёл с широкими крыльями, без короны. Инструктор Завейко, изо всех сил старающийся, чтобы все поняли его русскую речь. И странно, ведь он, поручик Забельский, и в самом деле учился там, учился многому, что ему было необходимо, как рядовому, и чего он не знал, хотя был когда-то поручиком. Новая война, новое оружие и новые люди... Как вспомнишь парады и смотры, в которых принимал когда-то участие поручик Забельский! Кто насмешливо улыбается, вспоминая эти парады? Рядовой Новацкий? Но ведь никакого рядового Новацкого нет. Это поручик Забельский глумится над самим собой. Только в Первой дивизии, на солдатской службе, пришлось ему впервые узнать, что такое армия, что такое оружие, что такое война.

Неведомо откуда, словно из тумана, выплыло чьё-то худощавое лицо с серыми глазами. Где он видел этого человека? И почему этот человек вспомнился как раз сейчас?

Узкая тропинка, вьющийся по деревьям хмель. Ну, конечно, — это тот украинский крестьянин, коммунист, повстречавшийся в сентябре. Оказалось, что он говорил правду. Он был прав. Он больше знал о Польше, чем Забельский, поручик польских войск. Но почему же Забельский не знал? Ведь всё было ясно, как на ладони, — достаточно было взглянуть, хоть на минуту задуматься... Возможно ли, чтобы не нашлось ни одной минуты для такого раздумья? Почему он столько лет верил пустому вздору, лживым фразам, вместо того, чтобы хоть раз воспользоваться собственным разумом?

Вспомнились разговоры в семье полковника. Кичливые бредни, которые Забельскому приходилось слушать, — нет, не только приходилось, он слушал их с охотой, почтительно. Ещё бы! Во-первых, начальство. Во-вторых, отец Ирины. В-третьих, высокий чин. Но разве дело в одном этом полковнике? А тот, опереточный вождь, в честь которого они надрывали глотки? «Пуговицы от мундира, и той не отдадим врагу!» ...Пуговицы от мундира!..

Горечь во рту. Горечь на сердце. Почему, зачем он всё время думает об этом? Ведь он же начал совсем о другом — о том, как ему быть с поручиком Забельским, с далёким, чужим, непонятым человеком, от которого он ушёл и снова с ним встретился... после скольких? — да, после четырёх лет разлуки, когда давно уже стал рядовым Новацким, солдатом Первой дивизии.

Вот когда он пришёл в эту дивизию — тогда был самый подходящий момент признаться. Ведь его расспрашивали, кто он и откуда. Но тогда он лишь хмуро смотрел на офицера, принимающего вновь прибывших. «Кто ты? — думал он тогда. — И что подделает вся эта польская дивизия? Наверно, это обман, липа. Что поделаешь?..» В андерсовскую армию его не приняли; взглянули на справку из госпиталя — и сухо отказали, не желая слушать никаких объяснений. В справке было написано, что рядовой Новацкий страдает головными болями и частичной потерей памяти. Но ведь то было раньше, а потом он поправился. Он мог бы связно рассказать всю свою жизнь. Нет, не приняли. Пришлось переждать и направиться сюда, хоть и не верилось, что это дей-

ствительно польская армия. Но пусть. Пусть это даже советские части — лучше сражаться в советских частях, чем шататься как нищему. Ему, поручику польского войска, ещё предстоит кое-что сделать, ему ещё предстоит отомстить за тот сентябрь.

Тогда у него не было никаких сомнений, что лучше отказаться от офицерского звания, быть обычным рядовым. «Дураков нет,— думал он, рассказывая сказку о судьбах рядового Новацкого.— Дураков нет,— повторял он, вдыхая запах хвои, чувствуя на лице тёплый радостный ветер с реки и глядя в лицо записывающему офицеру.— Я Новацкий, и всё! Чёрт вас знает, что вы можете сделать с офицером, чёрт вас знает, какими способами можете докопаться до всего, даже до этого мужика в Полесье. Нет, я-то не попадусь на удочку, меня-то вы не поймаете, ничего мне от вас не надо, кроме возможности сражаться».

Но потом оказалось, что польская дивизия не была обманом. И стало понятно, за что здесь борются, с кем борются и какой должна быть та Польша, к которой они стремятся. Но тогда уже было трудно сказать. Не раз хотелось ему подойти хотя бы к культурно-просветительному офицеру и рассказать всё. Но его останавливал — не страх, нет, а стыд. «Что ж, пусть, так уж и буду рядовым Новацким, пока...» — решил поручик Забельский.

Пока что?

Будет время — там, в Польше. Успеется. Ещё десять раз успеется переменить документ.

Но теперь дело было уже не в документе. Не в фамилии на бумаге. Теперь он уже был солдатом Первой дивизии. Его глазам уже открылся другой мир. Он привык к фамилии Новацкого. И эта фамилия перестала быть пустым звуком. Она означала для Забельского иную жизнь и иного человека. Что общего было у Новацкого, солдата Первой дивизии, с поручиком Забельским — у этого рядового Новацкого, который совсем другими глазами смотрел на мир? У рядового Новацкого, который шёл сражаться под Ленино и был ранен под Ленино, — не только ради того, чтобы отомстить за сентябрь тридцать девятого, но также и ради того, чтобы в Польше впредь всё было иначе?

И вдруг появился поручик Забельский... Что же с ним теперь делать? Этот вопрос нужно непременно разрешить. Потому что — кого же он хотел обмануть, ввести в заблуждение?

— А теперь измерим температуру, — вполголоса говорит сестра Аня. И он видит вблизи её кроткое, милое лицо. Русская, советская сестра. Сколько ночей она не спала, дежуря возле него, когда у него была высокая температура, когда его жизнь висела на волоске? Возле кого она дежурила? Возле рядового Новацкого или возле поручика Забельского, который...

Сестра глядит на термометр и качает головой. Ну да, он и сам знает, что именно от этих мыслей у него поднимается температура.

— Что вас беспокоит? Почему вы волнуетесь? Надо лежать спокойно и ни о чём не думать, набираться сил, чтобы раны заживали.

А что если сказать именно ей, сестре Ане? Попросить, чтобы она села поближе, на край кровати, и сказать. Посоветоваться. У неё такие милые, умные глаза, и в тёмных завитках волос, у висков выются серебряные пряди. «Может, такой была и моя мать? — думал он. — Плохо, когда мать умирает так рано, что в памяти не сохраняется даже её лицо. — Рассказать? Но с чего начать? Поймёт ли сестра эту запутанную историю?»

Но та записала температуру, поправила на нём одеяло и пошла дальше, к другим койкам. Нет, придётся попрежнему мучиться одному,

придётся самому придумывать, что делать с этими Двумя, вдруг очутившимися в рамках одной жизни, где есть место лишь для одного.

Но ведь у меня есть ещё время. Время ещё есть. Покамест, сказала сестра, надо набираться сил. Тем более, что он и сам знает, откуда эти скачки температуры.

Однако не так-то легко освободиться от назойливо возвращающихся мыслей. Если их не было днём, они появлялись вечером и не давали спать.

Постепенно у него возникли и новые интересы. Он уже мог осторожно поворачивать голову, его уже интересовали разговоры соседей, мир намного расширился. Он уже не был наедине со своими мыслями, со своими ранами, со своей, одному ему известной трагедией. Справа лежал человек с искалеченными ногами — но хотя вопрос о том, придётся ли их ампутировать или нет, был ещё не решён, он был очень разговорчив, и молчаливость соседа, видимо, не давала ему покоя, он всё старался втянуть его в разговор. И Забельский сам не заметил, как тому это удалось. Когда температура упала, уже трудно было лежать, как колода. Забельский с изумлением заметил, что начинает скучать.

— Это верный признак, что тебе становится лучше,— убеждал сосед.— Подожди, сегодня вечером будет концерт. Придут с завода, кружок самодеятельности.

— С завода? Почему с завода?

— О, над нами ведь шефствует автозавод. И ещё школа. Приходят этикие клопы, читают вслух книжки, газеты. В соседней палате, где легко раненые лежат, там и радио есть, и патефон. Но у нас не позволили пока.

— А там кто лежит? Советские?

— Нет, всё наши. Весь госпиталь нам отдали.

Легко раненые из других палат приходили к ним в гости. На костылях, в белых госпитальных халатах, в пижамах, в шлёпанцах на босу ногу. Они присаживались на койки и начинали бесконечные разговоры. Ещё и ещё раз обсуждали первый бой. И не только бой. Делились планами на будущее, воспоминаниями. Чаще всего пускался в воспоминания сосед справа.

— Вот когда я был в Испании...

Забельский слушал. По соседству с койкой Забельского лежал человек, из уст которого так и сыпались экзотические названия. Он так же просто упоминал Эбро, как Вислу, и смеялся тому, что за борьбу на стороне республиканцев его лишили польского гражданства.

— Гражданство... Где они теперь, сами-то? А я завоевал себе не только гражданство, но и орден... Вот каковы превратности судьбы. Но только когда теперь мы их лишим гражданства, так это уж будет раз навсегда...

До Варшавы было очень, очень далеко, но в солдатских разговорах беспрестанно повторялось:

— Вот когда начнётся борьба за Варшаву...

«Испанец» тут же замечал:

— Борьба за Варшаву началась уже давно. Вот как раз тогда она и началась. Под Мадридом.

С ним соглашались. И поручик Забельский чувствовал, что так оно и есть. Почему же раньше, почему тогда они не знали об этом?

Не знали? Но ведь вот этот, рядом, всегда такой весёлый, несмотря на то, что, может быть, потеряет ноги,— ведь он-то знал! Перебирался через границы, прокрадывался через государства и города, чтобы драться под Мадридом за Варшаву. Не знал этого он, поручик Забельский. Будто ходил с тугой повязкой на глазах.

Что он тогда думал, как он думал, почему не мог понять этого? Скорей всего он просто не думал. Лишь теперь он с ужасом убеждался, что ведь и тогда всякий мог видеть, как Польша катится по наклонной плоскости, к неизбежной катастрофе. А они тогда насмеялись ещё над капитаном Польковским, у которого были самые чёрные предчувствия и который в последние дни августа тридцать девятого года ходил будто с креста снятый.

— Да что он дурит? Вы знаете, какие карты нам раздадут? Карты Восточной Пруссии и дальше на запад, вплоть до Берлина... Если б были хоть какие-нибудь сомнения, то дали бы карты наших пограничных районов.

Да, да! У него самого, когда он пробирался в Полесье, тоже были в планшете карты Германии. Пригодились, нечего сказать!

Надо начинать жизнь сызнова. Впрочем, это и случилось в тот день, когда он, полный недоверия, так, на всякий случай, явился в лагерь Первой польской дивизии. Там нашёлся ответ на всё непонятное прежде, даже на тот ужасающий сентябрь, который до сих пор снился ему в кошмарах. Всё было ясно и просто. И были люди, которые давно об этом знали и давно к этому готовились и сознательно боролись. И это были как раз коммунисты — те, кого Забельский считал врагами нации, агентами Москвы! Как легко он тогда верил клеветам! Она не возбуждала ни малейших сомнений, хотя коммунистов он никогда и в глаза не видел. Первым был тот, встреченный в Полесье украинец. Но потом оказалось, что среди коммунистов немало и поляков и что именно эти люди в первых рядах шли в атаку, вели в бой других и чаще других гибли. Они же защищали до конца Варшаву в тридцать девятом.

Жизнь была непохожа на то, что вбивали в голову ему, Забельскому, чуть не с самого детства... И с этими «восточными окраинами», и с крестьянами и рабочими — всё было не так, как ему внушали.

Значит, дело тогда, в тридцать девятом году, было не только в недостатке оружия. Правда, многие тогда говорили: лишь бы дали оружие, а до остального мне дела нет! Но это была та же ошибка, которую сделал и он сам. Нет, теперь поручик Забельский знал, что есть вопросы, быть может, ещё более важные, чем оружие. Теперь он узнавал о Польше, где родился, вырос и жил, тысячи вещей, о которых раньше знал не больше, чем любой иностранец. Он узнавал нужнейшие для жизни вещи не только из бесед и дискуссий, проводившихся в лагере политическими офицерами, — он многое узнавал также от товарищей, из любого разговора, из любых воспоминаний. И становилось всё яснее, что дело не только в том, чтобы драться, главное — это знать, за что надо драться. Главное, чтобы никогда, никогда не могло повториться...

— Здравствуйте!

Свежий детский голосок неожиданно ворвался в его размышления. Девочка лет одиннадцати, в синем платье и белом передничке, стояла в дверях палаты.

— А-а, Наташа! Добрый день, Наташа! Иди, иди сюда, мы уже давно тебя дожидаемся! Как поживаешь, Наташа? — раздались со всех сторон голоса. — Что ты принесла?

— Сегодняшние газеты.

Забельский невольно усмехнулся. Девочка была чрезвычайно серьёзна. Вздёрнутый носишко и розовое, свежее, будто холодной водой умытое личико.

— С чего начать?

— Ну, разумеется, со сводки.

Она уселась поудобнее, с шуршанием развернула газету. Вдохнула,

как бы набирая в лёгкие побольше воздуха, и стала читать, строго, внятно выговаривая каждое слово. Цифры, видимо, слегка затрудняли её; она на секунду приостанавливалась перед каждой и произносила её с особой торжественностью. Кончив, она тяжело, как взрослая, вздохнула:

— Жаль, нет карты, я бы показала на карте.

— А ты откуда знаешь, где это на карте?

— Как, откуда? У нас в школе висит карта, мы каждый день отмечаем на ней такими флажками на булавочках. Теперь я прочту ещё эпизоды.

— Ого! А что же это такое — эпизоды?

Девочка обиделась:

— Вы думаете, я не знаю? А вот и знаю!

— Ну, так что же это такое — эпизоды?

— А вы не знаете? Вот прочту, будете знать...

— Как тебе не стыдно, Франек, дразнить ребёнка!

— Я дразню? Скажи сама, Наташа, разве я тебя дразню?

— Да нет, вы только надо мной смеётесь.

— Ничего подобного. Разве я посмел бы?

— Вы думаете, что я ещё маленькая и ничего не знаю. А я отличница, с самого начала отличница.

— Ого! С самого начала? Значит, очень давно.

— Конечно, давно. Ведь я уже в четвёртом классе.

— Да не мешайте вы ей! Читай, Наташа, читай.

— А передовую читать?

— Читай, всё читай. Только не устала ли ты? Отдохни немножко и поди сюда на секундочку.

Она искоса глянула в сторону зовущего.

— А что?

— У меня тут для тебя что-то есть.

— Не хочу.

— Ещё и не знаешь, а уже говоришь, что не хочешь?

— Знаю. Вам конфеты принесли, а вы, вместо того чтобы есть, мне оставили.

— Как в воду смотрела! Но, видишь ли, я не люблю конфет.

— Ну, уж это неправда! — быстро возразила она, крутя в пальцах косичку.

— Как так, неправда? Взрослый человек тебе говорит, а ты — неправда!.. Что ж ты думаешь, все должны любить конфеты?

— Все? — она задумалась на мгновение. — Мой папа тоже не любит. Но он говорил, это потому, что он курит. А вы ведь не курите?

— А где твой папа?

Какая-то тень пробежала по детским глазам. Она вздохнула.

— Мой папа тоже в госпитале.

— Ранен? Здесь, в Москве?

— Ранен. Только мой папа лежит в Челябинске. Если бы у мамы не было столько работы, она могла бы взять отпуск с завода, а если бы это было в каникулы, я бы поехала к нему с мамой.

— Так мама работает на заводе?

— Ага. У меня мама стахановка.

— Вот оно что! Знаешь что, Наташа, — хочешь на концерт пойти? У нас сегодня концерт.

— Хорошо бы... А только я не могу остаться, времени нет.

— Уроков не приготовила?

— Нет, уроки я всегда раньше готовлю. А только мама сегодня задержится на заводе, так мне надо Сашу покормить и уложить спать.

— Это кто же — Саша?

— Мой братишка. Ему всего пять лет. Маленький. А этому дяде уже лучше? — вдруг обратила она внимание на Забельского.

— Лучше, лучше! А ты как узнала?

— Потому что, когда я раньше приходила, у него всегда глаза были закрыты. А сегодня он слушал.

— Вот видишь, теперь у тебя будет ещё один знакомый.

— У меня много знакомых. И внизу тоже. Только туда ходит дежурить Соня из пятого класса. А из четвёртого только одна я хожу, Марья Ивановна говорит — потому, что я хорошо читаю. А Флора просилась, так Марья Ивановна не пустила, потому что она всегда ошибается. Ну, я пошла.

Она исчезла в дверях. Забельский смотрел в потолок. На душе у него было как-то странно. Он и подсмеивался над собой, и чувствовал себя до глупости растроганным, размягчённым. Детский голос залетел в эту палату искоркой нечаянной радости.

Маленькая девочка. Отец лежит раненый в Челябинске, а она приходит сюда читать газеты польским солдатам.

И снова укол в сердце. Вспомнился тот украинский крестьянин, который бежал навстречу приближающимся частям Красной Армии. И перестрелка, когда они шли к литовской границе. И все их дела над Стырью. Ведь на месте крестьянина, которого он застрелил, мог быть отец этой Наташи. Этой или другой такой же девочки, которая в короткий перерыв между приготовлением уроков и сном бежит в госпиталь читать газеты польским солдатам.

На глазах Забельского выступают слёзы. «Ох, до чего же я слаб, всё время реву как баба... Кому ты читаешь газеты, Наташа? Рядовому Новацкому, раненому в бою, бок о бок с твоими соотечественниками, или поручику Забельскому? Что сказала бы Наташа, если бы...»

Вздор! Что может понять маленькая девочка? Маленькая девочка с приветливым, доверчивым лицом.

«Я краду твоё доверие, Наташа, скрываю свою вину перед тобой, маленькая девочка из города Москвы...»

И снова эта треклятая головная боль. Снова тёмные полосы теней на потолке сплетаются в узел, который не распутаешь.

«Нет, я не виновен, это всё тот, поручик Забельский...»

«Не валяй дурака, — строго одёргивает себя раненый. — Какой такой «тот»? Это и есть ты сам».

Но и эта беспощадная мысль не помогает. По какой-то неведомой, неясной дороге идёт поручик Забельский, а рядовой Новацкий попрежнему смотрит на него со стороны и не чувствует к нему ничего, кроме неприязненного любопытства.

«Кто ты, чужой человек, идущий по пыльной дороге?»

«Но это же я, я!»

Да, это так. Это он — Забельский. И, однако, ему никак не удаётся думать мыслями того поручика Забельского.

«Что у меня с тобой общего? — холодно думает рядовой Новацкий. — Ничего. Совсем ничего. Я не знаю тебя».

Холодное прикосновение ко лбу. Ага, опять кладут лёд... Это хорошо, от него всегда становится яснее в голове. Наверно, сестра Аня? Он осторожно нащупывает руку сестры, маленькую, немного загрубевшую руку и притягивает её к своим губам.

Испуганная сестра стремительно вырывает руку.

— Что ты, что ты!

Раненый улыбается. Ох, как хорошо с этим льдом на голове. Да,

у его матери, наверно, были такие же ласковые серые глаза и такая улыбка, как у сестры Ани. И ясно, что когда он вернётся из госпиталя в часть, придётся доложить о своём прошлом командиру. Для порядка. Потому что какое же ещё значение всё прошлое имеет сейчас?

Но снова перед ним лицо того крестьянина. И ещё одно лицо — там, в плавнях Стыри. Неужели он никогда не сможет забыть этих лиц? — Спи, спи, сынок, — тихо говорит сестра Аня.

Хорошо, что она тут. Теперь можно будет уснуть. «И ведь передо мной ещё долгая жизнь, — думает раненый. — Вся жизнь. Я ещё буду в Польше, буду в Варшаве».

Спесивое лицо полковника. Теперь Забельский видит, что это был просто надутый пузырь и ничего больше. А тогда чувствовал уважение. К человеку? К чину?.. Нет, о полковнике и думать не стоит. Ирина. Главным в жизни была ведь она — Ирка. Но чуждо и безразлично звучит теперь и это имя. «Как же так? Я был влюблён в эту Ирку. Что же мне в ней нравилось? — спрашивает он себя. И ничего не находит. О ней думается, как о едва знакомом человеке. Нет, это сделали не только годы разлуки. Я отошёл от Ирки. Во мне теперь нет ничего, чему Ирка могла быть близкой. Как могло бы остаться хоть что-нибудь от прежней любви, если не осталось ничего от прежнего человека? Я приду в Варшаву таким, что меня никто не узнает. И, в сущности, сам увижу Варшаву впервые, новыми глазами, которыми никогда раньше не смотрел на мир. О чём же я смогу теперь говорить с Иркой? Что она поймёт из всего, что произошло со мной?»

И вовсе не её лицо возникает перед глазами, а лицо той смуглой, замкнутой женщины, которую он видел всего несколько раз, когда приходилось ездить по поручениям командира в правление Союза польских патриотов. Лицо Ядвиги Плонской. О чём он с ней говорил? Только о служебных делах — о детях солдат и офицеров дивизии. Через её руки проходили все списки, именно она знала, где, в каком колхозе или совхозе остался ребёнок. Она посылала людей, чтобы они перевезли ребят в детский дом, и проверяла, насколько они обеспечены там на местах. Ей давали знать колхозы, что дочке такого-то солдата выдаётся литр молока в день, столько-то и столько-то хлеба, столько-то и столько-то других продуктов. Она получала и передавала в дивизию сведения, сколько пар ботинок, сколько свитеров и простынь выдали детям польских солдат местные организации. Вот и все темы их разговоров. «Почему же я думаю именно о ней, хотя видел её всего несколько раз? И почему так хорошо её помню? Чёрные брови, почти сросшиеся на переносице, и хмурые глаза, вдруг проясняющиеся неожиданно нежной, ясной улыбкой. И тихий голос. Может, её я и люблю, эту почти незнакомую Ядвигу Плонскую? Но что я о ней знаю? Быть может, она совсем другая, чем кажется? Почему мне так приятно думать о ней?»

— Спишь?

Нет, он не спит, но глаз не открывает. Не хочется разговаривать. Хочется думать о ней. Или даже не думать, а просто представлять её себе — как она смотрит, как встаёт, чтобы найти папку, как её развязывает, как сдвигает брови, когда, справляясь с записями, диктует письма солдатам.

Рядом шепчутся. Это чтобы его не разбудить. Но он сам начинает с интересом вслушиваться в этот шёпот.

— Ну, после забастовки мне уже в Польше жизни не было. Столько народу без работы, а я ещё в чёрном списке! Подохну тут, думаю, да и всё. Забрал жену и детей — и во Францию. Сколько мы намучились в пути, это уж я один знаю. Ни денег, ни вещей, ребятишки маленькие...

Ну, ничего. Добрались, наконец, до какой-то дыры в Северной Франции. Шахта, бараки для шахтёров. Ну и жизнь была в этой Франции... эх! И опять забастовка, и опять тюрьма... Жена в шахте работала. Так и съел её этот уголь, померла. Ребятишки скитались по знакомым, то у одного, то у другого. Ну, в конце концов, удалось сюда приехать, в Донбассе работал, потом под Москвой.

Забельский не открывает глаз. Он и так знает — это тот, раненный в руку поручик, пришёл из другой палаты.

И вдруг он впервые сопоставляет эти два понятия: поручика и шахтёра. Он, поручик Забельский, сейчас просто рядовой. А тот, раньше простой шахтёр, теперь поручик. Раньше он считал бы такое положение смешным и нелепым. Но сейчас он знает — это правильно. Так и должно быть.

— Французские шахты...

Забельский слушает. Но сон помаленьку смаривает его. «Видно, у меня уже нет жара», — думается ему. Сон, мягкий и спокойный, с непреодолимой силой смыкает ему глаза. Что там ещё рассказывает этот поручик с чёрными пятнами навеки въевшегося угля на руках и на лице?

«Но ведь передо мной ещё целая жизнь, целая жизни!» — сверкает в мозгу Забельского радостная мысль, спокойная и уверенная, как истина.

Глава 14

— Хлопцы, а ведь завтра Пасха! — вдруг вспомнил кто-то.

— И правда! А тут холод, как перед Рождеством...

Стефек, свесив ноги, сидел на платформе. За его спиной товарищи вспоминали о том, как проводили, бывало, пасхальные дни, о каруселях, о гуляньях за городом, навсегда оставшихся в памяти. Он поднял воротник и сунул руки в рукава. Пасха... Сколько лет о ней и не вспоминал? В Ольшинах были две Пасхи. Одна — дома, скучная и бессмысленная, против которой они с Ядвигой вечно бунтовали. Но мать требовала исполнения всех обычаев: Пасха всегда Пасха! И вот красили яйца, пекли какие-то бабки. Приходилось выслушивать длинные, скучные рассказы о мифических Луках, в существование которых им всегда как-то не верилось. Рассказы о том, как в Луках клали в тесто по двести, триста одних только желтков; какие там пекли мазурки и кулички; как готовили отдельно для господ и для «людей»; как ездили в коляске в костёл. Впрочем, в костёл можно было, если захочешь, отправиться и здесь. Мать не шла; видно, дело было не в костёле, а в парадном выезде и всей барской обстановке праздника. И Пасха потеряла для госпожи Плонской своё обаяние, свелась к мрачному поеданию бабки, в которую не было положено двести желтков, к сердитым упрёкам, что Ядвига и Стефек ничего не понимают.

А тринадцатью днями позже бывала другая Пасха — деревенская, православная. Эта лучше запечатлелась в памяти Стефека — радостными песнопениями в церкви, угощением по избам, куда они с Ядвигой бегали, сперва тайком от матери, а потом открыто. Но и эта Пасха, хотя и более торжественная и весёлая, была скудна и убога — ведь позже или раньше она наступала, всё же это всегда было к весне, в ожидании новины, когда осенний хлеб уже съеден.

Вспоминается, как красили яйца для этой Пасхи. Шелухой от лука — тогда яйца получались золотисто-коричневые. Выкапывали корни терновника на пригорке за деревней — чёрные кусты кололи жёсткими, острыми шипами, словно защищаясь; иногда они к Пасхе были ещё голые,

чёрные, сухие, как скелет, иногда уже стояли в белоснежной дымке мелких цветочков. Сколькo, бывало, намучаешься с выкапыванием этих корней! Но зато яйца, окрашенные их отваром, были жёлтенькие, весёлые, как маленькие солнца. Девушки красили ещё иначе — они заворачивали яйцо в пёстрые тряпочки, в какие-то нитки, выдернутые из лоскутьев. Тут никогда нельзя было знать, что получится. Чаще всего — какие-то пятна неопределённого цвета. Но иногда удавалась светлая, весёлая окраска с неожиданными жилками и крапинками, и её приветствовали радостными возгласами.

Дома яйца красили краской, купленной в магазине. Тут уж не было никаких сюрпризов. Если на пакетике написано «красная» — получались красные, написана «голубая» — получались голубые. Может, они были и красивее, ярче, чем деревенские, но те нравились больше. И деревенский тёмный калач был вкуснее материнских бабок, испечённых из белой муки и с изюмом.

— Хамские вкусы! — говорила мать. — Стоит для вас стараться, мучиться? Всё равно вы ничего не цените.

— А вы не старайтесь. Не нужна нам эта Пасха. Сами вы захотели, а потом всё на нас!

— Ну да, дома она вам не нужна, а по избам рады с утра до ночи сидеть. И что вам там нравится, не понимаю? Чёрные лепёшки?

И он, и Ядвига молчали. Не стоило отвечать, мать всё равно не поняла бы, даже если бы и постаралась понять. Но она и не старалась. Единственное, чего ей хотелось, — это быть несчастной и обиженной и размышлять вслух, откуда у её детей эти хамские вкусы, эти плебейские наклонности, эта вечная неблагодарность.

Но всё же Пасха всегда соединялась в памяти с весной, с полыми водами, с шумом озера, с пением тысячи оживших ручьёв...

За спиной Стефека кто-то сказал:

— А ещё говорят Украина, тёплый климат!

И правда, не верилось, что уже апрель. Тем более здесь, среди высоких сосен. На железнодорожных путях, правда, снега уже не было, а только тёмная, растоптанная и снова подмёрзшая грязь. Но дальше, под деревьями, ещё виднелись пятна закопчённого, покрытого сажей снега, который как будто и не собирался таять.

— Долго нас тут будут держать? — ворчали артиллеристы, сидящие у своих орудий, на железнодорожных платформах. Но вот уже второй день как всё словно замерло. Пути были забиты. Стояли длинные вереницы серых цистерн с бензином, в открытых дверях теплушек играли на гармошке советские пехотинцы, дальше темнели орудия, прикрытые серо-зелёным брезентом. Возле станционных зданий сутились какие-то люди, бегали взад и вперёд железнодорожники, но никто не мог ничего толком сказать.

— Линия загружена. Киев не принимает. Всё забито поездами, а тут ещё этот злполучный мост.

— Ну, если немцы нас тут навесят, такой каши наделают, что только держись...

— Вокзал, видишь, разрушен... Наверно, недавно летали...

— Глупости! Его, может, ещё в сорок первом развалили!

— Как бы не так! Ничего ты не понимаешь, ещё даже балки дождями не обмыло, только что горели! А вчера разве этот урод не летал над нами? Небошь, уже все снимки сделал...

— Э, что там! Одна «рама» только и летала...

— Приведёт за собой других, не беспокойся...

— И чего вы треплетесь? Не терпится вам бомбы увидеть, что ли? Начали с Пасхи, а кончили налётами!

— А что с этой Пасхи? Шиш.

— Неправда! Завтра выдадут водку и по два яйца.

— А ты откуда знаешь? Уже выпросил у повара?

— Даст он тебе, как раз...

— А всё же клянчил?

— У него не выклянчишь. А только наверняка знаю: по два крутых яйца. Пасха!

— Я бы уж и эти пасхальные яйца отдал, лишь бы нас поскорее отсюда выпустили!

— Пробка, чёрт бы её взял!

— Пробка. Я до самого моста дошёл, всё забито, пальца не про-сунешь.

День был пасмурный, но тумана не было, и ясно виднелся силуэт города на горе. Высоко к небу вздымались две башни.

— А это как раз их Киево-Печерская лавра, — объяснил один из солдат. — Вон там, видишь, такая высокая башня. Там ещё и собор был, да немцы взорвали. Ох, какой собор был!

— А ты откуда знаешь?

— Как откуда? Да я в этой Дарнице почти два года работал в совхозе, тут недалечко. Было бы время, сбегал бы посмотреть — может, ещё кто знакомый остался. Я сразу, в тридцать девятом, как только объявили запись добровольцев, так и записался на работу. И в лавру ходил, там музей устроили. Вот это дело, я вам скажу! Всё как на ладони видно — мать божья на иконе своими слезами плачет.

— Брешешь!

— Чего мне брехать? Слезами плачет, так ручьём по лицу и текут. А рядом дверца в стене, можно зайти и посмотреть, как это устроено. Шпагатки, проволочки, пузырьки такие с водой. Только раньше-то туда, конечно, не пускали, так что никто не знал. Такую чудотворную икону монахи оборудовали — всякий бы поверил. А под землёй коридоры — идёшь, идёшь и конца им нет. И там святые лежат в гробах, всё как есть видно.

— Так прямо снаружи и лежат? Не в могилах?

— Снаружи. Высохшие такие, руки как из дерева вырезаны и чёрные... Мумии называются или там мощи. В музее показано, как таких святых делали. А глупый народ ходил и этим святым кланялся. Умели из людей деньги выжимать, умели!

— А то нет! И у нас, бывало, как повалит народ на храмовой праздник в Ченстохово...

— Или в Тухов...

— А то ещё в Кальварию. В Кальварии там такие корыта деревянные, и эти корыта, вот, ей-богу, не вру, бывало доверху деньгами насыплют! Народ за сотни вёрст туда идёт на храмовой праздник. А как пройдёт девять месяцев — смотришь, девки кругом родить начинают. Как же, храмовой праздник!

— Постыдились бы вы под самую Пасху богохульствовать, — сурово остановил их пожилой солдат.

— Ого, дядюшка Адам уже разворчался... А сами-то вы, отец, не из-под Кальварии, случаем?

— Из-под Кальварии.

— Так что ж, я неправду говорю? Не бывает так?

— Что люди делают, это одно, а бог другое! — рассердился старик.

— Ну ладно уж, ладно... Подумать только, весь свет человек про-

шёл, а ума ни на грош не прибыло! Отец, а на храмовой праздник в Кальварию пойдёте?

— Приведёт бог домой вернуться, так и пойду.

— Ну вот вам... Эх, тёмная масса! Вот не взорвали бы фашисты здешнего собора, могли бы и вы пойти все ихние штучки посмотреть.

— Это православные...

— А католические лучше? Эх, отец, мало ещё, видно, из вас коёндз крови выпил...

— Да оставь ты его в покое! Не видишь, старик утром и вечером молится,— отучишь ты его, что ли? Расскажи-ка лучше ещё что-нибудь о Киевской лавре.

— О лавре? Ну, что ж... Ходил я по этим пещерам, дальние есть и ближние. И всюду в нишах эти покойники, мощи, значит. А пещеры в каменных скалах — говорят, в старые времена люди там от татар прятались... И собор, уж такой красивый собор! Стены все в золоте, глазам больно...

Стефек не стал слушать, что дальше говорилось о лавре.

Киев... В скольких километрах за Киевом теперь советские войска? Сколько километров до Ольшин? Ведь это уже Украина...

Как помылся ему мрачный, серый октябрьский день. Они уходили из Харькова на рассвете. Несмотря на ранний час, на тротуарах стояли толпы понурых, окаменевших людей и безмолвно наблюдали этот марш на восток, медленно движущиеся машины, бредущую пехоту.

А потом — скопление машин у осклизлой дороги. Её размесили тысячи ног, ұзрыли колёса орудий, гусеницы тракторов и танков. Артиллеристы топтались в глубокой грязи, подпирая плечами увязающие орудия. Сапёры отчаянно кляли морозящий дождь и хлипкий мостик, который непрерывно приходилось укреплять.

И среди шума, грохота, крика люди становились на колени и целовали чёрную раскисшую землю. Некоторые завёртывали в платок горсть этой земли, прятали за пазуху. По лицам катились слёзы. Эта грязная речушка, эта долинка, превратившаяся в сплошное болото, была границей Украины. Последний клочок Украины, который приходилось покидать...

Первая деревня, в которой они вечером остановились на ночлег, была уже в России. Украина кончилась. Но в избах — точно таких же, как по ту сторону речушки, так же висели на стене портреты Шевченко и так же суетились хозяйки, спеша накормить, напоить солдат.

Теперь эта речушка была уже далеко позади, на востоке. Войска продвинулись далеко за Киев.

Где-то теперь капитан Скворцов? Кто заправляет его машину, кто проверяет мотор, кто ожидает его на рассвете? «Не печалься,— сказал он тогда Стефеку. — Встретимся ещё, а в этом польском войске ты ещё и генералом станешь». Он шутил и смеялся, но Стефек знал, что и ему грустно. Увидятся ли они когда? Каждый военный день разлучал людей, и неведомо было, куда ведут их дороги, скрестятся ли они ещё когда-нибудь и где скрестятся. Сколько друзей, сколько милых сердцу потерял он уже на этих дорогах, сколько новых людей всем сердцем полюбил! Эти три года были длинней всей его предыдущей жизни.

...Теперь уже недалеко. За туманной колокольней лавры, дальше туда, на запад, куда непрестанно устремлялись войска — там были Ольшины. Быть может, счастливый случай устроит так, что они будут двигаться именно в этом направлении и можно будет увидеть знакомые дома у дороги, кудрявые ивы, озеро... Увидеть Соню.

Это были какие-то не совсем реальные мысли. Не верилось, что прошло только три года, не верилось и тому, что прошло уже целых три года. И ни один из этих дней не исчез бесследно, каждый имел свой смысл, своё значение. В армии была настоящая жизнь Стефека — ошутимая, простая военная жизнь. А что таилось за мглой, окутывающей Ольшины? Какими днями отмечались там человеческие жизни в эти три года, три года оккупации?

Линия фронта разделяла как бы два мира. Что же таил в себе тот, другой мир, отрезанный, раздавленный, окованный тяжёлыми цепями? Каким лицом взглянут на него теперь Ольшины, каким словом его встретят? А может, и вовсе не придётся их увидеть? Ведь его путь — к Бугу, за Буг, на Варшаву и Краков. Может, пройдем стороной...

Год-два назад об Ольшинах думалось так, словно они, далёкие и недостижимые, оставались всё теми же, какими были раньше. Теперь, когда они стремительно приближались, их очертания стирались, и он всё яснее сознавал, что, как бы там ни было, тех Ольшин, которые запечатлелись в его памяти, уже нет. Придётся заново встречать людей и заново узнавать новые Ольшины, которые возникли за эти три года неведомо как и неведомо какие.

— Летит!..

В бледном, будто вылинявшем небе дрожал слабый, как комаринское жужжание, назойливый звук.

— Может, наш?

— Как бы не так! Не слышишь, что ли?

— Даже два, если хотите знать. Вон, вон — видно!

— Ты, не заливай! Разве увидишь? Высоко летит.

— Смотри хорошенько. Увидишь, коли не слепой.

Задрав головы, они всматривались в бесцветное небо. Там действительно виднелись две едва заметные точки.

— Кружится, холера. Снимки делает.

— Может, так только пролетает?

— Ещё чего! Стал бы он тогда кружить... Снимает!

— Хлопцы, сделайте приятное лицо! Вас снимают!

— Дурак! Вот они тебе покажут! Теперь только и жди, приведут бомбардировщиков.

Но два чёрные комарика давно исчезли, а бомбардировщики не летели. Солдаты зевали, на опушке, за железнодорожными путями, кто-то разжёл огонёк; там советские солдаты разогревали под вагонами консервы в жестянках. Часы тянулись медленно, скучно. Зенитчики дремали, опершись головами о закреплённые на платформах орудия.

Уже надвигались сумерки. На небо выплыл мрачный жёлтый месяц в туманной шапке. Холод становился всё чувствительнее.

— До ночи, видно, не отправят.

— Чего захотел — до ночи! Хоть бы завтра пропихнули и то бы слава богу!..

— Ну, что ж, выспимся — и всё. Ночь быстрее проходит, чем день.

— Смотри, как бы она слишком быстро для тебя не прошла!

Вот такой же самый жёлтый месяц взойдёт теперь над Ольшинами. Его круглый, сонный лик отражается в озере. Осенний какой-то месяц. Жёлтый, перечёркнутый чёрной полоской облака круг блестит в болотах, в реке, плывёт по небу над тёмной уснувшей деревней, над землёй, поросшей ольховыми рощами, над растрёпанными верхушками верб. Быть может, и Соня как раз сейчас смотрит на месяц?

Теперь, когда до Ольшин уже так близко, хотелось, чтобы Соня была

именно там. Ведь если она работает где-нибудь далеко, на Урале или за Уралом, — когда же он её увидит, как её разыщет? Зато, если она в Ольшинах...

Конечно, она в Ольшинах. Вряд ли ей удалось уехать. Раньше он уверял себя, что Соня обязательно где-то в глубине страны; теперь это казалось ему невероятным. Она может быть только поблизости, за Киевом, который туманным силуэтом уже рисуется перед глазами, или в Ольшинах. И, думая об Ольшинах и о Соне, он забывал, какое теперь время. Будто война уже кончилась.

В Ольшинах ждёт Соня. Изменилась ли она за эти три года? Может, и изменилась. Но помнится она такой, какой была раньше — смуглое лицо, алые, будто нарисованные губы, чёрные весёлые глаза. Она любит смеяться, она всегда полна смеха, ежеминутно готового вырваться на волю, зазвенеть, заискриться, затрепетать в воздухе. И какой это смех, не похожий ни на что другое, весёлый, прозрачный смех. Ждёт его в Ольшинах Соня. И теперь нечего больше откладывать. Теперь они справят свадьбу, какой ещё не видывали в Ольшинах.

Он уже перебирал в памяти музыкантов, кого бы лучше позвать, чтобы плясать три дня и три ночи, а то и дольше. Ведь рассказывали же, что когда старый Рафанюк женился на Параске, которую отдавали за него силком, то, чтобы показать себя, целую неделю справлял свадьбу. Говорят, вся деревня пьяная лежала. Уж какой был скупой, а тут всех угощал, даже самых что ни на есть бедняков. А Стефек ведь берёт жену по любви. Он справит ещё лучшую свадьбу. Не надо, чтобы люди перепились, надо, чтобы они весело плясали, чтобы Сонин смех раздавался над озером, чтобы дом ходуном ходил и притоптывал, чтобы Ольшины просто захлебнулись музыкой. Чего ж им с Соней надо? Быть вместе, и больше ничего. Шумная свадьба — это только чтобы надолго запомнили. А после свадьбы? Тогда, перед войной, им хотелось в город — жить в городе, работать в городе. Но теперь он даже не понимал, как ему могло хотеться уехать куда-нибудь из Ольшин — от озера, от реки, от милых, знакомых мест? Даже странно подумать о себе и о Соне где-нибудь не там, не на этих тропинках, исхоженных по сто раз, не на выгоне у реки, не в ольховой роще или в лодке на озере.

Холодный ветер ещё отдаёт зимой. Но ведь уже апрель. Пока поспеешь в Ольшины, будет настоящая весна. Всё зазеленеет, золотится от жабинцов, заголубеет от незабудок — к свадьбе, к их с Соней свадьбе! Заколышутся высокие травы, запоют птицы на опутанных хмелем кустах...

— Вот вам и новости! — громко сказал кто-то у самой платформы. Стефек вздрогнул, вырванный из полудремоты.

— Что случилось?

— Две сотни бомбардировщиков идут на Киев. «Юнкерсы». Из Киева дали знать.

На платформах засуветились. Оживились вагоны на соседних путях. Зазвучали голоса. Заспанные люди вылезали из вагонов, глядя на запад, где днём виднелась колокольня лавры. Теперь она скрылась, хотя ночь не была тёмной: где-то за неглубокими тучами таился месяц и не давал черноте быть чёрной. Даже силуэты близких деревьев не выделялись, сливались с фоном. А там, подалее, всё сгущалось ещё плотнее, окружая человека невидимой стеной. Люди двигались осторожно, будто и вправду можно было наткнуться на эту стену, несуществующую, но ясно ощущаемую.

— Ничего не слышно?

Они искали во мраке места, которые так отчётливо видны были днём, — зубчатую неровную линию города на холмах, так похожую на линию леса на горизонте, что можно было принять этот далёкий город за лес, если бы не колокольни и несколько больших зданий, нарушающих иллюзию своей прямолинейной геометрической правильностью. Теперь не было видно и этих очертаний. Всё пространство заполнил рассеянный, негустой мрак.

Далеко, далеко слышался глухой рокот, едва уловимый гул — это дышал фронт. Но над Дарницей воздух был пуст и нем.

— Они над Киевом.

В рассеянном, ровном мраке появились искорки. Они вспыхивали и гасли, на мгновение сверкнув в небе.

— Зенитки бьют.

— На нас они идут или на город? Бомб не слышно!

— Чего им на город бросать? Что там, в городе? А тут... Небось, уж знают, сколько здесь составов скопилось. Да и мост разрушить охота...

— Тише, не болтайте, слушаем!

Стефек стиснул зубы. Сердце бьёт в набат. Ведь вот, не впервые он это переживает, а привыкнуть не может. И хуже всего именно ожидание. Даже первая бомба приносит какое-то облегчение — сердце успокаивается, начинает биться ровнее. Потому-то Стефеку — и не ему одному — так хочется, чтобы скорей уж началось.

Искорки в небе сгустились. И вдруг где-то далеко — над городом или немного ближе сюда, к Дарнице, — повис огромный фонарь, осветительная ракета.

Уже слышался протяжный, прерывистый гул моторов. Эти перерывы пугали — будто мотор замирал на мгновение, готовясь к чему-то ужасному. Гул всё усиливался, превращался в рёв, надвигался, как гроза. Сомнений не оставалось. Враг не собирался нападать на город, огрызающийся сотнями зениток. Самолёты шли сюда, где поблескивающая лента реки обнаруживала чёрную поперечную линию моста и выдавала лежащий за ними огромный дарницкий железнодорожный узел, забитый десятками поездов.

Над городом, как меч из голубой стали, поднялся луч прожектора. За ним второй. Десятки, сотни прожекторов обшаривали мрак и мощными взмахами, как гигантские мётлы, обметали небосвод. Всё ближе гремели зенитки, всё ближе слышался рокот моторов, он наполнял воздух — казалось, режут и небо, и земля. Над лесом, вырвав из тьмы верхушки чёрных сосен, повисла на парашюте ракета. Потом другая, третья. Всё ближе и ближе протяжный, долгий вой — и наконец грохот первой бомбы.

— Бросают!

Затарахтели пулемёты. Повернулись стволы зениток на платформах. Вой раздираемого воздуха. Это уже не бомбы... Словно внезапный вихрь налетел на землю.

— Пикирует!

Бомба грохнулась на пути, взметнула к небу обломки вагонов. Все пытались сбить ракету — кто-то упорно стрелял даже из автомата. Наконец, это удалось. Но вместо неё вспыхивали всё новые. Над Дарницей стало светлей, чем днём. Резкий белый свет залил рельсовые пути, вагоны, обнажил круглые бока цистерн, штабеля ящиков с боеприпасами, лесные опушки.

— Цистерны, оттянуть цистерны! — раздалась чья-то резкая команда. Стефек бросился к вагонам. Его опалило пламенем, ослепило нестерпимым светом, в царящем вокруг безумии трудно было что-либо раз-

глядеть. Он протиснулся между двумя мощными, круглыми валами цистерн, увидел огромный крюк, сверкающие звенья цепей. Где-то поблизости упала бомба — закачалась, поплыла земля под ногами. Это подстегнуло солдат, как кнутом. Слились слова русской и польской команды, пытающейся перекричать адский шум. Под вагонами перебежали солдаты, исполняя приказания командиров. Кто-то взывал о помощи, кто-то с явным польским акцентом ругался по-русски. На вагоны посыпались и с шипением покатались, взрываясь ярким белым пламенем, зажигательные бомбы.

Невдалеке, за путями, всё чаще трещали беспорядочные выстрелы. «Боеприпасы!» — мелькнуло в голове Стефека. Рвались сваленные вдоль полотна ящики с боеприпасами. Они взвивались вверх, как ракеты, рассеивая снопы искр. Всюду стлался розовый дым, он врвался в горло, ел глаза.

Стефек начал отцепку. Он напряг все силы, и вот под его руками соскользнул первый крюк, заскрежетали упавшие цепи. Подскочившие красноармейцы оттолкнули цистерну. Она дрогнула и медленно покати-лась к лесу.

— Снарядов! Давай снарядов! — услышал Стефек крик с платфор-мы, откуда непрерывно гремели зенитки. И в то же мгновение, при свете взрыва, увидел рассыпанные под вагоном тёмные цилиндры. Он нырнул под вагон, за ним кинулись другие — снаряды стали быстро передавать из рук в руки. Воеет вражеский самолёт. Он тут, над самыми вагонами — так близко, что не слышно даже воя бомбы: стремительный, глухой удар в землю — и внезапный взрыв, волна воздуха в лицо, песок во рту, град осколков, решетящих вагоны.

— Снарядов, снарядов сюда! — отчаянно кричит кто-то с платформы. На платформе пламя, она горит, но никто с неё не соскакивает.

Вдруг торжествующие крики:

— Попали, попали!

Над лесом падает метла пламени. Отчётливо виден охваченный огнём корпус самолёта. За ним тащится хвост дыма, чернее неба, не видного над освещённой слепящим светом землёй.

— Снарядов, ещё снарядов! — кричит подпоручик с платформы, и Стефек видит его почерневшее, залитое кровью лицо, шинель в пятнах крови. Подпоручик стоит на коленях. — Снарядов! — кричит он. Ствол зенитки вращается в поисках самолёта, который с секунды на секунду опять появится над их головой. Подпоручик кричит. Кровь заливает его глаза, он то и дело оттирает их рукавом. Теперь он уже не стоит на коленях, а как-то странно присел, перегнувшись набок, и стреляет, стреляет, и хрипло кричит — «снарядов!»

Из дыма и пламени снова с резким визгом возникает самолёт, он пронесется мимо платформы и, воя моторами, взмывает вверх. Прямо перед глазами чёрная свастика на освещённых пожарами крыльях. Сердце подпоручика сжимается от ненависти.

Он уже видел их, он уже сражался против них. Вся его жизнь вела к этому бою в Дарнице.

...Тюрьма, чёрная решётка, перечеркнувшая жизнь. Жестяной лист, ревниво заслоняющий небо. Смрадная камера, в то время как за окнами цветёт весна. Долгие ночи, трудные дни, жизнь, крадущаяся между лапами полиции, на трамвайных станциях и в пригородных поездах. Ночлеги у чужих и всё же таких близких людей, шелест листовки в руках. И снова арест, и топот надзирателей за стеной. Высокий сапог, пинающий в живот, в рёбра; падение с лестницы в карцер, головой на цементный пол. Ох, свободы, свободы! Вздохнуть полной грудью, рас-

править плечи, высоко поднять голову! Но где она — свобода? На улице, на которую тебя, наконец, выпустили, на улице, где отдаются шаги полицейских, где с первой же минуты освобождения ты слышишь за собой шелест крадущихся шагов и как тень ползёт за тобой шпик? Где же свобода?

...Далёкая Испания. Свобода, встающая в урагане боёв на далёкой испанской земле...

Нелегко туда пробраться, но подгоняет жажда свободы. «Я землю покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать»... Чёрные плоскости самолётов, вой бомбы над Мадридом. Разноязычный говор, братья из всех земель и стран, борющиеся против чёрного паука, против свастики.

Вот он опять перед глазами, чёрный крест свастики... Всё перемешалось. Что это взлетает в воздух — дарницкий песок или светлая испанская земля под Мадридом?

...Колючая проволока лагеря во Франции. Мрачной, безжалостной предстаёт перед ними «прекрасная Франция». О, прекрасная Франция! Ведь и за тебя и за твою свободу погибли те, под Мадридом, погиб Юстин Яшунский и Антек Коханек, и все они, из батальона Мицкевича, из бригады Домбровского. За тебя сражался в Испании наш генерал Вальтер, ведущий нас в бой и теперь... Горек твой лагерный хлеб, прекрасная Франция, и лица твоих стражников слишком похожи на лица польских полицейских!

И вот он опять перед глазами — чёрный паук свастики. Взрывы бомб. Дарницкий песок взлетает, как испанская каменистая земля под Мадридом.

Единый путь, которым он, теперешний подпоручик, прошёл свою жизнь с самых юных лет, начиная с тюремной камеры на улице Даниловича, вёл его к этому бою.

— Снарядов! Где же, ко всем чертям, снаряды!..

Надо заплатить долг мести — за Мадрид, за Варшаву, за советские города и сёла!

И надо заплатить ещё другой долг — за двадцатый год, когда белые орлы на польских фуражках возбуждали ненависть и ужас киевлян.

Слышишь, Киев? Это гремят польские орудия, это польский солдат сражается и умирает у твоих стен. Смотри же со своего высокого берега, Киев, как сражается польский солдат — не против тебя, а за тебя! Смотрите, далёкие земли, как в огне и крови осуществляется заветнейшая мечта о братстве, непреклонная воля к дружбе.

— Снарядов!

Весь мир закружился в вихре.

«Кажется, я ранен», — думает подпоручик. Но боли не чувствует. Вот только приподняться трудно. Ничего — можно стрелять и лёжа...

Он протягивает руку — снарядов нет... А самолёт — вот он, совсем рядом. Он ускользнул. Нет снарядов!..

И отчаянным, хриплым голосом, захлёбываясь кровью, он зовёт:

— Коммунисты, ко мне! Снарядов!

Смертельный призыв. Призыв уже не устами — всей силой напряжённой воли. Последний призыв.

Может, все уже погибли? Может, никого уже нет и он один рвётся, пытается приподняться у накалённого орудия? Может, они лежат раненные, не в силах шевельнуться? Нет, нет, кто-то должен ответить на этот зов. Товарищи по тюрьмам, товарищи по испанским походам!..

— Коммунисты, за мной! — нечеловеческим голосом кричит рядовой

Румеля, неграмотный батрак из Люблинской области, никогда в жизни не принадлежавший ни к какой партии. Как безумный, он кидается сквозь пламя — туда, где красные языки уже лижут сваленные в кучу деревянные ящики со снарядами.

— Туда нельзя, сейчас они будут рваться, — кричит кто-то прямо в ухо Стефеку. Но он не слушает. Ящик разбит одним ударом сапога, руки, не чувствуя заноз и острых гвоздей, срывают доски.

— Эй, кто там, помогите тащить! Слышите, чёрт вас возьми, здесь целый ящик снарядов!

— Давай, давай, — наклоняется кто-то рядом. Подбегают ещё несколько красноармейцев.

— Снарядов, снарядов! — хрипит на платформе подпоручик. Доски горят под его ногами, уже тлеет край его мокрой от талого снега шинели.

— Сгорите! — кричит ему кто-то, но подпоручик стреляет, крича как в бреду: «Снарядов!» — хотя снаряды ведь уже есть, есть!..

Следующий ящик — подтащить его через рельсы, через вырванные шпалы, через груды железного лома... Откуда его столько, этого лома? Чёрные силуэты на платформе мечутся в пламени, как черти. И только подпоручик полулежит и стреляет.

И вдруг вся платформа чёрным фонтаном летит в воздух. Ствол орудия в воздухе, летят чёрные клочья...

Тьма.

«Где я, что случилось? — думает Стефек. В спине мучительная, тянущая боль... — Неужели я ещё в госпитале во Львове?»

И страшный взрыв отчаяния. Неужели всё было лишь сном — красное знамя над Ольшинами, учёба в Луцке, война, Красная Армия, капитан Скворцов? Неужели время отступило назад, и снова тридцать девятый год, и всё кругом рушится в прах?

Огромным напряжением воли Стефек вырывается из обморока и видит над собой багровое вздрагивающее небо, мечущихся в дыму и пыли людей.

— Это Дарница! И самолёты пикируют на наши вагоны...

Он осторожно шевелит правой рукой, левой рукой, потом ногами. Руки и ноги целы, ран нигде нет.

— Отчего же боль? Наверно, ударило волной.

Рука нащупывает что-то шершавое и холодное. Снег! В свете пылающего где-то поблизости огня видно, что он грязен, осыпан сажей. Но всё равно — как хорошо, что здесь снег! Горсть снегу в рот, горсть снегу на голову, сейчас станет лучше... Почему ничего не слышно? Ведь кругом люди, и видно, что они что-то кричат. В стороне вспыхивают огоньки — там стреляют, но выстрелов не слышно.

— Оглушило...

Он с трудом становится на четвереньки, потом на колени. По ту сторону пути кто-то бежит, видны только ноги. Стефек встаёт и, шатаясь, как пьяный, опираясь руками о стенки, бредёт вдоль вагонов. Вдруг стало светло, как днём. В воздухе повисла ракета — призрачный фонарь, освещающий бойню. Поваленные вагоны, лафеты вверх колёсами, всё рисуется чёткими, чёрными силуэтами на красно-розовом фоне. Дальше почти белым, высоким пламенем пылает цистерна. Воздух насыщен гарью.

— Дали они нам Пасху! — говорит кто-то, и эти слова вдруг доносятся до Стефека промко и внятно. Завеса молчания разорвана. Теперь он уже слышит всё — выстрелы, скрежет железа, голоса.

— Крой, крой по ракете, а то опять прилетят!

— Всё равно от этого бензина светло, как днём!

Но висящая в воздухе осветительная ракета вдруг гаснет, как заду- тая свечка. Опадает и пламя цистерны. И становится заметно, что уже наступил мутный рассвет. Месяц исчез. Хотя пламя ещё бушует кое- где, но стало видно небо — серое, нечистое, как пятна грязного снега.

— Ну, теперь точка, среди бела дня они не станут летать над Кие- вом, — говорит чей-то голос, и это голос его поручика.

Стефека увидели:

— Плонский! Живой! Откуда ты взялся?

— Отбросило взрывом, — бормочет Стефек. Язык не слушается, губы онемели и собственный голос кажется ему странным.

— Ранен?

— Нет, нет... — говорит он неуверенно, цепляясь за стенки разбитого вагона.

— А ну положите его, ребята!

— Да нет, что вы! — протестует Стефек, но солдаты его втащили на платформу и сразу заторопились:

— Ребята, полотно ремонтировать! Будут пропускать поезда. Мост цел.

У Стефека руки как из ваты. Конечно, на работе от него мало толку. Он лежит и глядит в серое, грязное небо. И вдруг его заливают радость:

«Вот и мы показали себя не хуже, чем те, под Ленино!» — думает он, и ему вспоминается раненый подпоручик, стреляющий в чёрную морду пикирующего бомбардировщика.

В свете встающего дня видно пожарище. Рельсы, вздымающиеся к небу, чёрные остовы сожжённых вагонов, вагон, вставший на дыбы, расколотые в щепки сосны, а дальше какая-то каша из железа, досок, орудий...

«Там был эшелон», — вспоминает Стефек. Но эшелона нет, на его месте груды расщеплённых досок и вывороченных шпал. Зияют огром- ные провалы в земле.

А что это — там, за железнодорожными путями? Кто они, лежащие рядами, плечом к плечу, будто спят?

«Да ведь это наши...» — вдруг осознаёт он. Ряд убитых лежит вдоль изрытого полотна. Товарищи накрыли трупы шинелями.

«Я даже не знаю ещё, кто остался в живых, кто погиб», — думает Стефек, но встать, спросить кого-нибудь, подойти к тем, что вытянулись рядами под шинелями, у него нехватает сил.

«Теперь и мы, теперь и мы показали себя солдатами, как те под Ленино... — упорно возвращается к нему всё та же мысль. И за ней дру- гая: — Какое счастье, что это уже не Голосно, не львовский госпиталь, не те сентябрьские дни, полные чёрного отчаяния, что это — сорок чет- вёртый год, что мы уже на пути возврата, победоносного возврата на родину!»

Странно, что так ужасно хочется спать, а уснуть — никак не уснёшь. Будто в кино, проходят перед глазами обрывки всего пережитого за эту ночь. Начиная с того разговора о Пасхе...

«Вот видишь, Соня, вот меня и не убили», — говорит Стефек себе и ей, той, что ждёт его недалеко за Днестром, через который начнут пропускать поезда тотчас, как будет исправлен путь.

— Плонский! — зовёт поручик. — Немедленно отправляйся в сани- тарный вагон. Раненых забирают в киевский госпиталь.

Стефек вскакивает. Нет, только не это! Опять госпиталь, — а они пойдут дальше, вперёд? Нет, он не останется. Усилим воли он стано- вится на ноги, вытягивается, стараясь не пошатнуться.

— Разрешите доложить, гражданин поручик, я здоров!

Поручик подозрительно оглядывает его:

— Напра-во!

Стефеку удаётся чётко выполнить команду, шёлкнув каблуками. Поручик машет рукой.

— Ну, чёрт с тобой, оставайся.

Снег чёрен от сажи, рыж от крови. Вся станция — одно огромное пожарище. Люди с топорами и лопатами направляются к полотну.

— Надо успеть до вечера.

Но ослабевшие руки Стефека напрасно стараются удержать лопату. Лучше уж не попадаться никому на глаза в таком состоянии. А то поручик ещё передумает и отправит в Киев.

У разбитой платформы два солдата чистят винтовки.

— Ну и справили нам Пасху...

— А всё-таки и наши семь «юнкерсов» сбили!

— Жаль подпоручика.

— Говорят, его уже в воздух подняло, а он всё стреляет и самолёт ещё один сбил.

— Глупости! Как ты будешь стрелять в воздухе!

— Не я говорю, я не видел, все рассказывают.

— Чего вы тут копаетесь? — раздаётся суровый голос командира роты. — Вам что, ещё одну ночь здесь почевать охота?

— Винтовки чистим, гражданин поручик!

— Почистите потом, в вагонах. А сейчас за лопаты — и марш!

К вечеру колёса вагонов застучали по мосту. Поезд шёл медленно, будто полз, неуверенно нащупывая дорогу. Внизу Днепр. На льду какие-то чёрные лохмотья. Запах гари в воздухе.

Стефек сидел в открытых дверях теплушки. Нет, не страшен даже этот запах гари. Это не тот страшный, удушающий запах сентябрьских дней, когда горели беззащитные города и деревни. Это — запах боя.

Часовые на мосту. Вот седой коренастый красноармеец машет им рукой.

— Молодцы поляки! — кричит он неожиданно молодым, звучным голосом.

Стефек прикрывает глаза. Голова ещё кружится, в ушах то и дело начинается шуметь и трещать.

— Молодцы поляки!

Так кричали тем, из Первой дивизии, под Ленино. И как Стефек им завидовал... А вот теперь советские солдаты, которые видели и Сталинград, и Севастополь, и сотни боёв, каких не знал до сих пор мир, кричат Стефеку, его товарищам: «Молодцы поляки!».

Он вспомнил радиотехника, киевлянина, который когда-то на аэродроме рассказывал ему про гражданскую войну:

— Семнадцать раз сменялась тогда в Киеве власть. Выходишь утром на улицу и только осматриваешься — кто в городе? За ночь власть перемениться могла. Я ещё маленький был, и то помню. Белые, потом наши, опять белые, потом банды, ну — без конца. И каждый раз аресты, расстрелы. И только — раньше я бы тебе этого не сказал, я теперь можно, — только хуже всех были поляки. Офицеры Пилсудского... Как наскочили они на город, так на другой день ни одного фонаря на улицах не было, чтоб на нём человек не висел... Всех, кто им только в руки попадался, — женщин, подростков, всех вешали, всех расстреливали...

Да, да, это было в том самом Киеве, через который, не останавливаясь, шёл теперь на запад их эшелон. И было это двадцать четыре года тому назад.

А теперь седой уже советский солдат — он-то наверно помнит те дни — махал рукой солдатам с белыми орлами на шапке и дружелюбно кричал им:

— Молодцы поляки...

И это счастье. Высокое, несказанное счастье.

— Смотри-ка, девушки у пулемётов! — заметил кто-то.

— Где, где?

— Вон, гляди, блондиночка! Ох, и какая блондиночка...

В выступах моста, окружённые ящиками с песком, бочками с водой, виднелись счетверённые пулемёты. Из-под зимних солдатских шапок на проходящие вагоны глядели девичьи лица.

— Это они дежурят на мосту.

— И во время налётов стоят?

— Ну а как же!

Они примолкли. После пережитой ночи они знали, что означает такое дежурство. Там, в Дарнице, была хоть земля под ногами, можно было отбежать в сторону от путей, укрыться. А здесь? Здесь человек одинок между небом и землёй — нет, даже не землёй, а между небом и водной глубиной. И в эту ночь, когда за несколько сот метров отсюда градом сыпались бомбы, когда ракеты освещали ночь зловещим мертвенным светом, они стояли здесь, эти девушки в меховых шапках.

Нет, как ни хотелось посмеяться с девушками, шуточные слова замирали на устах. Весёлые, круглые личики с любопытством смотрели на них голубыми, серыми, карими глазами, и, быть может, девушки сами не прочь были перекинуться шуткой, — но ведь они этой ночью стояли на мосту!.. Одинокие, в сплошной тьме, между враждебным небом и беспощадной водой.

И вот теперь: поезд с поляками идёт на запад, уходит от пережитой опасности. А на этот мост, единственный мост на Днестре, единственный путь для войск двух фронтов, вновь и вновь будут налетать бомбардировщики. И вновь, и вновь будут стоять на мосту голубоглазые, сероглазые, кареглазые девушки, изо дня в день и из ночи в ночь лицом к лицу со смертью.

Мост кончается. Поезд, который до сих пор еле полз, ускоряет ход. Справа и слева глинистые холмы, домики предместья.

— Наверно, постоим немного в Киеве?

— Не беспокойся, тут нас живо протолкнут, чтоб не забивать станцию.

— А хотелось бы посмотреть Киев...

— В другой раз увидишь.

Вдруг какая-то мелодия пробивается сквозь грохот колёс. У самого полотна, внизу, под насыпью, проходит улица, по ней марширует советская часть. Солдаты поют. Сквозь шум в ушах, сквозь грохот поезда Стефек улавливает слова:

Украина, моя Украина,
Золотая земля ты моя...

Заполняется пропасть, заживает вековая рана.

«И уже никогда, никогда!» — в полусне думает Стефек, под всё убыстряющийся говор колёс, под поскрипывание теллушек. В полусне возникают перед глазами лица. Инженер Карвовский, осадник Хожиняк.

«Никогда это не повторится, никогда!»

В теллушке кто-то запекает, остальные подхватывают:

Вперёд, вперёд, первый корпус наш,
Салют на восток — на запад марш!

Обе песни сливаются, звучат согласным хором.

«Да, теперь и в Ольшинах можно будет чувствовать себя иначе», — думает Стефек в полусне. Без мучительного чувства вины, которое, вопреки всем доводам разума, всегда терзало его. Без необходимости убеждать себя: «Я тоже поляк, но совсем другой поляк». Без краски в лице, когда, бывало, ему передадут, что староста сказал: «Ну да, Плонский тоже поляк, а всё-таки хороший парень». Теперь можно будет смело смотреть в глаза всякому, не опасаясь, что даже под симпатией, под дружескими словами людей, знающих его с малых лет, таится неосознанное подозрение: «А чёрт тебя знает! Может, и из тебя вдруг польский барин вылезет! Парень ты хороший, но...»

Сколько лет приходилось нести ответственность за чужие вины, которые, хочешь не хочешь, становились и твоей виной! Сколько лет приходилось отвечать за чужие грехи и стыдиться, кровавым стыдом стыдиться за то, чего сам не делал, против чего восставал всем сердцем!

Но теперь этого не будет. Теперь здесь останется память о тех поляках, что сражались под Киевом с неприятельскими самолётами. О поляках, что дрались не против этой земли, а в защиту её, что проливали свою и вражескую кровь, а не кровь сынов Украины.

Грохочет поезд. На запад, на запад! Там, на западе, Ольшины, а за Ольшинами ждущая освобождения Польша, которая станет новой, прекрасной страной, Польша, которую можно будет любить без боли — радостной, счастливой любовью.

— Молодцы -поляки! — кричит советский солдат и машет им рукой.

«Как я люблю тебя, как я люблю тебя», — думает уже во сне Стефек, и его сердце утихает, смолкает шум в его ушах. Всё вокруг становится золотым и прозрачным.

«Вот это и есть счастье», — говорит ему тихий голос во сне.

Глава 15

Ольшины, Ольшины...

Дорога взбирается на горку, на пологий холм, весь в растрёпанных, зелёных кустах. Бересклет переплетается ветвями с ольшанником, калиной, и всё густо обвито хмелем, связано узлами его крепких, упрямых стеблей, перебрасывающих мосты с куста на куст.

Вот как раз то место, где убежал когда-то скованный Иван Пискор от полицейского Людзика. Теперь стоит только поднять глаза — и...

Озеро. Горло сжимается от волнения. Здравствуй, озеро моего детства, моей молодости! Широкий простор, кремнистый берег, орошаемый сверкающими на солнце брызгами! Здравствуй, неумолчный плеск мелких волн, родной моему сердцу!

Озеро раскинулось на солнце. Голубое и серебряное, с золотыми блёстками, оно спит глаза.

Осторожный взгляд — туда, ещё дальше... Нет, лучше не смотреть! Кто знает, что увидишь? Уж лучше итти вот так, не заглядывая вперёд, по знакомой дороге. Она тоже изменилась — по ней прошли на запад танки, орудия, тысячи ног в солдатских сапогах. И всё-таки это та самая дорога...

Как чудесно сложилось, что путь пролегает как раз здесь или почти здесь, что полк расположился на отдых неподалёку отсюда — всего в четырёх километрах.

— У тебя там есть кто-нибудь? — спросил поручик и усмехнулся.

«Да», — хотел сказать Стефек, но внезапный страх перехватил ему горло. Вспомнился старый предрассудок: «не сглазить!» В Ольшинах люди не говорили уверенно ни о чём: «Если доживём, начнём завтра косить над рекой», «если приведёт бог дожждаться, пойдём завтра за хворостом», — чтобы не бросать вызов судьбе.

Соня, конечно, ждёт его здесь, в нескольких километрах. Через час он её увидит. Но вместо того, чтобы сказать «да», Стефек тихо отвечает поручику:

— Не знаю. Была девушка.

Шутливая улыбка мгновенно гаснет на лице поручика. Да, да, кто сейчас на этом пути возврата может с уверенностью сказать, что у него есть кто-то близкий в местах, где хозяйничал враг?

— Четыре километра... Где же это? — поручик внимательно смотрел на карту.

— Вот здесь. Над озером.

— Ага, здесь. Ну, ладно, иди — там стоят советские танки. А может, возьмёшь кого для компании? Веселее будет.

Нет, что бы он там ни застал, ему хочется прийти одному, без свидетелей.

«Чего я боюсь, чего я боюсь?» — думает Стефек. Нет, это даже не страх. Но зачем посторонним глазам видеть его встречу с Соней? Это должно быть между двумя. Нестерпимо было бы идти с безразличным человеком, слушать его замечания, вести пустой разговор, когда уже сейчас молотом стучит в груди и слова с трудом срываются с пересохших губ. Он покачал головой:

— Нет, нет, не надо... Это совсем рядом!

Поручик снова вспоминает, что там стоят танки, и машет рукой:

— Можешь идти!

Дело не в расстоянии. Эта земля всё ещё дымит от крови. В кудрявых ольховых рощах, в излучинах речушек, в перелесках, звенящих птичьими голосами, — всюду таится опасность. Она подстерегает одинокого солдата, небольшую группу неосмотрительных людей, какого-нибудь гуляку, легкомысленно бродящего здесь, где в одиночку бродить нельзя.

Но Стефек идёт спокойно. И не потому, что в деревне свои, не потому, что в Ольшинах стоят советские танки и он встречает на пути советских солдат. Нет — потому, что здесь его деревня, здесь каждый кустик, каждый камень, каждая тропинка близки ему, как собственное сердце. Не может же быть, чтобы теперь, пройдя весь военный путь, добравшись сюда, он наткнулся бы на смертельную опасность — именно здесь, где он дома!

Он знает, что на этих землях бывало всякое, когда армия отступала, — бывает всякое и теперь, когда она идёт вперёд. Но Стефек здесь вырос. Он знал здешних людей и оценивал происходящее здесь иначе, чем люди, которые просто негодовали на местных жителей, не понимая всей сложности обстановки.

Да, это случалось в тяжкие июльские дни отступления — выстрел из зарослей, брошенная из-под мостков граната. Но он запомнил, сохранил в сердце другое: пыльная, нагретая солнцем дорога. Во рву, рядом с остатками автомобиля, валяется полусожжённый труп. По дороге бредут под палящими лучами солнца утомлённые советские солдаты. А вдоль дороги стоят с ведрами бабы, старые деревенские женщины. Слёзы струятся по их морщинистым, коричневым от загара лицам. В ведрах молоко. Они черпают его кружками, подают проходящим:

— Пей, сынок!

До деревни далеко. Три-четыре километра шли эти женщины, таща тяжёлые вёдра, шли под вой вражеских самолётов, под косящими сверху пулями, шли, чтобы утолить жажду солдат, сказать уходящему советскому солдату: «сын»...

Не победоносную армию встречали они в тот раз, — нет, слезами, материнской лаской провожали уходящие, разбитые в первых, неожиданных столкновениях ряды. Где теперь эти женщины, которые плакали тогда горькими слезами разлуки? Не все же погибли. Они остались здесь, пережили тяжкие годы и теперь со слезами радости встречали возвращающихся, снова обращались к знакомым солдатам с тёплым, нежным, материнским словом: «сын»...

Вот другая деревня. У дороги стоял тогда высокий, худой крестьянин. Он мрачно смотрел на колонну, понимая, что это отступление. Не глядя он крутил из клочка газеты цыгарку, не глядя зажгёт спичку.

— Немцы далеко?

— Близо. Вот-вот покажутся, — хриплым, усталым голосом ответил солдат.

Всё ещё с незакурённой цыгаркой в зубах крестьянин не спеша поднёс спичку к соломенной кровле своей хаты. Голубоватый дымок, сворачиваясь в клубы, пополз по соломе. Когда Стефек спустя мгновение обернулся, он увидел, что на крыше бушует яркое пламя. А крестьянин шёл с солдатами на восток. Он и не оглянулся на свою горящую избу, не взял с собой ни узелка, ни котомки. Он шёл с пустыми руками, будто из избы в коровник. Раз должны прийти «те» — ему не нужна была хата, он не хотел, чтобы её почерневшая кровля, чтобы стены дома, где он жил, дали приют врагам. Без куртки, в одной посконной рубахе, с пустыми руками ушёл он из этой избы, в которой прожил всю жизнь, словно с приходом врага заканчивалась для него прежняя жизнь и начиналась новая — там, на востоке, куда отступала армия.

Вот о таких вещах и помнил Стефек. О людях, которые были ему своими, понятными. И он знал, что это была сущность, что это был подлинный облик этой земли. Он знал здесь каждый камень, каждый куст — и каждого человека.

Вот и поворот к Ольшинам. А дальше идёт дорога к переправе, где был раньше паром, на котором ездили во Влуки. Паленчицы, Влуки, Синицы — названия, сросшиеся со всей жизнью, навсегда запечатлевшиеся в памяти тысячами событий, радостей и огорчений.

«Вот я опять здесь. Опять пришёл», — думалось Стефеку. Он пришёл во второй раз. Тогда, в тридцать девятом году, он тоже добирался сюда из госпиталя и издала увидел деревню. Но тогда он был солдатом разбитой, разгромленной польской армии, одиноким солдатом, тащившимся домой с болью поражения в сердце. Теперь новая польская армия шла в ореоле побед, в которых и он — да, и он — принимал участие. И всё же именно теперь, вместо счастья, вместо радости, которую он столько раз испытывал на этом долгом пути, сердце его охватила тревога. Тревога до того мучительная, что перехватывала дыхание. Сердце билось рывками и вдруг будто совсем останавливалось, трепетало замирающей болезненной дрожью.

— Почему я так волнуюсь? Ведь я, наконец, здесь. Сейчас увижу Сою. Ведь не могло случиться ничего дурного. Этой мысли и допускать до себя не надо. В худшем случае окажется, что она ещё не вернулась. Но если даже и так, то в Ольшинах, верно, уже знают, где она. Зачем же волноваться? Ещё четверть часа, ещё полчаса — и всё будет известно. Может, она стоит перед домом и глядит на дорогу, заслоняя от солнца глаза рукой.

Он спохватился, что почти бежит, и приостановился, переводя дыхание. Надо заставить себя успокоиться. Ведь он был за тысячу километров — теперь осталось два. Смешно бежать бегом. «Иди ровным солдатским шагом», — приказал он себе.

Но ноги не слушались, он невольно снова ускорял и ускорял шаг, едва приостанавливаясь, чтобы отереть пот с лица.

Ноздри Стефека уже почувствовали знакомый, единственный в мире запах. Он помнил, он носил в себе этот запах, непохожий ни на какой иной. Пахло татарником и мятой, нагретыми солнцем... Целых три года пришлось с оружием в руках пробиваться к этим Ольшинам! Трудно представить себе, какое это долгое время...

Но ещё труднее представить себе, как жили здесь три года близкие ему люди. Вставало утро, наступал вечер, и люди варили пищу, ложились спать, ходили по дорогам — и в это время здесь был враг... Стефек видел сам звериный облик фашистской войны, сожжённые дома, замученных женщин и детей. Но непонятно было, как одновременно с этим существовала какая-то повседневная жизнь. Она не могла не существовать, иначе здесь не осталось бы ни одного живого человека. Но как же могли люди спать, есть, работать в то время, когда здесь хозяйничал враг? Человек был здесь обречён не только на ужасную смерть, но на ещё более ужасную жизнь, на ежедневное выполнение самых обыденных, самых прозаических жизненных действий, несмотря на всё и вопреки всему.

Разумеется, этого не могло не быть. Но представить себе это было невозможно. Дрожь пробежала по его спине при мысли, что и он мог не выбраться отсюда, пережить эти три года здесь. Пережить?.. Но есть ведь люди, что пережили — чем же ты лучше других? Если они могли выдержать, должен бы был выдержать и ты.

Здесь, на месте, можно было представить себя только в лесу, в партизанском отряде, борющимся, преследуемым и преследующим. Но ведь и это было не всем доступно. Куда было итти матерям с детьми, калекам, больным? Да и не всюду были леса, не всюду были болота, служащие защитой. Но зато всюду были сверлящие глаза врага, железный кулак врага, насилие и смерть. И были, конечно, люди, которые не отходили от своих домов, не могли их покинуть, жившие изо дня в день под страхом штыка и пули, под страхом пыток. Для таких людей даже скитание по лесам, даже смерть в стычке с врагом были недоступным, недостижимым счастьем.

Он стиснул зубы. Потому что ведь здесь была и Соня. И Соне не удалось уйти. Она была здесь, на этой земле, закованной в цепи пыток и смерти, попранной ногами кичливых захватчиков, поруганной чудовищными преступниками. Можно ли себе представить, что и Соня...

Только не смотреть на деревню!.. Лучше уж` взглянуть на берег озера — там должен быть клуб. Наверно, потемнел за эти годы, а какой был новенький, красивый... Он ведь тоже тесал для него брёвна, а потом танцевал с Соней на его открытии в тёплый, радостный летний вечер.

Но что это? Не мог же он ошибиться... Глаза ещё и ещё раз всматриваются в поблескивающий кремешками мокрый берег. Никаких следов от того, что там стояло здание, что над его входом пылала красная звезда, что белые, золотистые, пахнущие свежим деревом стены гудели от возгласов, танцев, музыки.

Сжимается сердце. Что же ещё придётся увидеть? Есть ли вообще деревня?

Правда, поручик сказал, что в Ольшинах стоят советские танки... Но ведь есть деревни, от которых не осталось ничего, кроме названия. Де-

ревня Козары, — виденная ещё на той стороне Днепра, когда его послали из-за Киева в Сумы, и через которую он проходил с отрядом, — там не было ни одной избы. Купы стоящих в белом цвету вишен и среди каждой купы — грубо вытесанный, наскоро сколоченный крест... Они неожиданно появились перед их глазами в радостный, весенний, голубой с золотом день, эти цветущие вишни, растущие прямоугольниками, словно окружая что-то, чего нет. Таблица на дороге коротко и ясно гласила: «Деревня Козары».

На дороге они встретили сгорбленную женщину. В руках она несла бидон — верно, с молоком. Уступая дорогу солдатам, она сошла на обочину, под буйно цветущие вишнёвые ветви.

— Эй, матушка, где же избы?

— Да ты что, сынок, войны не видал, что ли?

Внимательные, умные крестьянские глаза смотрят на этих странно одетых солдат.

— Почему всюду кресты?

— В избах их сожгли, в избах. И хоронить нечего было, так мы уж так, — где был дом, там и крест ставили, вроде на могиле.

Поникнув головами, мрачно, медленно проходили солдаты через деревню Козары. В чаще белых ветвей беззаботно, радостно, звонко пели птицы над могилами, которых нет.

Сколько таких деревень! Сколько их пришлось увидеть, идя по шедрой, зелёной, плодородной Украине — деревень, стёртых с лица земли, выжженных, разрушенных, без единого живого человека...

Сколько городков пришлось пройти, где не было ничего, кроме развалин. Трава уже выросла в расщелинах повалившихся стен, бурьян пополз по выветрившемуся карнизу. За городами и городками были яры, овраги, заваленные рыжей глиной, хранящие в себе сотни и тысячи убитых, брошенных в общую яму мёртвыми и живыми. Словно ужасающий ураган пронёсся над этой землёй, доброй, милостивой, доброжелательной к человеку.

Нет, лучше об этом не думать. Лучше думать о том, что через несколько минут он увидит Соню. Какова она теперь, Соня, после этих трёх лет? Изменилась? Нет, всё могло измениться, только не она. Они встретятся, будто расстались вчера. А уж потом будет время рассказать друг другу историю этих трёх лет, прожитых в разлуке.

Сердце замерло на мгновение и снова стремительно заколотилось.

Что пережила Соня, что она видела в эти три года? Как она их пережила?

И вдруг его пронизало холодом так, что, несмотря на тёплый, солнечный день, концы пальцев ооченели. Почему так нереально, так как-то странно думается о Соне? Он упорно повторяет себе: «Через четверть часа, через несколько минут я увижу Соню». И боится, что говорит неправду.

«Как тут зелено!» — вдруг удивляется Стефек знакомому виду. Будто он успел забыть и теперь сызнава находит эту буйную, сочную зелень, черпающую соки из подземных вод, из туманов, встающих над озером, из реки, из частой сети ручьёв, журчащих повсюду светлыми струями. И вместе с тем — всё по-старому, всё знакомо, словно он никогда не уходил отсюда... Разве только ольхи выросли немного, да гуще кудрявятся ивы.

И вдруг — словно удар в сердце.

Закопчённые, обожжённые брёвна. Из зелени, словно одинокий столб, торчит труба, остатки разрушенной печи. — «Чей это дом?» — лихорадочно вспоминает Стефек. Но не один дом такой. За первым пе-

пелищем виднеется второе, третье. Неужели Ольшин нет? Неужели и здесь его ожидают Козары?

Но вот глаза, бегущие по развалинам, останавливаются: дом! Рядом другой. Ещё и ещё. Нет, деревня есть, деревня всё же есть. Лишь несколько домов сгорело. Но маленькая, тихая, какая невероятно тихая эта деревня! Когда смотришь на неё так, с пригорка, кажется, будто там внизу всё дремлет, погружённое в заколдованный сон. «Не может быть, чтобы и раньше здесь было так», — удивляется Стефек. Но, должно быть, именно так и было. Это в его ушах теперь грохочет городской шум, гром орудий — бурные, стремительные годы, в которых не было места тишине. А здесь лежит деревня, окаймлённая зеленью, в чаще кустов и деревьев, тихая, маленькая — убогие, нищие Ольшины.

И вдруг он чувствует, будто потерял что-то, будто его постигло разочарование. Хотя он же помнит — так здесь было всегда. «Чего же я хочу?» — рассердился он на себя.

И всё же чувство разочарования осталось. Это была обыкновенная деревня. Куда-то исчезло лучистое сияние, которое озаряло её в памяти. Обыкновенная деревня.

Только именно в ней, а не в какой другой, живёт Соня. Именно в этой деревне его ожидает Соня.

— Во имя отца и сына... Панич Стефек?

Паручиха! Разумеется, это Паручиха. Исхудалая, постаревшая, но всё та же. И так же растрёпана, и так же шмыгает носом.

— О, господи, иду за хворостом в ольшанник, гляжу, кто это такой? Мундир вроде не наш...

— Это польский мундир.

— Вот, вот! То-то у нас рассказывали, что в Лисках поляки стоят... Смотрю, кто такой, вроде знакомый... Выросли вы, что ли? Хотя, ну, точь -в-точь такой, какой был! Только будто покрепче стали, что ли... Вот привёл бог увидеть, не думала не гадала! И — в Ольшины вернулись?

— Ненадолго... Отпросился из части, посмотреть...

— И на что тут смотреть, боже милостивый!.. Нигде никого нет, одни бабы остались.

— Как, одни бабы?

— Да известно... Кого немцы убили, кто в партизанах пропал. А кто остался — те все до одного в армию пошли, когда немцев прогнали. Так что одни бабы...

Вопрос так и вертелся на языке, но что-то не давало спросить. Переждать, переждать ещё немножко, оттянуть мгновение, радостное или страшное... Ведь он уже тут, на месте, всё равно сейчас узнает.

— А у вас что слышно? Как ребятишки?

— У меня-то? Боже милостивый! Что у меня может быть слышно? Двое младших померло... Ноги, руки у них так опухли, прямо как у утопленников. И померли оба прошлой весной, — как раз, когда в Паленчицах горело...

Паручиха рассказывала медленно, тягуче, словно думая о другом, и искоса поглядывая на Стефека.

— Ну, а как Пилюк Павел?

— Павел? Павла немцы повесили... Когда же это? Ага, ещё в сорок втором... На липе у церкви повесили. А Иванчук был в партизанах и, когда наши пришли, ушёл в армию. И Хмелянчука повесили.

— Хмелянчука? — как-то механически удивился Стефек. — Хмелянчука-то за что?

— А бог их знает! Разве они скажут? Листовки, говорят, у него в доме нашли.

— У Хмелянчука? Листовки?

— Да разве я знаю? Так рассказывали. Может, и неправда. Другие-то говорили, что не листовки, а золото у него нашли. Давно уже слухи были, что у него золото водится... А в точности никто не знает, за что его повесили. Потому, Хмелянчук пришёл сейчас, как немцы пришли... Или нет, что я говорю! К весне он пришёл. Пришёл, а тут как-то вскоре и немцы приехали. И сейчас тех повесили и Хмелянчука с ними, всех вместе.

— А ещё кого?

— Ещё кого? Ну, Павла... И Осипа хромого — может, знали его? На том краю... И старого Кальчука.

— Кальчука?

Паручиха расплакалась.

— И его, и его... Так, бедняга, и погиб вместе со своей Соней...

Земля закачалась под ногами Стефека. Зелёные заросли по сторонам дороги вздымались и опадали, как дым.

Паручиха шумно высморкалась в угол платка.

— И чем перед ними провинились наши Ольшины, господь их знает! Клуб сожгли. Тот конец деревни, что к реке, весь дочиста сожгли, сколько народу пропало, спаси бог... А потом ещё бандеровцы пришли реквизицию делать, а какая тут реквизиция? Сами с голоду умираем! Так они давай людей бить на площади! Так били, кровь ручьями лилась... Партизанам, говорят, помогаете... Да кто им помогал? А опять, как же и не помочь? Придёт бедняга в мороз, в метель, как ты ему не дашь ночлега или не накормишь? Свои ведь! Хуже всего им зимой приходилось. Бывало, зайдут в избы, выставят караулы и так побудут в избах, отогреются — и опять по своим делам. Которые из Ольшин с Иванчуком ушли, которые из других деревень, и красноармейцы с ними были. Их тут много от немцев из плена бежало. Те тоже с Иванчуком орудовали. Как же не помочь? Но чтобы так уж очень помогали, не скажешь. Деревня бедная, сами знаете, а тут ещё война. Нечем и помочь-то было. Да ещё со всех сторон напасти! То бандеровцы налетят, а уж эти — хуже немцев, последнюю корку хлеба у ребёнка изо рта вырвут, и пикнуть не смей! Что им, убить человека или хоть бабу! Уж так натерпелись, так натерпелись... Да что тут говорить — небось, сами знаете, может, ещё лучше чем я, тёмная баба...

Они прошли заросль, дорога пошла деревней.

— А теперь вы к кому же зайдёте? — спросила Паручиха, отирая глаза.

Он бессмысленно блуждал глазами по улице, по брёвнам изб.

— К кому зайду?

Куда тут итти, куда итти? Уже с сорок второго года нет Сони. С той весны под Валуйками, с той зелёной, радостной весны... Когда же это случилось? — мучительно старался он вспомнить. А говорят, что есть предчувствия... Какие же предчувствия, если он не почувствовал ничего, если его не пронизал ужасом и отчаянием страшный миг, когда петля сжималась на Сониной шее? Он не почувствовал ничего и жил, жил, будто ничего не случилось. Два года — сколько раз он думал о ней за это время, не чувствуя, что её уже нет на всей необъятной земле... Вдруг Стефек остановился как вкопанный. Ведь ему снилось тогда, на аэродроме под Валуйками, что Соня уходит в какую-то тревожную, мерцающую даль...

— Я почему спрашиваю? Ведь что ж так на дороге стоять! — неуве-

ренно уговаривала его Паручиха. — Я бы к себе позвала, да у меня изба сгорела, перекинулся огонь, когда с того конца поджигали... Так уж, может, к старосте бы, что ли? Потому, сама-то я с детишками в хлеву приютилась, так вроде неловко... А ведь вы с дороги...

— А староста разве здесь?

— Здесь, здесь, как же... Одно время в лесу прятался, а теперь здесь. В армию-то его не взяли — стар, говорят, куда ему воевать!.. Так он уж здесь остался. Деревню, говорят, отстраивать будут — ну, он тут вроде этим занимается... Да куда там, ведь ещё недели нет, как во Влуках бой был...

— То есть как это, недели нет? — удивился Стефек.

— Так вы не знаете?

— Ничего не знаю, ведь немцев уж давно нет?

— Давно-то давно, — нерешительно заговорила Паручиха. — Да ведь не о немцах речь.

— О ком же?

— Да ведь они оставили здесь этих своих... бандеровцев. Вот с этими бандеровцами и дрались во Влуках. Во вторник, что ли? Во вторник и есть... Они-то думали, что во Влуках нет армии, вот и пришли они эти реквизиции делать. А там как раз красные стояли — да как дадут им! Говорят, всю банду разгромили. Да, верно, остались ещё другие, по лесам бродят... Так что войны вроде и нет, а всё же будто и есть. Неохота и браться ни за что, — кто его знает, что ещё будет? Уж так натерпелись, ни во что и не верится... Что ж, я, конечно, дура-баба, ничего не знаю. А знать-то хотелось бы. Наверняка бы знать, что всё уж кончилось, что опять будет попрежнему.

— Скоро наведут порядок, — глухо ответил Стефек.

— Может, и скоро, — согласилась Паручиха. — Ещё бы! Силища такая, дорога гудела, когда проходили. Так вы думаете, что фашиста совсем прогнали? А то он ещё летал дня три назад... Правда, отогнали его...

— Вот видите, отогнали. Нет, больше они сюда не придут.

Скрипнула дверь.

— О, вот как раз и староста. Должно быть, увидел вас на улице... Кум, кум, смотри, какого гостя веду, встречай! А я уж побегу. Я ведь было за хворостом пошла, да вот панича Стефека встретила, так обо всём и позабыла... Уж позволь, кум, я тут щепочки подберу, что возле хлева валяются, а то ребятишки есть захотят, а сварить-то не на чем.

— Да бери... Тебе только бы выпросить что-нибудь... — проворчал староста и быстро обернулся к Стефеку. Стефек обнял его и увидел вблизи знакомые серые глаза, окружённые сетью морщин, и всклокоченные волосы, теперь совсем седые. Почувствовал в своих объятиях невероятно худое тело и удивился, до чего состарили эти годы старости, который и до войны уже был стариком.

— Заходи в избу, — бормотал тот растроганно. — Заходи. Хотя, что там есть? Вон, на лавку садись, там тебе будет лучше. Не белено у меня. Да что ж, — когда бабы нет, так оно уж всегда так... нескладно.

Они долго молчали. Стефек смотрел в мутное оконце, на котором лениво жужжали большие чёрные мухи. Ощипанная фуксия, на ней висело всего несколько жалких сине-розовых цветочков, но и они заслоняли вид на дорогу. Староста медленно крутил из старой газеты цыгарку.

— А я уж и не думал, что ты жив... В польском войске, значит... Слышали, слышали мы про него. А во Влуках бандеровцы всех до одного поляков вырезали. Ребёнок не ребёнок, женщина не женщина —

всех! У меня одна почти полгода пряталась в избе, пока наши не пришли. С маленьким ребёнком. А мужа её, она рассказывала, живым в огонь бросили. И мне они задали, ох, и задали! Давай, говорят, реквизицию. А откуда я им возьму, когда в деревне голод? Сперва немецкие фашисты ограбили, а потом и эти явились. Думал, повесят — нет, не повесили, только палками избили так, что я еле ползком добрался. Больше уж сюда не приходили — говорят, Иванчук ихний отряд разбил. А в прошлый вторник, глядь, во Влуках появились. Да там их, говорят, армия истребила.

Староста умолк и, сложив на столе свои узловатые руки, внимательно рассматривал их.

Молчал и Стефек. Мухи в старостиной избе, сколоченный из досок стол, всё такой же чёрный как прежде, огромная печь, выпятившаяся до половины избы... Ничто не изменилось, ничто — только поседела, словно присыпанная серым пеплом, голова старосты, его неприглаженные, попрежнему торчащие во все стороны волосы. Если ни о чём не думать, может показаться, что всё здесь по-старому. Пусть хоть на минуту покажется, что не было ни войны, ни гитлеровцев в Ольшинах. Над озером попрежнему стоит клуб, и вот-вот сюда может зайти Гончар, который погиб в самом начале войны, ещё в июне...

Нет, и на минуту не обманешь себя — каждое воспоминание тотчас наталкивается на действительность, на эти прошедшие три года, на всё, что произошло здесь, в Ольшинах, — потому что нет уже, нет Сони.

Нужно спросить о ней. Ведь староста знает, должно быть, лучше, чем Паручиха. Как же спросить?

И тут же Стефек слышит собственный, но совсем чужой голос:

— А... ваша жена?

Оттянуть ещё немного время... Не сейчас, не сейчас...

— Моя-то? Померла. Один теперь остался в избе, как барсук. Сейчас хоть работы много, всё заново начинать приходится, так думать времени нет. А всё же тяжело мужику без бабы. Вот цветочки, и те без хозяйки пропадают, хоть я и полью каждый день и на окне стоят, как раньше. Известно, без хозяйки дом сирота... Соседка забегает прибрать, постирать, да куда там! Соседское хозяйство — не своё...

Он говорил медленно, как будто равнодушно и думая о другом. Наконец замолк и откашлялся. Стефек взглянул на него. Но тот снова крутил цыгарку и лишь мгновение спустя спросил:

— Так ты, значит, ничего о нас не слышал с тех самых пор?

— Нет, откуда же?

— Верно, верно... Уж скорее от вас что-нибудь доходило, да и то редко. Знали только, где армия дерётся, вот и всё... Так я уж тебе всё с самого начала...

— Лучше всего так, с самого начала.

Староста откашлялся. Махорка высыпалась из разорвавшегося клочка старой газеты, и он сызнова стал крутить цыгарку.

— Только ты ведь с дороги, может, хоть квасу напьёшься? Молока-то нет, а квас соседка поставила. Да куда там! Не то, что, бывало, покойница...

— Ничего не надо. Я недавно ел. Ведь мы всего в четырёх километрах отсюда стоим...

— Знаю, в Лисках. Значит, сразу, как наши ушли... Потому, когда это началось — война, значит, — сперва никто и не верил. Во Влуках, там, в Паленчицах ходили слухи. Но мы рассуждали, что мало ли, мол, что люди болтают, язык без костей. А оказалось — правда! Смотрим — нет наших! Говорят, уже в Луцке дерутся, уже в Ровно. А у нас тихо —

известно, глушь, всё стороной прошло. Мы уж надеялись, что всё это только так и вот-вот наши вернутся, и мы этого антихриста и не увидим, обойдётся, как в тридцать девятом году... Да куда! Вдруг как навалились, как навалились фашисты, и сразу айда по избам шарить... Бабы — в слёзы. Да разве у него выплачешь чего?.. Всё дочиста ограбили, коров взяли, свиней взяли. Давай допрашивать, кто был в сельсовете... Никто не сказал. Народ у нас не то чтобы очень хороший, а когда беда пришла, оказалось, и не такой уж плохой. Били, били, ни из кого ничего не выбили. Ну вот, застрелили одного перед клубом, клуб сожгли. Помещик, говорят, из Германии приедет, так чтобы этих участков, что людям роздали, — ни-ни, пальцем чтоб не тронули. И коммунистов чтоб ловили и в город доставляли. Ну, Пётр Иванчук и другие, что с ним, тоже не дураки, не стали дожидаться, сразу ушли в леса, в болота. Ну вот. После этой реквизиции осталась деревня голодная, разутая, раздетая, пришла зима — не дай бог! Мороз такой, что деревья трещат, а тут и затопить нечем, в рот положить нечего. Лес есть, а что с того лесу? Строго-настрога запрещали хоть щепочку из лесу брать. А потом — как ты её возьмёшь? Коней нет — у кого и были, так ещё с осени забрали... И снегу навалило. Не то что в лес, а из избы в избу хоть с лопатой прорывайся. Мы уж думали, мало кто эту зиму переживёт. А весна пришла, того хуже — голод! Ребятишки мёрли, как мухи. Ну, летом кое-как подкрепились, а тут вторая зима, да не лучше первой. Тут уж мы думали — все перемерём... А тут бандеровцы, а тут хвороба какая-то по деревне пошла... И стали люди говорить, что так уж навеки останется, что наши забыли о нас, отреклись от нас, никогда не придут. Но от Иванчука давали знать — неправда, мол, придут! Люди чуть опять голы поднимут, а тут вдруг сообщение: опять наши отступают... Эх, что говорить! Жить не хотелось. Вот я и говорю моей — она в ту пору ещё жива была, — чего, говорю, я буду тут сидеть, как крыса в норе, пойду в лес, всё-таки легче... Орала она на меня, ругалась так, что слушать страшно. Ты, говорит, старик, какая от тебя там корысть? Только руки им свяжешь, больше хлопот от тебя, чем пользы. А у меня и правда с ногами что-то приключилось, еле таскаюсь. Старуха, думаю, правду говорит, какой я вояка? Так и сидел в деревне. По правде сказать, и не верил, что дождусь. Вот старуха моя не дождалась, а уж как ей хотелось, ох, как хотелось!

Крупишки горячей махорки упали на его рубаху, но он заметил это лишь когда запахло гарью. Осторожно погасил тлеющие нитки. На мгновение задумался.

— Вот какие дела. А второй раз фашисты пришли весной сорок второго года. Тут как раз пошли слухи, что наши идут на Украину. Такая радость в деревне была, будто они уж в Паленчицах, что ли. Совсем народ забылся, — думали, всему горю конец, вот-вот здесь наши будут. А тут, вместо того, они пришли. Донос какой был, что ли? Не иначе как донос, потому — по фамилиям вызывали... Уж мы с тех пор сто раз передумывали — кто донёс? Кабы они Хмелянчука не повесили, никто бы и думать не стал — рыжий выдал, и точка. А раз и Хмелянчука — ничего понять невозможно. Потому, как воротился он весной, все сейчас смекнули, что это не к добру. Уж как-нибудь он да отомстит и за то, что его вывезли, и за всё... А он ничего, вроде тихо сидел, и вдруг — на! Пришли, взяли Павла, Осипа Хромого, Кальчука с Соней, повесили у церкви. Ну их-то — понятно. А вот что и Хмелянчука вместе с ними... Ошиблись, что ли? Что-то там на него офицер кричал, ткнул ему что-то под нос, да не до того людям было... После, как стали мы их хоро-

нить, — ночью, тайком, потому строго было приказано не трогать, да не оставлять же людей на дереве, так уж мы ночью... Хороним, и сами не знаем, как хоронить... Неужто вместе с Хмелянчуком? И всё-таки две могилы вырыли. Рядом, правда, а всё же поотдельности.

Он откашлялся, опершись подбородком на сложенные руки, помолчал, как бы раздумывая. Потом, не глядя на Стефека, продолжал:

— Так их, значит, на этой липе и повесили. И ни один не забоялся, ни-ни, смело шли. А Соня Кальчук, избитая вся, в крови, ещё кричала людям, чтоб не боялись, что наши, мол, придут...

Стефек стиснул руки так, что кости захрустели. Староста подвинул ему махорку и клочок газеты.

— Ты бы закурил. Затянешься дымом, сразу в голове яснее. Вот сколько мы натерпелись и от болезней, и от мороза, и от голода, а уж хуже всего бывало, когда махорки не станет.

— Я не курю, — хрипло отказался Стефек.

— Правда, ты всегда был некурящий. Ну, на войне которые и некурящие попривыкали. Пить хочется, воды нет — закуришь, полегчает. Есть нечего — закуришь, всё не так сосёт. Вот и я, когда, бывало, сбегу в лес — Ивачук-то с отрядом в это время ушёл куда-то, так я один, как волк, по этому лесу бродил. И прямо скажу, голод человек выдержит, не так это страшно, особенно летом — ягоды, грибы, а то рыбку вытащишь из какой лужицы... А без табаку, вот это уж, можно сказать, трудно выдержать. Листьев, бывало, засушу, да что с того? Только вонь одна, да в желудке тянет, а нутро не обманешь, оно знает — что махорка, а что сено. У партизан, у тех трофейный табак был, а мне откуда взять? Потом мне ещё два приходилось в лес уходить... Так и вышло, что я и не воевал, и дома не сидел. А Пётр — тот всё время в лесу, с первого дня, как гитлеровцы навалились, пока наши не пришли. А потом сейчас же в армию, теперь уж, наверно, далеко... Чуть бы раньше ты пришёл, и с Петром бы повидался.

Стефек понимал, что староста пытается переменить разговор. Но ему нужно было услышать ещё раз.

— Значит, били её перед смертью? — спросил он чужим голосом. Староста перебирал крошки махорки на столе.

— Соню? Били... Потому, в избе её не было, в зарослях поймали...

Степенно, не спеша, староста рассказывает, как было дело. Весь тот день. С минуты, когда он проснулся от криков и немецкой команды — и до конца. Как пришли, как сгоняли людей, как вешали.

Стефек барабанит пальцами по столу. Что же такое человек, что он может это выдержать, не сойдёт с ума, не выбежит с криком из избы, не падёт трупом на дороге?

Деревня Козары. Ведь и туда пришли однажды люди. Пришли отцы и мужья к своим детям и жёнам, у которых не было даже могил. Поросший травой пепел в вишнёвых садах.

Долог ещё путь, и всюду на этом пути будут встречаться Козары и Ольшины...

«Вот как, значит, умирала моя Соня. Веруя. Ожидая. Без страха, с высоко поднятой головой».

И вдруг — голос Сони. Даже удивительно, что ещё совсем недавно, даже по пути сюда, ему казалось, будто он не помнит её голоса. Теперь он слышит его, знакомый до глубины сердца. Едва слышный шёпот: «Будь мужествен». Голосом, которого он никогда не забудет, своим живым, единственным на земле голосом Соня говорит ему: «Будь мужествен!» Он слышит голос Сони так явственно, что с беспокойством

смотрит на старосту. Возможно ли, чтобы тот не слышал? Но староста не спеша рассказывает какой-то случай, происшедший в последние дни.

«Я помешался», — мелькает в голове Стефека. Он снова собирает всю свою волю и возвращается к действительности. Упорно жужжат мухи на окне, на брюхатой печке. Староста крутит в узловатых пальцах цыгарку, заклеивает её и ещё раз повторяет свой рассказ.

Да, это действительность. Никогда больше не заговорит Соня, никогда не запоёт она на мостках, над озером. Те слова, о которых говорил староста, были её последними словами.

«Будьте мужественны!»

Стоя с петлей на шее под ветвями липы, превращённой в виселицу, Соня звонким и чистым голосом сказала эти слова. Это ему, Стефеку, сказала она через пропасть вечной разлуки: «Будь мужествен!»

Староста сметал со стола невидимые крошки.

— А к Кальчукам не зайдёшь?

— К Кальчукам?

— Девушки-то обе дома. Так, может, поговорил бы с ними? А то им будет грустно, если не заглянешь. Всё-таки вроде родня. Так я тебя провожу, а там уж ты сам... Семья, как-никак.

И Стефек снова слушает рассказ о том, как шла, как призывала к бодрости, как умирала его Соня.

...Меркнет солнце. Ещё горит огнями озеро, ещё горит огнями река. Трое стоят молча под развесистой, тенистой липой. Еле слышно шелестит листва. Цветы ещё не раскрылись, но дерево уже покрыто светлыми прицветниками, из которых поднимаются хрупкие стебельки с пучками зелёных шариков. Ещё день, два, и старая липа зацветёт, зазвенит, окружённая тысячами пчёл.

— Вот здесь мы их и похоронили, у церкви. На кладбище боялись ехать. Ночью похоронили.

Высоко растёт буйная трава. Кое-где в ней сереют каменные плиты — выветрившиеся памятники давно позабытых могил. Крестьянское кладбище всегда было там, за рекой, на накалённых солнцем холмах, пахнущих чебрецом, жёлтым от очитка. А здесь когда-то давно хоронили богатых людей и духовенство. Но дождь уже давно смыл надписи на могильных плитах, они сравнялись с землёй, кресты повалились и стали невидны в траве. Лишь кое-где сохранились буквы церковно-славянских надписей. И не узнаешь, кто здесь лежит, кто здесь похоронен... Да и непохоже было это место на кладбище, давным-давно непохоже — ещё когда Стефек ребёнком бегал сюда с мальчишками.

Но теперь это опять кладбище. Два маленьких холмика.

Стефек взглянул на девушек. Старшая из сестёр поняла.

— Здесь.

Она опустила на колени у едва заметного холмика. Осторожно раздвинула траву, чтобы вырвать занесённый ветром колючий репейник — ласковым движением, словно не травы касалась, а заплетала в косу тёмные мягкие волосы младшей сестры Сони.

Стефек неподвижно смотрел на могилу.

«Вот как мы встретились, Сонечка. Вот как пришлось встретиться после разлуки!»

Буйная трава на едва заметных холмиках. Выросла над Соней зелёная трава, поднялись пушистые шарики одуванчиков. Яркая, весёлая, буйная трава. Будто тут никогда не было смерти — будто это цветёт сама радостная безмятежная жизнь. Здесь, под этой травой, под фонарями одуванчиков лежит Соня, стефекова Соня. Синяя полоса от

петли на шее — или даже этой полосы нет. Она уже рассыпалась в прах, Соня, из неё уже тянут соки зелёная трава, золотистые цветы. Чернобровая, черноокая девушка, его первая и единственная девушка, потерянная навеки.

Гаснет озеро. Тихо шепчет липа. Неслышно надвигается вечерняя тень. Меркнет зелёная трава на холмике. Пора уходить отсюда, от Сони.

И они медленно уходят, направляясь к деревне.

— Что ж, опять уйдёшь с армией?

— Куда же ещё?

На запад, на запад, нести предсмертный возглас Сони Кальчук, веру Сони Кальчук, её твёрдую волю к победе!

— А потом... вернёшься в Ольшины? — робко спрашивает старшая.

Они сидят на досках перед избой. Далеко за рекой тени ложатся на холмы, где раскинулось кладбище, на луга и поля. Прозрачный, стелющийся по земле туман надвигается на Оцинек. Где-то слышится громкий разговор, плеск воды, насвистывание. Это возятся возле своих танков советские солдаты.

Ольшины... Вернётся ли он в Ольшины?

На закате озеро как всегда разгладилось, затихло. Но сейчас, в сгущающихся сумерках, его гладкая поверхность понемногу утрачивает свой покой. Словно лёгкий вздох, словно какая-то дрожь проходит по воде. Всплеск, другой — и вот уже всё озеро начинает раскачиваться мощно и мерно, шумит глубокой, непонятной песнью.

— А что... Ядвиги там где-нибудь не встречал?

— Ядвига в Москве.

— В Москве... Дом тоже сожгли — осадничий дом. А мамин цел. Может, хочешь взглянуть? Старый уж, крыша прогнила, а всё же держится.

Нет, он не хочет глядеть. На что ему этот дом, на что ему жасмин, благоухающий по вечерам в саду, где он встречался с Соней? Условное место, куда она иногда приходила по вечерам. Всё ушло, будто и не бывало... Нет, лучше не глядеть.

— Девчата поют, — шёпотом говорит одна из девушек. Издали, с лугов доносится песня. Не задушили её три года господства врага, не одолели ни пожары, ни кровь, ни голод, ни смерть. Над озером, над лугами в тумане несётся песня. И от деревни, от изб, в хор девичьих голосов вдруг врывается звучный мужской голос. Танкисты.

Ольшины, Ольшины... Будто не было этих трёх лет. Будто это один из тех, прежних вечеров. Ещё минута — и загорится красная звезда над входом в клуб, замерцает от неё дорожка по озеру, зазвенит голос Сони Кальчук.

— Вернусь ли я в Ольшины? Откуда мне знать, куда мне суждено вернуться!

Померкли зелёные чары Ольшин. В бесконечную даль отодвинулись детство, отроческие годы, юность в этих Ольшинах. Словно то был другой человек; тот Стефек, что жил здесь, знал каждый камень и каждую тропинку, каждое птичье гнездо, каждую заводь, где зимовали рыбы подо льдом. «Кончилась молодость», — сурово подумал Стефек. На этот раз навсегда. Не перешла обычным порядком в другой возраст, не пошла, как обычно, пусть по извилистой и заглохшей, но всё по той же дорожке. Нет — всё, что было, все радости и печали, — всё отошло, словно было прочитанной книжкой о чужой жизни. И эту книжку, как крепкой металлической застёжкой, замкнула смерть Сони. Нет, возвращаться некуда. Не к чему возвращаться. Надо сказать себе: я не возвращусь, а пойду дальше. Куда? Не знаю ещё, не знаю...

«Будь мужествен», — тихо, но внятно говорит голос.

«Я постараюсь быть мужественным, Соня. Буду достоин твоего доверия. Только как мне трудно, как страшно трудно...»

С озера доносится смех.

— Завтра и они пойдут дальше, — вздыхая говорит Фрося Кальчук.

— Кто?

— Наши танкисты. Жаль. Веселей было с ними в Ольшинах. Только пришли, а уже дальше идут... Сколько частей прошло через Ольшины — и каждый раз грустно. Новым песням девчат выучили, а то мы тут всё довоенные пели...

Радостный, золотистый отблеск ложится на воду. Звенит, льётся песня над лугами.

«Я буду мужественным, буду мужественным, Соня», — ответил Стефек тайному голосу, который нёсся над озером, над верхушками косматых верб, над зелёными просторами болот, над блестящим, сверкающим щитом озера.

Авторизованный перевод с польского Е. Усиевич.

(Окончание следует)



НИКОЛАЙ АСЕЕВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ

Горной речонки в камнях воркованье,
дальние кряжи в нетающем льду...
Крошечный мальчик идёт на аркане
у капельной девочки на поводу.

Горы, раскинувшиеся разлато;
воздух, процеженный солнцем, ленив;
белыми ангелами козлята
скачут, безрогие лбы наклонив.

Войлочная, широкополая шляпа,
важно торчат газыри на груди,
но помогает здесь мужество слабо:
он — позади, а она — впереди.

«Ты же задушишь его, дурная!»
Хмуро сверкнула тёмным зрачком,
дескать: не вмешивайся, не понимая!
И погрозила мне кулачком.

Без украшений и без косметик,
с детства связавшись с его судьбой,
так вот ведёт она белый бешметик —
копию взрослого — за собой.

ГОРНЫЙ ЛАГЕРЬ ПИОНЕРОВ

У Венеры была манера
появляться пред самой зарёй...
Утро шло,
как отряд пионеров,
по долине седой и сырой.

И когда она кверху взлетала,
словно яблочко римской свечи, —
день вставал в полыханье металла,
в водопад окуная лучи.

Косолапые медвежата
любопытно глазели с гор,
как зарю запеваёт вожатый,
поднимает солнечный горн.

ИВА

У меня на седьмом этаже, на балконе — зелёная ива...
Если ветер, то тень от ветвей её ходит стеной.
Это очень тревожно и очень вольнолюбиво:
беспокойство природы, живущее рядом со мной!

Ветер гнёт её ветви и клонит их книзу ретиво,
словно хочет вернуть её к жизни обычной, земной;
но со мной моя ива, зелёная гибкая ива
в ледящую стужу и в неуголяемый зной.

Критик мимо пройдёт, улыбнувшись презрительно-криво:
Эко диво! Все ивы всегда зеленеют весной!
Да, но не на седьмом же! И это действительно диво,
что, расставшись с лесами, она поселилась со мной.



П. ПАВЛЕНКО

★

НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ РАССКАЗ

Публикуемый ниже рассказ Пётр Андреевич Павленко предназначал для «Нового мира». Будучи необычайно взыскательным к своему творчеству, он неоднократно переделывал рассказ, продолжал совершенствовать его форму. Незадолго до смерти он ещё раз вернулся к работе над ним. Хотя писатель и не считал эту работу окончательно завершённой, всё же — перед нами в сущности законченное произведение.

В черновиках писателя сохранились три варианта названия: «Письма о любви», «Верность» и «Семья». Окончательного выбора П. А. Павленко не успел сделать.

Историю эту рассказал мне отставной майор, человек очень больной, не единожды раненный, бухгалтер в одном из совхозов на юге. Войну довелось ему пережить в сложных и — более того — в нечеловечески трудных условиях, которые порой выпадают как раз на долю тех, кто меньше всего подготовлен к испытаниям, выходящим за грани возможного.

Призванный из запаса в пехоту и превратившийся из бухгалтера в завклубом полка, он чуть ли не через месяц оказался в Смоленских лесах, в отрыве от главных сил.

Став партизанским командиром, неоднократно попадал в неприятельские клещи, уходил ползком в сопровождении одного-двух наиболее выносливых партизан, вновь собирал силы, и вновь обстоятельства бросали его в обстановку, из которой, казалось, не было никакого выхода, кроме гибели.

Приходилось ему спускаться на парашютах в глубокий тыл противника и под чужим именем, меняя обличье, ежечасно рискуя жизнью своей и товарищей, передавать по радио через фронт всё, что удалось высмотреть и узнать о противнике.

Попадал он и в гестапо, но удивительно счастливо выбирался из всех бед и много раз контуженный, битый до потери сознания, всегда возвращался в строй с ещё большей волей к победе.

Был он человек холостой, из тех, что если и женятся, то никак уж не раньше сорока и обязательно неудачно, избрав какую-нибудь голосистую, развязную вдовушку, давно никем не помыкавшую и донельзя осунувшуюся от вынужденного безделья.

И как все старые холостяки, не очень верил он в запоздалое семейное счастье и не очень соблазнялся его туманными иллюзиями.

Однажды после жестокой схватки в тылу противника принесли ему документы, найденные перед погребением у погибших бойцов, и, разбираясь в бумагах, напоминающих лепёшки засохшей крови, наткнулся он на пачку писем, написанных женской рукой.

Аккуратно вклеенные в самодельный картонный переплётник, письма были зачитаны до дыр.

Майор стал проглядывать их, ища указаний на адрес новой вдовы, и уж не мог оторваться, точно были эти письма адресованы лично ему и касались его непосредственно. Судя по датам, письма были написаны ещё до начала войны, но адресованы не старшему сержанту Лосеву, у которого они были найдены, а кому-то другому. Майор не стал пересылать их через фронт, а оставил у себя — «для бодрости», как утверждал теперь.

— Никогда не думал я, — рассказывал он, конфузливо ощупывая пальцами скатерть на столе, точно искал, где она порвана, — никогда не думал я, что чужая любовь, чужое счастье могут повелевать человеком, могут казаться своими. Я дам вам прочесть эти письма. Вы скажете, прав ли я. Может быть, сейчас и я не так отнёсся бы к ним, хотя, впрочем, не думаю, но тогда, поверьте мне, они сыграли для моей группы роль бальзама чудесной силы.

Сидим мы, мёрзнем в глубоком тылу врага. Опасность на каждом шагу. Не то что активно действовать, — дышать иной раз не в силах, но что делать... Ни книг, ни газет, по радио — только самое важное, всё слухи да слухи, а ведь дома у каждого из моих семья, дети. Мерещится людям самое горькое. Как-то, когда настроение было особенно тяжёлым, безрадостным, я возьми да и прочти вслух эти письма.

Я читал, и горло мне перехватывало, и было мне немножко стыдно перед своими за то, что я как бы приоткрываю им свою личную жизнь, и вместе с тем приятно, что мне нечего стыдиться даже глубоко личных вещей, так они чисты до конца. Читал я хриплым голосом и часто откашливался, будто нечаянно хватил дыму от костра, но бойцы мои видели, что я плачу, и из их глаз тоже катились слёзы.

Письма эти я сейчас дам вам. Прочтите их сами. Не знаю, как они сегодня подействовали бы, но тогда, когда уже ничто не было властно над нашей иссякшей волей, они высоко подняли нас.

Когда мы читали о трудной жизни этой неизвестной нам женщины, матери двоих ребят, любившей мужа такой святой и ясной любовью, какая может существовать только у нас, в советской стране, мы сами становились лучше, чище, сильнее.

«Вот она — наша жизнь, — думалось нам, — вот оно — наше счастье, не моё — так твоё, не твоё — так его, но огромное, сильное, властное счастье, ничего не боящееся и всё на своём пути побеждающее!»

И мы думали тогда, что если бы у нас была только одна такая семья и одна такая любовь, — всё равно надо драться даже за этот единственный случай.

Кто имел семью и кто не был даже особенно счастлив в жизни, а всё, бывало, жаловался на то, на сё, — даже те, слушая о чужом счастье, начинали верить, что и у них то же самое, только они до сих пор не понимали этого, не чувствовали и не ценили.

Те же, кто был одинок, как я, казались ворами своей судьбы. Ведь жить без детей, без радостей домашнего очага, жить в то самое время, когда у нас, в чистой и честной стране нашей, есть такие семьи, было непрослительно. И уж как захотелось тогда нам поскорей рассчитаться с набежавшей на нашу страну нечистью, скорее выбросить её за порог, чтобы потом найти то, чем обладал наш убитый товарищ и многие, кроме него, хотя бы те, что сидели передо мной у костра.

Да что они! Мы называли десятки счастливых. И как это раньше, в спокойные дни, не бросалось нам в глаза чужое счастье? А ведь от него должно было и нам в сторонке становиться теплее и радостнее.

Пусть сегодня не в моё окно светит солнце, но оно светит! Значит, настанет и мой час, и моё окно загорится счастьем.

Прочту я, бывало, письма, помолчим, и кто-нибудь обязательно скажет:

— Да, хорошие у нас люди, и ребята — подите же какие, а женщины — шапку перед ними скидывай. Пошли, командир! Пошли, товарищи!

И мы вставали. Шатаясь, держась друг за друга, мы двигались, как слепые. А уж сражались — будто нас и убить невозможно. Так каждый раз, когда силы, обычные, будничные силы покидали нас и нам нужно было призвать на помощь силу праздничную, влекущую вперёд, как мечта, мы возвращались к письмам.

Судьба далёкой от нас семьи заслонила наши личные судьбы и стала общей для всех нас, самой личной из личных и самой дорогой из всех.

Лежим у костра, собираем последние силы.

— А ну почитай, командир, как там наши.

И я читал. Да, впрочем, вот они, письма. Прочтите их сами.

1

Милый мой!

Письма твои такая радость, что я как на праздник хожу за ними на почту и ни за что не хотела бы получать их дома, когда они могут застать меня врасплох, за стиркой или у примуса.

С Гоголевской улицей я, наконец-то, покончила и пока нахожусь у Зины Горбовой. Её Толик и наши двое спят на русской печке, а мы с Зиной вдвоём на раскладушке. Тесно до ужаса, но зато не так тоскливо, как одной.

Я никак не могу представить себе, доехал ли ты уже и можно ли начать расспрашивать тебя о санатории и о юге, потому что мальчики не дают мне покоя — где ты в данный момент. Я мысленно пересекла с ними Охотское море, провела день во Владивостоке, затем погрузилась в московский скорый и из окна вагона, как тогда, когда мы ехали с тобой, а дети были ещё слишком малы, чтобы интересоваться чем-нибудь, кроме самих себя, рассказала им о встречных городах, о Байкале, Уральском хребте, и когда мы — довольно быстро — миновали Москву, Костя сказал с опаской: «Папка так далеко уехал, ему земли нехватит!»

Ах, как я иногда завидую тебе, милый! Я бы охотно поменялась с тобой местами, лишь бы — даже ценою нескольких лет жизни — побывать там, где ты. Наши места так северны, что где бы ты ни оказался, всё равно ты будешь намного южнее нас, а может быть, и в самом деле — на юге. Мне кажется, на юге так хорошо, что люди должны говорить там только стихами. Поскорее справляйся с болезнью, родной, и возвращайся к нам и за нами. Далёкий Север — не для меня. Я мирюсь с ним только из необходимости. Но не будь ты болен, да будь наши хлопцы чуть постарше, мы бы с тобой занимались геологией, конечно, в более нормальных широтах.

Ты знаешь, о чём я иногда думаю по ночам, когда воет вьюга и снег стучится в окно?

О том, что вдруг нам повезёт и ты получишь какую-нибудь замечательную работу в тёплых краях и вызовешь к себе нас!

Мы снимем квартирку у самого моря, чтоб оно было не дальше, чем в конце двора, или, в крайнем случае, улицы, и будем ловить рыбу, закидывая удочки из окон.

Я лежу, закрыв глаза, и слышу тамошнее солнце, слышу и обоняю его, оно, должно быть, звучно, как буран.

Пиши, пиши скорей!

У нас всё попрежнему. После твоего отъезда, как ни странно, стало заметно больше свободного времени, и помимо своей работы, я теперь тружусь ещё и в радиокомитете. Иногда я беру с собой мальчиков и они с восторгом слушают музыку, информации, сводки погоды, стараясь угадать, что у тебя. Я никак до сих пор не пойму, за что они тебя так трогательно и бескорыстно любят, и, признаться, даже иногда ревную.

Софья Георгиевна уехала в экспедицию. Слонов — на Сахалин. Если бы ты был дома, мы могли бы с тобой рискнуть на небольшое путешествие, но я с ребятами ни на что не годна. Всё-таки работа, быт и хлопоты с детьми отнимают уйму времени. С тех пор, как ты уехал, я не прочла ни одной книги, не посмотрела ни одного фильма. Я познаю мир одними ушами и боюсь, что они отрастут у меня, как у ослихи.

Если бы выписать маму! Но об этом сейчас не приходится и мечтать, потому что с её сердцем она никогда не рискнёт на переезд сюда, а я без тебя, с двумя ребятами и скарбом, не дотянусь до неё.

Твоя болезнь — это и моё и мальчиков несчастье, поэтому ты лечись толково, знай, что, побеждая хворь, делаешь счастливыми в первую очередь нас.

Написав письмо, мы все одеваемся и торжественно шествуем к почтовому ящику, но обычно не к тому, что вблизи нас, — мы этому ящику почему-то не доверяем, из него, наверное, не каждый день выбирают корреспонденцию, — а, болтая, добредаем до почты, где и опускаем своё письмо в «главный» ящик. Честь отправки письма принадлежит тому, кто себя лучше вёл за время между предыдущим и этим письмом. Костик выиграл, таким образом, уже два письма, а Павлик только одно, да и то не без моей помощи.

Завтра и послезавтра я не стану навещать тебя относительно писем от тебя, но в субботу, одевшись, как на свиданье, с девичьим волнением, я одна пробегу к столу «до востребования» и шёпотом спрошу, есть ли что-нибудь для меня. Ужасно обидно, когда дежурная отвечает «нет». Я всегда в этом случае почему-то краснею, и день бывает испорчен. Но когда письмо есть, я обхожу всех знакомых и всем передаю приветы, даже если ты их и не написал. Где бы ты ни был и чем бы ни было занято твоё сердце, помни нас, твоих всегда, всегда.

Целуем тебя в шесть рук.

А.

2

Милый мой!

Иногда мне кажется, что мы с тобою — два ствола от одного корня. Наши ветви так густо переплелись в одну крону, что не разберёшься, чьи цветы и чьи плоды украшают нас — твои или мои. В бурю и непогоду, когда наше дерево стонет и раскачивается, случается, что твои ветви больно секут меня, или я, противясь ударам ветра, невзначай ломаю сучья на твоей половине кроны. Нам больно тогда обоим, но это не я и не ты, это ветер причиняет нам боль.

Должно быть, твоя половина обращена к югу, ты зеленеешь раньше моего и цветёшь пышнее, а я прикрываю тебя с севера и потому запаздываю зазеленеть, а осенью желтею раньше тебя. И всё же, когда среди зимы на нашей обнажённой кроне ещё багровеет последний листик, мы не говорим: «это твой» или «это мой», а говорим — «это наш!»

Иной раз мне кажется, что такой любви, как наша, ещё не было на земле.

Конечно, были люди талантливее и интереснее нас, с более сильными душами и более нежными сердцами, и всё-таки такой любви, как наша, они не знали. В иной земле росли их корни, иные соки питали их, иные ветры оведали листву.

Нет, не было ещё такой любви, как наша. Не было потому, что и таких, как мы с тобой, тоже до сих пор не было. Мы — новая порода. Наши корни, наша листва, наши цветы по-новому пьют соки земли и лучи солнца. Птицы, что отдыхают в нашей зелени, вероятно, чувствуют это. Они поют на наших ветвях чаще, чем на других.

Когда ты уехал и образ дерева, неразделённого на две самостоятельные половины, показался мне надуманным, я всё же продолжала, вопреки здравому смыслу, чувствовать тебя рядом с собою.

Всё, что переживаю я одна, я переживаю за нас двоих и для нас двоих.

Этим запоздалым объяснением в любви я хотела немножко украсить моё будничное письмо. Мальчики здоровы, но путешествовать следом за тобой им надоело и тема юга как-то сошла у нас на нет.

Когда я начинаю думать о том, чем ты занят, я непременно ставлю себя на твоё место, потому что привыкла думать о тебе, как о себе. Судя по твоему последнему письму, ты по горло занят лечением в местах для тебя совершенно новых, среди пока ещё мало знакомых тебе людей. Новые люди отнимают массу времени, пока к ним привыкнешь по-настоящему. Я помню, когда мы с тобой только что поженились, твоё присутствие утомляло меня до одурения. Сидел ли ты за рабочим столом или отдыхал, я чувствовала себя, как солдат на посту. Когда я выбегала в магазин, мне начинало казаться, что ты проснулся и ищешь меня, и, не зная, где я, злишься и чертыхаешься, и я опрометью неслась домой. Ты, конечно, спал, как ни в чём не бывало, и тогда я начинала сама злиться на твою нечуткость и всякое прочее, и к тому времени, когда ты открывал глаза, я закрывала свои от страшного переутомления.

Новизна ужасно трудоёмкая вещь, милый мой. Так что я отлично представляю твоё теперешнее состояние. Но всё же я жду теперь большего письма.

Едучи далеко, хочешь обязательно описать каждое новое впечатление, а приехав на место, не находишь и десяти слов, но я удовлетворюсь и тремя.

Наши все разъезжаются кто куда. Огневы, Старцевы и Рихтеры выбрали Сахалин, Зина Горбова с детьми перебралась вслед за ними. В посёлке, где они будут работать, из ста сорока человек только четверо с низшим образованием и один без образования — это огневская бабушка Зоя Евгеньевна. Зина Горбова пишет мне, что им совершенно необходим неграмотный элемент, чтобы было с кем заниматься по вечерам.

С их отъездом я делаюсь совсем одинокой, и мне начинает казаться, что у нас тут всё плохо.

Я никогда не была в тех местах, где сейчас ты, и не знаю, насколько действительно они хороши, но наш восток я люблю всей душой. Какие масштабы, какие перспективы, какие сильные и стойкие краски! И дела, сколько здесь дела, прямо теряешься! Вечера у нас стали какие-то сказочные, багровые. Всё время кажется, что загорелось море.

Ребятки добросовестно учатся. Водила их как-то в кино, они были в восторге от картины, где всё время шла война, и ночью несколько раз просыпались от страшных снов, так что я решила водить их теперь только на весёлые фильмы.

С деньгами в общем благополучно. Говорю — в общем, потому что, по сути дела, их никогда нехватает, как ты знаешь, но я так привыкла к безденежью, что уже несколько не волнуюсь, когда исчезает из сумочки последний рубль. Но, чтобы успокоить тебя, я села за перевод одной английской книжки о Сахалине. Мальчики требуют, чтобы я им ежевечерне прочитывала сделанное, и мы втроём мечтаем о путешествии по местам, с которыми познакомились по книге.

Когда ты вернёшься, мы и в самом деле проедемся куда-нибудь. Закончив перевод, начну посещать вечерний университет марксизма-ленинизма. Я, как ты знаешь, не умею читать трудные книги и всегда лучше запоминаю устный рассказ, а сейчас у нас появился совершенно чудесный лектор — Маруся Сысоева, и мне хочется воспользоваться этим обстоятельством, чтобы подтянуться. Да и мальчики начинают задавать мне трудные вопросы, и мне как-то совестно оказаться в их глазах «немогушкой».

Если у тебя благополучно с деньгами, почаще посылай телеграммы, хотя бы самые коротенькие, как две последних.

Поцелуй меня, любимый мой.

А.

3

Родной мой!

Как ты далеко от нас. Вчера на почте мне сказали, что письмо от тебя может идти больше двух месяцев, да и то лишь в случае, если правильный адрес. Я же никогда не уверена, хорошо ли ты помнишь даже моё отчество, не то что адрес, тем более, что несколько раз уже убеждалась в твоей совершенно куриной памяти. Вот уже две недели, как от тебя ни строки, и я волнуюсь. Если ты посылаешь письма по неверному адресу, это непоправимо. Я никогда их не получу. Пожалуйста, будь внимателен.

Что у нас? К сожалению, уже весна. Скоро настанет короткое лето, и я уже чувствую за ним осень. Ветер стучится в наши окна, как погибающая птица, воет в дымоходах и, стуча дверьми, бегаёт по коридору. В пустую Зинину комнату я пустила одну полузнакомую старушку-библиотекаршу, она по вечерам рассказывает о книжных новинках и вслух читает «Правду».

Ужасно, милый, если твои последние письма странствуют по миру. Может быть, ты писал о чём-нибудь срочном? Может быть, просил меня о чём-нибудь важном и теперь злишься и нервничаешь, что я молчу? Я даже боюсь подумать, что вдруг ты писал мне о выезде к тебе, а я ничего не знаю и ничего не могу предпринять.

Неизвестность — ужасная штука. Это как внезапная слепота. Я за последние недели, действительно, как будто ослепла и потеряла ощущение жизни, действительности, не знаю, что предпринимать на осень и как готовиться к зиме, хотя всего только весна. Но ведь ты знаешь, как у нас коротко лето. А сейчас, без тебя, время летит с дикой быстротой. Я понимаю, что ты не хочешь много писать о своей болезни. Но я уже умею по твоему почерку угадывать, что у тебя, — и этого мне довольно.

Почему ты совсем замолчал?

Ты для меня не потерялся, а исчез. Я не хочу даже думать о том, что болезнь твоя усилилась и тебе плохо. Пойми, это невозможно. Напряги всю свою волю, а она у тебя есть, и скорее становись на ноги. Чтобы быть в курсе того, что может с тобою приключиться, я перечитала массу книг о лёгочных болезнях — брала их у доктора Смирнова.

Если здоровье требует, чтобы ты надолго остался на юге, оставайся. Если надо, забудь, что мы существуем. Но в том и другом случаях я должна знать, что с тобой.

Просыпаясь утром, повторяй пятьдесят раз: «Я чувствую себя превосходно, я крепну, я здоров». Хочешь, я пошлю тебе авиапочтой твои записки о прошлогодней экспедиции? Может быть, ты займёшься ими. Будь весел. Знаешь, ведь нет лучшего лекарства, чем хорошее настроение. Послушай, что говорил Лермонтов: «Что может противостоять твёрдой воле человека? Воля заключает в себе всю душу, хотеть — значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, жить; одним словом, воля есть нравственная сила каждого существа, свобода, стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, творческая власть, которая из ничего делает чудеса».

Я хочу, чтобы ты сотворил чудо, слышишь, милый? Это тебе не так трудно сделать, потому что ты начнёшь не на пустом месте. Не у каждого есть такая семья, как у тебя, не у каждого — твоё упорство. Я полюбила тебя, мне кажется, раньше всего за твоё вызывающе упрямое лицо, за свечение воли, которое я просто видела, о котором я могла нечаянно опалить себе губы, когда целовала тебя.

Сочини свой гимн здоровья и начинай им день, как птица начинает песней.

В сущности, ты знаешь, чертами воли и энергии только и интересен мужчина. Вы, мужчины, иногда думаете, что вас украшает красивая причёска или замысловатый пробор, модный костюм или тонкие черты лица. Всё это чепуха, милый. Это нам, женщинам, ещё простительно, что мы думаем о таких мелочах, как платья и духи. А мужчина хорош и красив умом и волей — и только. Особенно бывает приятно, если ум и воля выразились во внешности, стали чертами лица и фигуры, особенностями характера. Твоей энергии хватало на всю нашу семью. Мама мне всегда говорила о тебе: «Это семейная база горячего». Вот почему тебя так любят наши мальчишки. Они чувствуют, что ты наполняешь их волшебным напитком упорства. Они питаются твоим упорством, как моей нежностью. Они храбры, когда ты вблизи них, и нежны, когда я с ними. Они погибнут за тебя, не задумываясь, потому что ты, ты вызвал в них любовь к отваге и они требуют теперь её ежечасно.

Милый, я пишу тебе, как на войну, как в те дни, когда ты был на финском фронте, а я, вставая, не знала, жив ты ещё или мёртв, а лжась, боялась включить репродуктор, чтобы не услышать что-нибудь такое, от чего могло разорваться сердце.

Я хочу, чтобы ты вернулся к нам победителем!

Если нужно на время забыть о нас — забудь, но напиши мне об этом.

Любимый мой, помни, что я тебе сказала в тот день, когда мы решили жить вместе. Я тогда сказала, что я вся твоя. И не солгала. Помни это и поступай, опираясь на это. В твоих последних письмах я никак не могу разобраться. Их краткость подозрительна мне. Ты знакомишь меня с очень интересными людьми, твоими новыми друзьями, и я уже люблю их, как родных. Мальчикам все твои нынешние друзья нравятся — и Хасанов, и Швец, и шахтёр Кузьма Ласточкин, который говорит, что он под землёй, как за пазухой, и Старцев, но особенно нам всем понравился твой несуразный Лосев. Ты привёл столько его прибауток и поговорок, что мальчишки только ими и шеголяют в школе и даже, представь себе, играют в Лосева. Он топограф, ты говоришь?

Наш брат, бывалый, значит. Передай ему особенный привет, но только так, чтобы не обидеть остальных. А главное, помни, что из всех интересных — самый интересный для нас — ты.

Твоя А.

4

Милый мой!

У нас уже зима. Ты словно на другой планете, куда редки оказии. Я очень мало знаю о тебе, и — что ещё хуже, — не знаю, буду ли когда-нибудь знать больше.

Скажу тебе прямо — я не думаю, что тебя нет. Нет, нет, я никогда не думаю об этом. Даже если бы ты, не дай бог, утонул в море, я бы непременно узнала об этом. Но тогда что же с тобой? Твой след едва видим, как от упавшей звезды.

Вероятно, у тебя началась какая-то другая жизнь. Я не совсем представляю, какая она, но, как видно, не всё бывает понятным в жизни, и я мирюсь с тем, что моё воображение ограничено.

Мне важно знать, что ты жив. Всегда помни, что у нас дети. Они всё понимают, но никогда не поймут, что отец их — нечто секретное. Дети должны иметь родителей, о которых они знают решительно всё. Белые или тёмные пятнышки в наших биографиях разрастаются в дебри в их маленьких душах. Хочешь иметь скрытного ребёнка с душой неизвестной, как Аляска, — скрой от него часть своей жизни. Ребёнку нельзя лгать.

Мы с тобой всегда знали всё друг о друге. Мы жили ясно, глаза в глаза. Не замалчивай же теперь ничего. Если бы я была точно уверена, что тебя нет, я вписала бы твой образ в души наших мальчиков так, чтобы ничто уже не вырвало бы его из их памяти. Но я не могу хоронить тебя заживо. Я верю, что ты жив. Больше того, я думаю, что ты молчишь именно потому, что жив и хорошо себя чувствуешь. Тогда всё правильно, кроме одного, — жизнь можно перестраивать, но прежнюю жизнь нельзя бросать, как ненужный хлам. Пиши мне, слышишь?

Можно оставить опостылевшую семью, нельзя бросать детей. Это их ранит больше всего на свете, потому что нет ничего более оскорбительного и более ненормального, чем измена отца или матери.

Что бы с тобой ни стало, я буду любить тебя, но в них я далеко не уверена, мой родной. Ты породил их, они твоё кровное, как же ты оставляешь их? Пиши нам.

Я говорю им, что ты нам пишешь, я сочиняю им письма от тебя и дарю от тебя подарки, которым они ужасно рады, потому что ты в последнее время всегда отлично «угадываешь», что именно надо прислать. Они тоже пишут тебе аккуратно и очень деловито. Ты уже вышел из санатория и устроился геологом куда-то на южную границу, говорю я им, у тебя всё секретно и ты поэтому не слишком подробно описываешь свою жизнь. Это просто счастье, что я так удачно придумала, иначе мне бы пришлось сочинять и сочинять, а у меня и времени для этого маловато, да, как ты понимаешь, не много и желания выдумывать.

Они хорошие мальчики и растут и развиваются очень правильно. Недавно ты «благодарил» их за поведение и трудолюбие, и это коротенькое письмо твоё читали вслух в школе. Как они были горды тобой, если бы ты знал!

Теперь они полюбили тебя ещё сильнее, потому что, уехав от нас, ты стал совершенно идеальным отцом — ни разу не забыл дней их рож-

дения и аккуратно поздравляешь со всеми большими праздниками, чего от тебя нельзя было раньше и ожидать.

В сущности, кроме рассеянности, у тебя и в самом деле было немного грехов, но и рассеянность можно было извинить, в конце концов — она была результатом какой-то целеустремлённости, ты умел забывать всё не самое главное ради основного. Ты не любил думать сразу о многом и был, очевидно, по-своему прав.

У нас уже зима. Первая зима без тебя. Если когда-нибудь твоё сердце сжимается от страха за маленьких, откинь все страхи, погаси беспокойство, будь твёрдо уверен — они со мной и, значит, всё в порядке.

Иногда мне кажется, что ты идёшь по земле, как странник, и на твоём пути будет ещё немало зим, пока ты не постучишь в наше окно.

Я отсюда никуда не уеду, пока не получу от тебя весточку. Сегодня или через годы ты можешь твёрдо сказать — они там-то, и они ждут меня.

Я не знаю, сочинил ли ты себе песню бодрости и какие слова ты выбрал для этой песни, если она у тебя есть. Но мне хотелось бы, чтобы в песне этой было слово — верность. Моя песня бодрости состоит всего-навсего из одного этого слова, и я не хочу другой.

Зима ли там, где ты, или весна — не знаю. Но пусть там, где ты, будет всегда тепло и солнечно. Пусть не стонут там ветры, не злодействует море, не наваливается на жизнь глубокий и глухой снег. Пусть там, где ты, поют такие чудесные птицы, которых мы знаем только по книгам и которые к нам, на север, не залетают даже из любопытства.

Будь здоров, мой родной!

Твоя А.

5

Милый, родной мой!

Я пишу тебе последнее письмо. Вероятно, оно не дойдёт до тебя, как не дошли все мои последние письма, но я не могу не написать тебе последний раз, потому что с сегодняшнего дня у меня начинается другая жизнь. Жизнь врозь. Для этой другой жизни мне не нужно будет так много слов любви, которыми я дорожила до сих пор.

Не знаю, жив ли ты? Но если жив и если однажды затоскует сердце твоё по нас, позови! Не я, так мальчики отзовутся на голос отца, и ты не будешь одинок в этом мире.

Прости меня, если я много, может быть, слишком много говорила о своей любви. Я — кукушка по однообразию песни. Всё «ку-ку» да «ку-ку» — на все случаи жизни.

Если ты когда-нибудь вернёшься к сыновьям и меня уже не будет с ними, твёрдо знай, что твой образ в их памяти — сильный, чистый и гордый. И ещё знай: наши с тобой сыновья — молодцы. Уже и сейчас они настоящие маленькие большевики. Говори им всегда правду, только правду.

На всякий случай пишу тебе, что у нас скоро весна.

Вся твоя А.

6

Дорогие мои друзья, милые вы мои!

Не знаю, как и благодарить вас за сердечное письмо. Оно поддержало меня в самые трудные минуты, когда я узнала о смерти Александра и когда мне стало казаться, что я погибаю сама.

Ваш голос во-время окликнул меня, и я осталась жить.

Мне очень стыдно за своё последнее письмо Александру, но я так хотела, чтобы он жил, что заставляла себя верить во что угодно, кроме его смерти. Впрочем, это сейчас уже не важно.

Когда вы пишете, что жизнь, приоткрывшаяся вам в моих письмах Александру, придала вам силы и бодрости, я верю, что это так, и горжусь этим, но не думаю и не могу думать, что это — исключение. Вам просто-напросто редко приходилось заглядывать в души близких. Я верю и тому, что, узнав мою жизнь и сроднившись с чувствами, которые я открывала одному мужу, вы уже как бы считаете себя ответственными за меня и мою семью. Мне хочется верить, что мои слова, как вы пишете, вооружали Александра дополнительной волей, и не моя вина, что сражение, которое он вёл за свою жизнь, не закончилось победой. Пусть же эти слова, не успевшие поддержать его, поддержат вас. Я верю вам, потому что сама не один раз убеждалась в великой силе одобрения. Слово со стороны очень часто как-то крепче собственного. Я почувствовала это по вашему письму. Я поняла тогда мускулами, что значит поддержка чужих людей, какую силу она таит в себе.

Я очень смутно представляла себе вас — инженера Хасанова, доктора Швеца, топографа Лосева, шахтёра Ласточкина, и должна признаться, вы интересовали меня постольку, поскольку вами был заинтересован Александр. И вот я с удивлением узнаю, что вы жили моими письмами, что они доставляли вам радость, что вы знаете и любите моих мальчиков и считаете меня близким человеком. Ваше письмо связало меня с жизнью какими-то новыми нитями. Я почувствовала, что не имею права растворяться в своём личном горе, забыв о вас. Вчера чужие и безразличные мне люди, вы сегодня как бы вошли в мою семью. Ваши голоса издалека — это плечи, на которые я твёрдо опираюсь, когда теряю силы.

Снова я буду ходить с мальчиками к большому почтовому ящику и опускать письма в далёкий край, где вы сражаетесь за свои жизни.

Человек ведь не только голова и пара рук, но и тот клочок земли, на котором стоит он, тот клочок неба, что голубеет над ним, даже не это, нет, — человек — это то, что не умирает вместе с телом, а остаётся в общем движении живых. Я с вами связана этим движением. Потеряв мужа, я приобрела сильных и верных друзей, и хотя горе моё от этого не становится легче, — легче жить.

Не забывайте меня. Мальчики мои сразу повзрослели после смерти Александра. Отлично знают вас всех по имени и отчеству. Пишите им отдельно, дорогие мои. Слово дальнего человека, который властно входит в их жизнь как неведомый друг, обладает чудесной силой. Они почувствовали себя мужчинами нашей семьи. Иногда они разговаривают со мной тоном старших.

Большое спасибо Хасанову за высланную посылку инжира, хотя я, по совести, даже не знаю, что это такое. Но этот инжир описан настолько вкусно, что мои ребята уже считают его пределом «вкусности».

Предложение доктора переехать на юг я, к сожалению, не могу принять.

Из своего далёкого далека целую вас всех, как братьев. Будьте сильны, боритесь, не унывая. Я пишу вам, как на фронт, и жду от вас подвигов. Не сдавайтесь!

Ваша А.

— Что с этой семьёй? — спросил я, возвращая майору письма. — Слышали что-нибудь о ней?

Не поднимая головы, он ласково улыбнулся.

— Да. Мы тогда же написали ей о гибели Лосева, и я попросил разрешения оставить письма у себя. Несколько моих фронтовых товарищей переписываются с нею и с мальчиками. В прошлом году они все трое гостили в Москве, в семье доктора Швеца, а нынешним летом решили мы с тем самым Ласточкиным, что упоминается в письме, поехать на Кавказ и взять с собой старшего. Ему уже шестнадцать. Очень способный мальчик, — добавил он с чисто отцовской гордостью.



Н. МОСКАЛЕВ

★

ВЫСОТНИКИ

Здесь над нами только самолёты,
А внизу — красавица Москва.
Кто сказал, что от такой работы
Может закружиться голова?

Краны всемогущими руками
К нам в пригоршнях носят сотни тонн,
Высотой равняя с облаками
Этажи из балок и колонн.

Сталь днепропетровская со звоном,
Не дрожит — надёжна и крепка,
Мы каркас от ржавчины бетоном
Защитим — ему стоять века!

Мы оденем сказочные стены
Вечною одеждой кирпичей,
Восхищая лепкой белопенной
Сотни поколений москвичей.

Окна дома шторой не затычем,
Пусть пронизан солнцем будет весь,
Пусть нальётся золотым сияньем
Счастье, поселившееся здесь.



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ШАНДОРА ПЕТЕФИ

С венгерского

1. Переводы М. Исаковского

★

РАКОЦИ

Свободы вождь, звезда на небе тёмном,
Великий сын родной своей страны! —
Слезой жаркой, гневом неуёмным,
О, Ракоци, сердца у нас полны.

Дела твои, которым был ты предан,
Мы довершим. Но жалко одного:
Не быть тебе на празднике победы,
Не встать тебе из гроба своего.

О, если б только это можно было —
Найти твой прах, вернуть его домой!
Но кто же знает, где твоя могила,
Какой тебя засыпали землёй.

Ты изгнан был из края из родного
За то, что больше всех его любил.
И век своею тяжестью суровой
Твою могилу смял и раздавил.

Но ты не мёртв — жива душа героя.
И смерть не может прикоснуться к ней.
Приди же к нам, спустись на поле боя,
Слети душой великою своей.

И стяг возьми невидимой рукою,
Неси его, веди своих солдат!
Пусть голос твой, приглушенный землёю,
Гудит в солдатском сердце, как набат.

И мы пойдём на смертный бой с врагами! —
Пусть сотни глаз нам грустно смотрят вслед,
Пусть сто смертей возникнут перед нами, —
Назад мы даже не посмотрим, нет!

И в дни победы, в пламени рождённой,
Ради которой ты дышал и жил,
Воскликнет наш народ освобождённый:
Кто начал дело, тот и завершил!

ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Нету отдыха моим рукам:
Я держу в одной руке стакан,
Во второй — оружие моё,
Во второй — то сабля, то ружьё.

Пусть господь не пощадит того,
Кто сейчас не выпьет ничего,
Пусть его утащит сатана!..
Пьём, друзья, за родину — до дна!

И ещё мы выпьем все, как есть,
И за храбрость, и за нашу честь.
Нам в бою без них никак нельзя,—
Наливайте же полней, друзья!

Как нам знать, что ожидает нас?—
Может, завтра, в предрассветный час,
Барабаны позовут в поход
За родную землю, за народ.

Украшение для родной земли
Из цветов свободы мы сплели.
И ему всегда на ней сверкать,
И его вовеки не сорвать!

Венгры в рабстве были только раз,
Во второй — нельзя осилить нас.
Если б даже захотел сам бог,
Он бы в рабство нас отдать не смог.

Тот, кто на свободу посягнёт,
На земле не долго проживёт:
Кровь его и жизнь его сполна
Мы осушим, как стакан вина!

МОЛОДОЙ БАТРАК

Гусару на коня не сесть красиво так,
Как на телегу сел тот молодой батрак.
Он сено свёз, свалил, сложил на чердаке,
На хутор едет он в телеге налегке.

Везут его волы, он смотрит молодцом.
Передний самый вол шагает с бубенцом.
Редчайший бубенец! — Так звóнок он в пути,
Что мог бы где-нибудь за колокол сойти.

Кричит батрак волам: — Вперёд, волы, вперёд!
И правою рукой с телеги кнут берёт,
Берёт с телеги кнут — сажени три в длину —
И хлещет им волов: — А ну, волы! А ну!..

А девушка в саду полола в этот час,
И парень подкатил к забору в самый раз.
Она, и не взглянув, по звуку поняла,
Чей свищет кнут и чья упряжка подошла.

И девушка в саду обрадовалась так,
Что вырвала цветок, а вовсе не сорняк.
А если вырван он — назад не посадить.
И парню тот цветок пришлось подарить.

А парень — что сказать? Не смог он, молодой,
Подарка не принять от девушки такой, —
От девушки такой, что, как цветок, сама,
И что совсем его, совсем свела с ума.

И гордо свой цветок он к шляпе прикрепил,
В телегу снова сел и дальше покатил.
На хутор держит путь, и, торопя волов,
Как жаворонок, поёт он песенку без слов

Поёт батрак о том, что в сердце он берёт,
Что чувствовал давно, а высказать не мог.
И песня так звучит, что видно по всему —
Все жаворонки окрест завидуют ему.

ТОРГ

«Глянь-ка, парень, сколько денег — не сочтёшь.
У тебя куплю я бедность. Продаёшь?
Я за бедность кошелек весь отдаю,
Но впридачу дай мне девушку свою».

«Если б это лишь задаток был от вас,
Да на выпивку б мне дали — во сто раз,
Да весь мир ещё впридачу заодно, —
Я бы девушку не отдал всё равно».

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ ХОЖУ Я...

Вдоль по улице хожу я,
Флягу добрую держу я,
И под скрипку вечер целый
Я пляшу, как угорелый.

Эй, цыган, играй такое,
Чтобы выплакал я горе!
Но вон там, под тем окошком,
Заиграй совсем другое.

За окошком тем, бывало,
Мне звезда моя сияла.
А теперь — зашла, затмилась, —
Знать, с другим она слюбилась.

Вот окно. Цыган, за дело! —
 Так играй, чтоб всё гудело! —
 Пусть неверная не знает,
 Как душа моя страдает.

★

2. Переводы С. Маршак

ЧТО ТУТ ЗА ШУМНОЕ ВЕСЕЛЬЕ?

Что тут за шумное веселье?
 Пирушка, свадьба, новоселье?
 Нет, по пути — сквозь дождь и тьму —
 Примчались всадники в корчму.

Корчмарша, гей! Без проволочки
 Налей вина из старой бочки.
 Что? Деньги? Будут! Кончим бой
 И рассчитаемся с тобой.

Налей вина из старой бочки
 Да не вели стесняться дочке.
 Целуй, голубка! Кончим бой
 И, обвенчаемся с тобой.

Так пировали, чередуя
 Огонь вина и поцелуя,
 Те, чью судьбу решал рассвет,—
 Как будто жить им сотню лет!

Где мы — на свадьбе иль на тризне?
 Тут холод смерти с жаром жизни,
 Любовь и смерть, вино и кровь,
 Смерть и бессмертная любовь.

ПРОЩАНЬЕ С 1844 ГОДОМ

Приходит год, покончив с прошлым годом.
 Как смертные, ведут они борьбу.
 И каждый новый год своим приходом
 Нам говорит: минувший год в гробу.

Что ж, погаси дыханьем уст отцветших
 Своей лампы беспокойный свет.
 Тебя, последний из годов ушедших,
 Я не впишу в число счастливых лет.

Ты в голову поэта, как оратай,
 Больших идей забросил семена.
 И, собирая урожай богатый,
 Душа счастливой гордости полна.

Вознаграждая труд мой неустанный,
 Дарит мне слава псздний свой расцвет.
 Но год, лучами славы осиянный,
 Я не впишу в число счастливых лет.

Пылать, как факел, сердцу было больно
 В руке судьбы, не балующей нас...
 Ты, одряхлевший год, сказал: довольно!
 И пламень мой неистовый угас.

Хоть силы жизни смерть перебороли,
 Но половины сердца больше нет.
 И этот год моей угасшей боли
 Я не впишу в число счастливых лет.

Минувший год, перед твоей могилой
 Я новой жизни вижу колыбель.
 Мне говорит надежды лепет милый
 О радости, неведомой досель.

Весь озарённый жизнью предстоящей,
 Былому году шлю я свой привет.
 Но всё же год, навеки уходящий,
 Я не впишу в число счастливых лет.

Тебя с мольбой народ венгерский встретил,
 К тебе он обратил усталый взор,
 Но громом в небе ты ему ответил,
 И этот гром звучал, как приговор.

И вот, когда лежишь ты распростёртый,
 Что я могу сказать тебе вослед?
 Год уходящий, год сорок четвёртый,
 Ты не войдёшь в число счастливых лет!

1849

...И вот в сорок девятый год
 Вступает Венгрия, в борьбе изнемогая.
 Зловещей тьмой закрытый небосвод
 Не погасил звезды родного края.
 Пускай моя изранена рука,
 Она сжимает рукоять клинка.
 И каждый мой удар оставит след —
 Кровавую печать на много лет.

Да будет этот след клеймом стыда.
 И пусть, когда настанет час великий —
 Последний час небесного суда, —
 На лбу злодея будет он уликой.
 Пусть, чёрные дела запечатлев,
 Он на убийц обрушит божий гнев,
 Чтоб не избегли справедливой кары
 Те, чьей рукой задушены мадьяры!

Но мы суда господнего не ждём.
 Когда ещё он будет — неизвестно,
 И столько раз мы слышали о том,
 Что милостив и благ отец небесный.

Так бесконечна к нам его любовь,
 Что он простит проливших нашу кровь.
 И потому над бешеными псами
 Последний суд вершить мы будем сами!..

КОТОРЫЙ СТАКАН?

Да неужто это пятый
 Был стакан?
 Ты сегодня рановато,
 Братец, пьян.

Вдвое больше ты стаканов
 Выпивал,
 А не помнится, чтоб пьяным
 Ты бывал.

И язык во рту с похмелья
 Уж не тот.
 Фермопильское ущелье,
 А не рот!

Что-то стал я выражаться
 Мудрено.
 Виновато в этом, братцы,
 Не вино.

Выпить бочку я сумею
 Всю до дна —
 И, ей-ей, не опьянею
 От вина.

Я служил в полку когда-то,
 Да, в полку,
 И носил палаш солдата
 На боку.

Тесноват мундир казённый,
 Но блестящ —
 Отвороты, кант зелёный,
 Сверху плащ.

Был солдатом я завзятым,
 Боевым.
 Вот те крест, я был солдатом
 Рядовым.

В первый год мне ранец новый
 Был тяжёл.
 Но до чина рядового
 Я дошёл.

И по той простой причине
 Снял мундир,
 Чтоб меня не снизил в чине
 Командир.

Где нельзя найти виновных,
Там солдат
По уставу безусловно
Виноват.

И поплатится тем паче
Рядовой,
Если он рождён с горячей
Головой.

Ваш совет — прощать обиду —
Не приму.
Мне псалмы царя Давида
Ни к чему.

Брать себя за кончик носа
Я не дам.
Знает каждый, что он косит,
Знает сам...

Впрочем, много я болтаю
Во хмелю.
Словно мельница пустая,
Я мелю.

Но без влаги не вертятся
Жернова.
Дайте мне стаканчик, братцы,
Или два,

Чтоб лилось струёй весёлой
В рот вино
И тоску перемололо,
Как зерно.

Целый час болтал я с вами.
А про что?
Про колёса с жерновами?
Нет, не то...

Перепутала дремота
Все слова,
И кружится отчего-то
Голова.

Надо встать, а встать нет мочи.
Время спать.
Ну, друзья, спокойной ночи...
Марш в кровать!

ДЯДЮШКА ПАЛ

Долго раздумывал дядюшка Пал
И, шляпу надев набекрень,
Сказал он: — Сам дьявол жену мне послал.
За мной она ходит, как тень.
На что мне она,
Ворчунья-жена?

Ей-ей, прогоню её прочь!.. —
Так в гневе сказал
Наш дядюшка Пал.

И выполнил слово — точь-в-точь.

Но скоро задумался дядюшка Пал,
И шляпу он сдвинул назад.
— Зачем я хозяйку напрасно прогнал?
Теперь уж и сам я не рад.
Запущен мой дом,
Хозяйство вверх дном
С тех пор, как ушла она прочь...

И так оно было — точь-в-точь.

Недолго раздумывал дядюшка Пал.
Он шляпу надел на висок.
— Ну что же поделать! Прогнал, так прогнал.
Какой в моих жалобах прок?
Остатки хозяйства в корчму поташу,
На ветер пушу.
Слезами беде не помочь!..

И выполнил слово — точь-в-точь.

Но снова задумался дядюшка Пал
И шляпу надвинул на лоб.
— Видать, без хозяйки моей я пропал.
Осталось ложиться мне в гроб...
Канат я куплю
И полезу в петлю
В ближайшую тёмную ночь!

Да так он и сделал — точь-в-точь.

СКАЗКА БЕЗ КОНЦА

Маленькому Лаци Арань

Здравствуй, Лаци!
Слушай, братец,
Потолкуем пять минут.
Ну, иди, коли зовут.
Да живей, одним прыжком
На колено сядь верхом.
Ты уселся? Ну так вот,
Сказочку послушай,
Да закрой покрепче рот
И открой-ка уши.

В эти розовые дверцы
Сказка лёгкая впорхнёт.
Долетит она до сердца
И до разума дойдёт.

Для тебя, мой шустрый Лаци,
Расскажу я сказку вкратце.

Жил да был когда-то
Человек усатый.
Взял он новое ведро
Светлое, как серебро,
И спустил его туда,
Где во тьме блестит вода,
Где на дне колодца
Видеть звёзды иногда
Любям удаётся...

Вот летит ведро на дно,
Стукаясь о брёвна,
А воротится оно
Медленно и ровно.

Но куда с ведром пойдёт
Человек усатый —
Поливать свой огород?
Иль во дворик у ворот,
Где живут телята?

Нет, с дубинкой и ведром
Он выходит в поле.
Озирается кругом...
Клад он ищет, что ли?

Ходит он вперёд-назад,
Вглядываясь зорко,
И находит он не клад,
А простую норку.

Вот и суслик — шустрый вор,
Что таскает зёрна.
Под землёй в одной из нор
Скрылся он проворно.

Но злодея от суда
Не избавит норка.
Ливнем хлынула вода
В норку из ведёрка.

Терпит суслик и молчит
В погребе глубоком,
А вода течёт, журчит
Грозовым потоком.

До краёв полна нора.
Перед входом лужа...
Значит, суслику пора
Выходить наружу!

До костей промок зверёк
У себя в подвале
И пустился наутёк...
Тут его поймали.

Взяв за шиворот зверька,
Держит суслика рука.
Стой, проказник юркий!
Не уйдёшь ты никуда.
В три ручья бежит вода
У тебя со шкурки.

Понесу тебя домой.
Полно вырваться!..

Этот суслик озорной —
Ты, мой милый Лаци!



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Вас. ФЕДОРОВ

★

КУЗНЕЦКИЕ СТАЛЕВАРЫ

1

Мастер мартеновского цеха Кузнецкого комбината Михаил Привалов возвращался из Москвы домой, в Сталииск. Стоя у окна в коридоре вагона, он перебирал в памяти московские впечатления.

Месяц назад его в числе лучших сталеваров страны пригласили на коллегию министерства, где решался вопрос о массовом внедрении скоростных плавок. Кроме того, Привалова попросили прочитать в Москве несколько лекций на тему: «Как мы варим сталь отличного качества». Лекции читал он впервые и был очень взволнован их неожиданным для него успехом у таких знатных сталеваров страны, как Захаров, Зинуров, Болотов. Радовало и то, что на коллегии удалось внести несколько полезных предложений. Предложение о планировании скоростных плавок, внесённое Приваловым, было признано настолько важным, что министр обещал включить его в свой приказ.

Поезд мчался по Уралу. В Челябинске в вагон, где ехал Привалов, вошла большая группа пассажиров. Один из них, весельчак и говорун, сразу обратил на себя общее внимание. Он без умолку болтал, оживлённо жестикулировал, сыпал шутками. Когда кто-то из товарищей упрекнул его за шум, поднятый в вагоне, он с подкупающей откровенностью развёл руками:

— Люблю распространяться!

Белёсые, наполовину седые волосы его задорно ерошились над морщинистым лбом. Маленькая трубочка с кривым мундштуком, зажатая в ладони, выпускала тонкий дымок. На переносице поблёскивали очки в серебряной оправе.

Стоя у окна в коридоре вагона, Привалов с любопытством наблюдал за этой компанией.

Вскоре из разговора он узнал, куда и зачем она направляется.

Новоприбывшие пассажиры были членами делегации Магнитогорского металлургического комбината. Они ехали проверять свой социалистический договор с кузнечанами. Не обращая внимания на Привалова, магнитогорцы принялись тут же разрабатывать план этой проверки. «Любитель распространяться», который оказался паровозным машинистом Сухаревским, говорил:

— Итак, я беру на себя весь транспорт!.. А вы, Савченко, возьмите на себя с Романовым мартеновские цехи, Савичев — домны. Изучаем работу на местах, потом сходимся и выработываем общую линию.

Предложение машиниста поддержали. Обер-мастер мартеновского цеха Савченко одобрительно кивал головой, а Романов, самый молодой сталевар Магнитки сказал:

— В цехах посмотрим всё как есть. Пусть сталевар работает, а я погляжу!

— Конечно! Завод — не театр, — сказал Савченко, — там нет декораций. Что на заводе есть, то и есть, а чего нет — так нет...

Первым познакомился с Приваловым всё тот же Сухаревский.

На следующий день, когда он в коридоре принялся уверять, что в соревновании двух комбинатов победит обязательно Магнитогорский, один из пассажиров спросил:

— А как смотрит на это наш знатный мастер товарищ Привалов?

— Привалов? — удивился Сухаревский. — Где он?

— В пятом купе едет.

Узнав в Привалове свидетеля вчерашнего разговора, машинист засмеялся.

— Слышали? То-то... Проверять вас будем дотошно!

На голос своего товарища пришли обер-мастер Савченко, сталевар Романов и другие магнитогорцы. Савченко, усаживаясь рядом с Приваловым, усмехнулся и, осторожно погладив лысину, сказал Сухаревскому:

— Теперь тебе представляется случай обратиться по адресу — хвали наш завод кузнечанину. А то всё его расхваливаешь перед нами, а мы и без того знаем...

— А как же мне свой завод не хвалить?! — возразил машинист. — Пятилетку он выполнил досрочно... Пусть-ка другие так поработают!

— А кто не так? — насторожился Привалов. — Вот нам даже календари нужны особые.

— Это почему?! — удивился магнитогорец.

— Очень просто. Запутались во времени... Из пяти лет мы уже два года работаем на будущее. А эти два года, в свою очередь, равны трём годам. Вот и не можем определить, в каком году живём.

— Первая атака Сухаревского отбита! — под смех товарищей объявил Савченко.

— Нет! Сдаваться не буду, — упорствовал Сухаревский. — У меня ещё другие козыри есть. Могу, например, сообщить, что на нашем заводе каждый сталевар — скоростник! Вот, смотрите — Романов: совсем ведь ещё молодой, ну, сами видите, а спросите, сколько скоростных плавок он выдал. Сколько, Володя?

— Много! — смущённо ответил Романов.

Сухаревский шутил, что на Магнитке-де Романову и ровесника достойного нет. Вот его и послали с делегацией. Пусть, мол, найдёт там себе комсомольца-ровесника и заключает соцдоговор.

— Такого мы ему найдём! — пообещал Привалов.

— А что?! Сухаревский подал интересную мысль, — оживился Савченко. — Ты, Володя, приглядишься там к кому-нибудь и делай вызов.

— Рекомендую Василия Устинова с моего блока. Хороший парень. Этот спуску не даст, — подзадорил Привалов.

— Володя, не робей!

— Работа, она сама покажет, — ответил Романов.

Всю остальную дорогу Привалов ехал в компании магнитогорцев. Весёлый машинист перезнакомил его со всеми членами делегации. Он был неутомим: шутил, рассказывал смешные истории из своей жизни. Много, видимо, сочинял, но сочинял складно, с увлечением.

Узнав, что Романов варит сталь для Куйбышевской гидроэлектростанции, Сухаревский начал поддразнивать своих товарищей:

— Ну, ребята, скоро вам, мартеновцам, конец. Ликвидируют вас.

— То есть как это?! — удивились сталевары.

— А так. Электричество вас заменит, — пояснил Сухаревский. — Должны же великие стройки подхлестнуть металлургию, повысить удельный вес электричества в производстве стали и чугуна. Простите, — сказал он, театрально наклоня голову и прижимая руку к груди, — я, правда, не сталевар, но я знаю это по транспорту. Паровозы заменяются электровозами, а почему мартеновские печи нельзя совсем заменить электрическими?

— Ты что же, хочешь нас — побоку, да?

— Ничего не напишешь. К тому идёт. Я вот потихоньку занимаюсь электротехникой на случай, если у нас появятся электровозы. Вызовет начальник цеха, скажет: «Товарищ Сухаревский, ваш паровозик мы вчера отправили в электроплавильню. Куда вас по дружбе устроить, выбирайте: или стрелочником, или хранителем заводской тишины, а?» А я ему из кармана — диплом электромашиниста.

Сухаревский смешно, в лицах, передавал свой разговор с начальником цеха.

— А что? Он правильно говорит, — сказал кто-то.

— А с домнами тогда как? — спросил Савичев. — Останутся?

— А что твои домны?!

— Нет уж, Николай Алексеевич, это ты брось! — обиделся Савичев.

Но Сухаревского удержать было трудно. По его словам выходило, будто мартены и домны скоро можно будет сдавать в музей.

Привалов слушал Сухаревского с улыбкой.

— Конечно, великие стройки создадут изобилие электричества, — заговорил он. — Но на это уйдёт лет десять. А пока мы должны добиться того, чтобы ежегодно давать 60 миллионов тонн стали, 50 миллионов тонн чугуна. Кто это сделает? Ясно — домны и мартены! Мы ведь постоянно совершенствуем их конструкции. Разве десять лет назад они были такими, как теперешние? Разница огромная, как между простой лодкой и оснащённым кораблём. Нам на них ещё плыть да плыть!

В Сталинск приехали рано утром. За виадуком гостей ждали машины. Встречать делегацию на вокзал прибыл старший инженер технического отдела. Увидев среди делегатов своего мастера, он заметно обрадовался: присутствие Привалова избавило его от лишней официальности. Сам Привалов, сойдя на кузнецкую землю, почувствовал себя тоже ответственным за приём приехавших товарищей. Поэтому, когда старший инженер поторопился сообщить, что в гостинице магнитогорцев ждут номера, он возразил:

— Нет, сначала они поедут ко мне... Гостиница от них не убежит. Правильно, товарищи?

— Многовато нас, Михаил Моисеевич, — нерешительно заметил Савченко.

— Ничего! Моя жилплощадь выдержит.

Большинство магнитогорцев видело Сталинск впервые. Сухаревский, усевшись рядом с Приваловым, попросил шофёра ехать как можно тише, чтобы посмотреть город. Он то и дело спрашивал:

— А це що таке?

— Это дворец металлургов и дом техники, — отвечал Привалов.

Гости ещё смотрели на солнечные окна дворца, на стройные колонны его портала, а навстречу уже двигались другие здания, ярко поблёскивала кафельная облицовка новых домов.

— Скоро начнём строить гостиницу в четырнадцать этажей... — говорил Привалов.

— Вот это размах! — восхищался Сухаревский. — За Москвой тянешь.

Машины шли по проспекту Молотова, обсаженному белыми берёзами вперемежку с зелёными елями. Погода стояла тихая, ясная. На ветвях деревьев искрился снег. Пока ехали по проспекту, не было видно металлургического комбината, но вот машины переехали мост через мутную Абушку, и перед делегатами открылась знакомая картина. От коксотушителя поднимался белый пар и окутывал домы и трубы, над которыми временами вспыхивало лёгкое пламя. Все долго смотрели в сторону завода. Привалов шурился от удовольствия. Доменщик Савичев, сидевший рядом с шофёром, обернулся и сказал со смехом:

— Чудак Сухаревский! Да разве без домен можно?!

— Товарищи! — примирительно воскликнул машинист: — Я ведь разговор-то вёл о коммунизме.

Машина остановилась у подъезда многоэтажного дома, и Привалов повёл гостей к себе.

2

В диспетчерской мартеновского цеха, на специальных полках, устроенных с небольшим наклоном, разложены нарядные книжицы малого формата. На каждой напечатано: «Лицевой счёт сверхплановой экономии». Такие счета имеют все мастера и сталевары цеха. Их завели после того, как сверхплановая экономия стала не достоянием одиночек, а законом для всего коллектива. В этих счетах — данные, определяющие работу сталевара за каждый месяц. Количество сверхплановой стали с точностью до полутонны, объём сэкономленного газа и даже воздуха, идущего в печь, — всё проставлено здесь. Книжки лицевых счетов лежат побригадно. Три бригады — три полки.

Но лицевой счёт в диспетчерской — это продолжение большого счёта, который ведут сами сталевары со дня своей первой плавки.

Привалов начал вести его с 1934 года, проработав подручным после окончания школы ФЗУ всего один год.

Первую плавку сталевара можно сравнить с первым самостоятельным вылетом молодого пилота. На земле лётчик волнуется за каждую мелочь, от которой может зависеть успех полёта. Но потом, когда самолёт отрывается от земли, пилоту волноваться уже некогда. Он слит с машиной. Каждое его движение — это движение машины. И только потом, снова очутившись на земле, он удивится: как это я не испугался?! Такое же чувство бывает у молодого сталевара, когда горячий металл, только что выпущенный из печи, течёт по жёлобу.

Как-то, в беседе с друзьями вспоминая о своей первой плавке, Привалов сказал:

— Сам я удивлялся, как это у меня первая плавка удачно получилась. Да и потом больших неудач вроде как и не было...

— Ты хитрый, вот оттого и не было, — смеясь, заметила ему жена. — Забыл, как подговаривал меня подвезти тебе вне очереди чугуна?!

— Разве? — удивился Привалов.

— А как же! Вот сейчас выдам тайну. — И стала рассказывать: — Я тогда работала машинистом электровоза. Развозила по печам жидкий чугун. Еду однажды, поглядываю на ковши, вдруг подбегает ко мне молоденький сталевар, запыхавшись, спрашивает:

— На какую везёшь?

— На восьмую...

— Завези на мою.

— Ругаться будут,— говорю. Нельзя, мол. Ну, а потом... угворил он меня. Правда, попало нам обоим за это. Тогда-то мы и познакомились.

Вскоре комсомольская печь, на которой работал Привалов, вышла в передовые. О молодом сталеваре уже писали в газетах. Однажды на комсомольском собрании Привалову пришлось докладывать о работе печи. Показатели были хорошие, даже лучше чем у многих опытных сталеваров. Но с места крикнули:

— Расскажи, как ты начальство обманываешь?

Дело было так: у Привалова плавка подходила к концу, а ковши для стали подали под другую печь, где металла ещё не был готов. Тогда Привалов послал своего подручного к диспетчеру: «Скажи, что сорвало откос и сталь может пойти через заднюю стенку...» Конечно, ковши были сейчас же поданы комсомольцам. Тревога, поднятая Приваловым, помогла, но тревога-то всё-таки была ложной!

— Я не виноват, что меня не обеспечивают своевременно ковшами! Не для того же мы торопились варить сталь, чтобы потом квасить её в печи. Правда, ребята? — оправдывался на собрании Привалов.

Разгорелся спор.

Одни поддержали Привалова:

— Правда! Не квасить же металл...

Другие кричали:

— А зачем обманывал?

Спор решил горновой доменного цеха, прикрепленный партийным комитетом к комсомольской организации. Он выступил после всех и сказал:

— Это — урок руководителям цеха. А обманывать всё же не годится.

После этого прошло несколько лет, многое в цехе изменилось. И вот однажды Привалов прочёл в газете о лётчике, налетавшем миллион километров. Заметка о нём называлась: «Лётчик-миллионер».

Прочитав эту заметку, Привалов отыскал тетрадь, в которую он записывал количество выплавленной им стали, и начал производить подсчёты. Росли колонки цифр. Трёхзначные числа, складываясь, становились пяти- и шестизначными. А итоговая цифра доросла до миллиона.

— Мы с тобой миллионеры, — сказал Привалов жене.

Она не поняла его.

— Подсчитал я, сколько тонн стали наварил за всё время, — объяснил Привалов. — Знаешь сколько? Один миллион тонн и ещё пятьдесят тысяч!

Это был первый из приваловских миллионов.

Началась Великая Отечественная война. Мастер, тогда уже ставший коммунистом, по суткам не выходил из цеха. Тут уже было ему не до счёта, не до записей. Но кто-то за него считал, записывал, и в 1943 году мастеру напомнили о его втором миллионе. Этот второй приваловский миллион вырос особенно быстро, ибо годы войны ознаменовались внедрением в производство скоростных способов плавки, опирающихся на передовую механизацию. Большинство механизмов, которыми славится Кузнецкий комбинат, было введено в строй как раз в ту пору.

В 1948 году Привалов был делегатом на конференции металлургов Востока, состоявшейся в Свердловске. На этой конференции были приняты новые повышенные нормы выпуска металла на доменных и мартеновских печах, на прокатных станах. Привалов тогда взял обязательство перевыполнять новые нормы съёма стали и работать без брака.

Вернувшись с конференции, он занялся пересмотром технологии, поисками новых резервов. Слово, данное на конференции, обязывало. Некоторые сталевары упрекали его:

— Нахвастал на весь Союз, а теперь цеху выкручиваться. Если не сделаем — позор на весь Восток.

— Вот и надо сделать! — отвечал он.

Велика сила привычки. Каждый день сталевар повторяет свои заученные приёмы. Однажды мастер наблюдал за выпуском стали на печи Мочалова. Сразу же после выпуска плавки сталевар бросился заделывать выпускное отверстие. Минута проходила за минутой, а печь в это время оставалась пустой, хотя для завалки были подготовлены и руда и металлический лом. Белое пламя окисляло подину, понижая её стойкость. И тогда впервые мастер спросил себя: «Надо ли сразу закрывать отверстие?»

Прошло больше пяти минут не только бесполезных, но и вредных для печи. Когда же Мочалов, заделав выпускное отверстие, дал команду заваливать руду, Привалов поразил его неожиданным вопросом:

— А зачем ты до завалки руды закрыл отверстие?

— Как зачем?! — удивился Мочалов. — Мы всегда так делаем!

— Знаю, что делаем так, а зачем — вот вопрос.

Мочалов только развёл руками.

В печь завалили руду, и она начала прогреваться.

— Почему бы не сейчас вот закрывать отверстие? А руду заваливать сразу же после выпуска стали. Сейчас первый слой руды уже прогрелся бы...

— А ведь верно, Михаил Моисеевич, — согласился сталевар.

Так возник новый способ завалки руды при открытом выпускном отверстии. Старший инженер технического отдела, сразу оценивший это предложение, посоветовал:

— Будем продолжать работу. Пересмотрим технологию завалки на всех стадиях. А то анархия какая-то получается — кто как хочет, так и заваливает. Нужно найти самый рациональный метод завалки и закрепить его на всех печах.

Первое предложение Привалова было только счастливой находкой. Новая же задача требовала внимательного изучения всех существующих приёмов, проверки результатов, к которым приводили эти приёмы.

Все сталевары работали по-разному. Сравнивая и сопоставляя их приёмы работы, Привалов пришёл к новому методу завалки шихты — чередующимися слоями руды и известняка. Он установил точное время для прогрева каждого слоя. А для того, чтобы содержимое печи прогревалось лучше, его следовало перемешивать мульдой — стальной коробкой, насаженной на хобот завалочной машины...

Технический отдел завода признал, что новый метод оказался более эффективным, чем применявшийся в цехе и рекомендуемый учебными пособиями. Отдел выпустил технологическую инструкцию, которая предписывала всем сталеварам строго придерживаться правил, выработанных Приваловым.

За внедрение новой технологии Привалов получил Сталинскую премию.

Спустя год его личный счёт дорос до трёх миллион тонн.

Снег лежал на заводском дворе, на крышах корпусов, на эстакадах. Металлические конструкции доменных цехов заиндевели и стали белыми. Лишь домны и каулеры, оставаясь попрежнему чёрными, величественно возвышались над этим белым царством. Чёрными были и гигантские газопроводы, охватившие все цехи своими ответвлениями.

Привалов впервые после поездки в Москву поднялся на заводскую площадку. Одна из домен только что выпустила чугун, и теперь в направлении мартеновского цеха медленно катились чугуновозные ковши. Над ними поднимался светлый дымок. Мимо Привалова прошёл состав шлаковых ковшей. От них пахло привычной теплотой. Паровоз весело прогудел, спеша на шлаковый двор.

В цехе ещё не разошлась утренняя мгла, и печи напоминали корабли, стоящие у причала.

На печи Мочалова идёт заливка чугуна. Крановщик так ловко наклоняет ковш над жёлобом, что ни одна капля металла не падает на рабочую площадку. Глаза Мочалова блестят. Подняв вверх худошавое лицо, он следит за струёй чугуна. И по мере того, как наклоняется над жёлобом ковш и поднимается его днище, приподнимается и сам Мочалов. Он ничего не видит вокруг. Привалов подходит к нему вплотную. Только теперь сталевар замечает мастера:

— Михаил Моисеевич! Приехал!.. — радостно говорит он, продолжая подавать сигналы крановщику, чтобы тот убрал пустой ковш. Убедившись, что крановщик понял его, сталевар пожимает Привалову руку.

— Ну, как там? — спрашивает он, подчеркнув слово «там».

Привалов улыбается. Все, кого он ни встречал по приезду, спрашивали его примерно вот так же: «Ну, как там?». «Там» — это в Москве.

— Там всё хорошо, — отвечает Привалов. — На высотном здании видел нашу сталь. Эх, куда она поднялась — чуть не до звёзд! Да, вот что я хотел спросить, — спохватывается он. — Ехал я домой вместе с магнитогорцами, с делегацией на наш завод, так они хвалились, что варят сталь для, строек коммунизма. А наш цех не варит ещё?

— Да не слышно что-то.

Над жёлобом появился второй ковш чугуна. Увидев, что Мочалов занят разговором, крановщик, не дожидаясь его сигналов, стал осторожно заливать металл. Сталевар, исподволь следя за ним, одобрительно сказал:

— Капли не разольёт. — Помолчав, он сообщил: — А мы тут, пока ты был в Москве, крепко поработали! Считай, что знамя горкома — за нами.

— Что, есть уже решение?

— Была бы сталь...

Не прошло и двадцати минут, как Привалов уже командовал у печей, словно и не отлучался из цеха. Глядя в смотровое отверстие печи Фёдорова, приготовившегося заливать чугун, он недовольно кричал сталевару:

— Зальёшь сейчас — плавку затянешь, голова!

— Да лом-то прогрелся...

— Не прогрелся! Видишь, он ещё пятнистый!

Поверх руды и мелкого лома громоздились огромные металлические бруски — отходы прокатного цеха, вернувшиеся на переплавку с блюминга. На их раскалённых светящихся боках были видны темноватые пятна... Значит, жидкий чугун заливать ещё рано: он потеряет свою температуру, и процесс плавления лома задержится. Но и запаздывать с заливкой тоже нельзя. Если шихта расплавится полностью, то при заливке чугуна произойдёт бурная реакция. Может случиться и авария. Поэтому нужно точно выбрать момент заливки.

Перебегая от окна к окну, Привалов проверил всю шихту и только после этого наказал:

— Зальёшь чугун через десять минут.

На задней площадке печи появился начальник цеха Климасенко. Он останавливается у барьера, засунув руки в карманы стёганки. Смуглое лицо его озабочено.

— Леонид Сергеевич! — окликнул мастер.

— А-а! Наконец-то! Во-время, во-время! Ой, как во-время.

— А что? — насторожился мастер.

— Жарко нам будет в предпраздничные дни, — уклончиво ответил начальник. — До Октябрьской годовщины осталась неделя...

— Тут-то и нажимать... Не впервой!

— Нет, на этот раз будет особенно жарко, — многозначительно подчеркнул Климасенко. — Одна домна перешла на литейный чугун, и нам придётся сидеть почти на одном ломе. Понимаешь, чем это пахнет?

— Выходит, что к празднику придём с долгом. Так, что ли?

— Нет, не так.

— На что же тогда рассчитывать?

— На самолюбие.

Они понимающе посмотрели друг на друга, и начальник цеха пошёл в диспетчерскую, чтобы принять рапорт от сталеваров ночной смены.

— Идём вместе. После рапорта расскажешь о Москве...

Сталевары, явившиеся на рапорт, уже знали, что в следующую смену они будут работать на одном ломе. В диспетчерской стоял лёгкий шумок. Ругали производственный отдел: дескать, под праздник подложил такую свинью. Парторг цеха Беликов, приглаживая ладонью тёмный чуб, спрашивал:

— Что же, по-вашему, ради нашего успеха и литейного чугуна не выпускать? Давайте лучше думать о том, как нам выйти из такого затруднительного положения.

Климасенко сел за стол, нетерпеливо постучал карандашом. Все притихли, быстро рассаживаясь по местам. Люди этой смены — в большинстве заслуженные, имеющие почётные звания и ордена. Но на рапорте никакие заслуги не избавляют сталевара от выговора, если тот допустил ошибку. Бывают случаи, что лауреату Сталинской премии Чалкову достаётся больше, чем молодому сталевару Устинову. Сейчас Чалков сидел на первой скамье, устало откинув голову. Сегодня плавка у него прошла особенно хорошо.

Начальник цеха посмотрел в плавильный журнал с данными о ходе плавки и, не поднимая от него глаз, вызвал:

— Чалков.

Тот встал, чётко доложил:

— Принял печь после заливки чугуна. До заливки шихта грелась два с половиной часа. Дал плавку в пять часов утра. Сдал печь после спуска вторичного шлака.

— Сколько шла плавка?

— Восемь часов сорок минут.

— Поджоги есть?

— Нет.

— Хорошо. Товарищ Аверкин...

— В час тридцать залил чугун. В семь часов тридцать пять минут выпустил плавку. В печи всё в порядке.

— Какое время должны были дать?

— Девять часов.

— А дали?

— Девять часов и десять минут.

— Слабо.

— Конечно, слабо, — согласился Аверкин. — На доводке мы задержались.

— А почему? Что, не знали, как доводить?

— Леонид Сергеевич, — жалобно начал сталевар, — машинист завалочной машины промешкал...

Если бы посторонний человек судил о работе цеха только по разговорам на цеховом рапорте, то у него сложилось бы превратное представление о делах всего коллектива. На рапорте обычно стараются выявить все недостатки, чтобы немедленно их устранить. Об успехах же говорят вскользь, принимая их как должное.

Заканчивая приём рапортов, Климасенко нарочито спокойно спросил:

— Так что же, товарищи сталевары, Октябрьскую-то годовщину долгом будем встречать, так, что ли?

— Тут, Леонид Сергеевич, без долга не обойтись, — сердито сказал пожилой сталевар. — Выше домны не прыгнешь.

— Прыгали и выше!

— Осмеют на весь город...

— Не по нашей же вине будет долг — какой тут смех?

— А ты что, будешь ходить и объяснять: дескать, домна виновата, а мы, сталевары, ни при чём, да?

Страсти опять разгорелись. А когда Привалов сказал, что на завод приехали делегаты из Магнитогорска, все замолкли.

— Этого ещё недоставало, — сказал кто-то тихо.

— Долгу ещё нет, а вы уже запаниковали, — заговорил парторг. — Можно вполне устоять, хотя бы на ста процентах, потеряв, скажем, пять-шесть процентов обычного перевыполнения...

— Лучше бы потерять то, чего у нас не было, — перебил его Мочалов. — Охотно бы потерял на этот раз всё, что находится за ста двадцатью процентами.

Эта шутка рассеяла мрачное настроение.

Сталевары стали искать выхода из трудного положения. Было очевидно: частности не решат задачи.

— Перестройку работы надо ставить на широкую ногу. Надо работать по методу Ковалёва, — сказал Привалов.

— Ковалёв ткач, а мы сталевары.

— А Стаханов был шахтёром. Не в этом дело. Важен метод. А метод Ковалёва — это научный подход к организации труда. Механизмов у нас много. И мы, по существу, сняли с нашей механизации только сливки, а до глубин ещё не добрались. Ещё очень много лишних, непродуманных движений, разнобоя... Один состав тележек мешает другому. Правильно говорю?

— Правильно!

— Был я на московском заводе. Приглядывался... Всё у них продумано. Мы вот суточный график составляем только для сталеваров, а машинисты работают почти втёмную.

— Не почти, а в самый раз, — буркнул машинист.

Устинов пожаловался:

— Мне нужна была заправочная машина, а мостовой кран в это время раскатывал в другой стороне. Куда это годится?

— Вот что, товарищи, — заключил Климасенко, — предложение Привалова очень своевременно. Механизация у нас комплексная и при перестройке работы нужно учесть весь комплекс механизмов и всё подчинить суточному графику. Должен признаться, Михаил Моисеевич, что мы надеялись на отдел организации труда: мол, придут люди и начнут

нам внедрять метод Ковалёва. Придётся братья самим. Верно, Пётр Дмитриевич? — обратился он к парторгу.

— Конечно. А инструктора можно вызвать и оттуда.

Из задних рядов крикнули:

— А он уже второй день ходит по цеху.

Цеховой рапорт закончен. Но трудно уйти домой, не побывав ещё раз на своём блоке! Как там дела у сталевара Волкова?

Волков молод и нетерпелив. Сегодня он хочет дать образцовую плавку. Вчера его упрекнули в том, что он выпустил плавку чуть-чуть холодноватой. «Хорошо, — думает он, — сегодня я подогрею!» — и вот перед выпуском стали начинает подавать жару. Невысокий, ладный, он стоит за пультом управления и почти вызывающе смотрит на свою печь, как бы говоря: «Что ни прикажу — сделаешь!»

А в это время, вопреки желаниям сталевара, в печи «заваривается» неприятность. Печь словно подмигивает ему смотровыми глазками: «Не зазнавайся!»

Но Волков не понимает, что происходит в печи, и Привалов гневно обрушивается на него:

— Остудил плавку — грел до того, что остудил.

Последняя фраза звучит странно. Но это так. Перегрев металла вызывает загустение шлака. Теплоотдача через такой шлак затрудняется, и металл начинает остывать. Хотел получить горячую сталь, а получил холодную.

Правильному шлакообразованию Привалов придаёт большое значение. «В конечном счёте, — учит он молодых сталеваров, — при варке стали самое главное — это правильный шлаковый режим». Он считает, что название понравившегося ему романа В. Попова «Сталь и шлак» неточно. Стойких советских людей писатель сравнивает в своём романе со сталью, а человеческие отходы — со шлаком. Но ведь человеческие отходы вредны обществу — они мешают нашим успехам, а шлак необходим — без шлака не будет и стали.

Помогая Волкову исправить его ошибку, Привалов время от времени посматривал на проходные ворота цеха — не появятся ли оттуда магнитогорцы.

4

Делегатам магнитогорцев прежде всего было предложено встретиться с начальниками и парторгами цехов, но они от этого отказались:

— Сначала познакомимся с их работой, а потом можете организовать любые встречи...

Тогда им предложили сопровождающих.

— Что мы — корреспонденты, что ли?! — удивился Савченко.

— От сопровождающих отказываемся... Будем работать так же, как работаем дома... — сказал руководитель делегации инженер Бражник.

Пройдя вместе со всей делегацией по двум-трём цехам, обер-мастер Савченко и сталевар Романов распрощались с товарищами и повернули к мартеновскому цеху. Его окна полыхали отражённым огнём плавков. Из ворот выкатывался длинный состав с остывшими изложницами.

И без проводников гости хорошо ориентировались на заводском дворе. Движение изложниц, шлаковых и чугунных ковшей подсказывало, куда идти.

Савченко и Романов появились в мартеновском цехе в самое горячее время. Им сразу же бросилась в глаза суетливая беготня сталеваров. Узкоколейка, проходившая под окнами печей, была забита тележками с пустыми коробками. Завалочная машина, зацепив хоботом состав те-

лежек, старалась отогнать его в сторону... А на подходном пути стояло ещё полтора десятка тележек с ломом. По всему было видно, что в цехе что-то не ладилось. Своё первое впечатление Савченко выразил неопределённой фразой:

— Н-да!..

Здесь гости увидели Привалова. Мастер хлопотал около печи. Тележки, стоящие на путях, мешали ему подобраться к смотровым отверстиям. Тогда он вскочил на одну из тележек, нагружённую ломом, и, ступая по чёрным болванкам и частям каких-то машин, стал заглядывать в окна.

— Дёмин! — кричал он высокому сутулому человеку, который руководил продвижением составов. — Посмотри, затор-то какой! Надо бы раскислители подать мостовым краном. — Потом стал сигнализировать крановщику, наблюдавшему сверху за суетой.

Наконец Привалов заметил гостей и подошёл к ним. По тому, как он заторопился объяснить причину суматохи, гости поняли — кузнечному мастеру неловко перед ними.

— Такое дело... Одна домна перешла на литейный чугун. Работаем теперь почти на одном ломе. Перегрузка на путях...

— Конечно, — согласился Савченко, — тут только на одну плавку сколько навозить надо!

— Вот, вот, — обрадованно подхватил Привалов. — Трудновато нам будет... Но мы решили давать столько же плавков, сколько и раньше. И нельзя не дать! Если не дадим, то к празднику у нас появится большой долг. А должникам какой праздник?!

— Н-да, это ситуация! — проговорил Савченко.

Как только рассосалась пробка на первом подходном пути, Привалов повёл гостей к своим печам, знакомя их по дороге со сталеварами. Все уже знали, зачем приехали гости.

— Наш почётный металлург, — отрекомендовал Привалов сталевара Мочалова. — Обещал, что сегодня и без жидкого чугуна даст плавку за десять часов. Да вот что-то на газ жалуется.

Печи работали на смеси трёх газов — доменного, коксового и генераторного. В этот день генераторного подавали меньше обычной нормы. Недовольный газом, Мочалов говорил:

— Ленивый...

Желая проверить, как работает «ленивый газ» на печи Мочалова, Савченко пошёл заглянуть в смотровой глазок первой заслонки. Сам Мочалов в это время находился на пульте управления и поддавал газу. То, что Савченко увидел в печи, ему не понравилось: лом был загружен увалами. Тяжёлые куски стали, чуть красноватые, громоздились один на одном, затрудняя нормальное движение факела пламени. Его завихрения отражались на своде, и свод уже начинал потихоньку «плакать», то есть оплавляться...

Савченко огляделся. Привалов был занят на соседней печи. Да и говорить ему не стоило. Но и не вмешаться нельзя было. И магнитогорский делегат поспешил на пульт управления к Мочалову.

Через две-три минуты они вдвоём стояли у смотрового глазка. От печи шёл крепкий жар. Магнитогорец добродушно улыбался. Мочалов сконфуженно говорил:

— Спасибо за помощь... Промазал бы.

О вмешательстве магнитогорца в работу блока не узнал бы ни Привалов, ни Климасенко, если бы сам Мочалов не рассказал им. Сначала этот случай показался им обидным для чести цеха, но потом, когда рассудили, то пришли к выводу — обидного ничего нет: товарищеская помощь.

— Мы сами поступили бы так же,— сказал начальник цеха.

Но Мочалову он всё-таки внушения сделал:

— Газовали — веселились... Нельзя так. Сокращай время плавки, но не сокращай жизнь печи. Не на глазок ведь работаем.

После рапорта, когда сталевары отправились в технический кабинет на занятия по техминимуму, мастера и начальники смен ещё долго оставались в диспетчерской — подводили итоги рабочего дня.

— Стоят Савченко с Романовым около пятой печи, — рассказывал Привалов. — Романов посмотрел на часы и говорит: «Александр Иосифович, нам пора в партком итти». «А что, разве смена кончилась?» «А зачем нам конец смены?» «Я и забыл, что в гостях... Привычка».

— Слушай, Михаил, — обратился к Привалову Климасенко, — тебе Савченко так и не сказал о промахе Мочалова?

— Нет. Я ждал, что вот-вот скажет. Из деликатности, что ли, промолчал.

— Они ещё своё скажут! — заметил начальник смены Дёмин.

— А как они — ты вот разговаривал с ними сейчас, — какое у них мнение о нас? — допытывался у Привалова начальник.

— Романов-то, видать, довольный... А у Савченко сразу не узнаешь. Деловой, спокойный — всё замечает, где неладно — говорит прямо, но оценок не делает... Рано, говорит, оценивать. А вот если бы здесь был их Зинуров, с которым я встречался в Москве, он бы дал жару нам... Слышать не может, чтобы на другом заводе было лучше.

— Магнитогорцы — народ дотошный, — заметил мастер Широков.

— Ещё бы! — поддержал его Привалов. — Сегодня Савченко мне сказал, что Зинуров наказывал делегатам, дескать, попридирчивей проверяйте работу кузнечан. Да и на город, говорит, посмотрите. Такой ли он красивый, каким его расписывал на лекции Привалов.

— Видно, наш мировой рекорд не даёт ему покоя, — сказал мастер Серков.

— Вы не особенно гордитесь мировыми победами одной печи, — заметил начальник цеха. — Нам надо добиться, чтобы все печи работали так же...

Кое-кто из мастеров дневной смены уже собирался итти домой, когда в диспетчерскую сообщили, что на печи сталевара Голенищенко произошла задержка — металл сорвал новую подину, которую день назад наваривали Ляхов и обер-мастер Лаушкин.

— Эх, а ещё магнитогорцев догонять собираемся! — с сердцем сказал Климасенко.

Старик Лаушкин последнее время часто прихварывал, поэтому, когда он приходил в цех, ему поручали руководить наваркой подин. Это очень ответственная работа. Подина печи — её дно, где плавится металл. Для устойчивости подину облицовывают огнеупорной смесью. И если эту многослойную облицовку не проварить так, чтобы она спеклась в плотную массу, то бушующий металл может её сорвать и уйти из печи через кирпичную кладку...

В последний раз, выгадывая время, Климасенко дал Лаушкину самый предельный срок для наварки — шесть часов. Старик поспорил, но согласился. Подину наварили в заданный срок, но вот теперь её сорвало. Лучше Лаушкина эту работу никто не делал, и тем обиднее была всем его первая неудача, да ещё в такое время.

Через несколько минут после неприятного известия в диспетчерской появился и сам Лаушкин. Приоткрыв дверь, старик постоял, словно раздумывая — входить или нет, — и вошёл как-то неловко, боком... Климасенко посмотрел на него и нахмурился. Многие из уважения к старому

обер-мастеру, которому предстоял неприятный разговор, сейчас же вышли из диспетчерской. Остались Климасенко, Беликов и Привалов.

Лаушкин тяжело сел на лавку, держа между коленями свой огромный треух, и опустил стриженую голову. Климасенко спросил его с деланным равнодушием:

— Потерпел поражение?

— Ну, пускай... — согласился старик и вдруг признался: — Неудобно... Очень неудобно... первый раз.

— Может быть, ямины от шлака не прочистили? — осторожно спросил Климасенко, давая старику возможность оправдаться.

— Да нет. Просто не проварили, — вздохнул Лаушкин. — Разве можно за шесть часов проварить восемнадцать тонн магнетита! Да ещё без окалины...

— Теперь надо за четыре часа поправить, чтобы в общем получилась старая норма наварки.

Разговор прервал начальник смены Морохов. Войдя в диспетчерскую, он сообщил, что на одной печи обнаружен небольшой поджог свода. Климасенко в разговоре с Лаушкиным ещё сдерживал себя, но после этого известия не выдержал и обрушился на Морохова. Парторг Беликов, проводив взглядом выходящего из диспетчерской Морохова, укоризненно поглядел на начальника цеха. Тот, как бы оправдываясь за свою горячность, вздохнул:

— Эх вы, пламенные печи, согресишь из-за вас.

5

Беспокойный и торопливый, Климасенко в горячую минуту мог кричать на человека, сделать ему нагоняй и быстро забыть об этом. Он считал, что сталевары и мастера задачи свои знают не хуже его, начальника, а коли так, — делал он вывод, — то нечего впадать в «филозофию» по поводу их ошибок, а лучше отругать — и всё.

На следующий день после случая с Лаушкиным и Мороховым у Климасенко вышел спор с парторгом Беликовым. Парторг упрекнул начальника цеха в излишней резкости по отношению к подчинённым.

— А как же иначе, если работа плохая?! — удивился Климасенко. — Разве это работа? Говорим о культуре в производстве, а сами...

— Об этом и речь. Культуру в производство внедряем, а о культурных отношениях между собой забываем. Ты вчера отругал инженера Морохова, а сегодня он ходит сам не свой.

— Барышня какая-то, а не начальник смены, — махнул рукой Климасенко. — За пять лет никак не может отвыкнуть от своих институтских привычек.

— А зачем ему отвыкать от них? Пятнадцать лет учили человека, сделали инженером, культурным человеком, а он пришёл в цех — и, нá тебе, — отвыкай!

— Ну ладно, хватит уж тебе, — примирительно сказал Климасенко. — Согласен, погорячился я вчера. А я вот тебя тоже хочу упрекнуть. Скажи, ты не задумывался над тем, почему у нас нет ни одного заказа для стоек коммунизма? Магнитогорцы говорят, что они выполнили уже несколько таких заказов. Разве наша сталь хуже магнитогорской? Что молчишь?

— В этом ты, конечно, прав, — согласился парторг. — Надо выяснять, — и, взяв трубку, вызвал производственный отдел.

Начальник отдела сообщил:

— В прокатные цехи заказ есть, а вам нет.

— Как же так?!

— Видите ли, — объяснил начальник, — мы не стали давать вам специального заказа, потому что вы давно плавите нужные марки стали. Прокатчики берут эту сталь из общего фонда и катают.

Парторг и обрадовался и рассердился. Обрадовался тому, что сталевары, ничего не подозревая, уже давно работали на великие стройки. Но было досадно, что в трудные для цеха дни об этом никто не знает.

— На таких делах, — сказал он в телефонную трубку, — надо людей учить, а вы забываете об этом.

— Крючкотворы! — бросил Климасенко, когда Беликов положил трубку. — Цеху трудно, а они отнимают у него моральные резервы. Так, что ли, это называется, товарищ парторг? — шутиливо спросил он.

В цехе новость была принята с энтузиазмом. Однако оказалось, что сталь, идущая на стройку Куйбышевской ГЭС, варится только на приваловке блоке да ещё на первой печи. Почётные плавки вели Устинов, Мочалов и Ляхов.

— Ничего, что такие плавки не у всех, — сказал Беликов, — главное, они — в нашем цехе.

Этот день начался особенно трудно. На дворе бушевала метель. Резкий ветер, неся облака снега, врвался на шихтовый двор и даже залетал в мартеновский цех. Маневрировать транспортом стало трудно. Составы, гружённые рудой и ломом, продвигались медленно. Руда в рудной яме смёрзлась. Брать её оттуда приходилось небольшими дозами. От паровозов шёл такой пар, что даже после их ухода в шихтовом дворе долго ничего не было видно. Всё это задерживало подготовку шихты. Начальник смены и диспетчер ежечасно прибегали на шихтовый двор и торопили рабочих.

Устинов перед выпуском плавки, принятой от своего сменщика Беляева, беспокойно поглядывал на составы, забившие рабочую площадку цеха. «Не придётся ли стоять с пустой печью?» — тревожился молодой сталевар. Он немного успокоился, когда около состава заметил мастера Привалова — тот не допустит простоя!

Раздражало Устинова и другое. Какой-то незнакомый паренёк прицепился к печи, всё стоит и наблюдает за его работой. Под горячую руку Устинов чуть не накричал на этого «зрителя», но тот улыбнулся так дружелюбно, что сталевар сдержался.

Устинов не догадывался, что это был магнитогорец Романов, наблюдавший за работой кузнечных сталеваров. Прочитав на доске-табели фамилию Устинова, гость задержался около его печи и уже никуда не отходил.

Над головою магнитогорца проплыла заправочная машина и встала на рельсы перед печью. Её покатали к завалочному окну. Как только начался выпуск плавки и готовый металл устремился по желобу, Устинов приступил к заправке изъеденных сталью мест. Размельчённый доломит сильной струёй влетал в печь и равномерно ложился по всему откосу. Над убывающей сталью стояло знойное море.

Началась горячая работа. Романов, чтобы не отвлекать сталеваров, перешёл на заднюю площадку печи, где только что выпустили плавку...

Над изложницами, наполненными кипящей сталью, разлетались фонтанами мелкие искры. Это было похоже на букеты каких-то фантастических огненных цветов. Ещё живописнее выглядели те изложницы, в которых сталь уже остыла. Их стенки были так накалены, что светились, как светится золотистый мёд сквозь стеклянные стенки сосуда.

Романов вернулся на рабочую площадку и встретил у печи Привалова, который помогал Устинову заправить откосы. Струя доломита, падая на ковш-отражатель, уходила на левый откос. Привалов показы-

вал, как лучше направлять струю, чтобы она шла в нужном направлении. Этот способ заправки откосов был новым, и ещё не все сталевары умели пользоваться таким несложным на вид приспособлением, как ковш-отражатель.

Окончив заправку, Привалов заметил Романова, поздоровался с ним и тут же познакомил его с Устиновым.

Молодые сталевары стояли друг перед другом смущённые.

— Видите, у нас как, — начал Устинов, — на одном ломе едем!

— Вижу. Ничего, справляетесь. А мне вот товарищ Привалов посоветовал вызвать тебя на соревнование...

— Давай. Поговорим потом...

Завалка шла при самом высоком тепловом режиме. В печь сейчас был завален лом, собранный на полях сражений. В груды изуродованного металла лежали немецкие каски со свастикой, какие-то исковерканные части боевого оружия с полустёртыми эмблемами, осколки снарядов. Кое-где выступали шестерни и колёса от машин.

Сквозь окно было видно, как огонь слизывал с касок свастику. Нагретая, тающая, как сахар, сталь начала медленно оседать. А когда отдельные ручьи начали сливаться вместе, то это был металл уже совсем нового качества. Оторвавшись от окна, Привалов улыбнулся.

— Видел? — спросил он у молодого сталевара.

— Видел, — ответил тот. — Здорово получается!

Сменщик Устинова Орлов пришёл за час до конца смены: он уже знал, что ему придётся выпускать плавку для стройки коммунизма. До выпуска оставалось около трёх часов. Если принять в расчёт, что вся плавка шла на одном ломе, то срок был предельно коротким. Орлов внимательно осматривал печь, прикрывая лицо рукавицей.

— Мне всегда достаётся хвост твоей славы, — пошутил он.

— Зато Беляев получает твой... — возразил Устинов.

— И не особенно радуется его длине, — засмеялся Орлов.

К Устинову снова подошёл магнитогорец Романов и уже не один — с обер-мастером Савченко.

— Куда мы пойдём? — спросил Романов.

— Лучше всего в табельную, там сейчас — никого.

Подручные Устинова в нерешительности топтались рядом. Один из них спросил:

— Нам тоже?

— А как же? Только ты сбегай за Приваловым. Пусть зайдёт в табельную.

В табельной было тихо. Савченко снял шапку, пригладил на висках волосы и сел поодаль от стола: дескать, сговаривайтесь сами. Но видя, что молодые сталевары мнутя, начал с упрёка своему земляку:

— Ты, Володя, вот слонялся по цеху, а нет, чтобы набросать кое-какие пункты договора.

— А они у меня есть, — улыбнулся тот, — только не знаю, подойдут ли они кузнечанам, — и хитро посмотрел на Устинова.

— Что подходит вам, то и нам подойдёт. Давай читай.

Романов достал из кармана лист бумаги, сложенный вчетверо, разгладил и стал читать:

— Мы, сталевары-комсомольцы двух металлургических комбинатов — Кузнецкого и Магнитогорского, отвечая на призыв знатного магнитогорца Владимира Захарова — крепить мир сверхплановой сталью, берём на себя...

К этому времени подоспел подручный, бегавший за Приваловым, и сообщил, что мастер скоро придёт с парторгом. Устинов кивнул на стул:

— Садись, слушай.

Романов оглядел подручных Устинова, как бы оценивая, на что они способны, и зачитал первый пункт:

— Закончить годовой план ко дню рождения товарища Сталина. Согласны?

— Согласны! — в один голос ответили кузнечане.

— Пункт второй: систематически внедрять метод скоростного сталеварения и выдать каждому по десять скоростных плавков до конца года. Принимаете? — с вызовом спросил Романов.

— Принимаем! Только надо ещё добавить насчёт лучшего использования механизмов. Вот!

— Правильно! — поддержал Савченко.

— Согласен. Иду дальше... Добиться экономии топлива на одну тонну стали — пять килограммов; довести стойкость свода печи до 220 плавков. Примете?

— Дадим больше! Маловато...

— Что ж, тогда будет ваша победа, — засмеялся Романов. — И последнее: обязуемся подготовить подручного до квалификации сталевара. Я лично записал имя своего первого помощника Григория Озерова, а ты?

Прежде чем ответить, Устинов посмотрел на своих товарищей. Младший подручный ответил таким взглядом, как будто хотел сказать: «Ну, чего смотришь? Разве я не знаю, что мне ещё рано быть сталеваром? Вот Дмитриеву — другое дело». Устинов перевёл взгляд на подручного Дмитриева. Тот сидел и усердно протирал пальцем синие очки на своей фуражке, отчего они становились всё грязнее и грязнее.

Нерешительность Устинова объяснялась просто. Подготовить подручного в сталевары он мог, но станет ли подручный сталеваром — это зависит уже от мастера. Поэтому Устинов очень обрадовался, когда в табельную вошёл мастер, а за ним парторг Беликов. Узнав, в чём заминка, и Привалов и парторг поддержали кандидатуру подручного Дмитриева. Тот смущённо заулыбался.

— Плох тот подручный, который не стремится стать сталеваром, — сказал парторг.

— Стать сталеваром раньше было верхом всех моих желаний, — признался Привалов. — Честное слово, работал подручным и думал: «Стану сталеваром и больше ничего мне не надо...»

Все, особенно подручные, развеселились. Савченко, смеясь, повторял:

— Видишь, как?!

Зачитали окончательный текст социалистического договора. Был он немногословен. Парторг даже пошутил:

— Краток, как текст Стокгольмского Воззвания!

Устинов поднялся и, надвигая на лоб фуражку, сказал:

— Сейчас Орлов, наверно, выпускает нашу плавку — надо итти.

— Тогда пойдёмте, — поддержал его Беликов.

Вся группа направилась к печи. Устинов подосадовал, что опоздал к началу выпуска. Горячий металл, разбрасывая искры, уже мчался по выпускному жёлобу. Над ковшом стоял высокий огненный столб.

До праздника оставалось два дня. Вокруг площади перед заводом выросли красные щиты с показателями передовиков соревнования. Впереди всех шли доменные цехи. Фамилии мастеров и горновых выделялись на щитах, ещё пахнущих свежей краской. Группы доменщиков переходили от щита к щиту, весело переговариваясь между собою.

Хуже чувствовали себя мартезовцы. Правда, по итогам предыдущего месяца одним из лучших цехов завода был признан первый мартезовский, и ему присудили переходящее знамя горкома партии. Но это уже прошлое. А вот щиты с показателями текущих дней. На них, так же, как и на других щитах, были вывешены портреты начальников смен, а под ними — цифры показателей за минувшие сутки.

Эти щиты мартезовцы обходили. Под портретами трёх начальников смен — Дёмина, Морохова и Блинова стояло по две девятки... Лица начальников смен на фотографиях были под стать показателям — казались унылыми, печальными.

Мартезовцам, проходившим мимо щитов, приходилось слышать горькие для себя разговоры. Но что же делать? Не растолковывать же всем, что какая-то домна перешла на литейный чугу́н.

Направляясь в цех, Привалов ещё издали узнал машину секретаря горкома. Она стояла у эстакады. В коридоре, перед красным уголком, толпились сталевары, пришедшие на вечернюю смену. Появился сталевар Волков со знаменем ГКО, отданным на вечное хранение цеху. Установившая знамя около стены, он объяснил:

— Надо помнить о наших прошлых заслугах.

Секретарь горкома знакомился с состоянием дел в цехе, с трудностями, о которых ему уже успели рассказать. Возвращаясь из цеха, секретарь говорил:

— Думаю, что на сталеваров можно положиться. Как, Чалков, можно?

— Сталевары никогда не подводили! — задорно ответил Чалков, распахивая брезентовую куртку, под которой блеснули его многочисленные ордена и медали. Секретарь горкома улыбнулся.

— Значит, сегодня-завтра рассчитаетесь с долгом? — спросил он.

— Только дайте нам знамя горкома! — пошутил Привалов.

— Так за чем дело стало? Знамя — ваше! Пойдёмте... — И первым вошёл в красный уголок. Поотстав, Климасенко шепнул Беликову и Привалову:

— Вечером цеху дадут чугу́н...

С этой радостной новости начал свою речь и секретарь горкома:

— Вечером вам дадут чугу́н, и дела ваши, дорогие товарищи, пойдут хорошо. Верю, что вы к празднику рассчитаетесь с долгом. За счёт чего вы держались в эти дни? Ясно, что крепче использовали механизмы... Хочется, чтобы и в нормальных условиях вы использовали их так же решительно и так же настойчиво!..

Поздравив сталеваров с наградой, он напомнил им, что цех весь прошлый год удерживал знамя горкома.

— Не забывайте, что если знамя уйдёт из ваших рук — вернуть его будет трудно. Вы убедились в этом. Впрочем, у славы такой уж характер. Я имею в виду не только общую славу цеха, но и личную славу сталевара. Добиться славы даже легче, чем удержать её потом. Капризная штука! Скажите, — неожиданно обратился он к сталеварам, — сколько в хорошей стали должно быть серы?

— Три-четыре сотых процента.

— А если больше?

— Плавка бракуется.

— Строго!.. Вот и к себе нужно предъявить такие же строгие требования, чтобы наши недостатки не давали повода браковать нас... Говорю это потому, что вручаю вам незапятнанное знамя нашей партии. Вам его держать в своих руках и нести вперёд!

После ответного выступления начальника цеха и парторга слово взял

Чалков. Держа в руке свою фуражку с синими очками, Чалков подошёл к знамени и спросил:

— Как называется это знамя?

Секретарь горкома, не понимая, к чему клонит сталевар, пожал плечами и, переглянувшись с парторгом, ответил:

— Переходящее знамя горкома партии, товарищ Чалков.

— Переходящее? — переспросил сталевар и, взмахнув фуражкой, обратился к сталеварам:

— Товарищи! Я думаю, что с сегодняшнего дня это знамя перестанет быть переходящим!..

Сталевары дружно зааплодировали.

В цехе уже ждали ковши с жидким чугуном. Мартеновцы встретили их, как встречают родных после долгой разлуки. Стоял лёгкий туман. Сквозь его дымку ковши медленно уходили в дальний конец цеха, минуя ближние печи. Широкое пламя, словно почуяв жидкий чугун, выбивалось из окон мартенов.

Подойдя к своей печи и узнав, что Ляхов выдал плавку за восемь часов тридцать минут, Чалков отсчитал от начала смены такое же время для своей плавки.

— В одиннадцать часов приходите на выпуск, — сказал он, обращаясь к начальнику цеха, и, застегнувшись на все пуговицы, пошёл к печи.

«Перед горячей сталью все равны», — говорят сталевары. И это верно. Сталь не признаёт старых заслуг. Каждая новая плавка требует нового подвига.

Кто, например, в своё время не знал в Сибири кузнецкого сталевара Ивана Васильева? Это был знаменитый мартеновец, скоростник. По количеству выдаваемого металла он шёл впереди всех. Но вот в цехе громко зазвучали слова «качество» и «себестоимость» — и погасла слава сталевара Васильева. Теперь, вспоминая о нём, сталевары говорят: «Нехватило характера».

Есть на комбинате литейный цех, а в цехе — маленькая мартеновская — не печь, а печурка тонн на тридцать, на сорок. Её трубы даже не видно на заводском дворе. Вот на этой печурке и работает сейчас Васильев, — работает без своего «флага», как говорят сталевары. Флагом они называют пламя, которое полыхает на высоких трубах больших мартеновских печей. Оно действительно напоминает кумачовый флаг. Когда-то Иван Васильев имел такой «флаг» — он стоял у большой печи — у той самой, где сейчас сталеваром Чалков.

Дав слово выпустить плавку в одиннадцать часов вечера, Чалков сегодня дорожил каждой минутой. Недовольный работой своих подручных, он сам то и дело брался за лопату.

Металлическая шихта ещё не прогрелась, но на лице Чалкова, уже несколько раз заглянувшего в печь, появилось озорное выражение. Сдвинув на затылок фуражку, он пошёл в пульт управления, снял телефонную трубку и попросил чугунохранильщик:

— Кому по графику будете давать чугун?

Узнав, что чугун пойдёт к Беляеву только в шесть тридцать, он попросил:

— Давайте чугун на первую в половине шестого..

Заметив недоумённый взгляд мастера, он объяснил, что пока пойдёт чугун — шихта успеет прогреться.

Чалков уже заранее торжествовал победу.

С именем Чалкова было связано много славных событий, происшедших за последние годы на мартенах. В начале Отечественной войны

он сварил первую на Кузнецком комбинате скоростную плавку качественной стали. Бывало сталевары специально приходили на первую печь, где работал Чалков, чтобы понаблюдать за его приёмами.

В годы войны коммунист Чалков освоил около десяти марок легированных сталей, за что в 1943 году он получил Сталинскую премию. Подсчитали, что за четыре военных года Чалков выплавил сверхплановой стали на 2250 танков!..

Проходя мимо первой печи, Климасенко залюбовался работой Чалкова и сказал Привалову:

— Спокоен я за него! Уж если сказал — сделает,— и, окинув взглядом уходящие вдаль полыхающие огнём печи, добавил: — Кажется, сегодня рассчитаемся с долгом. У Чалкова дела идут отлично, у Беляева хорошо, а Мочалов, наверно, уже перешёл к следующей плавке.

Но оказалось, что Мочалов ещё не выпустил плавку. Климасенко напустился на него:

— Вам не сталь варить.. Пивовары!..

— Мы не виноваты,— оправдывался Мочалов,— лаборатория подвела.

Потеряно было только двадцать минут, но и этого было достаточно, чтобы у начальника цеха испортилось настроение.

Привалов вернулся к первой печи один. Чалков готовился к выпуску стали. Последняя проба металла, слитая на плиту, дала хорошие результаты. Подручный выливал из ложки горячий металл. Привалов несколько раз пересёк струю сверху вниз лопаткой. После каждого раза на лопатке оставалась тонкая плёнка остывшей стали. Значит, сталь готова к выпуску.

Стрелка часов показала половину одиннадцатого. Плавка прошла по времени даже быстрее, чем было обещано.. Чалков и Привалов поспешили на разливочную площадку. Прислонясь к железному устью, там уже стоял Климасенко со своим синим стёклышком. Горячая сталь тяжёлой массой бежала по жёлобу..

— Хороша! — похвалил начальник. — Вот это плавка.. Дважды лауреатская!.. — говорил он, намекая на то, что и сталевар и мастер, разрешивший выпуск,— оба лауреаты Сталинских премий.

— Не в этом дело,— заметил Привалов.— Дело в том, что эта плавка полностью покрывает наш долг.

7

Падал крупный снег, падал отвесно при полном безветрии. За его пеленой дома теряли свои очертания. Лишь домны и кауперы выделялись попрежнему резко. Над ними клубился пар, окрашенный розоватым светом.

Магнитогорцы с утра осматривали город. Расположенный среди отрогов Кузнецкого Алатау, Сталинск представляет довольно живописную картину. Природа, видимо, не рассчитывала здесь на большую населённый пункт — она предоставила строителям сравнительно скромную площадку, окружённую горами. Если смотреть сверху, то видно, что город стоит как бы на дне огромной чаши. Заняв всю долину, он уже начал взбираться на склоны гор.. Ему уже становилось тесно.

Кузнечане украсили свой город по-сибирски — не только липой, но и берёзой, елью, посаженными вперемежку друг с другом. Опушённые снегом деревья растянулись по всему проспекту. Казалось, будто, заблудившись в диком поле в метель, они нечаянно вошли в город, вошли и остановились: справа дома, слева дома — куда податься?!

Сталинск — ровесник Магнитогорску, а исторических памятников

в нём не меньше, чем у иного старинного русского города. В районе старого Кузнецка жил когда-то Достоевский... Там же стоит домик революционера Обнорского, домик отца Куйбышева, в котором жил и Валериан Владимирович. Приезжий металлург не может уехать из города, не поклонившись праху знаменитого доменщика Михаила Курако. Умер он в Осиновке, по соседству со Сталинском, но по желанию металлургов города его прах после Отечественной войны был перенесён на Верхнюю колонию, откуда — если смотреть вниз — виден, как на ладони, весь город и комбинат. Там, в заснеженной рощице стоит скромная пирамида, на которой отмечены две даты — «1872—1920». Глядя на эти цифры, Сухаревский сказал:

— Да!.. Если взять из земли и переплавить столько руды, сколько на своём веку переплавил Курако, то, честное слово, не жаль будет когда-нибудь вернуть земле свои шестьдесят два килограмма...

Снег пошёл чаще, заволакивая всё вокруг. Осмотр города пришлось прекратить.

Сухаревский, возвращаясь в заводскую гостиницу, сказал товарищам: — Что ж, мы видели почти что всё... А посему пора делать выводы!..

Последние предпраздничные дни Привалов, как, впрочем, и все руководители цеха, не уходил от печей. За это время он привык видеть на рабочем и разливочном пролётах двух магнитогорцев — обер-мастера Савченко и сталевара Романова. Первый изучал разливку, а второй — работу сталеваров. Магнитогорскому обер-мастеру разливочное отделение кузнечан показалось узковатым и перегруженным. Отмечал он в своей записной книжке и некоторые частные недостатки. За неделю у него появилось много коротких записей. Обычно, черкнув что-нибудь себе для памяти, он подходил к сталеварам, искал Привалова или начальника цеха и делился с ними своими соображениями.

Сегодня Привалов очень удивился, не встретив в цехе ни Романова, ни Савченко. А ему хотелось встретить их именно сегодня, когда цех, наконец, погасил свой долг и дал первую сотню тонн сверхплановой стали. Чем бы ни оправдывался долг — ремонтом ли печи, переходом ли домны на литейный чугун, — должник всегда остаётся должником. Привалову всё время казалось, что магнитогорцы, ходившие по цеху, относились к кузнечанам с обидным сочувствием. И особенно не хотелось, чтобы о задолженности цеха узнал Зинуров. Представлялось, как Зинуров с усмешкой скажет: «Хвастать они там обер-мастера».

Климасенко, повеселевший в этот день, позвал Привалова:

— Пойдём, Михаил Моисеевич, магнитогорцев слушать. Они перед отъездом устраивают что-то вроде прессконференции в парткабинете завода...

Когда они пришли в парткабинет, там уже собрались руководители цехов и отделов. Гости, сидевшие тесной группой, совещались между собой. У них шёл спор. Сухаревский считал, что на такой торжественной встрече надо поменьше говорить о недостатках кузнечан. Савченко, напротив, решил высказать все свои критические замечания и рассказать об опыте магнитогорцев.

Пришёл главный инженер. Пожав руку Привалову, он стал его упрекать:

— Ты что ж не зайдёшь? Получили приказ министра, в котором твоё предложение о планировании скоростных плавов в суточном графике принято. Так и написано: «Учитывать в графике скоростные плавки...»

— Как быстро! — удивился Привалов. — Приказ-то почти следом за мной пришёл.

— Нужно дело, вот и быстро!..

Появление директора и парторга ЦК прервало разговоры. Все стали усаживаться.

По издавна установившейся традиции на подобных совещаниях обычно выступают только гости-делегаты, а местные руководители цехов и отделов выслушивают их замечания. Так было и на этот раз.

Руководитель магнитогорцев инженер Бражник говорил спокойно и размеренно:

— Не впервые мы, магнитогорцы, приезжаем к вам. И каждый раз видим у вас новые успехи...

— И новые недостатки... — добавил парторг ЦК.

— Да, и новые недостатки!.. Но всё же скажу чистосердечно, что общее впечатление у меня самое отрадное. И чему я завидовал, когда ходил по цехам, — так это механизации всех трудоёмких работ. У вас есть, например, прекрасно оборудованный рудный двор, а у нас его нет.

— Зато у нас нет угольного склада!..

— Да у вас весь Кузбасс — это угольный склад! — воскликнул Бражник.

— А у вас Магнитная гора — рудный двор!..

В зале послышался весёлый шумок. Вспомнили, что и во время прошлогодней встречи магнитогорцы завидовали рудному двору кузнечан, а кузнечане — угольному складу магнитогорцев.

— Механизация у вас прекрасная, — продолжал Бражник, — но мне кажется, что вы не использовали всех её возможностей.. особенно в мартеновских цехах. Она могла бы позволить ещё выше поднять скоростной метод сталеварения. А судя по показателям первого цеха, этого нет..

Привалов, отыскав глазами Климасенко, переглянулся с ним, выражая взглядом недоумение. Тот пожал плечами — дескать, послушаем, что скажут дальше.

— Должен напомнить, — продолжал магнитогорец, — что один из ваших цехов к Великому Октябрю приходит должником...

— Какой? — спросили из зала.

— Первый мартеновский.

— Сегодня рассчитались! — крикнул Привалов.

— Тогда поздравляю, но о скоростных плавках всё же надо подумать, чтобы они стали массовыми... Словом, мы увидели у вас много хорошего, но самое лучшее, общее для всех вас, — стремление достигнуть новых успехов.

Магнитогорцы делились своим опытом. Директор комбината, слушая ораторов, многое записывал в свой рабочий блокнот, приговаривая:

— Это мы у вас возьмём.

Чаще всего он склонялся над своим блокнотом, когда выступал Савченко. Временами он останавливал обер-мастера и просил поподробнее рассказать о замеченном недостатке.

— Что у вас хорошо, — говорил Савченко, — так это ваш механизм, регулирующий струю. Мы это перенесём к себе.

— Потрясите-ка ещё свою книжечку, — попросил парторг, — да вы скажите нам всё откровенно. В книжечке-то поди всё записано?

— Кое-что есть! Не в порядке, так сказать, критики, а в порядке обмена опытом. Ну, вот... У вас неправильное взаимоотношение между транспортом и цехом. По-нашему, вагоны должны ждать цеховые грузы, а не грузы вагонов. Это раз. Потом вам нужно улучшить качество разливки. Наш главный сталеплавильщик начинает свой рабочий день с заслушивания докладов о разливке стали за вчерашние сутки. Кажется, у вас этого нет. Я наблюдал работу ваших сталеваров и должен ска-

зять, что работать они умеют. Битва за здоровый слиток, битва за качество, битва за время — всё это у вас есть, но надо работать ещё злее.

Выступил и Сухаревский. Его выступление изобиловало похвалами.

— У вас, — говорил он, — осуществлена полная механизация обработки дымогарных труб. Ваши вагоны оборудованы прекрасно!

— Ну, а недостатки? — спросил директор.

— Все излишки коксового газа вы используете полностью. Вы применяете свой газ для растопки паровозов, для разогрева мартеновских печей, в то время как мы на это тратим дерево.

— Ну, а недостатки?

— Горны у вас газовые, печи газовые, кузнецы на газу работают! Таким образом, у вас в почёте газ и воздух! Всё это нужно у вас перенимать.

Всем стало весело. Директор заулыбался, парторг тоже... Нет, всё-таки кузнечанам приятно было слушать похвалы гостя. Кто-то, поддев лавшись под тон директорского голоса, снова спросил оратора:

— Ну, а недостатки?

— Недостатки? — переспросил Сухаревский. — Недостатки, разумеется, есть, и я о них сейчас скажу.

Наморщив лоб, как бы вспоминая, он помолчал, потом профессорским жестом снял очки и продолжил:

— У вас учёт налажен лучше, чем у нас. У вас все паровозы на хозрасчёте.

Тут уже все расхохотались — и кузнечане, и магнитогорцы. Даже всегда серьёзный Савченко смеялся. Один Сухаревский остался невозмутимым: он перешёл к недостаткам не прежде, чем перечислил все успехи кузнечан.

Когда возбуждение улеглось, а Сухаревский уже сидел и протирал запотевшие очки, поднялся директор.

— Должен признаться, — начал он, — что вы, гости, меня подвели. Я приехал с Магнитки и говорю своим, что там чище, там лучше, словом — учу их как полагается, а вы нас хвалите. Нас надо было ругать больше...

Директор долго говорил о недостатках работы комбината, познакомил гостей с перспективами его развития, поблагодарил за ценные замечания, передал от имени кузнечан привет всему коллективу Магнитки. Прощались с магнитогорцами, как со старыми друзьями, договаривались о будущих встречах.

Пожимая руку Романову, директор сказал:

— Ты, говорят, вызвал на соревнование Устинова? Смотри не полай! У нашего Устинова приваловская хватка.

— А у Романова хватка не хуже — сахаровская!

— Также ничего! Коли так, то проверим работу почётных сталеваров на их учениках... — сказал директор.

Восемнадцать лет два крупнейших металлургических комбината Востока соревнуются между собой, и каждый год делегаты одного завода едут на другой, чтобы обменяться опытом и выяснить, кто же из них лучше работает. И всякий раз этот вопрос остаётся открытым.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

И. ЖМЫХОВ

★

В НОВОМ КИТАЕ*

5. ВЕЛИКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Китайская весна

Весна вдали от родной страны... Как бы много новых друзей ни окружало вас, как бы ни было дорого вам их внимание, но тоска по родине, которая поселяется в душе едва ли не с той самой минуты, как вы оставляете родную землю, и потом постоянно живёт в вас, в дни ранней весны овладевает вами с новой силой.

Китайская весна сначала показалась нам необычной. Её приход не сопровождался ни сменой красок в природе, ни резкой сменой температур. Она пришла так незаметно, что объявила о себе сперва приметями не климатическими, а только астрономическими — просто прибавился день. Но это было лишь первое знакомство с весной. Скоро она принесла на Великую китайскую равнину тревожное гудение ливней, шум деревьев, обременённых тяжёлой листвой, и неумолчный посвист птичьих стай, крикливых, взбудораженных теплом и светом...

В один из весенних дней мы ехали окраиной города. Неожиданно на перекрёстке двух дорог наш шофёр Лю притормозил машину. По дороге, уходящей в поля, двигались коляски рикш, нагружённые небогатым скарбом. Рядом с колясками, взгромоздив на спину ребят, шли женщины.

— Рикша уходит на землю, — сказал Лю и улыбнулся, — рикша будет иметь свой дом. Для рикши тоже приходит весна.

В прежнем Китае рикш было десять миллионов... В одном Шанхае — около миллиона, в Пекине — четыреста тысяч, в Тяньцзине — двести. Кстати сказать, слово «рикша» — не китайское, а японское. Русский врач В. В. Корсаков, долго живший в Китае, свидетельствует: «рикши распространились из Японии, из Иокогамы, где создателем их явился англичанин, придумавший завести для своего передвижения небольшую колясочку, которую вёз нанятый японец. Это было в 1868 году...»

Рикша... Пассажир мог ткнуть его ботинком в спину, ударить стеком — рикша даже не обернётся: пассажир спешит, выражает своё нетерпение — и рикша только быстрее зачистит ногами по мостовой. Без видимой причины, забавы ради, полицейский, бывало, опрёт рикшу резиновой палкой, и ни один рикша не остановит своей коляски и не спросит, чем он вызвал гнев блюстителя порядка — власть знает, что делает, когда ей скучно. И горе было рикшам, если они попадались на глаза пьяным американским офицерам. Янки с воем и улюлюканьем мчатся по городу. Худо рикше, если он придёт к цели последним, отстав от своих более проворных собратьев: пинок тяжёлым сапогом ниже живота, удар бутылкой в затылок — и счёты сведены. Убийство рикши оставляет полицейского невозмутимым. Кончиком сапога он трэнет лежащее тело и пойдёт дальше. «Ох, и озорны эти американские ребята!..»

Редкий рикша имел семью, дом. Свирепствуют ли здешние ливни или снег покрывает улицы, рикша, сгибаемый усталостью, забирается на ночь под свою коляску

* Окончание. См. «Новый мир» № 7 с. г.

и, прикрывшись нехитрой одежкой, пытается забыться до утра. Бывало, зимою в китайских городах замёрзший рикша — привычное явление. Труп, скованный морозом, предавали земле, даже не попытавшись узнать имени погибшего человека и справиться о его родне..

Перед Народным правительством Китая сразу встала проблема уничтожения этого тяжёлого наследия прошлого.

Казалось бы, проще простого — отныне запретить применение труда рикш. Но в момент, когда страна с огромным напряжением сил только начала залечивать раны войны, это значило бы оставить миллионы людей без средств к существованию. И правительство приняло единственно разумное решение: предоставляя рикшам землю, всячески помогая им овладевать различными производственными специальностями, оно стало всемерно стимулировать переход рикш на работу в сельское хозяйство и промышленность. В течение минувших двух лет сотни тысяч рикш получили наделы земли, впервые в своей жизни обрели жилище и обзавелись семьёй. Сегодня они деятельно участвуют в строительстве молодой республики, вместе со всем рабочим классом и крестьянством Китая..

— Рикша уходит на землю,— задумчиво повторял Лю, глядя вслед удаляющимся по дороге коляскам.

Да, предоставление земли рикше является для Китая событием глубоко волнующим, полным большого смысла, действительно эпохальным.. И легко было понять, какие чувства владели Лю — тяньцзинским рабочим парнем,— когда, наблюдая уход рикш из города, он твердил эти слова:

— Рикша уходит на землю..

«Третье чудо» Китая

Как-то, возвращаясь после лекций домой, мы услышали на одной из улиц громкие голоса возбуждённо споривших молодых людей, стоявших под тенью каштанов. До нас донеслась фраза, произнесённая столь патетически, что мы из любопытства попросили Яшу перевести её нам. Он улыбнулся и с каким-то особым удовольствием сказал:

— Мэй Лань-фан! Мэй Лань-фан! Его слава может сравниться лишь со славой великого Чэн Чжан-гэна! — И добавил: — Вы должны обязательно посмотреть Мэй Лань-фана. Он играет сейчас в Пекине.

Китайский театр обладает многовековыми традициями и издавна занимает большое место в общественной жизни страны.

В республике более 500 постоянных театров и 300 тысяч актёров. Где бы вы ни были в Китае, на юге или на севере, в столице или в скромном провинциальном центре, повсюду вас сопровождает целый рой афиш, многоцветных плакатов, анонсов, листовок, открыток или брошюр, популяризирующих местные театры и возносящих театральные знаменитости.

Великий актёр Чэн Чжан-гэн, имя которого мы услышали в тот поздний вечерний час на тяньцзинской улице, умер более семидесяти лет назад. Он был непревзойдённым исполнителем ролей, объединяемых под общим названием «Лао шэн» — «положительный герой»; в китайском классическом репертуаре это, обычно, преданный министр двора, бескорыстный сановник или мудрый учёный. Замечательный актёр Мэй Лань-фан — наш современник, выдающийся реформатор китайского классического театра и одновременно несравненный исполнитель женских ролей. Китайцы говорят: «В нашей стране три чуда: Великая стена, пекинские дворцы и Мэй Лань-фан!».

И вот, воспользовавшись свободным днём, мы отправились в Пекин, чтобы увидеть «третье чудо» Китая — прославленного Мэй Лань-фана.

..Ещё совсем недавно зрительный зал в китайских театрах был разделён надвое: справа сидели женщины, слева — мужчины. Во время действия по залу разносили зелёный чай и даже горячие полотенца, которыми утирали пот с лица разомлевшие от чаепития зрители. Впрочем, фрукты, печенье, конфеты разносят во время спек-

такля и теперь. Зрители громко разговаривают между собой, вслух комментируя игру актёров, сопровождая течение действия своими репликами. Между зрительным залом и сценой существует непрерывная живая связь, актёры чутко улавливают настроение в зрительном зале, зрители всматриваются в действие, происходящее на сцене... Всё это было для нас не просто чем-то необычным, но вообще не вязалось с нашим представлением о театре.

Спектакли поражали своей крайней условностью. На сцене совершенно отсутствовали декорации. Стол символизировал горы, стул — лес, кусок полотна с изображением рыб — реку, две палки — паланкин. Иногда на сцене просто появлялась надпись «дворец», «монастырь», «мост», «улица», зритель должен был сам дорисовать в своём воображении недостающее в картине. Актёр садился верхом на палку — это значило, что герой скачет на лошади. Актёр брал в руки воображаемые вёсла — зритель должен был представить себе, что герой плывёт в лодке. И надо отдать должное китайскому зрителю — он настолько свыкся с условностями своего театра и так полно отдаётся происходящему на сцене действию, что условностей этих совершенно не замечает. Больше того, он умудряется не замечать и рабочих сцены, которые разгуливают во время действия по подмосткам, передвигают «леса» и «горы», расстилают «реки», а иногда подходят к актёру, чтобы поправить перо на его шляпе или застегнуть пуговицу на его бархатном камзоле.

Кстати, любопытно отметить, что на сцене китайского классического театра условно всё, за исключением костюмов актёров и грима. Костюмы обычно шьются из добротного китайского атласа, шёлка, парчи, самых разнообразных цветов и оттенков: иногда в одном костюме сочетаются красный, белый, чёрный, голубой, жёлтый, лиловый, бирюзовый цвета. Всё состояние крупнейших китайских актёров часто сводится к богатству их театрального гардероба.

Репертуар театра обычно состоит из исторических пьес, основными персонажами которых почти всегда являются богдыхан и его придворные, сановники, высшее офицерство, чиновничество, отечественные и иностранные дипломаты. И режиссура классического театра, хотя и не очень педантично придерживается в костюмах стиля той или иной эпохи, всегда стремится к тому, чтобы платье актёра соответствовало общественному положению действующих лиц.

Замечателен в классическом театре грим актёров. Правда, традиционный принцип масок ограничивает разнообразие грима определёнными характеристиками, но общее число этих типов так велико, что не сковывает творческой фантазии актёра. Известно, что ни один восточный театр, в том числе и японский, не достиг такого совершенства в технике грима, как китайский. Зная это, китайцы ревниво оберегают секреты своего гримёрного искусства. «Книга грима» в каждой труппе хранится за семью печатями и является заповедной тайной театра.

Принято думать, что спектакль в китайском классическом театре, как правило, продолжается много часов и даже дней. Это не так. Правда, известно, что пьеса «Подмёнённый царевич», состоявшая из тридцати актов, шла около месяца, но это не характерный случай. Обычно спектакль продолжается три-четыре часа и состоит из ряда одноактных пьес. Так было и в тот вечер, когда мы, вместе с нашими друзьями, кстати сказать большими знатоками китайского классического театра, смотрели Мэй Лань-фана. Четырёхчасовой спектакль включал в себя несколько коротких пьес.

Мэй Лань-фану было уже пятьдесят шесть лет. Для актёра, чьим постоянным амплуа являлось исполнение ролей молодых женщин, этот немалый возраст мог оказаться критическим, если бы не его волшебное профессиональное мастерство. Оно столь совершенно, что мы не почувствовали ни того, что перед нами играл на сцене мужчина, ни тем более того, что он уже находился в довольно почтенных годах. Он безупречно владел своим телом, поразительно играл руками, казался воплощением самой гармонии. Мы поняли, почему китайцы говорят: «Мэй Лань-фан поёт руками». Но, конечно, это лишь одно из проявлений его удивительного искусства. Только увидев игру Мэй Лань-фана, мы поняли, почему для китайского зрителя условности

классического театра не имеют никакого значения. Актёр так увлекает зрителя своей игрой, так безраздельно им овладевает, что на всё прочее у сидящего в зале человека просто не остаётся внимания...

В течение многих столетий китайский классический театр руководствовался конфуцианским принципом: в театральной игре передаются только дела древности, а дела древности не выходят за пределы изображения верности сюзерену или вероломства. Такой взгляд, конечно, сковывал живые силы театра, которые стремились приблизить искусство к жизни. Влияние конфуцианской «эстетики» сохранилось до наших дней, и, очевидно, китайский театр нуждается в решительных реформах. Но процесс роста нового будет совершаться постепенно.

Когда поздно вечером мы вышли из театра и очутились под густоцёрным пекинским небом, наше внимание привлекла маленькая женщина в стёганой куртке, которая устало брела по краю тротуара. В одной руке у неё были тетрадки, другая рука лежала на стриженной головке мальчика лет пяти-шести, который шёл рядом с матерью, так же устало передвигая ноги. Женщина, очевидно, возвращалась с занятий в вечерней школе. Быть может, ребёнка не с кем было оставить дома и она взяла его с собой. Эта фигурка китайки, бредущей вместе со своим сынишкой с вечерних занятий по улицам столицы, возвратила нас из призрачного мира богдыханов и лукавых царедворцев в мир простого народа, который сегодня с такой самоотверженностью и упорством прокладывает себе дорогу к новой жизни.

И мне подумалось, что независимо от того, как сложится судьба китайского классического театра, лучшие достижения и традиции которого, конечно, всегда будут жить, недалеко то время, когда в стране возникнет новый, реалистический театр. Он вынесет, наконец, на театральные подмостки животрепещущие вопросы современной народной жизни.

В тот вечер мы ещё не знали, что такой театр уже появился в Китае. Но скоро нам удалось посмотреть один из первых его спектаклей.

Рождение нового театра

И вот мы побывали в Новом драматическом театре на проспекте Небесного спокойствия в Пекине. У подъезда театра, совсем как в Москве возле Большого или Художественного, стояла толпа молодых людей и встречала каждого проходящего всё тем же неизменным вопросом: «Нет ли у вас лишнего билета?». Едва успев переступить порог вестибюля, мы уже почувствовали, что находимся в здании театра, только-только начинающего жить. Здесь всё было новым, лишь вчера вышедшим из рук мастера: и внутреннее убранство фойе, и скромные украшения на стенах, и мебель зрительного зала — всё было свежим, чистым, ещё хранящим запах клея и краски. Но главное, чувствовалось, что до всего здесь дошла пытливая мысль молодых хозяев театра, всё одухотворено их преданной любовью к искусству.

В отличие от классического театра, здесь во время действия движение по залу запрещено, и традиционные в китайских театрах разносчики сладостей и прохладительных напитков должны были обосноваться в фойе.

В тот день шла пьеса «Патриот», посвящённая борьбе китайского народа за свою свободу в годы японской оккупации. Она рассказывала о великом мужестве сынов и дочерей Китая, об их святой ненависти к врагам родной земли. Спектакль был таким впечатляющим, так ясна была его идея, так выразительна игра актёров, что подчас наш переводчик умолкал — то, что происходило на сцене, казалось понятным само собой...

Я не буду пересказывать содержания пьесы. Скажу только, что надолго сохранится в моей душе образ главной героини этой пьесы — юной китайки, вынесшей все страдания, на которые обрекли её японцы, и не выдавшей партизан, надолго запомнится образ её маленького самоотверженного брата, старавшегося во всём быть достойным своей сестры.

И как это всегда бывает с искусством, когда оно подлинное, спектакль, который мы увидели, заставил вспомнить многое. Эта волнующая повесть о девушке-патриот-

ке воссоздавала в нашей памяти трудный и славный сорок первый год, поля Подмосковья, деревню Петришево, занесённую снегами, и Зою, идущую на казнь с непокрытой, гордо поднятой головой.

Когда зажётся свет, многие зрители смущённо опускали глаза и поспешно прятали платки. Спектакль произвёл на пекинцев сильное, необыкновенно сильное впечатление. Со сцены пахло суровой правдой жизни.

Мы долго беседовали с режиссёром Сун Ке-ин. Эта талантливая женщина была организатором и душой молодого коллектива нового театра. Она получила театральное образование в Москве, считала себя последовательницей традиций Художественного театра и мечтала о постановке советских пьес на китайской сцене. И не просто мечтала — театр уже готовил инсценировку романа Н. Островского «Как закалялась сталь».

— Нам кажется, что этот наш первый советский спектакль будет перекликаться в сознании зрителя с китайской пьесой, которую вы видели сегодня, — сказала Сун Ке-ин. — Обе они воспевают мужество и душевную красоту нового человека, отстаивающего землю своей родины... Наши актёры с большим воодушевлением работают над пьесой. Им полюбились её герои, они близки им духовно. Это облегчает работу, хотя история событий, присходящих в романе Островского, известна нам, к сожалению, только в самых общих чертах...

В этой последней фразе заключалась просьба, выраженная, как это принято в Китае, в осторожной, необязательной форме. Было приятно сознавать, что и мы можем оказать хотя бы маленькую помощь молодому театру. Мы тут же договорились с режиссёром, что один из нас выступит перед молодым творческим коллективом с докладом, в котором будет раскрыт исторический фон событий, изображённых в пьесе, созданной по знаменитой книге советского писателя.

В поле за Тяньцзинем

В один из свободных дней я решил побывать за городом в небольших деревушках, окружающих Тяньцзинь.

Кончался март. Уже зазеленели гравы, распустилась листва на деревьях, стала зелёной даже вода каналов — так буйно разрослись в них водоросли. Мой спутник, работник тяньцзиньского муниципалитета Чжан Ю, превосходно знающий окрестные места, предложил ехать не на машине, а на велосипедах, и отправиться в путь пораньше. По утрам ещё бывало прохладно, но днём часто стояла настоящая тропическая жара.

К загородным прудам кратчайшим путём вела улица особняков. Это был прежний аристократический квартал Тяньцзиня. Дома, с массивными колоннами и тяжёлыми террасами, были построены с расчётом на долгий век. Небольшие дворики, выложенные плитами из цветного камня, украшенные палисадниками, тянулись позади домов. Иногда в глубине этих двориков обозначались кованые ворота домашнего гаража на одну-две машины.

Здесь жила привилегированная верхушка города. После освобождения почти все особняки были национализированы. Сейчас в них разместились санатории, клубы, детские сады. А в некоторых особняках поселились семьи командиров Народно-освободительной армии. Новые хозяева успели уже обжиться, они тщательно вскопали и возделали во двориках каждый свободный кусочек земли. Мы видели аккуратные грядки с ранними овощами — луком, редисом. Сюда пришли действительно новые хозяева, не привыкшие к тому, чтобы «земля гуляла».

Когда мы миновали загородные пруды, перед нами открылось поле, засеянное пшеницей: она буйно зеленела и готовилась уже, как говорят кресгяне, выбросить колос.

— Эта пшеница созреет к июню? — спросил я у своего спутника

— Ну, что вы, гораздо раньше, — удивился моему вопросу Чжан Ю, — в конце, а может быть даже в середине мая её будут убирать...

— А потом, после уборки пшеницы, неужели это поле останется пустовать? Ведь китайское лето долгое.. — снова спросил я.

— Нет, наши крестьяне любят, чтобы земля плодоносила всё лето, — поднял на меня смеющиеся глаза Чжан Ю. — Вы видите эти каналы, которые разделили поле на правильные прямоугольники? В конце мая, когда пшеницу уберут, крестьяне огкруют шлюзы и всюду здесь будет стоять вода...

Теперь мне стало понятно — летом тут раскинется рисовое поле.

Мы ехали просёлком. Иногда на нашем пути неожиданно возникало большое озеро. Посевы пшеницы подступали прямо к воде, обрамляя водное зеркало сплошной зелёной массой. Казалось, озёра эти появились уже после того, как поле было засеяно.

— Это вода Хуанхэ, — пояснил Чжан Ю и медленным движением руки обвёл горизонт. — В прошлом году в половодье река затопила всё вокруг. Хуанхэ была очень свирепа прошлой осенью.

И я услышал знакомую фразу: «река тысячи огорчений...» Но китайский труженик издавна научился даже из стихийных бедствий извлекать хоть какую-нибудь пользу для своего хозяйства. Озёра, оставшиеся после набега Хуанхэ, китайский крестьянин обратил в своеобразные поля: не дожидаясь, пока высохнут эти непрошенные заводи и землю можно будет вновь возделывать, он посеял в воде лотосы.

Лотос — это красивый пышный цветок с длинным стеблем. Необычайное зрелище представляет собою лотосовое поле. Белые, бледно-розовые, розовые и алые бутоны огромных размеров, распускаясь, превращаются в цветы величиною с большое круглое блюдо, и эти цветы сплошным покровом лежат на водной глади... Лотос — универсальное растение. Не менее универсальное, чем соя, посевы которой тоже очень распространены в Китае.

— Из корневища лотоса готовят муку, годную для выпечки хлеба, — рассказывал мне мой спутник. — Но это не всё. Когда лотосы отцветают, на воде удерживается большая чаша, наполненная зёрнами. Зёрна эти перемальвают и превращают в крупу. Кроме того, из них отжимают растительное масло. Наконец, листья лотоса обладают удивительной способностью долго не вянуть и поэтому в них заворачиваются скоропортящиеся продукты.

Однако китайский крестьянин не ограничивается только тем, что выращивает лотосы на оставленном рекою озере. Зная по опыту, что озеро, возникшее на его поле, не высохнет в течение одного или двух лет, крестьянин спешит заселить его рыбой. В тех озёрах, какие мне довелось увидеть, рыбы было так много, что её вылавливали не только сетями и корзинами, но и просто руками. Впрочем, это свидетельствовало и о том, что рыба привыкла здесь к человеку, **это** звучит немножко странно, но не расходится с истиной. К берегу одного из таких рыбных питомников крестьяне сносили охапки травы, накошенной где-то по соседству. Так как озеро было ещё совсем молодым, его дно не успело покрыться густой порослью водных растений и для прожорливой рыбы в нём нехватало пищи. Поэтому крестьяне кормили обитателей своего озера обычной луговой травой. И надо было видеть, как, совершенно не боясь человека, к траве устремлялась рыба; она жалась к берегу такой плотной стаей, что человеку трудно было двигаться в воде. Так на большом птичьем дворе птичницу, несущую совок с зерном, сопровождают стаи цыплят и кур.

Даже поздним утром, когда солнце уже палит нещадно, на дорогах, ведущих в Тяньцзинь, всё ещё много народу. Правда, на просёлках почти нет машин, но пешеходы идут нескончаемой вереницей. На коромыслах, переброшенных через плечо, они несут в город корзины с овощами, мясом, рисом. Иногда крестьянин ведёт рядом с собой велосипед, нагружённый до отказа: на багажнике укреплен небольшой мешок с мукой, на раме подвешена битая птица, а то и целая свиная туша...

Рогатого скота в Китае немного, но и тот, что есть, используется только в качестве тягловой силы, особенно при обработке полей. Деревенские жители здесь не знают вкуса молока. Наши переводчики, как правило, отказывались составить нам компанию, когда на столе у нас появлялось что-нибудь молочное, так непривычна

была для них эта пища. Уже возвращаясь домой, мы увидели у околицы небольшой деревни пастбище и на нём стадо коров. Казалось бы, для деревенского пейзажа в этом не было ничего необычного, но крестьяне, проезжавшие мимо, останавливались и подолгу смотрели на пасущихся коров.

Мы узнали, что стадо принадлежало детскому дому. Пожилая женщина, повязанная шёлковой косынкой, сказала нам:

— Молочную ферму мы создали только этой весной. Вначале дети отказывались пить молоко, ведь дома они его никогда не видели. Но постепенно мы их приучили и к творогу, и к сливкам, и к маслу.

В полдень, когда солнце достигло зенита, дороги заметно обезлюдели. Тишина, изредка прерываемая торопливым стрекотанием кузнечиков, разлилась повсюду. Даже ветер, который с утра тяжело тревожил зелёные моря пшеницы, сник, словно обессиленный жарой. Начались те несколько мёртвых послеполуденных часов, когда жизнь здесь как бы останавливается...

Вернувшись в Тяньцзинь, мы узнали, что утром газеты опубликовали важное постановление правительства о практическом решении проблемы Хуанхэ.

Я уже рассказывал о значении этой проблемы для жизни китайской деревни. Предстоящие работы должны были принять гигантский размах. Но правительство считало, что ещё до того, как начнётся строительство дамб вдоль берегов Хуанхэ, — одно из самых величественных строений в истории Китая, — необходимо принять предварительные меры, которые теперь же обезопасили бы жизнь земледельцев, живущих в долине Жёлтой реки, и сберегли бы от гибели плоды их тяжёлого труда.

С наступлением весны на больших пространствах в бассейне Хуанхэ уже начались предварительные ирригационные работы. Сотни тысяч крестьян взяли в руки лопаты, и, как всегда, бойцы Народной-освободительной армии и рабочие промышленных городов пришли им на помощь.

— Мы должны будем поднять 200 миллионов кубометров земли, чтобы осушить огромную площадь в 14 миллионов му, — говорил народный мэр Тяньцзиня Хуан Цин. — Правда, работы по осушению были начаты ещё в январе. С помощью армии нам удалось своевременно выполнить наиболее срочные задания. Но труд этот даст свои плоды только в том случае, если мы сейчас успешно завершим весь цикл ирригационных работ. А дело осложняется страшной запущенностью системы ирригационных сооружений. На протяжении многих десятилетий не делалось ничего для её сохранения и улучшения. Гоминдановское правительство, конечно, провело среди населения очередной сбор средств на строительство дамб и собрало при этом значительные суммы, но, как всегда, гоминдановцы разворовали эти деньги. Однако то, чего не могли сделать враждебные народу правители, делает сам народ, делает быстро и надёжно. Проект создания новой ирригационной системы предполагает строительство не только дамб, но и мощных водохранилищ. Во время половодья мы заберём у реки избыток воды и сохраним его с тем, чтобы снабжать поля водой в засушливые летние месяцы.

Близко, очень близко то время, когда «река тысячи огорчений» будет нести человеку только радость и счастье.

В разгар лета

С конца июня над Китаем свирепствует жара. Лёгкий налёт влаги постоянно покрывает тело. Поверх простынь на постели кладутся циновки — их жёсткий и пористый покров удерживает прохладу. Но и на циновках часто не удаётся уснуть до полуночи.

В эти знойные дни Тяньцзинь кажется городом, покинутым жителями. Солнце выбелило тротуары, а тени выглядят чёрными и глубокими. Но от жары нельзя спастись даже в тени. Тяньцзинь оживает лишь с наступлением темноты. И в центре и на окраинах жители выходят на улицы: на открытом воздухе вечером прохладнее, чем в домах. Кто сидит на камне, кто раскинулся прямо на пыльном кирпиче тротуара, кто разостлал циновку на парадном крыльце... Тротуары напротив особняков

состоятельных людей сплошь уставлены плетёными креслами, раскладными кроватями. Словно на пляже, все полуодеты: мужчины — в трусах, женщины — в купальных костюмах.

Люди устали, хотят спать, но спать трудно. Раскалённый камень домов и тротуаров долго хранит жар полуденного солнца. Слышится бесконечная трель цикад. Тёплую, пахнущую водорослями и илом воду каналов иногда потревожит сонная рыба — и опять всё стихнет. Жара держит людей в полудремотном состоянии, и люди, сами того не замечая, говорят вполголоса. И хотя все улицы и закоулки полны народа, над городом стоит только изредка нарушаемая тишина.

В школе псевдился новый контингент слушателей. После коротких каникул занятия снова шли полным ходом. В эти дни наши лекции начинались в шесть часов утра. Студенты сидели в лёгких безрукавках, в сетчатых спортивных блузах, многие — с веерами в руках. Вентиляторы, прикреплённые к потолку, гнали по лекционному залу мощные струи воздуха. Вентилятор, установленный над самой кафедрой, обдувал лектора едва ли не с таким же усердием и силой, с какой обдувается модель самолёта в аэродинамической трубе. Но когда и вентиляторы не помогали, студенты и лекторы обращались к испытанному в Китае прохладительному средству — зелёному чаю. Большие бидоны с горячим зелёным чаем стояли в коридорах школы, и все мы имели возможность постоянно держать в специальных стаканчиках с металлической крышкой эту поистине живительную влагу.

К слову сказать, зелёный чай — любимый напиток китайцев. Государственные деятели не сядут за деловую беседу без того, чтобы на столе не стоял зелёный чай. Продавец в магазине, не прерывая разговора с покупателями, пьёт зелёный чай. Студент идёт на занятия, неся с собою герметически закрывающийся сосуд для зелёного чая. Его можно пить только тогда, когда он горячий, в противном случае этот чай вызывает отравление. И мы как-то были жестоко наказаны за то, что не знали этого.

В один из дней конца июня, когда над великой китайской равниной утихли ветры, дующие с Жёлтого моря, и жара казалась особенно нестерпимой, пришло известие о вторжении лисынмановских и американских войск в Корейскую Народно-демократическую республику. Отношение китайского народа к этому новому акту агрессии довольно точно передавала карикатура, которую я увидел в одном из последних июньских номеров большой пекинской газеты: через символические изображения пограничных уездов Кореи и Китая ступают две пары ног — одна обутая в грубые башмаки японского солдата, другая, вслед за ней, — обутая в ботинки с мягкими гамашами, какие носят американские солдаты. На следах, оставленных башмаками японца, отпечаталось: «1931», на следах американца — «1950». Скупыми изобразительными средствами художник сказал всё: в своей корейской авантюре американцы прямо следовали по стопам японцев.

Я не ошибусь, если скажу, что именно эта мысль — американцы идут по стопам японцев — владела сознанием каждого китайского труженика, узнававшего о нападении на Корейскую Народно-демократическую республику. Конечно, это сравнение — «американцы идут по стопам японцев» — для китайцев было не новым. Американская агрессия против Китая началась задолго до вторжения янки на корейскую землю. Но никогда эта мысль не была такой очевидной, такой само собой разумеющейся, как ныне. Подобно тому, как японцы начали своё вторжение в Китай с оккупации Кореи, американцы напали теперь на Корею, чтобы оттуда проникнуть непосредственно в Китай. То, что американцы идут по стопам японцев, подтвердилось с новой силой, когда двумя днями позже было получено сообщение о приказе Трумэна оккупировать Тайван.

Народный Китай буквально клокотал от гнева. Газеты были полны сообщений из Кореи. Широко транслировались передачи китайского радио о ходе военных действий. Взоры всех были обращены туда, где мужественный народ Кореи отстаивал родную землю. И несмотря на то, что с корейского фронта в эти дни шли хорошие вести, в китайском народе росло сознание: там решается судьба не только суверен-

ной Кореи, но и независимого Китая. Поэтому китайский народ должен оказать помощь корейцам.

Из Китая в Корею выехала бригада врачей-добровольцев и большая группа девушек, выразивших желание отдать свою кровь раненым бойцам Корейской Народно-освободительной армии. Мне рассказывали, что в первые же дни корейской войны в Комитет защиты Китая от американской агрессии стали поступать сотни посылок с просьбой переслать их в Корею. В посылках было бельё, обувь, носки, полотенца, папиросы, мыло.

В течение одной недели волна митингов в защиту Кореи, в защиту мира пронеслась по всей стране, достигнув отдалённых местечек Сычуани и Синьцзяна. Для Китая, где известия даже о больших событиях доходят по стране медленно, это явление было невиданным.

Газеты сообщали, что число подписей под Стокгольмским Воззванием в эти дни приблизилось к двумстам миллионам.

Жители воды

Почти каждый день, едва только заканчиваются лекции, мы отправляемся на озёра. Это — единственное место, куда можно сбежать от тяньцзинской жары.

У нас возникла дружба с лодочником Ли. Человек большой физической силы, с могучей грудью и мускулистыми руками, он шутя управляет своей джонкой, хотя она и не так уж мала. Ли хорошо знает здешние места и всякий раз показывает нам всё новые и новые уголки тяньцзинских пригородов. Густая сеть каналов даёт возможность добраться на лодке до любого места в Тяньцзине и его окрестностях.

Ли показал нам однажды стайку лодок-сампанов на одном из озёр. Прежде целые города сампанов стояли на беспокойной воде Янцзы, Хуанхэ, у причалов Шанхая, Нанкина, Тяньцзиня. В этих лодках жили все, кого крайняя нужда согнала с земли и заставила обосноваться на воде — благо в звериной своей алчности феодалы и капиталисты ещё не додумались до того, чтобы раскроить на арендные участки океан или море, подобно тому, как они раскроили землю. И десятки тысяч бедняков, обессиленных в единоборстве с жизнью, заселили воду. На мокрых досках сампанов люди рождались, проводили своё детство, доживали до седьми, скрюченные ревматизмом и костным туберкулёзом.

Что говорить, не так-то легко сразу дать всем этим людям настоящее жилище. Сегодня в больших китайских городах ещё далеко не все «жители воды» переселены на сушу. В Тяньцзине обитателями сампанов ещё остались многочисленные семьи рыбаков. Но близится время, когда обитателей сампанов переселят на сушу.

Ли причалил к острову, в глубине которого, окружённые густой порослью гаюляна, чумизы и кукурузы, виднелись домики крестьян.

— На этом острове живут мои родители, — сказал лодочник, — Если у вас есть желание, мы можем навестить их вместе.

На голос Ли из домика вышла его мать — сухонькая женщина с лицом, испещрённым морщинками. Она поклонилась нам и, пока мы осматривались кругом, украдкой коснулась плеча сына и бережно провела рукой по его спине. Пришёл с лотосового поля отец Ли. Он был ещё не стар, но грудная жизнь успела выбелить его волосы, высушить и пригнуть к земле его высокую, костлявую фигуру.

— Всё это мы с матерью вдвоём посадили, — не без гордости произнёс старик, обводя усталым взглядом поля гаюляна и кукурузы, которые буйно зеленели вокруг. — А в будущем году посадим ещё больше. Верьте мне — посадим. Теперь мы хозяева этой земли. А ведь и я, и отец мой, и дед были батраками помещика. Батраками на этой самой земле! Но теперь и чумиза — наша, и гаюлян, и кукуруза, и лотос. Всё наше с матерью. У нас даже ослик есть. Верите ли, собственный ослик! Этого же никогда не было. Помещик теперь мне не судья, я его не боюсь. Где теперь помещик, спрашиваете? Где помещик?

Старик притопнул ногой и весело рассмеялся:

— Помещик теперь лимонадом торгует! Верьте мне — лимонадом торгует... Не верите? Нет? Вот что, Ли, — обратился он к сыну, — покажи им нашего помещика...

Сын в знак согласия кивнул головой. Мать смущённо пожала плечами и отошла в сторону, она явно не одобряла затею мужа.

...На обратном пути Ли был молчалив, лицо его нам показалось печальным. Мы спросили, что его заботит? На минуту он оставил вёсла.

— Вы видели мать? Она больна, тяжело больна. Отец понимает это, но не подаёт виду. Подбадривает мать, заодно и себя, но я-то всё вижу... Худо ей жилось, очень худо... Всю жизнь работала у помещика, а помещик — зверь. Много он хороших людей загубил...

Вскоре мы увидели этого помещика. На берегу озера, в людном месте, маленький человечек с багровым лицом и круглыми глазами быстро семенил вокруг лотка, на котором покоились два арбуза, банка с земляными орехами, бутылка с лимонадом. Увидев, что мы смотрим на него, он приостановился, опустил глаза, а потом, сорвавшись с места, вновь резво забегал вокруг лотка, словно привязанный к нему невидимой цепью.

Самая большая проблема нового Китая

Отец и мать Ли принадлежали раньше к тем ста миллионам китайских мужчин и женщин, которые, занимаясь сельским хозяйством, никогда не имели земли. От нищеты и страданий, порождавшихся безземельем китайского крестьянства, в стране умирало больше народу, чем от всех самых тяжёлых болезней, вместе взятых. В современном Китае нет проблемы более важной, чем земельная реформа. И проведение её в жизнь — великое завоевание китайской революции.

Борьба за осуществление земельной реформы была органически связана с ходом всей борьбы, которую вели коммунисты за свободу и независимость родины. И на различных этапах реформа проводилась по-разному, отражая характер этой борьбы.

В 1927—1937 годах, когда коммунисты шли войной против объединённого союза гоминдана, феодальной реакции и буржуазии, партия призывала к разделу помещичьей земли и передаче её беднейшему крестьянству. Но вот началась война с Японией, и положение изменилось.

— В период войны с японскими захватчиками, — говорил Мао Цзе-дун, — в целях создания антияпонского единого фронта с гоминданом и сплочения всех сил, которые тогда ещё могли бороться против японских захватчиков, наша партия по собственной инициативе, заменила прозодившуюся ею до войны с японскими захватчиками политику конфискации помещичьих земель и раздела их между крестьянами — политикой снижения арендной платы и ссудного процента. Это было совершенно необходимо.

После победы над Японией вопрос о земельной реформе вступил в новую стадию. Уже весной 1946 года стало очевидно, что Чан Кай-ши стремится объединить все силы реакции и выступить против народной демократии. Коммунисты снова призывали крестьян к разделу помещичьих земель. Практическое осуществление реформы на местах было поручено комитетам деревенской бедноты. Прежде чем делить землю, эти комитеты созывали широкие собрания крестьян, на которых земледельцы предъявляли свои обвинения помещику.

13 сентября 1947 года Всекитайская земельная конференция приняла «Основные положения земельного закона Китая». Закон уничтожал старую аграрную систему с её феодальной и полуфеодальной эксплуатацией, аннулировал помещичье право собственности на землю и все долговые обязательства, заключённые до проведения аграрной реформы, подвергал разделу все земли и поместья землевладельцев, их инвентарь, зерно и скот.

— Наша политика такова: опора на бедняка, прочный союз с середняком, ликвидация системы феодальной и полуфеодальной эксплуатации... — говорил Мао Цзе-дун в декабре 1947 года. — Вся наша партия должна ясно представлять себе, что последовательное преобразование аграрной системы является нашей основной задачей на данном этапе китайской революции. Если мы сумеем решить аграрный вопрос по-

всеместно и окончательно, это даст нам возможность обеспечить основные условия для победы над всеми врагами.

Разумеется, в такой большой стране, как Китай, осуществление столь сложной реформы не всегда проходило гладко. Местные органы иногда относили к числу помещиков — кулаков и середняков. Были случаи, когда разделу подвергались хозяйства, принадлежавшие городской буржуазии, а это противоречило установкам партии и народного правительства: известно, что на нынешнем этапе революции правительство стремится сохранить средние, а в иных случаях и крупные частные предприятия. Коммунисты пристально следили за ходом реформы, стараясь во-время исправлять все ошибки на местах, делая всё, чтобы принципы аграрного закона никем не нарушались.

Мы с радостью приняли приглашение посетить деревню И Сунь-чунь в 20 километрах от Тяньцзиня. Эта поездка сулила нам возможность увидеть собственными глазами реформу в действии.

И Сунь-чунь — большое селение, состоящее из 2700 дворов. Обширные исуньчунские поля лежат на холмистой равнине, окружающей деревню. Нас встретил председатель сельского комитета Чжан Чжу-чан, пятидесятилетний человек богатерского сложения. Он повёл нас в каменный двухэтажный дом с крыльцом, украшенным нарядной резьбой. Раньше здесь жил помещик. Теперь в одной из комнат помещицкого дома находился кабинет председателя сельского комитета. По стенам кабинета были развешаны в строгих рамках портреты Сталина, Мао Цзе-дуна, Чжу Дэ.

Прежде чем расспросить Чжан Чжу-чана о сельских делах, мы попросили его рассказать о себе. Он смутился, умолк, потом начал отнекиваться и уступил только нашим настойчивым просьбам. Но всё равно, то, что он рассказывал, в сущности меньше всего походило на рассказ человека о себе.

— В моей семье, — сказал он, — пять человек: кроме меня и жены — двое ребят и брат. Да, у нас в доме живёт мой брат. Он был так беден, что ни одна девушка не решалась выйти за него замуж. Вот он и остался на всю жизнь бобылём. Вы думаете, в нашей деревне только он один был такой? Нет, в И Сунь-чуне много мужчин остались по этой же причине без семей. Только из моего поколения человек двести, если не больше! А как могло быть иначе, если девятью десятыми всей земли у нас владел помещик...

— По-иному живёт наша деревня сейчас, — продолжал свой рассказ председатель. — Земля теперь есть у каждого, и налог не велик — всего 15 процентов с дохода. А бедняки платят государству и того меньше. У нас теперь остаётся продуктов в два-три раза больше, чем прежде. Мы стали жить лучше, много лучше. Вот увидите сами...

Эту фразу мы слышали постоянно: люди нового Китая гордились своими успехами и справедливо считали, что дела убедительней всяких слов...

Мы вышли на сельскую улицу, и Чжан Чжу-чан предложил нам взглянуть на крестьянские дворы. В каждом дворе на току было много хлеба, каждый крестьянин имел свой тягловый скот, много домашней птицы. Везде мы чувствовали, что в хозяйстве исуньчунцев уже появился достаток.

Мы посетили многие крестьянские дома. Это были старые глинобитные постройки с большой печью, от которой тянулась вдоль стен дымовая труба: когда печь топились, дым обгоревал сразу весь дом.

— Конечно, у нас многого ещё нет, — говорил Чжан Чжу-чан, — надо бы обновить и улучшить жилища, надо бы завести машины, а то ведь, например, мы обмолачиваем пшеницу по-старому, каменными валиками, это гяжело... Но всё у нас впереди, главное, что мы уже меньше думаем о еде — её хватает. Крестьяне озабочены теперь тем, чтобы купить что-нибудь для дома, справить новую одежду жене и детям. А детям это особенно необходимо — многие из них в этом году впервые пошли в школу. Мы отвели под школу один из домов, прежде принадлежавший помещику...

— А где сейчас помещик? — спросил я, вспомнив помещика из деревни, где жил лодочник Ли.

Чжан Чжу-чан улыбнулся:

— Он здесь, в деревне...

— А что он делает? Работает?..

— Работает понемножку, — ответил председатель, — ведь правительство и ему дало землю. Но он не очень любит работать, не очень. Наш помещик совсем упал духом, но только теперь на него никто уже не будет гнуть спину. Придётся ему самому кормить себя!

Новое побеждает в борьбе

Разумеется, далеко не везде и не всегда помещики безропотно подчинялись и подчиняются воле народа. Сплошь и рядом проведение аграрной реформы наталкивается в Китае на бешеное сопротивление всех сил старого мира... Забегая вперёд, я хочу рассказать о своей беседе с одним китайским коммунистом, который руководит проведением аграрной реформы в южных провинциях. Я встретился с ним осенью в Ханькоу, когда осуществление раздела помещичьих земель на юге было в самом разгаре. Рассказ этого человека дал мне ясное представление о том, с какими трудностями сталкивается народное правительство в своём стремлении дать крестьянам землю.

— В шести южных провинциях Китая, — сказал он, — где мы проводим сейчас реформу, живёт 120 миллионов китайцев, в подавляющем большинстве — крестьяне. Провинции эти дают треть всей сельскохозяйственной продукции страны. Помещики в наших местах составляют 3,5 и кулаки 5,5 процентов населения. В их руках до сих пор находилось четыре пятых всех земельных угодий... Весной этого года раздел помещичьей земли нам удалось завершить в 43 уездах провинции Хэнань, где живёт 16 миллионов человек, а зимой мы проведём реформу ещё в 155 уездах с населением в 50 миллионов...

Решение этой задачи — дело не простое. Враги народной власти стремятся дать нам бой, прежде всего, на этом самом трудном и важном участке нашей созидательной мирной работы. Борьбу антинародных сил возглавляют гоминдановцы, действующие нелегально. Помещиков, лишившихся земли, они склоняют к вооружённому сопротивлению. В момент, когда мы приступили к осуществлению аграрной реформы в Центральном и Южном Китае, врагу удалось создать многочисленные вооружённые банды. Можно сказать без преувеличения, что в тылу у нас возникла малая война. Народу удалось справиться с врагом — разбить его в открытом бою, частью уничтожить, частью обезоружить. Но враг не сдался. Он всё ещё не выпускает из рук оружия, а там, где он лишён возможности действовать пулей и поджогом, он главное внимание уделяет антиправительственной агитации. При этом враг учитывает, конечно, что нам приходится работать с населением, восемьдесят процентов которого неграмотно. Вражеская агитация часто играет на предрассудках, существующих в среде наиболее отсталых наших крестьян. Хотите, я расскажу вам, как это делается? Послушайте.

В народе распространяется, например, легенда, что якобы по завету Будды в ближайшие годы должен измениться весь строй неба, а поэтому и строй жизни на земле: коммунисты будут изгнаны из Китая и в страну возвратятся гоминдановцы... В Южном Китае много храмов, владеющих большими земельными угодьями. Земли, принадлежащие храмам, по реформе не подлежат разделу. Этим пользуются помещики. Они передают свою землю храмам «навечно», на самом же деле — временно, «до лучших времён»... Или вот вам ещё один метод борьбы. Во многих китайских сёлах всё население, включая помещика и беднейшего крестьянина, носит одну фамилию, скажем Лю или Чан. Помещики говорят своим крестьянам: «мы дети одной матери, мы члены одной семьи, мы сами разберёмся в наших делах, и пусть чужие люди не вмешиваются в нашу жизнь — наши дела принадлежат только нам...» Нередко помещики занимаются вредительством, чтобы скомпрометировать народную власть: они уничтожают сельскохозяйственные орудия, организуют массовую порубку леса, убивают скот... В своей животной злобе они делают всё, чтобы заставить даже самую землю не плодоносить, раз она им не принадлежит. В одном из уездов про-

винции Хэнань помещик закупил десятки мешков соли и разбросал её по полям, полагая, что на «солёной земле» ничего не уродится...

Теперь вы понимаете, какое это трудное дело — проведение аграрной реформы, — сказал мой собеседник. — Это борьба, многообразная, требующая выдержки, самоотверженности, глубокого знания местных условий, железной настойчивости. А главное — требующая умения привлечь на сторону народной власти самые широкие массы крестьянства. Работа в массах решает успех дела, а мы эту работу ведём ежедневно, ежечасно, не покладая рук. Залог нашего успеха в том, что у коммунистов есть огромный опыт общения с массами, что они плоть от плоти и кровь от крови своего родного народа.

Солдат берёт в руки лопату

Вскоре нам удалось познакомиться с совершенно особым типом хозяйства, возникшим на китайской земле в последние годы.

Когда в новом Китае началось осуществление широчайшей программы мирного строительства, Мао Цзе-дун призвал Народно-освободительную армию стать «армией производства и национальной обороны». И солдаты стали строителями. Армия прокладывает железные дороги, возводит дамбы, роет каналы, производит сельскохозяйственные машины. Армия возделывает поля.

Десятки и сотни армейских ферм дают стране немало риса, хлеба, масла, мяса, рыбы...

В конце августа мы побывали на одной из таких ферм под Тяньцзинем. Директор её — полковник в отставке, прослужил добрых 20 лет в рядах Народно-освободительной армии. Хотя он уже и не носил военной формы, но подтянутость во всей его фигуре и манера говорить точно, кратко, ясно выдавали старого армейского офицера.

— Эта земля, — сказал он, показывая нам обширные рисовые поля, — никогда не обрабатывалась. Здесь ещё в большей степени, чем в других местах, всегда не хватало влаги, а строительство каналов было сопряжено со значительными трудностями. Но то, чего не могли и не решались сделать помещики, оказалось под силу армии, в распоряжении которой имеется новая техника. В январе этого года командование направило сюда большую группу солдат. В течение трёх месяцев они возвели водонасосную станцию и оборудовали её четырьмя сильными моторами, затем построили каналы и построили, как вы можете убедиться, отлично...

Действительно, сеть ирригационных сооружений на полях армейской фермы была распланирована тщательнее и оснащена технически совершеннее, чем на старых помещичьих угодьях, которые нам приходилось видеть. Каналы были прорыты глубоко, и вода стояла в них на высоком уровне. Шлюзы, с помощью которых она распределялась, были тщательно укреплены и отбетонированы. Водонасосная станция, по словам полковника, могла напоить влагой и больше, чем три тысячи му, которые имела ферма.

— Это армейское хозяйство не единственное в здешних краях, — отвечал на наши расспросы полковник. — Голько под Тяньцзинем расположено 20 таких же ферм. Одни из них побольше нашей, другие поменьше. В нынешние нелёгкие времена, когда страна только-только становится на ноги, нам надо помочь правительству обеспечить армию продовольствием. В этом году мы соберём по четыреста дин с му. Это значит, что мы сыплем в армейские склады 600 тонн риса. Если учитывать масштабы Китая, это, конечно, совсем немного. Но для начала неплохо. К тому же мы надеемся дать армии много дичи — на соседних озёрах выращивается несколько тысяч уток. Вы, очевидно, заметили, что мы заселили наши каналы крабами и рыбой. Это тоже нам даст доход... Мы старались так построить ирригационную сеть, чтобы она просуществовала много лет. Если даже армия и перестанет заниматься сельским хозяйством, то на базе нашей фермы можно будет создать хорошее государственное хозяйство, подобное вашим совхозам, которое явится примером для окрестных сёл, будет носителем передовой агротехники. Приезжайте к нам на будущий год и вы увидите, как далеко мы шагнём вперёд.

Праздник осеннего урожая

Была середина сентября, и жара, наконец, стала спадать. Близилась уборка второго урожая. Повсюду уже были сняты фрукты и овощи. Начался осенний лов рыбы: мальки, которыми весной крестьяне заселили свои пруды, теперь достигли двух-трёх килограммов веса... Живописное зрелище являют собой тяньцзинские рынки в сентябре. Лежат горы арбузов, привезённых сюда прямо на джонках. Ёмкие корзины, сплетённые из ивовых прутьев, полны яблок, тяжёлых и крепких, облитых румянцем. Толстый слой лотосовых листьев, ещё хранящих свежесть озёрной воды, прикрывает тележку с рыбой. Возвышаются ящики с грушами, которые сорваны до срока и будут дозревать у покупателя. Стоят мешки со снежнобелым фрисом, янтарной кукурузой, золотой пшеницей. Широкий нож продавца овощей с хрустом врежется в кочан капусты. Тугие вязанки лука тяжело свисают с потолка лавчонки... Народ идёт на рынок, словно на праздник. Здесь и в самом деле чувствуешь себя, как на торжестве великого грудолюбия народа, который, героически преодолевая все трудности пока ещё не лёгкой жизни, поднимается к изобилию, к счастью.

В эти сентябрьские дни сбора плодов справляется один из самых красивых китайских праздников — Праздник Луны. Нас пригласил к себе на традиционный ужин народный мэр Тяньцзиня — Хуан Цин. Гостей пришло немного: за столом, кроме семьи Хуан Цина, были председатель профсовета с женой и заместитель мэра.

Стол был накрыт в укромном уголке сада. Вазы, наполненные тяжёлыми и сочными здешними фруктами, как бы символизировали неиссякаемую силу плодоносной китайской земли. Сквозь лёгкую уже по-осеннему негустую листву деревьев просеивался сумеречный свет луны, которая поднималась за холмами Тяньцзиня. Небо было ясным, и вскоре мы увидели краешек лунного диска...

За столом хозяйничала жена Хуан Цина — Хуан Инь, с которой мы были уже давно знакомы. Она была прекрасно образована, окончила филологический факультет, хорошо знала китайскую и русскую литературу, была талантливой публицисткой. Партия доверила ей важный пост редактора крупнейшей тяньцзинской газеты. Её статьи, посвящённые острым вопросам современной китайской жизни, написанные простым и точным языком, пользовались большим успехом у требовательного тяньцзинского читателя. Хуан Инь была матерью пятерых детей, и её малыши постоянно требовали внимания и ухода. Она отдавала им немало времени, успевая вместе с тем образцово справляться со своей ответственной партийной работой.

Когда взошла луна, Хуан Инь сказала нам:

— Праздник Луны — один из самых старинных и любимых народом праздников. Есть много толкований его происхождения и смысла. Это и праздник урожая: поэтому на стол подаётся многое из того, чем порадовала людей земля нынешней осенью. Это и торжество, символизирующее дружбу в семье, крепость её устоев: поэтому вокруг стола собирается вся семья. Это, наконец, праздник супружеской верности, праздник любви. Как бы далеко в этот вечер ни были муж и жена друг от друга, в эту минуту и он и она смотрят на луну одновременно, и взоры их как бы встречаются...

Хуан Цин с улыбкой слушал жену, а потом добавил с печальной задумчивостью:

— В суровые дни войны, когда многие из нас были разлучены со своими семьями, мы и в самом деле подолгу смотрели на луну...

Урожай в Китае в этом году был редкостный, казалось, земля старалась сторицей вознаградить людей за все их труды и лишения. Уже закончилась уборка кукурузы, гаоляна и чумизы. Несобраным оставался только рис, но было видно, что и он хорошо уродился.

Большие успехи наметились и в промышленности — движение экскаваторов, начатое мукденским токарем Чжао Го-ю, подхватили горняки, металлурги, строители, железнодорожники. До конца года ещё оставалось добрых три месяца, а между тем многие предприятия республики уже работали в счёт будущего, 1951 года.

Китай продолжал побеждать, он уверенно шёл в гору. И, подобно тому, как в Праздник Луны отец собирает семью за обильным столом, знаменующим окончание

трудового лета, народ собрал этой осенью в Пекине лучших своих сынов и дочерей на съезд Героев Труда.

Я вспоминаю открытие съезда. Делегаты заполнили большой зал пекинского дворца, здесь были посланцы всей страны. Приходило ли в голову строителям императорского дворца, что когда-нибудь под его сводами замелькают цветистые косынки рабочих, защитные гимнастёрки солдат, синие пиджаки рабочих? Старики из далёких уголков Китая явились сюда с подарками для Мао Цзе-дуна.

Съезд приветствовали знатные люди Китая. Выступил меллиоратор, приехавший с северо-востока из вновь созданного государственного хозяйства, в котором уже был получен рекордный урожай. Выступил знаменитый мукденский токарь. Его сменил на трибуне прославленный хлопкороб с юга. Потом получил слово известный скотовод из Маньчжурии.

Первое заседание съезда было ознаменовано выступлением Мао Цзе-дуна. Он произнёс свою короткую, полную глубокого значения речь не с трибуны, а из-за стола президиума. Это отгенило непосредственность и простоту его выступления, ту, лишённую всяких внешних ораторских украшений, манеру говорить, которая отличает все речи Мао Цзе-дуна.

— Вы — надёжная опора народного правительства, — сказал он, обращаясь к делегатам съезда, — и связующее звено между народным правительством и широкими массами народа... Центральный Комитет коммунистической партии Китая призывает всех членов коммунистической партии Китая и весь китайский народ учиться у вас. Вместе с тем Центральный Комитет коммунистической партии Китая призывает всех вас, дорогих делегатов, всех героев фронта Китая и отличников производства продолжать учиться у народа... Перед Китаём стоят две великие задачи — создать могучую армию для защиты границ и мощную экономику...

Когда Мао Цзе-дун кончил свою речь и стихла долго не смолкавшая овация, в глубине зала поднялась группа делегатов и двинулась к сцене: выполняя волю тех, кто их послал на съезд, они несли подарки Мао Цзе-дуну и Чжу Дэ... Удивительно красивы были красные знамёна, изготовленные талантливыми художниками-кустарями. Крестьянин из Южного Китая привёз куст хлопка с распустившимися коробочками. Землепашей из Сычуань — корзину яиц. Односельчане Мао — хлеборобы деревни Шаошан — прислали своему великому земляку две бутылки с соевым соусом: «мы знаем, что в детстве вы любили это», — сказал посланец из Хунани, вручая подарок Мао Цзе-дуну...

Съезд продолжался несколько дней и закончил свою работу в канун празднования Дня освобождения. Эта великая дата отмечается в Китае 1 октября.

6. НА ЮГ ОТ ПЕКИНА

Поезд идёт в Ханькоу

В начале октября из Пекина в Ханькоу уходил специальный поезд с Героями Труда, возвращавшимися в родные места. К этому времени кончились мои лекции в школе и я получил возможность совершить недолгую поездку по южным провинциям Китая. Вместе с делегатами съезда Героев Труда я и поехал на юг. Весь путь от Пекина до Ханькоу походил на торжественное шествие. Было такое впечатление, что железную дорогу буквально обступило с обеих сторон население обширной низменности, лежащей между этими двумя городами. Даже на полустанках, где поезд с Героями задерживался всего на одну-две минуты, его ожидали большие толпы народа.

Чем дальше мы отъезжали от Пекина, тем ниже становилась местность. Туман застилал поля, и мелкий дождь, похожий на водяную пыль, шёл безостановочно. Камышовые крыши крестьянских хижин почернели. Люди, работающие в поле, были одеты в ватники. По залитым водою полям медленно тащились буйволы. Их здесь называют «водяными коровами». Они и в самом деле норовят забраться в воду поглубже. Нередко на шею буйвола сидит мальчик и управляет животным, ударяя его

хворостиной по бокам. Буйвол спокойно несёт ребёнка и, когда поворачивает голову, делает это не спеша, так, чтобы малыш не свалился. Из окна вагона часто можно было наблюдать, как, воспользовавшись минутой отдыха, водяная корова мягко опускается в воду. И тогда над серой гладью воды остаётся торчать лишь чёрная голова с длинными выгнутыми рогами...

Почти через двое суток после отъезда из Пекина, далеко в стороне от железной дороги, мы увидели широкую полосу реки Янцзы.

Скоро поезд шёл уже вдоль самой Янцзы.

Мы приехали в Ханькоу вечером. Дождь, преследовавший нас всю дорогу, продолжал лить и здесь.

С первого взгляда мне показалось, что Ханькоу чем-то напоминает Тяньцзинь. Может быть, это впечатление возникло от того, что город был так же огромен, как Тяньцзинь, и в архитектуре его тоже не было почти ничего китайского. Но уже на следующее утро я увидел, что Ханькоу спланирован не так чётко и точно: улицы здесь были уже и часто причудливо извивались. Оказалось, что в Ханькоу довольно трудно ориентироваться: его улицы и переулки представились мне клубком, который однажды был безнадежно запутан.

Ханькоу — крупный промышленный и торговый центр Китая. В сущности, это — столица шести южных китайских провинций.

Крупных предприятий, насчитывающих от трёх до пяти тысяч рабочих, здесь немного, их можно пересчитать по пальцам. Зато в городе буквально сотни карликовых фабрик и мастерских, принадлежащих частным лицам. И в то время как на государственных предприятиях Ханькоу занято 100 тысяч рабочих, на частных — работает больше 150 тысяч... В отличие от северных городов, где безработицы в 1950 году уже не было, здесь ещё насчитывалось около 16 тысяч безработных.

Ткач и докер

Прежде в гербе Ханькоу были чайные листья. Ныне чай уже не играет в жизни города той роли, какую играл он в прошлом столетии. Теперь городской герб должен был бы изображать хлопок.

Ханькоу стоит приблизительно на тех же широтах, что Каир и Суэц, но севернее, чем Дели. Климат Ханькоу — влажный, субтропический. Здесь прекрасно вызревают апельсин и мандарин, померанец и лимон, и многочисленные их гибриды. Здесь выращивают бананы и сахарный тростник, лаковое, тутовое и камфарное деревья, лучшие сорта чёрного и зелёного чая, завоевавшие себе мировую славу. Почва, солнце и влага Ханькоу благоприятствуют выращиванию хлопка. Нигде в Китае хлопок не даёт таких урожаев, какие он даёт в этих краях. Это в значительной мере и определило характер здешнего земледелия, а ещё больше — промышленности.

Но не только это.

Ханькоу стоит довольно далеко от морских берегов, но с тех пор, как морские суда стали подниматься по Янцзы всё выше, город словно придвинулся к морю. Кажется, будто синеватый отсвет далёкого океана лежит на прибрежном речном песке, на полированном камне оград, на керамике, опоясавшей цветными кушаками фасады домов Ханькоу. Среди горожан есть и прославленные капитаны дальнего плавания, и штурманы, и водолазы, но главную массу многотысячного «морского сословия» Ханькоу составляют «рабочие моря» — докеры, грузчики, портовый народ.

Ткач и докер — ведущие профессии в Ханькоу. Их трудовыми подвигами жив и славен этот город сегодня.

Председатель здешнего профсовета пригласил меня на беседу с двадцатью пятью лучшими рабочими Ханькоу — он назвал их «гордостью города». Беседа происходила за длинным столом, и хотя за окном всё время шумел ливень и было стнодь не жарко, на столе появлялись всё новые и новые порции неизменного зелёного чая. Мы беседовали запросто, дружески, как беседуют старые знакомые, встретившиеся после долгой разлуки и имеющие что порассказать друг другу. Я узнал много интересного

и важного во время этого многочасового разговора, но мне хотелось бы привести здесь лишь два рассказа из тех, что я услышал,— рассказы ткача и докера. Мне кажется, они верно передают думы рабочих освобождённого Китая.

Рассказ ткача

Время от времени с силой ударяя по столу кулаком, потемневшим от загара, старик с пепельной бородой вёл рассказ. Иногда он разжимал кулак и начинал ударять по столу ладонью. Но ладонь была такой мозолистой, так затвердела в работе, что удары её звучали не менее жёстко и крепко, чем удары кулаком. Это показалось неожиданным, видимо, и самому старику — продолжая говорить, он старался опускать ладонь на стол тише и осторожнее.

— У гоминдановцев считалось доблестью ругать всё китайское,— сказал он,— это делалось в угоду иностранцам, которым они продали и душу свою и тело. Помню, привезли в Шанхай пароход риса, и стали назавтра сеять слухи, что китайский рис плох. Это китайский-то рис! Доставили в Ханькоу партию искусственного шёлка, и стали назавтра звонить, что плох китайский шёлк. Это китайский-то шёлк, всегда считающийся лучшим в мире! Привезли американский хлопок, и пошла гулять сказка о низких качествах китайского хлопка, вроде того, что волокно у него и короче и грубее... А гоминдановцы подпевают: «да, да, у нас и рис плох, и шёлк плох, и хлопок очень плох, ой, как всё у нас плохо»...

Старик посмотрел на своих улыбающихся товарищей, но в глазах его не было и искорки смеха.

— И под эту американскую музыку,— продолжал старик, стуча ладонью по столу,— драли с Китая три шкуры! Таких высоких цен, какие платил Китай за американский хлопок, никто из нас прежде не знал. Покупали хлопок в Америке, а своего крестьянина отговаривали выращивать хлопок. Правда, делали они это не прямо, а снижая цены на хлопок-сырец. Снижали резко: вначале крестьянин мог купить за дин хлопка одиннадцать дин чумизы, потом семь и, наконец, пять. Кто же будет сеять хлопок при таких ценах!

Старый ткач на минуту умолк, прислушиваясь к ливню за окном. Ударил гром — По-иному сделало нарское правительство, совсем по-иному,— продолжал он.— Правительство почти прекратило ввоз американского хлопка и сразу повысило цены на отечественный хлопок. И результаты сказались немедленно. Удивительные результаты: 700 тысяч гонн собираются дать нам хлопкоробы в этом году! Вы слышите?— 700 тысяч тонн хлопка! Я вам сейчас объясню, что означает эта цифра... У меня всё записано.

Он достал лист бумаги, испещрённый иероглифами, и, положив его перед собой, стал медленно читать:

— Урожай хлопка никогда не превышал в Китае 638 тысяч тонн. А в канун освобождения, в самый канун, было собрано всего-то 425 тысяч! Когда наше правительство решило сократить ввоз иностранного сырья, оно призвало крестьян дать 650 тысяч тонн. Сейчас уже видно, что крестьяне выполняют это задание с немалым превышением. Если они дадут все 700 тысяч — это будет большая победа. Сто тысяч безработных получают работу, и наши текстильные предприятия смогут действовать круглую неделю...

— Теперь я бы хотел сказать ещё вот о чём... — продолжал он, откладывая в сторону лист бумаги.— Профсоюз текстильщиков объединяет свыше 90 процентов рабочих, и всё его внимание обращено на то, чтобы перевести текстильные предприятия на отечественное сырьё. А это не так просто. Многие наши фабрики находятся в руках частных лиц. Среди них есть и враги. Некоторые до сих пор бойкотируют наш китайский хлопок — всё хотят доказать, что он непригоден для переработки. Этот бойкот — средство борьбы врага с народом. Вы, наверное, уже знаете, что крупнейшая текстильная фабрика Ханькоу, на которой работает пять тысяч рабочих, принадлежит капиталисту Чен Чжон-ду. Перед вступлением народных войск в город он бежал в Гонконг. Ну что ж, рабочие взяли управление фабрикой в свои руки.

Фабрикант сбежал, но предприятие ни одного дня не оставалось без хозяина. За Ханькоу ещё шли бои, по городу рыскали гоминдановские молодчики, диверсанты, вооружённые с головы до ног. Мы взяли в руки оружие, чтобы оградить предприятие от разрушения. Оружие взяли все рабочие, в том числе женщины, много женщин. На фабрике Чен Чжон-ду главным образом женщины и работали. Они взяли охрану фабрики на себя и несли службу исправно. Ценное оборудование сохранили. Фабрика быстро возобновила работу. Я скажу вам больше: фабрика начала работать так, как она никогда не работала... Молва об этом дошла до Гонконга. Долго ли — из уст в уста! Там-то Чен Чжон-ду и узнал, что фабрика его не только цела, но и процветает. Стало ему известно, что и другие фабрики Ханькоу работают и что при этом во главе их пока стоят прежние хозяева. И вот задумался фабрикант Чен Чжон-ду, крепко задумался. Решил поворачивать в Ханькоу...

Наши власти отнеслись к нему терпимо. Потребовали только, чтобы он уплатил налоги, которые не были выплачены за время его путешествия в Гонконг. Правительство дало ему рассрочку. Опять стал Чен Чжон-ду во главе своей фабрики. Но только теперь на фабрике действует Комитет управления, состоящий из преданных республике рабочих и инженеров. Если распоряжения Чен Чжон-ду не наносят ущерба рабочим, Комитет помогает фабриканту проводить их в жизнь. Если же хозяин пытается поворачивать в другую сторону, Комитет его поправляет очень вежливо, но, прямо скажу, настойчиво. Все усилия Комитета направлены к тому, чтобы фабрика выполняла план и улучшалось благосостояние рабочих... Наносить народу вред теперь никто не позволит!

Рассказ докера

Потом говорил докер. У него было чёрное, прокалённое солнцем лицо и такие же чёрные руки. Он прожил долгую и нелёгкую жизнь. Тонкие лучики морщинок разбежались по его скулам и прорезали щёки. Он говорил густым натруженным басом.

— Со временем, когда мы будем иметь возможность взяться за создание своего большого торгового флота, армия ханькоуских матросов, грузчиков, докеров ещё покажет себя... Да и сегодня мы не сидим сложа руки. Наши парни восстанавливают суда, ходят по китайским морям и рекам, перевозят тысячи тонн риса, пшеницы, чумизы, гаоляна, овощей, фруктов, перебрасывают промышленное сырьё и товары по Янцзы, по малым рекам, по Дун-Хаю и Хуан-Хаю — Восточному и Жёлтому морям... Дел много и с каждым днём всё больше.

Докер говорил с увлечением и внимательно следил за выражением лица переводчика, когда тот переводил мне его слова.

— Наши люди повсюду известны в Китае, трудом своим известны, честностью и мужеством. Я хочу рассказать вам об одном эпизоде, только об одном эпизоде, но он вам покажет, что собой представляют моряки и докеры Ханькоу... Вы, конечно, знаете, что минувшей весной наша армия овладела островами, которые лежат между материком и Тайваном. В этой операции участвовали добровольцы из Ханькоу. Наши рабочие из Ханькоу. Вот как это было... Когда началась подготовка к десанту, в армию пришло много добровольцев. Нужны были храбрые и опытные люди, умеющие хорошо плавать, владеющие веслом, люди с надёжным здоровьем. Предпочтение отдавалось тем, кто знал ещё, как пользоваться оружием: винтовкой, автоматом и совсем хорошо, если и пулемётом. Армии требовалось 450 моряков. Задача была серьёзная, опасная. Кто ж об этом не догадывался? Все знали — без боя не обойдётся. Несмотря на это, на призыв армии откликнулось 800 наших рабочих... Семья моряков — будь то докеры, грузчики или матросы — всегда у нас считались лучшими рабочими семьями Ханькоу. Моряки — народ дружный. Это вы знаете и без меня. У моряков без дружбы нельзя. Поэтому никто и не удивился, когда из одной семьи в армию пошли три брата, из другой — отец и сын, из третьей — отец и два сына. Да, многие так и пошли — целыми семьями...

Он задумался, словно вспоминал что-то, и продолжал:

— Вы, наверное, из газет знаете, как тяжелы были бои за острова. Но мы победили. Двадцать шесть наших рабочих были отмечены званием Героя Народно-освободительной армии. Выполнив задание, они вернулись в Ханькоу. Старый наш город, весь рабочий Ханькоу вышел встречать героев. Каждый хотел пожать им руки, сказать ласковое слово... Но хотелось этот подвиг наших земляков отметить так, чтобы память о нём осталась на долгие годы. Мы и решили отчеканить медаль «За взятие островов»... Хотим и вам подарить её на память о встрече с рабочими Ханькоу. У нас нет более дорогого подарка, и мы рады преподнести его советскому человеку, побывавшему в освобождённом Китае. Покажите эту медаль на родине московским рабочим, расскажите о боевых подвигах наших товарищей — настоящих патриотов народного Китая...

Из Дома профсовета, где происходила беседа, я вышел вместе с докером:

— Приезжайте в Ханькоу, — произнёс он. — Нашим следующим подарком будет медаль «За взятие Тайвана»...

И, дав свободу своему могучему басу, загудел восторженно:

— О-о-о... Тайван... Тайван... Нет в мире краше земли, чем наш Тайван...

Потом добавил серьёзно, с тревогой в голосе:

— Из Китая во внешний мир издавна вело несколько дверей. В каждую из этих дверей сегодня ломится враг. На Тайване он высадил двери и уже ворвался в дом. В Корее — он навалился всей своей тушей на дверь, чтобы выломать её. Что нам, китайцам, остаётся делать в нашем нынешнем положении? Я так думаю: взять оружие и прогнать врага прочь от нашего дома...

Тревога моего собеседника была понятной. Вот уже несколько месяцев как американские вооружённые силы вторглись на территорию Корейской Народно-демократической республики. Но не только корейскую землю терзали они. Интервенты свирепствовали в китайском небе. Они бомбили китайские пограничные города, станции, деревушки.

В последнее время не было дня, чтобы газеты не сообщали о новом таком факте. 22 августа американские воздушные пираты налетели на город Аньдунь и обратили в руины 38 домов. Пятью днями позже самолёты врага появились над городами и местечками Дзиань, Далидзы, Линьцзян, Аньдунь. В Далидзы они обстреляли поезд, в Линьцзяне — речной мост, в Аньдуне — аэродром. Ещё через два дня они подстерегли стайку рыбацких лодок и жестоко атаковали её.

Острое чувство возмущения и ненависти к американским интервентам ширится в китайском народе, объединяя и сплавивая его. В народе зреет убеждение, что единственный путь сбросить завоевания революции — помочь народу Кореи изгнать врага.

— Я думаю так, — настойчиво повторил мой собеседник, прощаясь, — надо взять оружие и прогнать врага прочь от нашего дома...

Спектакль рабочего театра

В Ханькоу, как и в Тяньцзине, можно было на каждом шагу наблюдать явления, ярко свидетельствующие о размахе культурной революции, происходящей в освобождённой стране.

Я был на небольшом вагоноремонтном заводе, знаменитом тем, что двадцать семь лет назад, в 1923 году, его рабочие подняли знамя стачки на Ханькоу-Пекинской железной дороге. Это была стачка, отголоски которой прокатились по всему миру, она посеяла смутнение в лагере колонизаторов, внушив им страх перед будущей победоносной революцией в Китае. Хотя с той поры прошло уже больше четверти века, на заводе ещё работало немало участников тех героических событий — ветеранов стачки. Когда меня познакомили с ними, первое, что они сказали:

— Посмотрите нашу школу — школу заводской молодёжи. Там учится наша смена...

Школа была предметом их гордости и забот.

— Наши дети будут грамотными людьми! — говорили они. — О грамоте веками мечтал наш народ...

Я видел спектакль в рабочем клубе Ханькоу, самодеятельный спектакль рабочих, которые сами рассказывали со сцены о своей новой жизни в родном городе. И это тоже было явлением культурной революции, захватывающей всё более и более широкие массы народа. Стоит заметить, что сейчас в каждой китайской деревушке, в каждом рабочем посёлке, в каждой воинской части есть свой коллектив артистов-любителей. Небольшие пьески, сцены из народной жизни, пересыпанные песенками и весёлыми шутками, пишут часто сами актёры. Они прекрасно знают жизнь народа и самодеятельное своё творчество посвящают самым насущным вопросам дня.

Вот как развивалось действие в той маленькой пьесе, которую я видел в рабочем клубе Ханькоу.

Когда поднялся занавес, зрители увидели на сцене сложный станок с циркулярной пилой для распилки древесины. Я говорю об этом станке потому, что он стоит как бы в центре всех событий, происходящих в пьесе... Из города только что ушли гоминдановцы. Они разрушили фабрику, привели в негодность все машины. Рабочие хотят восстановить станок, но никто из них не знает его устройства. С этого и начинается конфликт в пьесе. Инициатива рабочих наталкивается на безучастное отношение со стороны мастера и инженера. Мастер не противится тому, чтобы станок был восстановлен, но и не хочет оказывать в этом деле никакой помощи. Инженер смотрит на всю затею скептически. Рабочие решают восстановить станок своими силами.

В спектакле хорошо показано, как под влиянием энтузиазма рабочих, стремящихся познать машину и возродить её к жизни, в полезное дело включаются все, кто недавно относился к нему недоверчиво. Рабочие устанавливают мотор, налаживают приводные ремни, пробуют пустить станок. Инженер уже не проходит мимо с безразличной улыбкой. Он останавливается заинтересованный. «Любопытно, что у них получится?» Вот станок начал работать, но сразу же остановился. Инженер посмеивается, но от станка не отходит. Вновь начала работать машина и вновь остановилась. Инженер медленно засучивает рукава. Теперь он работает плечом к плечу с рабочими. И вот, рассыпая вокруг лёгкий звон, вращается циркулярная пила. Когда сверкающий её диск рассекает деревянный брус, зал разражается аплодисментами.

Конкретность этой пьесы, построенной на очень жизненных, простых положениях, реальный характер оформления спектакля (на сцене восстанавливается и пускается в ход настоящий станок), правдоподобный грим актёров (впрочем, большинство играло без грима), повседневность актёрских костюмов (рабочие играют в комбинезонах) — всё это производит сильное впечатление на зрителей, и они дружными рукоплесканиями благодарят своих товарищей, показавших им на сцене кусочек новой жизни, их собственной жизни.

Янцзы

Из Ханькоу наш путь лежал в Нанкин. Нам предстояло совершить путешествие вниз по Янцзы.

Это самая большая река в Китае. От её истоков в горах Тибета до дельты у берега Тихого океана — 5 100 километров. В бассейне великой реки живут 210 миллионов жителей — более трети всего населения Китая. Большие города: Чунцин, Ханькоу, Нанкин одновременно являются и крупнейшими портами на Янцзы. Народ издавна справедливо называет эту реку великой китайской дорогой. Она судоходна от тихоокеанского побережья до Суйчжоу: суда, идущие от Шанхая, могут проникнуть в глубь страны на добрых три тысячи километров.

Местами её русло, словно могучий меч, глубоко врубилось в горы, образовав каньоны. Отвесные, высотой до километра, стены каньона, отстоящие иногда друг от друга всего на пятьдесят метров, туго сжимают сильное тело реки, которая на равнине привольно разливается на многие километры в ширину. В самые яркие солнечные дни в каньонах стоит сумрак, и небо узкой лентой синее высоко над головой.

Но джонки идут по Янцзы даже там, где река вторгается в горы и её стремительное течение становится опасным. В тех местах, где лодки отказываются идти против течения под парусами, их тянут волоком бурлаки. Местные жители говорили мне, что на пути от Вансяна до Ичана скорость течения так велика, что одну только лодку должны тащить вверх по реке двести-триста бурлаков. Но и при этом джонка продвигается за день всего лишь на три-четыре километра.

Вывравшись из каменной теснины гор, река на протяжении почти двух тысяч километров течёт по равнине, приподнятой над уровнем моря всего на 40 метров. Только сложная система плотин, над сооружением которых десятилетия трудились миллионы крестьян, может удержать Янцзы от разлива в таких низменных местах.

В Китае нет реки, которая бы могла стать более мощным источником электроэнергии. Крупнейшие гидроэлектростанции будущего, над проектами которых уже сегодня задумываются лучшие китайские инженеры, возникнут на берегах Янцзы, и мощность их будет измеряться миллионами киловатт.

Развернувшаяся ширию на несколько километров, река казалась с парохода необозримой. Было раннее утро, и пароход шёл навстречу солнцу, которое, отражаясь в воде, долго скрывало её мутновато-жёлтую окраску. Несмотря на то, что становилось всё жарче, вода эта, густо насыщенная илом, не вызывала никакого желания купаться.

Чем дальше мы уходили от Ханькоу, тем шире становилась река. Правый, более возвышенный берег можно было различить по густосиней каёмке гор, а левый — пологий — берег лежал невидимый где-то за горизонтом. Впрочем, берега Янцзы чётко очерчены даже тогда, когда они недоступны взору. Суша угадывается по светлой змейке джонок, которые, развернув свои паруса, идут вдоль берега. Плоскодонные с приподнятой кормой, они легко скользят по поверхности воды. Чего только нет в этих небольших судёнышках. Мешки с солью и рисом, корзины с луком и картофелем, тюки табака, ящики мыла, кипы мануфактуры... Огромные массы всевозможных товаров тащат джонки, тащат наперекор встречному течению Янцзы. Лишь сильный попутный ветер и удивительное искусство лодочников помогают джонкам преодолеть это мощное сопротивление реки.

Матросы говорят, что ветра не было три дня, но сегодня он появился снова. Вот почему гуча джонок неожиданно возникла на реке и движется к Ханькоу. Солнце ипрает белыми, жёлтыми, синими, розовыми парусами, новыми и ветхими, скроенными из небольших кусков материи, украшенными живописными заплатами.

Лодочники стараются держаться ближе к берегу, но джонок так много, что некоторые из них подходят к самым бортам парохода, идущего посередине реки. Я попробовал пересчитать паруса. Досчитал до трёхсот и сбился.

Вдали возникает на воде тёмное пятнышко. Вначале мы принимаем его за пароход. Однако вскоре убеждаемся, что это остров.

Мы проплыли мимо острова «Маленькая сирота». Этот остров — просто островерхая каменная глыба. На вершине её стоит пагода. Невозможно представить себе, как строилась эта пагода на пятачке усечённого пика. Одна из легенд повествует, что её построил монах, уединившийся на острове и посвятивший созданию пагоды всю свою жизнь. Камень за камнем он поднимал на вершину горы и складывал из них храм.

Я вспомнил другие китайские пагоды — те, которые видел, и те, о которых только слышал от тьянцзинских друзей... В Хэнани на священной горе Суньшань до сих пор сохранилось уникальное создание древней китайской архитектуры — пагода Сун Юэ-сы, построенная в 523 году. За полторы тысячи лет своей жизни она ни разу капитально не реставрировалась и тем не менее хорошо сохранилась. Ни ветры, ни ливни, ни время не изменили затейливых украшений на её тридцатиметровой конической башне.

Под Пекином мы видели «Пагоду дождя». Своёй вершиной она устремляется высоко в небо. Купол пагоды построен таким образом, что он воспринимает малейший напор ветра и сообщает движение колоколам, расположенным в башне. Колоко-

ла начинают звонить. Чем сильнее ветер, тем сильнее звон колоколов. При ветре, предшествующем обычно ливню, звон пагоды слышен далеко вокруг.

В самом Пекине мы были в храме, который поразил нас удивительными акустическими свойствами. Храм был сделан в виде подковы и имел два выхода, расположенных в её разных концах. От одного выхода до другого по кратчайшей прямой — 60 метров, а по изгибу подковы — 300 метров. Если, стоя у входа, обратившись лицом во внутрь храма, произнести шёпотом слово, оно без особых усилий улавливается слухом в противоположном конце.

Тибет — китайская земля

Однажды, когда я сидел в кают-компании, углубившись в чтение, подле меня тяжело опустился в кресло человек, одетый в тёмное платье. Он пододвинул к себе журнал и принялся читать. Увидев, что я обратил на него взгляд, он вежливо привстал и расплылся в улыбке. По одежде этого человека я понял, что он — тибетский лама. Лицо его было совершенно круглым, как у ребёнка, и таким пухлым, что на нём не прорезалось ни единой морщинки, между тем лама был уже пожилым человеком.

Мы обменялись приветственными жестами и только: я не знал китайского языка, он не говорил на языках, известных мне. Но поздним вечером, когда вместе с китайскими друзьями я поднялся на палубу и снова встретил ламу, мы разговорились. В густой тьме давно скрылись очертания берегов. Изредка то слева, то справа от парохода неясно обозначались пунктиры электрических огней. Словоно глаза какого-то неведомого живого существа, эти огни долго провожали наш корабль, а потом, замигав, скрывались из виду. Пароход медленно подвигался вперёд.

Вглядываясь в далёкие огни на воде, лама рассказывал о своём путешествии. Больше трёх недель назад он покинул Тибет, держа путь в Пекин и намереваясь прибыть в столицу к моменту приезда туда делегации тибетского духовенства. По дороге ему необходимо было посетить Нанкин. Лама с готовностью рассказал о тибетских делах.

— В прошлом году, — сказал он, — в Калькутте или Дели была издана книжка «Тибет должен быть независимым». На обложке стояла фамилия некоего индусского купца. Конечно, фамилия была вымышленная. В этой книжке проводилась такая идея: сама природа определила обособленное от Китая существование Тибета, отделив его от Великой китайской низменности дикими хребтами Куэнь-Луня и Сычуанских Альп. Так там и было сказано: сама природа!.. Однако я полагаю, что неизвестный автор, скрывшийся за именем индусского купца, не твёрд в географии Тибета. Иначе ему было бы ведомо, что природа указывает нам на неразделимость Тибета и Китая. Достаточно сказать, что Янцзы и Хуанхэ, издревле соединявшие воедино самые отдалённые провинции Китая, берут своё начало именно на Тибете. Как нельзя разрубить пополам Янцзы и заставить её устремиться с равнины в горы, так невозможно Тибет отделить от Китая.. Но дело не только в географии. В Лхассе, древней тибетской столице, стоит колонна, на которой высечен текст заключённого 1200 лет назад договора об объединении Китая и Тибета. Тибетцы всегда понимали: до тех пор, пока они будут вместе с великим китайским народом, им ничего не страшно.

— В течение последних полутора столетий, — продолжал лама, — англичане пять раз атаковали Тибет. Следуя по путям, указанным миссионерами, они с оружием вторгались в нашу страну. Но китайцы и тибетцы, действуя в полном единстве, защитили свою страну гор. Каждый раз они наносили сильные удары даже в тех случаях, когда их мушкетам и копьям противостояли скорострельные пушки англичан... Вы знаете, что позже, по договору с Россией, англичане обязались не вмешиваться в дела Тибета. Но подобно тому, как это происходит повсюду в мире, преемниками англичан у нас выступают ныне американцы... Я давно не был в Лхассе, но слышал, что гости из Америки навещаются туда всё чаще. Разные слухи ходят в народе на этот счёт. Одни говорят, что американцы стремятся в Тибет, чтобы постепенно превратить его в свою крепость. Другие говорят, что они ищут там возможности сколотить новую армию, с тем чтобы двинуть её против Китая. Третьи утверждают,

будто они пришли к нам, чтобы раскрыть самое сердце тибетских гор и найти там неведомые месторождения металла, который очень нужен им для изготовления зловещей бомбы. Это очень похоже на истину, потому что в мире нет гор более высоких, чем тибетские, и, может быть, это самые богатые горы...

— Вы никогда не путешествовали в горах Сычуани? — вдруг спросил он меня, оборвав свой рассказ. — Нет? Я тоже там не был, но отец мой долго жил в Сычуани. Он говорил не раз, что в буддийских пещерных храмах встречал каменные статуи будд, у которых злые руки отняли голову или туловище... Отец говорил, что в этих пещерах побывали американские учёные. Это они разбили статуи и отдельные их части увезли в свой музей. Вот так американцы хотят поступить и с Китаем. Но страна не мёртвый камень. Её не разрубишь без того, чтобы не поставить на карту её жизнь. А когда дело идёт о жизни Родины — народ бьётся насмерть...

Мы ещё долго стояли на палубе, глядя на чёрную воду и думая о том, что рассказывал тибетский лама. В те дни Тибет уже становился под знамёна Народной республики.

Встреча в Шанхае

Рано утром наш пароход покинул воды Янцзы и вошёл в реку Вампу, на которой стоит Шанхай. Отсюда мне предстояло отправиться в обратный путь на родину. Город ещё не обозначился вдали, но все берега вокруг были заселены. Интервалы между прибрежными посёлками становились всё меньше и меньше, пока не исчезли совсем: сплошной, однообразно серой полосой тянулись теперь вдоль берегов селения; и так — до самого Шанхая.

Теперь в Шанхае меньше жителей, чем было год назад: много заводов переехало в Маньчжурию, в Пекин, и вместе со своими предприятиями уехали туда и рабочие. Но даже и сегодня здесь живёт не меньше 5 миллионов человек. А это значит, что Шанхай продолжает оставаться самым большим городом Китая.

Окранный Шанхай дымил бесчисленными трубами заводов, электростанций, кобелей. Пелена этого дыма обволакивала городские предместья. Сквозь его синеватую завесу несмело прорисовывались лёгкие линии мостов и виадуков, утёсистые вершины небоскрёбов, фермы подъёмных кранов.

Пароход медленно подходил к пристани. Повсюду, насколько хватало глаз, стояли корабли — лайнеры и теплоходы, рефрижераторы и зерновозы, траулеры, катеры. С флагштоков уныло свешивались флаги, в государственной принадлежности которых нелегко было разобраться. Капитан показал нам флаги Никарагуа и Доминиканской республики, Дании и Непала, Таиланда, Кубы, Панамы... Вряд ли эти страны торгуют с Китаем, но многие из них исправно несут на морях службу международных комиссионеров.

Мы долго шли вдоль берега, тщетно пытаюсь обнаружить место для стоянки. Наконец, далеко впереди показался небольшой просвет и в глубине его — светлый флаг, иссечённый красной клеткой: место для причала. Не без труда наш пароход протискивался к пристани сквозь плотную стену кораблей.

Но вот, наконец, перекинут трап. На судно поднимается человек средних лет, коренастый и загорелый, с простым и мужественным лицом китайского рабочего. Он протягивает мне руку, и я чувствую, как тяжела и крепка она.

— Вы товарищ Жмыхов? — неожиданно произносит он на хорошем русском языке. — Добро пожаловать!..

Это был председатель шанхайских профсоюзов Лю Чан-шен. Я уже много слышал о нём от китайских друзей: коренной шанхаец, старый коммунист, он был талантливым вожаком своих земляков-рабочих, деятельным участником подпольной борьбы в годы японской оккупации и борьбы против деспотии Чан Кай-ши.

Он встречал меня как представителя советских профсоюзов по поручению Всеитайской федерации профсоюзов. Но Лю Чан-шен пришёл в порт не один. Шумная толпа приветливо улыбающихся молодых людей хлынула нам навстречу едва мы сошли с судна. Стоило только всмотреться в их лица — я сразу узнал многих моих недавних слушателей из Тяньцзинской школы.

— Здравствуйте!.. Здравствуйте! — старательно отчеканивая каждый слог, кричали они по-русски. — Добро пожаловать в Шанхай!

Мы долго стояли на пристани у причала, засыпая друг друга бесчисленными вопросами, вспоминая месяцы, проведённые в стенах Высшей профшколы в Тяньцзине. Окончив курс весной, мои бывшие слушатели работали сейчас на различных постах в профсоюзах Шанхая. Они с воодушевлением рассказывали о своих успехах, о достижениях в деле восстановления старых и строительстве новых предприятий, об использовании в практической работе опыта советских профсоюзов, с которым познакомились они на лекциях и семинарах в Тяньцзинской школе.

— Я был послан на учёбу в Тяньцзинь рабочими красильной фабрики, — торопливо, боясь, что его прервут своими рассказами товарищи, говорил юноша в серой куртке. — Наша фабрика разрушена почти начисто и мало что удалось сделать на ней после освобождения. Вернувшись из Тяньцзиня, признаться, я растерялся, не зная, с чего мне начать свою работу. И решил поступить просто — собрать рабочих и по порядку рассказать им, как восстанавливали фабрики русские люди. Так и сделал: выложил всё, как умел. Друзья похвалили — хорошо рассказал. Рабочих заинтересовало то, что сообщил я. Многие из них вызвались работать по 12, а то и по 14 часов в сутки, лишь бы поскорее поставить на ноги производство. И люди работали с такой радостью, с таким упорством, с какими никогда не работали прежде. Мне остаётся только сказать, что фабрика была восстановлена раньше срока. Хочу передать через вас благодарность русским людям за помощь, которую они оказывают сейчас Китаю...

Вот так, один за другим, рассказывали мне бывшие студенты о своих первых шагах и первых победах. Казалось, здесь, в шанхайском порту, шёл наш очередной семинар по профработе. Бедняга переводчик, сопровождавший меня, едва успевал справиться со своими нелёгкими обязанностями... Эта шумная беседа продолжалась бы бесконечно, если бы Лю Чан-шен не напомнил, что у выхода в город нас ждут машины, что мы не расстаёмся, а, напротив, встречаемся вновь, что поговорить обо всём ещё будет время.

Но он и сам не удержался и произнёс маленькую речь:

— Я не хочу хвалить питомцев Тяньцзинской школы, но должен сказать, что именно они составляют сейчас наиболее крепкое ядро большой армии профсоюзных работников Шанхая. В огромном начатом нами труде по переустройству всей жизни Китая велика будет роль людей, приобщившихся к бесценному советскому опыту. Мы никогда не забываем слов нашего вождя Мао Цзе-дуна: «Мы пойдём по пути русского народа...»

Дружной весёлой толпой направились мы к машинам. Перед нами лежал огромный город, вольно раскинувшийся вширь, смело устремившийся ввысь.

В ушах моих долго звучали пророческие слова Мао Цзе-дуна, которые только что повторил шанхайский коммунист:

«Мы пойдём по пути русского народа...»

Литературная обработка С. Артемьева.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Б. БЫХОВСКИЙ

★

ФИЛОСОФИЯ РЕГРЕССА И ВЫРОЖДЕНИЯ

Два мира — два мировоззрения

Наш Сталинский век — век героических свершений пролетариата и социалистического обновления бытия, эпоха величайшего исторического прогресса. Стремительно и неудержимо идёт человечество по пути к коммунизму.

Никогда ещё мир не знал такой радикальной ломки всего изжившего себя, ветхого, реакционного, какую несёт с собой социализм. Никогда люди не существовали в такой живительной, творческой атмосфере, какую принёс с собой новый общественный строй. При жизни одного поколения созданы и окрепли такие формы общественных отношений, государственной жизни, культуры и сознания, по сравнению с которыми досоциалистические формы бытия и сознания кажутся глубоко архаичными. Молодому поколению, выросшему в социалистических условиях, стандарты и нормы капиталистического мира представляются не только ограниченными и нелепыми, но и нетерпимыми, отвратительными пережитками. Быстро шагает история, сметая со своего пути всё старое, отжившее и неся с собой новое, передовое!

Марксистско-ленинская теория исторического прогресса — научное обоснование социального оптимизма. Она даёт людям уверенность в торжестве светлых гуманистических идеалов, вселяет твёрдость и мужество в сердца революционных борцов, даёт им ясную ориентацию, историческую перспективу.

Наш век величайшего исторического обновления является и веком самой острой, самой напряжённой социальной борьбы, ибо каждый шаг исторического прогресса надо завоевать в упорной борьбе с отживающим, реакционным.

Путь революционного преобразования общественной жизни пролегает по полям битв — политических, экономических, идеологических, — перерастающих временами в прямые вооружённые столкновения. Войны — это последняя ставка старого мира против неодолимой силы нового, это — авантюра морально-политического банкротства.

В мире, разделённом на два антагонистических лагеря — лагерь прогресса и лагерь реакции, — расцвет и обновление культуры на одном социальном полюсе неминуемо сопровождается культурным вырождением на другом. По мере того, как животворные идеи научного коммунистического мировоззрения всё шире и глубже овладевают массами, идеология реакционных классов становится всё ретрограднее, всё решительнее порывает она с научным строем мышления.

Чем ярче светят жизнеутверждающие, прогрессивные идеи на одном полюсе современного мира, тем больше сгущаются мрачные тени обскурантизма на другом. Чем шире пробивают себе дорогу и становятся достоянием масс новые идеи и теории, облегчающие продвижение общества вперёд, — тем более упорно цепляется умирающий класс за идеологические тормозы общественного развития — за лживые, антинаучные идеи и теории.

В страхе перед законами истории

Идеологам реакционных классов всегда была ненавистна самая идея исторического прогресса, а современная буржуазная философия — философия эпохи загнивания капитализма — выступает как его самый яростный враг.

Давно миновали времена, когда духовные вожди буржуазной революции провозглашали, что «нет предела человеческому совершенствованию», что ход исторического развития «может замедляться или ускоряться, но никогда он не идёт вспять». Адвокаты издыхающего капитализма теперь всячески доказывают невозможность исторического прогресса и неспособность человеческого общества к развитию. Критика теории прогресса и обоснование теории застоя и регресса — один из главных мотивов современной буржуазной философии и социологии.

Крушение устоев изжившего себя общественного строя апологеты реакции всегда представляли как катастрофу, конец истории, гибель человечества. Они всегда изображали старое, отмирающее, препятствующее историческому развитию, как оплот культуры и цивилизации, а новое, нарождающееся, передовое — как источник всеобщего разрушения и хаоса. Распад рабовладельческого строя в сознании его идеологов выступал как конец света, страшный суд, уничтожение человеческого рода. Крах феодализма воспринимался реакционными идеологами той эпохи, как «торжество Зверя» и начало всеобщей анархии.

Подобно своим историческим предшественникам, апологеты капитализма изображают агонию этого общественного строя, как уничтожение самих условий прогресса, как гибель культуры, цивилизации и всякого общественного порядка, а созидательные силы прогресса — как силы всеобщего разрушения и уничтожения. Нет ничего удивительного в том, что в сознании тех общественных классов, самое существование которых несовместимо более с развитием общества, рождение нового мира выступает как грозный рок, как страшная катастрофа. Тем, кто отождествляет порядок с буржуазным порядком, цивилизацию с капиталистической цивилизацией, процветание с дивидендами, а прогресс с завоеваниями, — тем общественный строй, порывающий с частной собственностью, неравенством, эксплуатацией и международным разбоем и открывающий эру новой, высшей цивилизации, представляется крахом, концом, уничтожением. Такова «логика» обречённого класса. Мир и созидание для него — величайшее зло, а войны и разрушение — высшее благо.

Империалистической буржуазии хотелось бы остановить ход истории, задержать прогресс, повернуть движение общества вспять. Её боязнь общественного развития, отражаясь в мировоззрении реакционных философов, принимает форму отказа от самой идеи прогресса, отрицания реальности развития, возможности движения вперёд.

Буржуазные философы эпохи империализма всё решительнее порывают с идеей развития даже в той плоской и убогой эволюционной форме, в которой эта идея была приемлема для либеральной буржуазии. Её идеологи выступали тогда против революционно-диалектической концепции развития и рассматривали прогресс лишь как медленное, постепенное, осторожное приспособление, без скачков и потрясений и — боже упаси! — без революций.

Но за последнюю четверть века эволюционистские учения Конта, Милля и Спенсера были отеснены в идеалистической философии так называемой теорией «эмерджентной эволюции», впервые выдвинутой английскими философами Александером, Ллойд-Морганом, Бродом, окрестившими себя «неореалистами». Как водится у идеалистов, название этой теории имеет целью не столько уяснить, сколько затемнить её подлинный смысл. Когда буржуазная философская школа называет себя «неореализмом», можно заранее быть уверенным, что ничего действительно нового и реалистического в ней нет. Когда идеалистическая теория называется «эмерджентной эволюцией», можно безошибочно сказать наперёд, что и возникновению нового (по-английски «эмердженс» — появление, возникновение нового. — Б. Б.) и эволюции от этой теории не поздоровится. Действительно, «теория» эта рассматривает возникновение нового не как всеобщий естественный закон всякого развития, а как акт, не-

доступный никакому объяснению, как нарушение естественной закономерности, как некое иррациональное происшествие, аномалию, чудо.

Теория «эмерджентной эволюции» порождена бессилием буржуазной эволюционной концепции развития противостоять материалистической диалектике перед лицом всё новых и новых научных открытий, камня на камне не оставивших от всего здания эволюционизма. Философы-идеалисты не могли более отстаивать вульгарно-эволюционные взгляды, не вступая на каждом шагу в вопиющее противоречие с выводами современной науки.

Сторонники «эмерджентной эволюции», не будучи в силах отрицать возникновение качественно нового, сделали попытку извратить понимание этого процесса в духе мистики и поповщины. Безудержная чертовщина, вера в духов и потусторонний мир, до которой доводит «эмерджентную эволюцию» её главный, поныне здравствующий, представитель Чарльз Брод, с полной очевидностью разоблачает её антинаучную сущность.

Проповедники вечности и неизменности

Но деградирующая буржуазная мысль не удержалась долго и на этой позиции. В последние годы в лагере идеализма всё упорнее и настойчивее раздаются голоса приверженцев абсолютной метафизики, прямо и целиком отрицающих всякое развитие в природе и обществе.

Для борьбы против революционных идей эти философские старьевщики извлекли и двадцатилетиевой давности учение элеатов об иллюзорности движения, и миф идеолога античной рабовладельческой знати Платона о вечных и неизменных идеях, и верования средневековых богословов, и антинаучную догму XVII—XVIII веков о неизменной «человеческой природе». Но одним из главных источников их вдохновения стала человеконенавистническая проповедь Артура Шопенгауэра — прусского реакционного философа-метафизика прошлого века.

«Истинная философия истории, — провозгласил Шопенгауэр, — состоит именно в понимании того, что при всех бесконечных изменениях и всей их неразберихе перед нами всегда одна и та же, постоянная и неизменная сущность, которая сегодня совершает то же самое, что и вчера и всегда. Эта философия истории должна познать тождественное во всех явлениях как старого, так и нового времени, как Востока, так и Запада, и вопреки всем различиям особых обстоятельств, облачения и нравов, всюду видеть одно и то же человечество. Это тождественное и при всех изменениях сохраняющееся заключается в основном свойстве человеческого сердца и человеческой головы — много зла, мало добра».

Развитие эфемерно, сущность неизменна, и эта сущность — зло, — твердят в наши дни идеологи англо-американского империализма, перепевая на разные лады шопенгауэровы заповеди.

Одно из наиболее влиятельных направлений империалистической философии — неотомизм. Это официальная доктрина Ватикана, сформулированная ещё в XIII веке Фомой Аквинским. Один из её главных догматов — отрицание реальности исторического развития.

На страницах выходящего в США журнала с выразительным названием «Новая схоластика» мы читаем: «Это верно, что, в абсолютном смысле, схоластика не нуждается в философии истории. Схоластика, как «вечная философия» («philosophia aeterna») обладает принципами и объяснениями, независимыми от пространства и времени. То, что было истинным по отношению к человеческой природе в случае с Каином и Авелем, останется истинным и по отношению к природе последнего существующего на земле человека. Сущности необходимы, вечны и неизменны, и вытекающие из них законы останутся такими, какими они всегда были. Принципы схоластики могут надёжно применяться вне зависимости от пространства и времени».

Реальный политический смысл этих схоластических учений очевиден. То, что было во времена инквизиции, должно быть и во времена Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности; то, что допускалось при усмирении бунтую-

щик рабов и крепостных, правомерно и при усмирении бастующих пролетариев; то, что применялось в Освенциме, применимо и на Макронисосе; то, что делали в Орадуре, можно делать и в Пхеньяне.

От поповской метафизики неосхоластов, увековечивающей социальную несправедливость, ничем не отличается и точка зрения самого влиятельного современного буржуазного историка Арнольда Тойнби. «Нет никаких оснований, — уверяет этот «философ истории», — ожидать какого-либо изменения неискуплённой человеческой природы до тех пор, пока существует человеческая жизнь на земле. Пока наша земля не перестанет быть физически обитаемой людьми, мы можем ожидать, что все индивидуальные человеческие существа будут наделены как первородным грехом, так и естественной добротой, в общем, примерно, в той же мере, как они были наделены ими с тех пор, как нам известно об их существовании... Западный человек и на нынешнем высоком уровне его интеллектуальных сил и технологических способностей не отряхнул с себя унаследованного от Адама первородного греха, и, насколько мы знаем, ауригнацийский человек сто тысяч лет назад обладал, в общем и целом, теми же самыми духовными и физическими особенностями, какие мы находим в самих себе».

Словом, с тех пор как совершилось грехопадение Адама, человек неизменен и останется неизменным, пока существует род людской — таков конечный вывод буржуазной исторической «науки». Всё движение истории для этой «науки» — вращение на холостом ходу.

Кажется невероятным, что в нашу динамичную эпоху, эпоху небывалых темпов исторического развития, получают распространение теории, отрицающие всякое развитие во времени, отвергающие историчность человеческого бытия.

Абсолютная метафизика современных идеалистов — своего рода философский наркотик, с помощью которого они пытаются создать иллюзию неизменности в изменчивом мире, иллюзию вечности в водовороте истории. Человек, руководствующийся их мировоззрением, уподобляется в диалектической действительности исторических событий лунатику, лишённому понимания объективной реальности. Современные идеалистические метафизики — поистине реакционные маньяки: они отстаивают свои убеждения наперекор очевидной и непреложной истине, вопреки науке и жизни.

Вот один из них — старейший в США специалист по отравлению общественного сознания — Джордж Сантаяна. Повернувшись спиной к действительности, закрыв глаза на правду жизни, он воскресил платоновское учение, служившее орудием реакции ещё более двух тысяч лет назад, и противопоставил реальному миру материального существования вечные и неизменные, вневременные и внепространственные «сущности». «Мои склонности, — пишет он, — привлекают меня к вечным сущностям вещей, а не влекут меня суетно к их переходящему существованию». Идеалы и действительность находятся у него в различных, не соприкасающихся планах бытия. «Идеальное» для Сантаяны — синоним неосуществимого.

Свою реакционную антигуманистическую философию он основывает на презрении к действительности, к реальному миру, к жизни и к людям. «Сам я, — заявляет Сантаяна, — не отличаюсь страстной привязанностью к существованию... Повернуться спиной к миру было бы, в конце концов, глубочайшей мудростью. Что может быть лучше, чем погасить свечу и — в постель!»

«Вложить драгоценный меч в ножны и позабыть о многих видах зла навсегда и обо всех его видах на время» — таков «идеал мудрости», противопоставляемый Сантаяной революционной борьбе против социального зла.

Вложить в ножны меч борьбы за социальный прогресс, погасить свет разума и искать блаженство в сновидениях — вот последнее слово буржуазной философии!

Размышления у разбитого корыта

Что же противопоставляют диалектической концепции исторического развития современные буржуазные философы истории — хулители социального прогресса? Они выдвинули «новую» теорию — «теорию общественного круговорота», которая толкует

историческую изменчивость не как развитие, а как вращение по замкнутому кругу, как вечное повторение пройденного. Совершенно очевидно, что эта метафизическая теория циклического движения истории — шаг назад даже по сравнению с ненаучной концепцией исторической эволюции.

Один из пропагандистов этой «теории» — Бернар Вуайен — прямо противопоставляет её эволюционистской теории прогресса французского буржуазного философа прошлого века Огюста Конта. Конт утверждал, что история в своём прогрессивном движении последовательно проходит три стадии: теологическую, метафизическую и «позитивную» (научную). Вуайен вообще отрицает движение истории вперёд. «Закон трёх стадий,— пишет он,— закусывает свой хвост своего рода «вечным возвращением», которого наивный Огюст Конт оказался не в состоянии предвидеть, и человечество кончает тем самым, чем оно начало...»

На антинаучный характер теории круговорота, на полную противоположность этой метафизической концепции научному методу познания особо указал товарищ Сталин в своей работе «О диалектическом и историческом материализме».

Рождение нового, высшего общественного строя, вступление истории на новый, революционный путь развития является разрывом со старыми формами общественного бытия. Революционный переворот не возвращает общество вспять, к исходному положению, как уверяют реакционные социологи, а открывает обществу возможность идти вперёд, устраняет препятствия на пути исторического прогресса. При этом то, что является прогрессом для человечества, для народа, является крахом, гибелью для империалистической буржуазии, для её экономики, политики, идеологии. И это чувство своего неотвратимого конца буржуазный мир выражает в социологической теории конца исторического прогресса. Невозможность общественного прогресса на капиталистическом пути отождествляется буржуазными идеологами с невозможностью дальнейшего исторического прогресса вообще. Не может умирающий класс видеть прогресс в своём умирании и приветствовать свою собственную гибель. Метафизическая теория круговорота истории является, таким образом, вполне закономерным идеологическим выражением исторического вырождения буржуазии.

Наиболее развёрнутое изложение циклической философии истории дано в многочисленных работах английского профессора Арнольда Тойнби, получивших широкое распространение в Англии и США. Мы едва ли преувеличим, сказав, что концепция Тойнби является в настоящее время господствующей идеалистической философией истории в англо-американских странах. Историческая метафизика Тойнби — прямое продолжение философии истории германских империалистов, англо-американский вариант идеологии прямых предшественников германского фашизма — Фридриха Ницше и Освальда Шпенглера.

В качестве первоэлемента исторического исследования Тойнби берёт внациональное, космополитическое понятие «цивилизации». «Под цивилизацией, — пишет он, — я понимаю наименьшую единицу исторического исследования». Тойнби представляет всю предшествующую историю как историю зарождения, развития и гибели 21 цивилизации. Отрицая реальное единство всемирно-исторического развития, он рассматривает каждую из этих цивилизаций как замкнутое, самодовлеющее целое. Нации, национальные государства, для него — вторичные и преходящие образования в рамках каждой цивилизации. Тойнби предлагает «рассматривать историю в понятиях цивилизаций, а не в понятиях государств, и понимать государства как некие подчинённые и эфемерные политические феномены в жизни цивилизаций, в недрах которых они появляются и исчезают».

Спору нет, подобная космополитическая в самой своей основе система весьма удобна для оправдания империалистических притязаний на мировое господство.

Именно тем и объясняется успех «доктрины» Тойнби в США и среди проамериканских политиков в Великобритании, что она даёт теоретическое обоснование агрессивной международной политики, ведущей к ликвидации государственной самостоятельности народов во имя «западно-христианской цивилизации» долларопоклонников.

Хотя Тойнби старается прикрыть классовые интересы империалистической буржуазии интересами «цивилизации», он вполне отдаёт себе отчёт в действительном назначении своей теории. Он отлично понимает, что проблема, выступающая у него в теоретическом облачении «судьбы западной цивилизации», на деле есть проблема судеб буржуазного общества. «Сейчас. — признаётся он, — во всех западных странах стоит вопрос о будущем западной буржуазии... Сможет ли творение пережить своего творца? Если рухнет западная буржуазия, не рухнет ли вслед за нею всё здание человечества?». И Тойнби даёт утвердительный ответ на этот вопрос: «То, что является кризисом для ведущего меньшинства (то есть для господствующего эксплуататорского класса. — *Б. Б.*), неизбежно является также кризисом и для остального мира».

Тойнби не закрывает глаза и на то, что ради самосохранения буржуазного общества приносится в жертву на алтарь американского империализма государственная независимость других народов, в том числе и Великобритании. Он прямо пишет о том, что план Маршалла — это «христианское погребение мёртвого первородства Западной Европы».

И он прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что капиталистическому миру угрожает крушение не вследствие мнимой военной угрозы коммунизма, а вследствие внутреннего распада буржуазной цивилизации, вследствие экономического и морально-политического превосходства коммунизма. На его языке это звучит так: «Нынешняя западная боязнь коммунизма не является страхом перед военной агрессией... Оружие коммунизма, столь нервнующее Америку... это — его духовная машина пропаганды».

Философия истории мистера Тойнби как раз и придумана для того, чтобы пополнить оскудевший пропагандистский арсенал буржуазии и укрепить нервную систему верноподданных северо-атлантического блока, именуемого им «латино-христианской цивилизацией».

Новоявленный пророк

Другими словами, философия истории Тойнби — оружие в борьбе против научного диалектического и материалистического понимания истории.

Расчленив всемирную историю человеческого общества на историю самодовлеющих «цивилизаций», Тойнби стал на путь полного отрицания прогрессивности всемирно-исторического развития. Каждая цивилизация, заявляет он, совершает свой жизненный круг развития и гибнет, уступая место новой цивилизации, начинающей всё сызнова. Теории исторического прогресса он противопоставляет теорию «циклического движения цивилизаций по кругу: рождение — смерть — рождение».

Это учение о круговороте истории не только метафизично, но и откровенно теологично. Тойнби прямо заявляет, что история перерастает у него в теологию. Он не только не признаёт условия материальной жизни общества движущими силами общественной жизни, но объявляет материальное препятствием, преодоление которого является условием духовного совершенствования. При всём своём громоздком квазинаучном реквизите его философия истории проповедует самую вульгарную поповщину.

Чтобы оправдать все мерзости капиталистического строя и доказать бесцельность сопротивления социальному злу и неустройству, Тойнби прибегает к традиционному поповскому противопоставлению царства небесного — земной юдоли и проповедует презрение к земной жизни во имя небесного блаженства. «Земля, — вещает новоявленный пророк, — есть провинция царства божия, лишь одна из провинций, притом не самая важная». «Единственное общество, способное объять всё человечество, это царство божие. Концепция общества, объемлющего человечество и ничто кроме человечества, это — академическая химера».

Надежды на царство божие должны, по замыслу Тойнби, уберечь от революционных стремлений к общественному преобразованию, от борьбы за социальный прогресс.

Отрицая исторический прогресс, Тойнби дополняет свою социологическую мета-

физику богословской химерой сверхисторического прогресса, слепым орудием которого якобы служат народы и цивилизации. «Крушение и дезинтеграция цивилизаций, — возвещает он, — могут быть ступеньками к высшим целям в религиозном плане». Циклы, совершаемые сменяющимися друг друга цивилизациями, Тойнби уподобляет движению колёс, на которых религиозная колесница возносится на небеса. «В том, что цивилизации воздвигаются и падают, открывая путь для новых цивилизаций, может осуществляться некое целесообразное предназначение, высшее по сравнению с назначением цивилизаций, — начертанное в божественном плане».

Прямое назначение теологического тумана, напускаемого Тойнби, — лишить революционного острия самое понимание истории, изъяв из него идею внутреннего исторического прогресса. Если развитие человечества не является самоцелью, если история не заключает в себе возможности реального прогресса, — борьба за лучшее общественное устройство становится бессмысленной. Историческая теология Тойнби — антигуманистическая, бесчеловечная философия истории. Цель её — с помощью поповских бредней убедить в бесплодности всех усилий прогрессивного человечества. Философско-историческая колесница Тойнби — это разбитая телега реакционного класса, пацытка с негодными средствами внести смятение в ряды борцов за лучший мир, посеять яд неверия в исторический прогресс. Проповедуемый Тойнби прогресс «в религиозном плане» — отравленное оружие для борьбы против реального исторического прогресса, осуществляющего жизненные требования трудящихся и общественные идеалы всего передового человечества.

Вместе с теорией общественного прогресса Тойнби выбрасывает за борт идущего ко дну корабля буржуазной науки также и принцип исторической закономерности. Он рассматривает общественную жизнь как игру провидения, как «процесс проб и ошибок» божества. Как ряд неудачных актов творения. Так, научное понимание исторического развития уступает место божьей воле и актам творения, а философско-историческая мысль эксплуататорских классов завершает свой «цикл» развития, возвращаясь к донаучным, мифологическим представлениям о божественном провидении.

Человеконенавистнический характер этой мифологии буржуазного вырождения и её связь с замыслами империалистов с особенной наглядностью обнаруживается в рассуждениях Тойнби об угрозе атомной войны. В годы, когда миллионы людей поднимают свой гневный и негодующий голос против преступного накопления американскими милитаристами агрессивного атомного оружия, идеолог «атлантической цивилизации» не находит ни единого слова осуждения для атомных преступников. Истребление человечества при помощи атомных бомб Тойнби считает вполне реальной возможностью. Перспектива гибели цивилизации находится в полном соответствии с его философией истории, и у него нет ни малейшего желания бороться за предотвращение угрозы атомной войны. Массовое уничтожение людей и даже гибель всего человечества его мало беспокоят, если нельзя сохранить буржуазную цивилизацию.

Если человеческому роду суждено погибнуть от атомных бомб, цинично глумится этот философствующий каннибал, то всё же остаётся надежда, что где-нибудь в Центральной Африке сохранится какое-нибудь племя негритянских пигмеев и положит начало новому циклу развития человечества. Разумеется, при этом погибнут не только люди, но и все исторические достижения человеческой культуры, завоеванные за 10 тысяч лет развития общества. Но «что значат 10 тысяч лет по сравнению с 600 тысяч или миллионом лет, в течение которых существует человеческий род?» — пытается острить мрачный прорицатель гибели человечества.

Вот к какому конечному выводу приводит эта модная «истинно-атлантическая» философия истории. Опровержение научного понимания исторического развития служит в ней теоретическим оправданием международного разбоя.

«Закружились бесы разны...»

Но Тойнби — лишь один из запевал в многоголосом хоре реакционных англо-американских философов и социологов. Сознывая бессилие буржуазии остановить ход истории, они продолжают и отрицают реальность и возможность исторического про-

гресса. В этом хоре слились голоса католических изуверов, формалистических декадентов и правосоциалистических предателей.

Профессор Чикагского университета Моргентау цинично восхваляет фашистскую «политику силы». Он неустанно убеждает своих читателей и слушателей в неизбежности зла ныне и присно и во веки веков. Одно уже упоминание о прогрессе приводит его в ярость. Пора уже перестать верить в прогресс — «нет такой вещи!» — утверждает сей учёный муж.

На другой лад, с пафосом библейского пророка, то же самое повторяет реакционный идеолог американских протестантов Рейнгольд Нибур:

— Вера в прогресс в глазах современного человека... дискредитирована, она уступила место разочарованию и отчаянию.

— Никакого прогресса не было, нет и не будет, — вторит ему престарелый англиканский теолог Ральф Индж.

— Все старания преобразовать общество на свободных, разумных и справедливых началах — сизифов труд, бесплодные усилия! — подпекает Альбер Камю, сутенёр французской реакции, находящейся на содержании у дяди Сэма.

Для всех этих врагов человечества — во фраках, рясах и мундирах — отправной точкой их реакционной философии служит отказ от научного понимания истории и от рационального мышления вообще. История, рассматриваемая как поле деятельности мистических сил, как хаос случайностей или как арена борьбы патологических вожделений, не может быть ни объектом логического понимания, ни предметом научного предвидения. Потерявший историческую перспективу реакционный класс, гибель которого является залогом общественного прогресса, неизбежно отвергает самую мысль о прогрессе, ополчается против неё, стремясь вырвать эту мысль из общественного сознания вместе с её корнем — убеждением в рациональном, закономерном, логически познаваемом характере исторического процесса.

Либо мертвечину метафизических абсолютов, либо полное отрицание всякой истины, всякой закономерности, всякой логики противопоставляют научному миропониманию поставщики империалистического дурмана.

На обратном пути от человека к обезьяне

Но реакционная идеология не ограничивается борьбой против теории и практики общественного прогресса. Ненависть к общественному развитию приводит к отрицанию всякого развития вообще, к воскрешению метафизического метода мышления. Перенесённый при посредничестве идеалистической философии из общественных наук в естествознание отказ от научной теории развития привёл к отказу от естественнонаучной теории эволюции в современном буржуазном естествознании. Периодические приступы антидарвинистского бешенства — характерный симптом общего кризиса буржуазной науки.

Сто лет назад учение Дарвина об эволюции видов и происхождении человека подорвало окаменелое метафизическое понимание природы. После открытия Дарвина современное научное понимание природы было, по словам Энгельса, готово в его основных чертах. Материалистическая диалектика, сделавшая философские выводы из происшедшего переворота в естествознании, стала с тех пор твердьней научной мысли.

Теперь, как всегда, когда дело идёт о борьбе против науки, в первых рядах крестового похода против дарвинизма выступают католические богословы. Эти философские ископаемые до середины XX века не желают примириться с тем, чтобы Адама изображали с пупком — символом естественного, а не божественного происхождения. «Вы являетесь двенадцатикратным еретиком, если признаёте то, что называется эволюцией!» — заявляет американский биолог-иезуит Кэрролл, предавая анафеме дарвинистов. Он рад был бы воскресить традицию святой инквизиции и уничтожить всех еретиков-дарвинистов «без пролития крови» — на электрическом стуле.

Там же, в США, некий докгор Эгер издал «учёный» труд — «Католицизм и прогресс науки», вышедший с благословения «самого» кардинала Спеллмана — амери-

канского кандидата на папский престол. Эгер пространно рассказывает о том, что одной из главных забот католической церкви на протяжении всей её истории была — что бы вы думали? — неустанная забота о прогрессе науки. Наука, не моргнув глазом заверяет он, никому в такой мере не обязана своим расцветом, как... Ватикану. Что касается, в частности, эволюционной теории в биологии, — неусыпная забота католицизма о ней явствует, повидимому, из того, что «католический взгляд на человека... не допускает признания эволюции человека в целом из животного мира». Коротко и ясно. Чёрная гвардия реакции клянётся в своей нежной привязанности к прогрессу науки, но стоит какой-нибудь науке задеть библейский миф, церковную догму или схоластический анахронизм — и «нежная привязанность» оборачивается бешеной злобой. А ведь наука только и делает, что ниспровергает мифы, разрушает мёртвые догмы и сметает со своего пути анахронизмы: в этом именно и состоит прежде всего прогресс науки. Прогресс биологической науки в пределах библейского мифа о сотворении растений, животных и человека, или прогресс астрономической науки в рамках древних легенд о сотворении мира — это заведомый вздор, неподвижное движение, чёрная белизна.

Борьба против естественно-научной теории эволюции ведётся католическими обскурантами не только в поповских проповедях, но и в «теоретических исследованиях», не только с церковных амвонов, но и с университетских кафедр и в «научных лабораториях». Иезуиты борются против передовых научных идей не только извне — их лазутчики стремятся подорвать науку и изнутри, выступая в качестве профессиональных учёных, во всеоружии научной терминологии, внушительных формул и прочих аксессуаров учёности.

Таким католическим диверсантом в биологической науке был Пьер Леконт дю Нуи, сначала профессор Пастеровского института в Париже, а затем Рокфеллеровского института в Нью-Йорке. Он усердно снабжал католических мракобесов псевдонаучной аргументацией против эволюционной теории и обильно поставлял «экспериментальные доказательства» поповских бредней. Книга этого мракобеса — «Человеческая судьба», «доказывающая», что последним словом биологической науки являются ветхозаветные предания, изложенные в «Священном писании», была восторженно встречена американской реакцией.

Наряду с «тяжёлой артиллерией» наукообразных «трудов», в борьбе против передовой науки широко применяется и «лёгкая кавалерия» демагогических памфлетов. Массовая борьба против дарвинизма ведётся иезуитами под смехотворным лозунгом: «Никогда человек не называл папой обезьяну!» Глядя на этих «критиков» дарвинизма, невольно приходит на ум старая эпиграмма Вяземского — «По современному зоологическому вопросу»:

Оранг-утанг ли наш Адам?
От обезьян идём ли мы?
Такой вопрос решать не нам!
Решат учёные умы.

В науке неуч и профан,
Спрошу: не больше ль правды в том,
Что вовсе не от обезьян,
А в обезьяны мы идём?..

Биология дыбом

Научному, диалектико-материалистическому пониманию законов и движущих сил органической эволюции буржуазная лженаука противопоставляет идеалистическую мистику витализма и формальной генетики. В последние годы биологи многих капиталистических стран — Ниргард, Жюль Карль, Рувьер, дю Нуи, Колен, Вернэ, Вандель — выступили против научной материалистической линии в биологии, против дарвинизма, против естественной закономерности жизненных процессов, против принципа причинной обусловленности биологических явлений, то есть против всех теоретических основоположений биологии как науки. Выдвигаемый ими в противовес материализму

«финализм» есть не что иное, как новое название для старой виталистической теории. Его основной принцип ясно сформулировал Морис Вернэ в своей «Проблеме жизни». «Мистический регулятивный фактор,—пишет он,—обуславливает все проявления жизни, которые не могут быть объяснены одними физико-химическими процессами». Вернэ называет этот мистический фактор «органической чувствительностью». Другие финалисты называют его по-иному, но суть их одинакова: они утверждают, будто все жизненные процессы подчинены некоему иррациональному началу, не поддающемуся естественно-научному изучению.

В своей приверженности к донаучным представлениям Вернэ возрождает под названием «триалистической концепции жизни» давным-давно отброшенную наукой аристотелевскую «тройцу» растительной, животной и разумной души. «Душа» в этой мистической концепции является принципом «сверхчувственной энергии». Для Вернэ, открыто призывающего к восстановлению веры в духов, «душа» не только совершенно независима от тела, но и является потусторонним началом по отношению к «духу», который служит посредником между душой и телом. Философы-идеалисты широко рекламируют этот несусветный вздор, рассчитывая на него как на подспорье в борьбе против распространения научных материалистических воззрений. Характерно при этом, что Вернэ открыто признаётся в своей ненависти к «ложной демократической религии» и рассматривает своё мистическое учение о душе и духе как вклад в дело борьбы против растущего влияния демократических идей. Тем самым он лишней раз демонстрирует неразрывную связь между борьбой против материализма и борьбой против демократии.

Отвергая естественную закономерность и причинную обусловленность органических процессов, «финализм» тем самым исключает естественно-научное понимание эволюции. С его точки зрения не причины, а цели являются движущей силой развития, поэтому возникновение высших, более сложных форм жизни из низших, более простых, невозможно. И здесь научная идея развития заменяется мистической идеей творения, осуществления духом заранее предначертанных целей. В результате, подобная «биология», став на путь отказа от закономерного развития природы, точно так же как «социология» Тойнби и ему подобных, став на путь отказа от закономерного развития общества, перерастает в теологию.

«Финализм» и формальная генетика — сيامские близнецы. Читая писания биологических идеалистов, совершенно невозможно установить, где кончается формальная генетика и где начинается финализм. Как правило, они широко используют и метафизику генетиков-морганистов и клеточную (клеточную) метафизику Вирхова. Морис Вернэ, в частности, очень выразительно объясняет, в чём единство обоих течений. Клеточная динамика, по мнению Вернэ, обнаруживает независимость клеток от влияния вселенной и тем самым доказывает, что законы материального мира, действующие во вселенной, не имеют значения для динамики жизни. Другими словами, обосновывая независимость не только гена, но и клетки от законов окружающего материального мира, рассматривая ген и отдельную клетку как замкнутое, самодовлеющее целое, органисты и вирховианцы отдают первоэлементы живой материи на произвол мистических спекуляций.

Другим наглядным примером сращения финализма и органистической генетики может служить книга профессора зоологии Тулузского университета Ванделя «Человек и эволюция». Автор проникнут буквально зоологической ненавистью к материализму и дарвинизму. Эволюционному объяснению развития от простого к сложному, от низшего к высшему он противопоставляет требование объяснять животных — человеком, а неживую природу — живой. Вандель высоко оценивает генетическую метафизику за то, что в противовес теории Дарвина, дающей естественно-научное объяснение прогресса, формальная генетика содействует опровержению теории прогресса.

По существу своему генетическая метафизика является применением к биологии пресловутой теории «эмерджентной эволюции». Возникновение нового здесь отрывается от закономерной эволюционной основы и выступает как незаконный, слу-

чайный, чудотворный акт, недоступный пониманию и научному предвидению. Развитие как закономерный, притом прогрессивный процесс, отвергается. Так мистика и метафизика дополняют друг друга в этой антинаучной концепции. Не случайно один из столпов философии «эмерджентной эволюции» Чарльз Брод, духовидец, телепат и спирит, является также и автором «новой» биологической теории — «эмерджентного витализма», отличающегося от обычного витализма не более, чем чёрт жёлтый от чёрта синего.

Все необходимые доводы для полного опровержения лженаучной теории «эмерджентной эволюции» высказал товарищ Сталин уже более сорока лет назад. Ведь по существу своему измышления «эмерджентов» ничем не отличаются от теории катаклизмов Кьюве, исчерпывающую кригику которой товарищ Сталин дал в своей работе «Анархизм или социализм?».

Так обстоит дело с борьбой современного идеализма против теории развития в природе. Подобно тому, как в общественных науках реакционные идеологи требуют отказа от теории прогресса во имя борьбы против революционных выводов из этой теории, так и в естественных науках все формы и методы реакционной идеологии направлены на борьбу против прогрессивных естественно-научных идей, дающих незыблемое обоснование теории и методу диалектического материализма.

„Второе грехопадение“

В последнее время ещё один мотив всё настойчивее звучит в лагере идеализма: развитие — это упадок, деградация; развитие означает... регресс. В применении к общественной жизни такого взгляда придерживаются и богослов Индж, и одичавший писатель Олдс Хаксли, и философ Сантаяна, и «эстет» Конноли, и фашистский социолог Ортега-и-Гассет, и экзистенциалист Камю и множество других вырожденков буржуазной цивилизации. В естествознании эта упадочническая концепция эволюции нашла приверженцев в лице французских биологов Сале и Ляфона, антидарвинистская книга которых так и называется: «Регрессивная эволюция». Из американских архивов извлекается «закон Копа». Согласно этому «закону» усложнение и специализация органических видов якобы обратно пропорциональны их живучести, вследствие чего наиболее долговечными оказываются наименее развитые виды. С этой точки зрения развитие есть, в конечном счёте, зло, а прогресс — проклятие. Для сторонников «регрессивной эволюции» человек — отнюдь не высшая ступень органического развития. По выражению Бэтсона, человек — это лишь «выродившаяся амёба». Трудно представить, каковы после этого дальнейшие возможности регрессивной эволюции буржуазной «науки»! Ненависть к прогрессу сплелась у сумасбродных идеологов империализма в плотный клубок с ненавистью к человеку и с презрением к науке.

Ненависть к грядущему влечёт за собой идеализацию минувшего. Будущее для идеологов империализма страшно и губительно. Плоды прогресса для них — смертельный яд. Настоящее для них — неустойчиво и безнадёжно, и мечты реакционеров обращаются к давно прошедшему. Чем оно дальше, тем оно кажется им заманчивее. 100, 300, 500 лет назад не шатались устои строя паразитизма и неравенства, не горела так под ногами эксплуататоров почва. Тогда всё ещё было впереди. Царству господ не видно было конца. Классовые столкновения прошлого кажутся лёгкими облачками по сравнению с грозвыми битвами современности...

«Назад к средневековью!» — этот призыв всё громче раздаётся со страниц писаний обезумевших реакционеров, объятых страхом перед будущим и бешеной злобой к его творцам — к народам, борющимся за мир, демократию, социализм. Идеологические оружейники империализма не довольствуются тем, что отрицают реальность исторического прогресса и опровергают его возможность — они оплакивают весь исторический путь, пройденный человечеством за последнее пятисотлетие. Всё, что в конечном итоге привело человечество к социализму, все достижения техники и экономики, все завоевания науки, искусства, просвещения, проложившие путь к социалистической культуре и сделавшие невозможным дальнейшее существование эксплуата-

торского общества,— предаётся анафеме. Идеологи издыхающего капитализма тоскуют о средневековье, как о потерянном рае,— потерянном в результате злосчастного исторического прогресса.

Виновником «второго грехопадения», коварным змием, соблазнившим европейского человека отведать от древа познания и тем самым вступить на губительный путь прогресса, был... Николай Коперник. Так, во всяком случае, утверждает неомист Конвей. А кто может быть более компетентным в вопросах грехопадения, чем ортодоксальный католический богослов, и притом ещё американский? «Коперниканская революция» вывела европейское общество из состояния блаженного покоя, в котором оно дотоле пребывало, поколебала его идейные устои, толкнула на скользкий путь сомнения в божественной мудрости священных феодальных традиций. И Конвей считает, что «в нынешней опасной обстановке западной цивилизации» необходимо обратиться в поисках мудрости к забытому наследию средних веков. «Теперь, больше чем когда-либо, необходимо развернуть железный занавес, простёртый над средневековьем... Не будем страшиться, наконец, взглянуть на средние века, какими они были в действительности, и на старинную веру, какова она на самом деле». Конвей призывает отбросить «закоренелые предрассудки» о средневековье и в смертный час буржуазной цивилизации вернуться к догмам и канонам феодальной иерархии, крепостничества, теологии.

О вреде грамотности

Более полно сформулировал теорию «регрессивной эволюции» в общественной жизни и всесторонне обосновал призыв вернуться к средневековью новоявленный американский теоретик Ричард Уивер в своей книге «Идеи имеют следствия». Книга эта широко разрекламирована реакционной американской прессой, а автор её возведён рецензентом «Чикаго трибюн» в ранг «одного из классиков XX века». Другой американский «классик XX века» — Питирим Сорокин, тот самый, которого Ленин заклеил как современного «образованного» крепостника и который в качестве такового прочно занял своё место в вертеле американских мракобесов, выразил глубокое удовлетворение ретроградными идеями Уивера, напомнив, что идеи эти — всего лишь вариация на его собственные, Сорокина, темы. Одобрение Питирима Сорокина — лучшая рекомендация для любого черносотенца.

Уивер идёт «дальше» Конвея. Он считает, что грехопадение европейского человека совершилось не в XVI веке, а лет на триста раньше, и змиеми-искусителями были, задолго до Коперника, Роджер Бэкон, ранний предвестник опытной науки, и Уильям Оккам, глава номиналистов. А номинализм, выступивший против нелепого учения схоластических «реалистов» о том, что реальны не настоящие вещи, а общие понятия, был, как известно, первым проблеском материализма в эпоху средневековья.

По словам Уивера, «поражение логического реализма в великом средневековом споре было поворотным событием в истории Западной культуры». Отрицая реальность универсалий (общих понятий), номиналисты поколебали философские основы убеждения в существовании потустороннего нематериального мира, веру в сверхъестественные, божественные устои мироздания. Бунтарские выступления Бэкона и Оккама, жалуется Уивер, способствовали «изгнанию элемента иррациональности из природы», столкнули мысль с пути религиозной веры в PROVIDENCE на путь рационального познания законов природы. Естественно-научные и номиналистические теории, по-новому поставившие вопрос: что реально? — перенесли центр философских интересов с неба на землю, с божественного на человеческое, с потустороннего блаженства на общественное устройство, и это повлекло за собой пагубные последствия.

Идеалист Уивер не хочет и не может понять реальные исторические основы процесса перехода от феодализма к капитализму, отражением которых в общественном сознании был кризис церковно-схоластической идеологии. Но как бы то ни было, поворот людей от веры к разуму, от религиозных традиций к научному новаторству, от небесной благодати к земным интересам привёл, по мнению Уивера, к губительным

идеям равенства, свободы, демократии, которые, всё больше овладевая умами, всё глубже «разъедали общественный организм». О социальном равенстве, политической свободе и демократии Уивер говорит с нескрываемой ненавистью. Он уже не считает нужным прибегать к маске лицемерного демократизма. К дьяволу демократию, разговоры о свободе, социальном равенстве и справедливости! — рычит чикагский философ. — В аду, в геене огненной восторгается справедливости! Бог создал одних для господства, других для подчинения. Власть не от народа, а от бога! Разбушевавшийся мракобес требует расправы над демократией, а заодно и над равноправием женщин: место женщины только в церкви, на кухне, в детской.

Безбожные рабочие, продолжает этот философствующий черносотенец, возмнили, будто их труд — это только источник заработка и средств пропитания, они забыли, что труд — это божественное повеление, священный долг, и забастовка, следовательно, — не только нарушение общественного порядка и дисциплины, но и смертный грех, нарушение божественной заповеди¹.

Разбушевавшись, Уивер не останавливается ни перед чем. Он призывает к жестокой расправе над «инакомыслящими», возбуждая «Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности» сладострастными воспоминаниями о средневековом опыте истребления еретиков.

Этот представитель американской «университетской науки» ополчается и против народного просвещения. Изобретение книгопечатания он считает несчастьем для человечества, а грамотность — греховным наваждением. Уничтожение газет было бы, по его мнению, великим благодеянием. Гангстеры из «Американского легиона», устраивающие облавы на продавцов «Дейли уоркер», действуют в полном соответствии с наставлениями «философа» Уивера. А он мечтает ещё о кострах, на которых его студенты сжигали бы книги Пэйна, Лонгфелло, Твэна, Драйзера. Ему снятся пылающие горы букварей, по которым дети рабочих и крестьян на всех языках земного шара — белые, чёрные, жёлтые ребятишки во всех частях света — учатся писать: «м-и-р», «Ста-лин».

Ничто так не тревожит буржуазных идеологов, признаётся Уивер, как «логическая ясность, с которой коммунисты рассматривают все проблемы». Их страшит всё растущее распространение влияния Советской России «благодаря неудержимой силе её идей». Что могут противопоставить великой притягательной силе передовых коммунистических идей Уивер и ему подобные? Только реакционную утопию о возврате тьмы средневековья и крепостничества.

Философия Жёлтого дьявола

Одна из глав книги Уивера озаглавлена: «Последнее метафизическое право». Здесь воспевается заветный идеал и движущая сила всей буржуазной философской мысли, основа основ, святая святых капиталистического мира, то, ради чего слагают стихи буржуазные поэты, изощряются в софистике буржуазные учёные, бряцают оружием северо-атлантические вояки и предательствуют правые социалисты. В этой главе Уивер самозабвенно воспекает частную собственность.

Он воспекает её, как воспевал свою возлюбленную в «Песне песней» царь Соломон. Частная собственность — источник всех надежд и упований, оплот благочестия и нравственности, желанная и вожденная. Она дана человеку, «подобно райскому саду». Пока существует на земле частная собственность — ещё не всё потеряно. Есть ещё во что верить и за что бороться.

Частная собственность — основа эксплуатации человека человеком, оплот неравенства и социального порабощения — для Уивера — сущность всего сущего, «нечто очень похожее на философское понятие субстанции». Не материя «безбожных мате-

¹ В этом вопросе Уивер имеет достойного единомышленника — американского католического «профессора» Фултона Шина, предложившего создать на предприятиях институт капелланов — церковных агентов по усмирению рабочих, в помощь штрейкбрехерам из жёлтых профсоюзов.

риалистов», а божественная, метафизическая частная собственность — вот в чём, оказывается, мировой разум, абсолютная идея, духовная субстанция «классика» американской философии XX века. «Атака на частную собственность, — заявляет Уивер, — есть лишь дальнейшее выражение пренебрежения к разуму».

Вот как Уивер обосновывает свой взгляд на частную собственность: «Мы говорим, что право частной собственности является метафизическим, ибо оно несколько не зависит от какой бы то ни было проверки — является ли оно социально полезным... Метафизическая природа частной собственности покоится на идее «hisness of his» (егонности его. — Б. Б.); собственность, *proprietas*, *Eigentum* — самые слова эти утверждают торжество собственника и собственности... Это самооправдывающееся право...»

Итак, частная собственность является святыней, какие бы социальные бедствия она ни приносила человечеству. Пусть погибнет мир, но восторжествует частная собственность! ...Умри, Ричард, лучше не скажешь!

Чикагские студенты, несомненно, подавлены и потрясены бездной учёности философского глубокомыслия своего профессора. Но он, увы, не оригинален. Мы не можем признать «егонность» его бреда и отдать Уиверу пальму первенства за открытие метафизики частной собственности. 125 лет назад французский философ Дестют де Траси предвосхитил самоновейшую американскую галиматью, пытаясь доказать в своём «Трактате о воле», что собственность, индивидуальность и личность — тождественны, что в «я» уже заключено «моё». И уже более ста лет назад Маркс с презрением высмеял в «Немецкой идеологии» это буржуазное словоблудие Дестют де Траси.

В воскрешении святости частной собственности Уивер усматривает основу возрождения человечества: восстановления феодально-авторитарного режима, безропотной покорности трудящихся, отношения рабочих к подневольному труду как к божественному установлению и священному долгу. А на страже «последнего метафизического права» будут недрёманно стоять... поп и солдат. Философ американского фашизма мечтательно вспоминает о «старинной солидарности священника и солдата». Солдафона, вооружённого атомной бомбой, он возводит в ранг «защитника высшего разума, последнего хранителя мудрости». Такова «истинно-американская» философия, противопоставляемая чикагским профессором передовым идеям современности.

В то время как Уивер заклиняет историю пятиться назад и призывает уползти от социализма к феодализму, в то время как во имя доллара он требует уничтожения всех гражданских и политических прав, науки и просвещения. — в это самое время европейские вассалы муштруют свою челядь, готовясь встретить американских созерцателей «атлантической цивилизации». Философия Уивера популярно разъясняет, как янки намерены «спасать» цивилизацию.

Даже самые реакционные представители европейской интеллигенции, предпочитающие чужеземное иго — свободе и демократии и позолочённый американский ошейник — служению своему народу и своей национальной культуре, — даже они понимают, что американский империализм является смертельной угрозой для европейской культуры, что ньюйоркские дельцы для цивилизации — то же, что колорадские жуки для посевов картофеля. Предатели национальной независимости и европейских культурных традиций понимают это и тем не менее делают своё чёрное дело.

Французский писатель Жак Флоран, из вывода Мальро, своей статьёй «Атлантическая цивилизация» как бы перекликается с заатлантическим призывом «назад к феодализму!». «Мы вступаем в новое средневековье», — возвещает Флоран, преклонив колени перед американскими империалистами, идущими «спасать» западную цивилизацию. Вспомнив роль старинных аббатств, хранивших огонёк образования в долгую тёмную ночь средних веков, Флоран отводит европейской интеллигенции в годы нового северо-атлантического средневековья роль смиренных, безвестных иноков, оберегающих для будущего огонёк европейской культуры. Так ласково утешает этот Иуда французскую интеллигенцию, стремясь удержать её от борьбы против американских колонизаторов, от борьбы за мир, за национальную независимость, за социальный и культурный прогресс.

„Светопреставление“

Декадентская теория исторического регресса является идеологическим выражением пессимизма и обречённости. Основанное на ней «воодушевление» — это крик отчаяния, исторический авантюризм. Для достижения своих целей, противоречащих исторической закономерности, идеологи реакционных классов призывают «преодолеть вето судьбы» (Ортега-и-Гассет). Их мировоззрение мрачно и злобно. Свою неминуемую гибель отживший свой век класс воспринимает как конец мира, гибель человеческого рода. Апокалипсические мотивы столь же характерны для идеологов империалистической буржуазии, как и для идеологов эпохи распада античного рабовладения. Зловещие пророчества о «новом потопе» и мечты о новом «ковчеге» (Раймонд Абеллио) — духовный симптом классово́й агонии.

Буржуазные астрономы и физики пророчат неизбежную гибель мира в результате энтропии или атомного распада. Буржуазные биологи предрекают грядущее исчезновение человеческого рода, подобно тому как исчезли мамонты и динозавры. Буржуазные социологи предвещают крушение общественной жизни.

Современная буржуазная философия, литература, искусство пронизаны мрачным человеконенавистничеством и пафосом утрашения.

Профессор антропологии Пенсильванского университета Лорен Эйсли недавно выступил со статьёй, в которой с учёным видом пространно рассуждает о модной в северо-атлантических кругах проблеме — как скоро и каким образом погибнет человечество. Он вынужден признать, что гораздо более реальной опасностью для людей являются не космические катастрофы и геологические катаклизмы, а самоистребление человеческого рода в грядущей войне. Придя к столь утешительному заключению, пенсильванский профессор не нашёл ни одного слова осуждения, возмущения, негодования по адресу тех, кто изо дня в день призывает к истребительной войне и лихорадочно готовится к ней, тех, кто яростно сопротивляется запрету и уничтожению атомного оружия. По складу своего ума мистер Эйсли не столько антрополог, сколько антропофаг. Зарегистрировав возможность истребления человечества атомными преступниками, он успокаивает своих читателей тем, что сколь бы истребительной ни была новая мировая война, полное уничтожение всего человеческого рода в этой войне мало вероятно ввиду его многочисленности и распространения по всему земному шару: где-нибудь кто-нибудь да уцелеет.

Антигуманизм — философский эквивалент военной пропаганды. Учёный, оправдывающий атомные бомбы, — такой же пособник военных преступников, как и учёный, изготавливающий их. Философия, дезорганизующая движение борцов за мир, — прямая услуга врагам мира. Таков единственный полноценный критерий для оценки взглядов Эйсли, Тойнби и им подобных. Основная их функция в лагере империализма — создавать духовную атмосферу, благоприятствующую поджигателям войны.

Раньше или позже, так или иначе, уверяет профессор Эйсли, род людской всё равно исчезнет с лица земли. «Мы можем лишь надеяться, что существа, которые заменят наше господство на земле, будут если не более мудрыми и доброжелательными, то по крайней мере менее дьявольски изобретательными, чем были мы». Корень зла — изобретательность людей, источник всех бедствий — прогресс науки и техники. Эта излюбленная тема врагов исторического прогресса снова и снова варьируется в их писаниях. Философ, биолог, социолог наперебой стараются перекричать друг друга, проклиная разум, науку, прогресс и всю человеческую историю. Они раскрашивают свои балаганы яркими красками. Расписывают свои вывески всеми цветами радуги. Наклеивают на свою духовную отраву самые пёстрые ярлыки. Но все они — гробы повапленные, полные мёртвой трухи, смрадных костей и всякой мерзости.

Чем скорее их душливые идеи найдут своё место на историческом кладбище, рядом с идеологией рабовладельческого и феодального общества, тем чище станет воздух на земле, тем легче будет людям дышать, свободнее и радостнее жить.



Т Р И Б У Н А Ч И Т А Т Е Л Я

О НЕКОТОРЫХ ЯВЛЕНИЯХ И ВОПРОСАХ СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ

Подавляющее большинство публикуемых ниже читательских писем носит критический характер. Мы считаем спорными иные из общих утверждений и конкретных замечаний, высказанных читателями. Однако как и в том случае, когда нами публиковались читательские отклики, посвящённые новым книгам советских прозаиков (см. «Новый мир» № 4 за 1951 год), мы не сочли себя вправе отбирать среди писем только такие, которые во всём совпадали бы с точкой зрения редакции.

Письма приводятся в сокращённом виде.

Первые стихи о великих стройках

Я знаю —
 город
 будет,
Я знаю —
 саду
 цветь,
когда
 такие люди
в стране
 в советской
 есты —

как-то сказал Маяковский.

Немало лет прошло с тех пор, как это было сказано, и сколько городов уже построили советские люди, сколько посадили садов!

В жестоких боях отстояли наши люди свои достижения, восстановили разрушенное врагом и вышли на великие стройки коммунизма. Вся замечательная история нашей страны подготовила их к этому большому делу...

Вот они — действительно герои,
Счастье просто посмотреть на них,—

пишет поэт Александр Яшин.

Нет ничего благороднее для поэта, чем показать их трудовые будни, полные энергии и новаторства, заглянуть в их чувства и заставить читателя, такого же нового человека, как и эти герои, осознать всю красоту их морального облика.

Мне кажется, что поэт А. Яшин в стихотворном цикле «Советский человек» су-

мел передать некоторые характерные черты людей сталинской эпохи, строителей коммунизма.

Верись, что поэт сам был на Жигулях, где развёртывается одна из великих новостроек, сам видел и плотника, и учётчицу на льду, и лоцмана, и начальника Гидростроя.

Людей создала сама жизнь — воображение поэта лишь перенесло на полотно лирического повествования образы вдохновенных тружеников. И вот они приходят к нам с «ясными и чистыми глазами», с обветренными молодыми лицами, жизнерадостные и не знающие усталости.

Как превосходно сказано поэтом:

...вставала стройка, как живая...
С первых дней к поэзии взывая,

Познакомив нас с рядовыми тружениками великой стройки, поэт приводит нас на командный пункт строительства — к начальнику Гидростроя, который только что говорил по телефону с И. В. Сталиным. Забота вождя придаёт людям новые силы:

Яснее сразу мысли.
И задач неразрешимых нет.

Как верный сын партии, начальник стройки знает, что «инженерная наука» должна «смело полагаться на народ».

Он не запирается в своём кабинете: мы видим его у котлована, где он, «словно предколхоза перед севом», растирает землю на ладони, видим, как он помогает шофёрам вытаскивать застрявший грузовик. Это — настоящий человек, и не только на своём трудовом посту, но и дома, в семье...

Советских строителей-патриотов, начиная от выпускников ремесленных училищ и кончая начальником Гидростроя, объединяет любовь к труду, желание видеть нашу страну ещё более прекрасной и могущественной. Вот о чём рассказывает А. Яшин в цикле «Советский человек».

Хочется сказать посту слова одобрения за талантливые стихи, за то, что он одним из первых написал о людях великих строк

коммунизма, за тёплый лиризм его стихов, за ту гордость, которую мы испытываем, думая о советском человеке при чтении этого цикла.

Обидно только, что не все стихи равно хороши, что в цикл попали такие стихотворения, как «Письмо родителей» и «В выходной» — по-моему, слабые поэтически и идейно бедные; обидно, что есть в стихах слабые строки, невыразительные образы.

Но мы рады всему хорошему, что есть у поэта, который серьёзно отнёсся к своему долгу правильно выражать то, что народ сознаёт, то, чем народ живёт.

В. Сулицкий,
студент II курса Ме-
дицинского института.
Москва.

Голос в защиту мира

В прошлом году вышел сборник стихов Алексея Суркова под очень выразительным названием «Миру — мир!». Мы, советские читатели, хорошо знаем поэта Алексея Суркова, мы помним его стихи и песни, написанные в годы Великой Отечественной войны, — сильные, мужественные, исполненные непреклонной воли к победе, они отвечали мыслям и чувствам нашего народа, боровшегося тогда против немецко-фашистских захватчиков. «Смелого пуля боится, смелого штык не берёт», — эти крылатые слова поэта хорошо выразили негнбимый дух советского солдата, который шёл на смертный бой против фашизма и вышел из войны победителем.

Само название новой книги А. Суркова показывает, что и сегодня он пишет о главном в нашей жизни.

В этой книге два раздела: «Большевики» и «Миру — мир!».

Поэт говорит о мужественном русском народе, о мыслях и чувствах всех советских патриотов, готовых с беззаветной преданностью бороться за счастье людей. Он пишет о мудрой партии Ленина—Сталина, возглавляющей борьбу за торжество коммунизма...

Чтоб сильными рабочими руками
Переломить судьбу своей земли,
Мы сами назвали себя большевиками
И в дальний путь за Лениным пошли.

Стихи поэта о мире особенно сильно звучат сейчас, когда всё больше простых лю-

дей становится в ряды борцов против новой войны, когда с каждым днём крепнет интернациональная дружба сторонников мира.

Как братья после долгих лет разлуки,
Мы крепко, крепко жмём друг другу
руки.

В гневных, резких строках своих стихотворений поэт бичует поджигателей новой мировой войны — заправил Уолл-стрита.

Поэт знакомит читателей с современной Америкой, показывает истинное лицо американских «цивилизаторов» — людоедов и гангстеров — тайных и явных последователей Гитлера.

Врагам мира не удастся осуществить их чёрные планы. А. Сурков очень хорошо говорит об этом в одном из лучших стихотворений сборника «Имя—знамя», посвящённом Иосифу Виссарионовичу Сталину:

Мы знаем:
в мире опять неспокойно,
Торговцы смертью
планируют войны,
Но дельце ото дель,
всё шире и шире,
движение за мир
разрастается в мире.
И знают люди
в каждой стране:
Сталин —
это не быть войне!
Сталин —
это свободно жить!
Сталин —
это счастье творить...

Ясные, простые, лишённые словесных побрякушек и украшательства, новые стихи Алексея Суркова — это стихи мастера, настоящего художника слова. Слова стобраны скупно, но они весомы, ибо за ними стоят верные мысли и большие, глубокие чувства.

Правда, на мой взгляд, некоторые стихи грешат излишней декларативностью, страдают недостаточностью образительных средств. Но этот упрёк можно отнести лишь к немногим стихам сборника.

Книга стихов А. Суркова «Миру — мир!»

находится, как я думаю, в русле славных традиций русской вольнолюбивой поэзии классиков. Их роднит с этой поэзией благородная любовь к простому человеку, ненависть к тем, кто затевает бессмысленные, кровопролитные войны, жажда свободы и счастья для всего человечества. Их роднит с поэзией классиков и форма выражения мыслей и чувств поэта, форма ясная, простая, доходчивая.

Ант. Лейта,
комсомольский работник,
Литва, Шауляйская обл.,
Шедувский р-н, г. Шедува.

Итти за Маяковским

Я очень люблю В. Маяковского, часто его перечитываю и вдумываюсь в каждую строку, им написанную. После такого чтения, впитав в себя боевой дух этого бойца-поэта нашей революции, начинаешь прикладывать его стихи в качестве мерки ко всему, что у нас появляется сегодня в поэзии.

Дух Маяковского, его творческие приёмы, содержание и та форма, в которую он облекал свои мысли, — это чуткий барометр и им надо повседневно пользоваться в нашей работе. Это — грознейшее наше поэтическое оружие!

Что, с моей точки зрения, в Маяковском особенно сильно?

То, что он всегда был на передовой линии нашей борьбы, что он постоянно находился в гуще схватки — и не на спокойных флангах, а в центре — на направлении главных ударов, что он не оборонялся, а всё время нападал сам, что он совершенствовал ежечасно своё оружие — слово, стремясь наносить удары по врагам всё чувствительнее и сильнее! Он умел находить для этих ударов по вражескому фронту главные в данный момент цели.

В основном наши поэты и писатели идут сегодня этим путём в своём творчестве, потому что партия даёт чёткий курс всему нашему идеологическому фронту.

Развязывание империалистами новой войны — факт, который не стучится, а вламывается в наши двери! Идёт напряжённая борьба за мир! Но как часто ещё поэтические произведения, отражающие в своём содержании эту, идущую во всём мире борьбу по форме своей являются удивительно бесстрастными, мало эмоцио-

нальными... Облечённые в такую форму, они нередко грешат как бы благодушием, ибо, рассказывая о происходящих в мире событиях, плохо передают их эмоциональное содержание. Так, например, часто у нас изображают ужасы воздушных бомбардировок мирного населения Кореи такими общими словами, которые не могут пробудить в нашем сознании тех мыслей и тех чувств, какие хотел вызвать поэт.

В. Маяковский говорил, что нельзя по одному трафарету, пусть внешне и совершенному, красивому, писать и про убийства мирных людей и про любовь, про войну и про лунный сельский пейзаж!

Форма произведений должна выражать мощь их содержания.

Маяковский много говорил об этом и стремился воплотить эти мысли в своём творчестве. Он достиг того, чего хотел!

Социальное содержание — например вопль о безобразиях жизни, её несправедливостях, или пацифистский протест против первой мировой войны — многие дореволюционные поэты облекали в гладенькую красивую форму. В такой форме эти «социальные стихи» были приемлемы и для буржуа. Безобразие жизни в таком наряде становилось отнюдь не грозным, оно становилось нищенкой, выпрашивавшей милостыню.

Форма и содержание неотделимы, и я думаю, что они всегда должны изменяться одновременно, если изменяется сама действительность, порождающая их.

Поэты ещё нередко думают по-другому и получается несоответствие формы и идеи. Среди многих примеров хочу привести

один. Беру молодого автора, хотя мог бы взять примеры из творчества маститых.

В «Литературной газете» в январе этого года молодая поэтесса И. Снегова напечатала «Стихи о металле». По форме — очень красивое, звучное стихотворение, по содержанию — казалось бы, глубокое. Она начинает его с описания убийств тысяч детей в Корее и во Вьетнаме. Но это стихотворение не падает на душу тяжёлым гнѐтом так, как это должно было бы быть при известии о жестоком, бессмысленном уничтожении младенцев и школьников. Прочтѐшь его и тут же, без какой-либо душевной помехи, перейдѐшь к чтению соседних материалов в газете — ничто в полученном впечатлении не помешает этому. Почему? Потому что в первой части стихотворения, где по мысли автора должна была быть показана озверелая жестокость врагов Кореи, нет конкретного, острого образа этой жестокости, всё описывается обычными, спокойными словами, напевными ритмами, привычными рифмами, по всем правилам стихотворного трафарета. Эта часть очень кратка и обща.

Конечно, форма может как бы отставать от содержания; часто так и случается, но это всегда приводит к тому, что на каком-то этапе между ними возникают противоречия, становящиеся непримиримыми.

У Маяковского не выброшишь, не заменишь какие-либо слова без искажения всего существа и эмоционального смысла произведения. Каждое слово в строке Маяковского не только слово-образитель чего-нибудь, но и выразитель всего внутреннего смысла стихотворения. Оно неотделимо от идеи, спаяно с ней органически.

Первые, неярко выраженные картины ужасов в Корее в стихотворении И. Снеговой сейчас же сменяются изображением будущего. О нём рассказано ярче —

Знаю я: во что бы то ни стало
Мы добѐмся мира на земле —
Будут люди делать из металла
Для ребят «конструкторы», чтоб встала
С детства новостройка на столе,
Да велосипеды — сколько надо,
Да коньки для ясных зимних дней,
Да горнистам горы для отрядов.
И не будут выпускать снарядов,
Чтобы ими убивать детей.

Будет всё «как надо», обязательно будет! Но стремление к этому «будет» изложено так, что совсем не усиливает нашей уверенности в близком (именно — близком)

осуществлении его, а главное — не возбуждает боевых сил человека, не внушает ему чувства необходимости быть участником борьбы за это «будет», стремиться к его завоеванию, а не получению в готовом виде из чьих-то рук. Выраженно этой идеи, которая должна была быть одной из главных в стихотворении, не помогают и заключительные строки:

Слышите — везде простые люди
Поднимают гневный голос свой!

За этими словами не видно, что для конечного результата, изображённого довольно ярко автором, нужна гигантская борьба, напряжение всех сил человечества, нужны лишения, жертвы, неизбежные в любой борьбе. Не видно, что это война за мир, борьба за коммунизм, а не душеспасительная беседа за вечерним чаем. Не видно, что вот для этих тысяч корейских и вьетнамских детей всего этого — заманчивого и прекрасного — уже не будет, как и для многих простых людей этих стран. А почему? Кто привёл вот к этому «уже не будет»? Кто враг, против которого надо поднимать всем людям свой голос, каково «лицо» этого врага человечества? Всё это в стихе остаётся без ответа, уплывает в абстракцию.

Я привожу только одну иллюстрацию из стихотворения молодого автора. А можно было бы привести и стихи многих других наших поэтов. Все мысли, излагаемые в этом письме, — не мои, они принадлежат В. Маяковскому. Мне хотелось напомнить их, ибо, как мне кажется, они остаются у нас часто недооценёнными, а иногда (особенно в практическом воплощении) и просто забываются.

Я не поэт, у меня другая, прозаическая профессия. Но поднять свой гневный голос против поджигателей войны, совместно со всеми простыми людьми, сделать то, к чему призывает наша Партия, Правительство и товарищ Сталин, — не только просто хочется: этот гнев неудержимо рвѐтся из сердца. Все мы советские люди и имеем советские честные сердца. Хочется сразу участвовать в борьбе на двух фронтах: своём — профессиональном и другом — печатном, преследуя одну цель — быть более полезным солдатом революции. Может быть и критика моя будет не бесполезной.

И. И. Лаптев,
нейрофизиолог. Москва.

И в песне нужна точность

В массовых песнях, самом широком и доходчивом виде поэзии, всё должно быть ясно, просто, до конца точно и безошибочно, как и в «обычных» стихах и поэмах. Даже ещё яснее, проще, точнее.

Меня заинтересовал текст ныне очень популярной песни «Мы за мир на всей земле», написанной Л. Ошаниным (музыка А. Новикова). Вот первые две строки:

Вновь поджигатели чёрной войны
Злой зверинойю к людям полны..

Приходится недоумевать: почему «вновь»? Очевидно, что сказано это неточно. Поджигатели войны всегда полны злобой к людям, были полны и будут полны этой злобой (пока хребет им не сломают!). Известно ведь — ещё шла вторая мировая война, а заправили американо-английского блока, горящие «злой зверинойю» к людям, уже готовили новый поход против мира и свободы.

Так же неточно сказано в других двух строчках песни:

Снова банкиры в колоньях своих
Топят в крови наших братьев родных.

Почему «снова»? Разве у банкиров был перерыв в их кровавых делах, разве они со своими режимами в колониях были когда-либо благотворительными человеколюбцами? Мы знаем — такого не было! В истории колониальных стран — постоянные погромы, нищета, голод, смерть, дискриминация, жесточайшая эксплуатация: на кровавом терроре зиждется власть банкиров. Нехорошо также слово «колонии», насильственно усеченное в угоду размеру.

По-моему, песне Л. Ошапина ясности и точности недостаёт.

Юрий Кузичкин

зав. отделом райисполкома.
Сталинградская обл., Ворошиловский район.

Достоинства и недостатки одной поэмы

В своё время, оценивая огромное воспитательное значение образа деревенского пионера Павлика Морозова, погибшего от руки кулаков, А. М. Горький писал: «...следует помнить о наших героях, которые так бесстрашно и мужественно выступают в бой против врагов рабочего класса».

Поэтому весьма отрадным фактом в нашей литературе следует считать появление поэмы Степана Щипачёва «Павлик Морозов».

Просто и увлекательно рассказывает С. Щипачёв о короткой, героической жизни Павлика Морозова, павшего в борьбе за бессмертное дело Ленина—Сталина.

С первых страниц поэмы Степан Щипачёв воскрешает перед читателем события огромной исторической важности, события первых лет коллективизации страны, когда, одержимые звериной злобой и ненавистью, кулаки всячески пытались саботировать и срывать мероприятия советской власти в деле хлебозаготовок, с обрезками в руках охотились за лучшими, передовыми людьми советской деревни.

Олицетворяя в себе лучшие и благороднейшие черты юного ленинца, пионер Павлик Морозов думает о новой колхозной жизни, когда «трактором будем пахать, а

кулаков проклятых выгурим за порог!..» Мать предупреждает сына, что он может поплатиться жизнью за своё упорство в борьбе, что у кулаков «жалости нету», и Павлик отвечает ей:

Мама, по всей стране
Колхозы, Сталин за это —
Чего же бояться мне?

...Однако не всё в поэме С. Щипачёва удовлетворяет читателя. Правдиво и верно изобразив историческую обстановку, в которой развёртывается действие поэмы, Степан Щипачёв, как мне кажется, недостаточно ярко и реалистически показал руководителей и передовиков новой деревни первых лет коллективизации. Отрицательные персонажи — кулак Никита Рогов, злобный враг советской власти, прикидывающийся святошей, у которого «от старости и самогона... в пальцах дрожь», а «за иконой» лежит «в зазубринках финский нож», и Трофим Морозов — отец Павлика, грубый и жестокий деспот в семье, продавшийся за взятки кулакам, — изображены поэтом выпукло, сильно. В их портретах поэт умело использовал яркие психологические детали. А образы новых людей колхозной деревни очерчены в поэме бегло, более схематично.

Это можно сказать и про образ большевика Зимина, и про образ активиста новой деревни дяди Егора, бедняка, у которого «прижавшись к чужому забору, стоит, покосившись, изба». Мы слишком мало узнаём из поэмы о жизни и характерах этих людей. Поэт скуп на подробности и от этого фигуры Зимина и дяди Егора теряют в жизненной полноте и выразительности.

Когда Зимин выступает на крестьянском собрании, он скорее играет роль рупора, через который говорит сам автор, чем проявляет свой особый индивидуальный характер.

Характеризуя Егора, Степан Щипачёв говорит: «Нет лучше дяди Егора!». Может быть, это и так, но в чём же состоит это превосходство Егора над всеми другими? Ведь не только в том, что

Он бородатый, большой,
На слово прямое скорый..
Не покривит душой:
Что думает, то и скажет,
Не пощадит никого...

А в поэме этим, собственно, почти и исчерпывается образ передовика новой деревни. Ярчайшие факты действительности тех бурных лет коллективизации использованы поэтом для изображения лучших людей молодых колхозов не с такой полнотой, с какой он мог бы их использовать.

Мне кажется, что не совсем удался С. Щипачёву и подкулачник Данилка Титов. Образ этот очень уж шаблонен и тоже не раскрыт. В первой главе Данилка «взгляд исподлобья кидал...», «...стоял, прислонясь к стене, с гирькою двухфунтовой на сыромятном ремне», в последней главе он — оголтелый убийца детей, «вышел навстречу» Павлику, «сжав черенок

ножа». А больше ничего о нём и не рассказано читателю. Главное же, что связь этого подкулачника с деревенскими богатыми, его зависимость от них отражена в поэме только мельком.

Вот основные, на мой взгляд, недостатки новой поэмы С. Щипачёва. Но хочется ещё сказать о её неоспоримых достоинствах.

С. Щипачёв превосходно изображает суровую уральскую природу, очень хорошо зная и чувствуя её. Он рассказывает, как «по-медвежьи в сугробах ворочается тайга», как «северная заря по-лиси мелькает в рошах» и «кажется воздух стеклянным над утренней белизной»... Всё это образно и точно. Хорошее знание поэтом уральского быта сказалось в умелом, не навязчивом использовании им местных простонародных выражений в речи героев.

Поэма «Павлик Морозов», хотя она и не свободна от существенных недостатков, это — большая творческая удача Степана Щипачёва. Это — книга о простом деревенском школьнике-пионере, воспитанном в духе беспредельной преданности великому делу Ленина—Сталина. Это — книга о юном герое-борце, который «ровесником пионерам... будет во все века».

Хочется думать, что многочисленная армия советских учителей найдёт в поэме С. Щипачёва богатый материал для работы со своими учениками. Эта поэма поможет раскрыть детям на примере Павлика Морозова основы коммунистической нравственности, поможет воспитанию в них честности, самоотверженности и горячей любви к своей социалистической родине, к её вождю товарищу Сталину.

И. Пустынцев,
Герой Советского Союза,
Рязанская обл., Воскресенский район, село Теплое.

Спор о теме любви и труда

Мне кажется, что многие критики и поэты односторонне поняли указания партии по идеологическим вопросам. Скажу прямо, что есть такие статьи и рецензии, из которых можно сделать лишь один вывод: нужно показывать героя только в труде — и тогда произведение поэта будет полезным, будет иметь успех. Герой встречается с героиней, но и при этом он должен думать

прежде всего о производстве. А тема самой любви и её разрешение — это оказывается что-то второстепенное или даже совсем ненужное.

В прозе дело обстоит по-другому. Возьмём повесть или роман — там герои рождаются, работают, воюют, борются со старым в защиту нового, радуются, печалются, любят. Перед нами проходит целая

жизнь человека. Поэту-лирику гораздо труднее дать такую большую картину. Каждое его стихотворение это — одна мысль, одна какая-нибудь часть целой жизни героя, которая вся в своих основных чертах может вырисоваться только в сборнике, а то и сборника не хватает...

Прозаик может весь накопленный багаж знаний, чувств, своё отношение к миру высказать в одной вещи, а поэту-лирику, как я понимаю, это весьма и весьма трудно. Что же получается с темой любви в лирике? Возьмите многие областные сборники стихов или книги московских поэтов. Вы увидите в них вопросы любви и разрешение этих вопросов как бы через перевернутый бинокль: всё маленькое и далёкое.

Правда, критики-рецензенты часто употребляют выражения «лирически проникновенная интонация», «с тёплым чувством рисует...» или — «раскрывает...» Но что? Опять-таки — как герой непосредственно показан в труде, каково его отношение к миру вообще...

Бесспорно, каждый настоящий поэт «с большой теплотой», «с душою», «со светлой любовью» лирически подходит к явлениям жизни. Ведь «Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин» также написаны большим лириком с настоящей любовью. Прав я или не прав, но я глубоко убеждён, что не будь у Маяковского «Облака в штанах», «Флейты», «Про это» — не было бы «Хорошо!» и такой поэмы о Ленине, какую написал Маяковский. Со мной могут поспорить. Ну что ж, скажу: конечно, всё равно были бы и «Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин», но вряд ли была бы в этих поэмах та лирическая сила, та удивительно переданная просветлённая любовь, то вот именно «раскрытие души», которыми отличаются эти эпические произведения, если бы Маяковский не умел так хорошо выражать чувство собственной любви. Думается, что К. Симонов смог так хорошо написать «Друзья и враги» потому, что у него было «С тобой и без тебя»... Это, мне кажется, самое закономерное движение от лирики к лирическому эпосу или сочетание их. Может быть, я ошибаюсь, но пока не вижу своей ошибки.

Нужно глубже, чем это часто делают, осознать выражение Чернышевского: прекрасное — это сама жизнь.

А вот именно этого-то и не увидишь во многих сборниках стихов, не увидишь, что «прекрасное — это сама жизнь». Возьмёшь книжку поэта — тут и «Сталевар», и «Электросварщик», и «Кузня», и «Пшеница», и «Районные дороги»... Всё это, конечно, ново и хорошо, но этого мало! Лирический герой — замечательный парень: хорошо работает, непоседа, он дерзает в пруде, ненавидит врагов, которые грозят разрушить воздвигаемую им жизнь, но в одном беда — во всём хорош парень, только выглядит он часто, вопреки правде жизни, каким-то «беспольным», сухарём, потому что отсутствует или упрощённо показывается важная сторона его человеческой жизни — любовь. И вот часто, при всём обаянии героя, он невольно кажется душевно обеднённым. А критики нередко считают это чуть ли не достоинством лирики поэта А. в отличие от стихов поэта Б.

Любовь не должна «вводиться» в поэтическое произведение ради занимательности, а должна естественно занимать в нём своё место по той причине, что она неотъемлемая сторона человеческой жизни. Точно так же, как самый труд человека. И от неё убежать нельзя и ничем заменить невозможно. Но вопрос о труде критики и поэты решают правильно, а вот о другой «части» жизни в нашей поэзии существует ещё много превратных понятий. А разве не будет в известном смысле совершенно законным сказать, что упущение или упрощение любой из важных и неотъемлемых сторон жизни есть искажение действительности?..

Если я читаю в сборнике стихов одну «любовную лирику», то это односложно и скучно. Если читаю только о труде — тоже односложно и скучновато. Сами стихи о труде не действуют, не волнуют, если поэт не умеет хорошо и глубоко выражать свою любовь — конечно, нашу, социалистическую, с новой моралью и новыми этическими нормами. А когда подумаешь об этом, никого из наших поэтов, кроме Степана Щипачёва, сразу и не вспомнишь! Не случайно бывает так: начинающий поэт читает тебе неплохое стихотворение о труде, о подвиге, а потом переходит на лирику и тут-то обнаруживаешь, что он стопроцентный альбомный поэт.

И мне кажется, доля вины в этом лежит на литературных учителях и критиках, которые односторонне усвоили доклад А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». И чтобы самому не быть односторонним, цитирую: «Большевики высоко ценят литературу, отчётливо видят её великую историческую миссию и роль в укреплении морального и политического единства народа, в сплочении и воспитании народа». «Наши люди должны быть образованными, высокоинтеллектуальными людьми, с высокими культурными, моральными требованиями и вкусами».

Характерно, что в романах и повестях советских прозаиков существует «борьба старого с новым»; прозаики разрешают — одни глубже и лучше, другие поверхностнее и хуже — проблемы морали, любви, этики, а в поэзии почти совсем отсутствует отрицательный гипс человека, с которым должна вестись борьба. Чаще всего встречаются только общие слова о такой борьбе. А тема любви, по сути дела, совсем не разрабатывается поэтами всерьёз. Кто может отрицать, что в поведении наших людей, когда речь идёт о любви, об отношениях между собой, есть чёрточки, зёрна нашего завтра, есть яркие черты коммунистического поведения? Никто этого

не станет отрицать. А между тем поэты этого очень часто не видят, не стараются собирать эти зёрна, культивировать новые чувства в стихах и тем самым непосредственно, прямо воспитывать читателя морально. И снова хочу сказать, что доля вины в этом ложится на наших критиков, которые, мне кажется, сами ещё подчас не имеют твёрдой точки зрения на «извечную тему» и боятся, как бы молодой писатель, всерьёз заговорив о любви, «не ударился в другую крайность».

Вопросы этики, морали, любви, как составная часть нашей идеологии, не могут быть второстепенными. Они связаны с вопросами труда: ведь мы себе не представляем стахановца, хорошего общественного, всеми уважаемого в коллективе человека, в быту — бабником, пьяницей и деспотом... Я убеждён, что труд и любовь — вещи неразрывные, взаимно стимулирующие друг друга. Я даже склонен думать, что в их единстве ни одна из сторон не является первостепенной или второстепенной, и я хочу сказать, что труд и любовь, поскольку они проникают всю человеческую жизнь, имеют право стоять рядом в искусстве — и не только в прозе, но и в поэзии.

М. Булаевский.
Харьков.

Туманная лирика

Поэзии нет, если она растворяется в «туманном образе», если она далека от реальной жизни и не сопровождает советского человека в его грудном, героическом пути к светлому будущему — к коммунизму.

Примерно об этом шла недавно беседа на одной из скамеек в Смоленском городском саду. Она началась неожиданно и вели её такие люди, которые, в общем, совсем не искушены в критике поэтического искусства.

...Был воскресный день. Один из рабочих Горстройтреста купил в киоске областную смоленскую газету «Рабочий путь» и присел с нею на скамейку, где уже сидели другие отдыхающие. В газете, на третьей странице, выделялся клишированный заголовок — «Литературная страница». Здесь были опубликованы стихи местных поэтов и широко известных на Смоленщине, и

молодых, только ещё начинающих. Так как «Литературная страница» в газете «Рабочий путь» — явление редкое, то, естественно, ею сразу заинтересовались. Слово за слово — и «разгорелись дебаты» о поэзии.

— Что-то не то! — проговорил один из присутствующих, прочитав стихотворение Н. Рыленкова «Портрет моей знакомой». — Вот послушайте:

...Чьи цветы у тебя на окошке
Доцветают теперь под луной,
С кем забыла ты стёжки-дорожки,
По которым ходила со мной?

— Старо... Так уже писали и писали! — сказал другой собеседник.

Разговаривающие указали и на другие недостатки стихотворения. Даже там, где Н. Рыленков попробовал подойти к конкретности наших дней и хотел увязать своё лирическое, огулочное повествование о

знакомой девушке с «великим чудом» преобразования природы «на просторах родимой страны», он не сумел это «великое чудо» соединить с живым человеком — творцом «чуда», хозяином этого «чуда». В результате заключительные строчки стихотворения:

Там друзей я вовек не забуду,
А разлука... разлука не в счёт...
Верю я, — где б мы ни были, — всюду
Наша молодость рядом идёт,—

повисают в воздухе, оказываются подвешенными искусственно.

— Туманная лирика! — закончил свою мысль купивший газету.

Безусловно, за одно это стихотворение нельзя было бы обрушиваться с суровой критикой на поэта. Ведь бывает и так, что в хороших стихах встречаются бледные строки или такое слово, которое способно испортить всю прелесть поэтического напева. Но дело, конечно, не в одном этом стихотворении.

Поэт Н. Рыленков — не из молодых и не из начинающих. У него есть свой поэтический почерк, своё индивидуальное поэтическое лицо. Его стихи уже около двух десятилетий встречаются в советских печатных органах. Он выпустил несколько сборников. И вот, когда пристально вчитываешься в его поэмы или отдельные стихотворения, невольно задумываешься: почему Н. Рыленков так часто обращается к своей молодости, к портрету своей знакомой, к птицам, к одинокому леснику, к одинокому пастуху, очень часто описывая своих героев вне коллектива, самих по себе? Ведь это не характерно для советского человека. Почему Н. Рыленков продолжает, как и прежде, совершенствоваться в таких стихах. Когда-то он писал:

Юность, юность! Какой дорогой,
За какие леса и реки,
Тихой девушкой, недотрогой
Ты ушла от меня навеки!

Я с тобой не успел проститься,
Не предвидел разлуки близкой.
Под окошком летит зарница
Мне прощальной твоей запиской...

(«Прощание с юностью»)

Как мы видим, и сегодняшние его стихи мало чем отличаются от этих старых стихов...

В 1938 году Николай Рыленков писал:

Ещё дороги не пылят
И подорожник мягче шёлка,
Ещё во ржи перепелят
Склинает громко перепёлка.

Думалось, что от таких традиционных стихов Н. Рыленков давным-давно отказался. Ведь с 1938 года много произошло изменений в нашей стране, в народе, в литературе, многое должно было измениться и в творчестве одарённого поэта. Но, к сожалению, в творчестве его мало что изменилось.

9 августа 1950 года в газете «Рабочий путь» появилось новое стихотворение Н. Рыленкова «Перепёлка». Привожу это стихотворение целиком:

Ветер веет, солнце греет,
В поле жито зреет.
Где ж ты, моя перепёлка,
Что так сердце млеет?

Люди добрые, скажите,
На ухо шепните.
Где ж искать мне перепёлку,
Как не в спелом жите?

Сердце знает, сердце чувствует,
Сердце мне вещует —
В спелом жите перепёлка
Днюет и ночует.

Раным-рано выйду в жито,
Где шумит ракета.
Ни одна тропинка наша
В поле не забыта.

Вьются, словно паутинки,
По полю тропинки.
Не сюда ль подруг вела ты
Праздновать зажинки?

Подойду я, гляну с краю,
По живью узнаю —
Где ты жала, где взошла,
Лето вспоминала.

Где снопы гужами клала,
Песню запевала —
Как высоким житом наше
Счастье выросло.

Ветер веет, солнце греет,
В поле жито зреет.
Кто ты, моя перепёлка,
Каждый разумеет.

Прочитав это искреннее и поэтично написанное стихотворение, всё-таки вряд ли «каждый разумеет», что или кого воспевает автор. Это «туманная поэзия», очень старомодная... Кстати, никто не поверит, — если перепёлка, по иносказанию автора, это девушка-колхозница, да ещё передовая, — что она «днюет и ночует в жите», как не верится и тому, что в жите «шумит ракета».

«Перепёлка» — неясное стихотворение, не гармонирующее ни с нашей действительностью, ни с нашими современными требованиями к поэзии.

Можно много привести примеров, когда советские поэты образно и с большим идейным смыслом проводят какую-нибудь поэтическую параллель, вкладывая в такую параллель глубокое содержание. Всем хорошо известно стихотворение нашего земляка смольчанина М. Исаковского «Летят перелётные птицы». Это стихотворение переложено на музыку и поётся теперь нашим народом. Поётся потому, что оно прекрасно выражает чувства и мысли советского человека...

Значит, всё дело в чувстве и мысли, которые питают поэтический образ. Одна и та же образная параллель может оказаться содержательной, поучительной, а может

оказаться и туманной, неглубокой, ненужной. Тогда читателю остаётся только «разуметь», что хотел сказать поэт.

Конечно, Н. Рыленков может писать несравненно сильнее и лучше. Когда он серьёзно и вдумчиво относится к своему творчеству, его стихи звучат совсем по-другому — тогда они серьёзны и хороши. Если бы наш земляк побольше занимался конкретной поэзией, серьёзней писал бы о живых людях наших дней, его поэзия была бы способной действительно сопровождать советского человека в героическом пути нашего народа к коммунизму. Он тогда не растратил бы свой талант на старомодные пустяки.

Ф. Бурсин.
г. Смоленск. Управление
Западной ж.-д. Политотдел,
сектор пропаганды и агитации.

Бороться против вычурности

Я — рядовой советский читатель, очень любящий литературу. Стихи классиков и многих советских поэтов доставляют мне огромное удовольствие при чтении и перечитывании своей музыкальностью, прекрасными образами, лирическим содержанием. Они вдохновляют своим глубоким патриотизмом.

Вероятно, часто бывает так, что в образы поэтического произведения читатель вкладывает нечто своё, интимное, «непредвиденное» автором, но от этого произведение делается ещё ближе, дороже читателю.

А вот как быть в таких случаях, когда образы поэтического произведения совершенно непонятны — непонятны не из-за их сложности, а из-за их непродуманности. что ли?

Молодой поэт Николай Тряпкин в № 2 журнала «Октябрь» (1951) напечатал стихи из цикла «Радуга».

В стихотворении «Посевная» зерно «высокою страстью прорвётся». Совершенно непонятно.

В стихотворении «Я начал день...», в конце второй строфы есть строки, в которых сказано: «...кладя под их (под перелётные комки! — Л. Т.) семян живые почки...» Живые почки семян... Хорошо ли это сказано? С точки зрения ботанической — неграмотно, с точки зрения поэтической —

примитивно, потому что не вызывает у читателя никакого образа (образ строится на слишком близких понятиях одного ряда — «семя» и «почка»).

В другом стихотворении поэт просит землю:

Дай мне сегодня на лемех моторный
Лучшей росы из твоих цветников!

Восторженно, но вычурно, и в результате понять ничего толком нельзя.

Затем следует совершенно непостижимое двустишие; обращаясь к земле, поэт говорит:

Разум людской над твоим изголовьем,
Слава людская — призванье твоё.

Как истолковать эти строки? Чувства поэта выражены здесь приблизительно, а не точно, надуманно, а не естественно.

И, наконец, приведу строки из последнего четверостишия этого стихотворения:

Дай обниму тебя с верой и страстью.
К сердцу прижму перепашанный пласт!

Как я ни напрягала воображение, но представить себе поэта, прижимающего к груди пласт земли, да ещё перепашанный, не смогла. Это тоже сказано хотя и восторженно, но темно...

И последнее стихотворение из цикла «Радуга» несвободно от «лучшей росы». Называется оно «Ночь перед посевной» Здесь мы читаем:

В эту ночь по всей России мы такое
солнце ждали.
Чтобы дважды в год весёлый колосить (?)
свои поля.

И завершает это стихотворение столь
же затейливая фраза:

И с предчувствием хорошим в полночь
таяли поля.

Мне хочется спросить Николая Тряпки-

на, какого он мнения о нас, читателях? Неужели он полагает, что мы «всеядны»? Думаю, что я не одинока в своей критике, и ещё думаю, что может быть поэт Тряпки учтёт эту критику в своей дальнейшей работе.

Л. Топузе,
бактериолог.

Г. Павлово-Посад, Москов-
ской обл.

О требовательности поэта

В февральской книге «Знамени» за 1951 год помещён цикл стихов Н. Грибачёва — «На Восток». Автор стихов известен советскому читателю как талантливый поэт, произведения которого пользуются вниманием народа.

Однако в цикле стихов «На Восток» Н. Грибачёв по непонятным причинам изменяет своему стремлению писать просто, и его стихи «К Тихому океану», «О тайге», — хотя идеи, в них заключённые, и хороши, — мало доходчивы. Поэтические образы здесь нередко надуманы, а подчас просто непонятны.

Возьмём стихотворение «К Тихому океану». Мы читаем:

и не сразлёта разберёшь,
где осень, где зима,
и климат с климатом не схож,
как: с далью даль сама.

Несмотря на вычурность первой строки, её понять можно, хотя «и не сразлёта», а вот четвёртую строку понять труднее. Помоему, Н. Грибачёв решил заменить простоту и ясность игрой слов. Что ж, может, это и нравится поэту, но нам, грешным читателям, — нет! Возьмите Пушкина или Маяковского: вопросы они поднимали огромные, а говорили о великом ясно и просто, и ненужную игру слов, как она ни соблазнительна, не любили...

Вот ещё пример:

Приходу срок, стояние срок
и. сутки отлистав,
летит всё дальше на восток,
стучит себе состав.

Никогда не слышал, что поезд может «отлистав сутки!» О календаре можно так сказать — «календарь листают», но сутки!.. Это — погоня за «оригинальным» образом, которая привела к вычурности.

В этом же стихотворении Н. Грибачёв допускает, по-моему, грубую неточность

эпитета, когда пишет: «кто обликом, как воин, груб»...

Разве облик советского человека, вчерашнего рабочего, крестьянина, интеллигента, сменившего по приказу Родины штатскую одежду на одежду война, становится «грубым»? Почему Грибачёву кажется, что войны в облике своём отличаются грубостью от остального народа? Очевидно, поэт хотел сказать не то, что сказал. Советский воин не груб, а суров при исполнении им своего тяжёлого и опасного труда. Но ведь суровость и грубость это не одно и то же!

Рассказывая о себе, как об «охотнике-маньяке», Грибачёв пишет, что он в охотничьих походах «измочаливался весь»; но ради чего?

и не той добычи ради —
честь была бы высока! —
ради слёз, сказать по правде,
ради зайца-русака.

Не скоро догадается читатель, за чем Н. Грибачёв ходит на охоту. За слезами? За зайцами? Долго-долго надо думать простому читателю, чтобы понять, что «слёзы»-то и есть «заяц-русак». А почему, спросит читатель, русак — слёзы? И ответить на этот вопрос понятно — дело нелёгкое...

Что же случилось с Н. Грибачёвым, спрашиваем мы, рядовые читатели? Почему он печатает сырые, недоработанные, наспех сделанные стихи?

Потому, что автор стал, видимо, менее требователен к себе и, очевидно, забывает о читателе. А читатель проявляет равную требовательность ко всем: и к прославленному и к начинающим писателям.

М. Суетнов,
гвардии полковник.
г. Одесса.

Помнить завет Горького

В июльском номере «Мурзилки» (1950 г.) напечатаны стихи Платона Воронько «Железная дорога» в переводе Т. Волгной.

Не говоря о форме этих стихов, хочу, как железнодорожник, сделать несколько замечаний об их содержании.

Что значат слова:

Стрелочник: Дениска.
Если поезд близко,
Семафор отводит..

Семафор можно открыть или закрыть, а выражением «семафор отводит» можно только отвести маленького читателя от понимания работы семафора.

Или:

Вот диспетчер наш Мирон,
Трудным делом занят он:
Отправляет поезда
И сюда и туда.
От зари до вечера
Дело у диспетчера:
Он вручает машинистам
Расписание.
Отдаёт телефонистам
Приказания.

Эти стихи, с точки зрения технической, просто безграмотны... Диспетчер сам поездов не отправляет; этим делом непосредственно занимаются дежурные по

станции; машинистам он расписания не вручает, расписание — это стабильный документ, и производственная связь машиниста и диспетчера осуществляется иначе. Кроме того, по воле поэта или переводчика — не знаю, диспетчер отдаёт «приказания» каким-то несуществующим «телефонистам»; на самом деле с диспетчером работают операторы, а не телефонисты.

В стихах о кочегаре —

Польхает в топке жар,
Здесь хозяин — кочегар...—

работа помощника машиниста переложена на кочегара. Так маленький читатель снова вводится в заблуждение.

Если поэт или писатель решает рассказать детям о каком-нибудь производственном процессе, он обязан внимательно его изучить, чтобы не ошибаться. Ребёнок ведь очень чуток ко всем деталям рассказа и надолго их запоминает.

Не следует забывать мысль Алексея Максимовича Горького, что для детей нужно писать так же, как и для взрослых — только лучше.

А. Б.,
инженер станции Ворожба
М.-Киевской ж. д.

Кто прав?

В шестой книге журнала «Звезда» за 1950 год напечатана рецензия Б. Смирнова на книгу стихов ленинградского поэта Бронислава Кежуна «Дальние дороги». У читателя этой рецензии создаётся впечатление, что он обязан поэту появлением новой прекрасной книги стихов, удовлетворяющей всем запросам современности. Автор рецензии утверждает, что в стихах Б. Кежуна затрагиваются «темы большого исторического масштаба». Он говорит, что «постановка значительных тем придаёт лирике Кежуна особую глубину», что «это — лирика не только широких эмоций, но и ясной, устремлённой мысли». Он говорит, что «мысль поэта чужда созерцательности», что «она несёт в себе действенную силу». Однако у читателя не рецензии критика Смирнова, а самой книги поэта создаётся обратное впечатление. Итак, критик утверждает одно, читатель — другое. Кто же прав?

Сборник стихов Бронислава Кежуна «Дальние дороги» построен — не целиком, но в значительной мере — на воспоминаниях о годах Великой Отечественной войны. В книгу входят циклы: «Дорога на Запад», «Дорога на Север», «Дорога на Восток». Мы не говорим, что тема войны устарела, мы не говорим, что вспоминать о войне, о страданиях, принесённых ею, о героизме наших воинов поздно и незачем. — наоборот, тема эта и сейчас имеет и всегда будет иметь все права на существование. Мы говорим только, что в сборнике, вышедшем в 1950 году, она должна быть тесно переплетена с темой борьбы за мир, борьбы против поджигателей новой войны. Однако ни в одном из 38 стихотворений Б. Кежуна (не считая переводов) теме борьбы за мир не уделено никакого внимания.

О чём же пишет поэт? Он говорит о Советской Армии, о победе над гитлеров-

скими захватчиками, он хочет показать послевоенное строительство, он пытается раскрыть высокий моральный облик советских людей, воинов и тружеников, — но как он всё это делает?

Составленные из общих мест и риторических фраз, его стихи, как правило, не отличаются ни глубиной мысли, ни новизной образов. В них нет самого главного: простых советских людей, ибо все лица, выведенные автором, настолько литературно-шаблонны и безжизненны, что читатель не видит и не может представить себе ни одного из этих лиц.

В большинстве случаев поэт просто констатирует факт, сохранившийся в его памяти. Так, в стихотворении «На австро-венгерской границе» Б. Кежун показывает группу казаков, сидящих у костра. Об их тяжёлом боевом пути, на котором многие из их однополчан сложили голову, поэт говорит лишь следующее:

Минуя границы, как ветер,
На запад летели они,
Как будто на радостном свете
Навеки не стало границ...

Читатель не видит самих казаков, не знает ничего об их душах и переживаниях, ибо о них сказано только, что «сюда за победой крылатой они издалёка пришли»... Абстракция, общие слова сделали своё дело: ни поэтических образов, ни советских людей.

Но, может быть, это единичное явление, а в других стихах поэт является нам в полной мощи своего таланта?

Вот ещё недоработанное стихотворение — «Фляга». В основе его лежит рассказ о возвращении русских войск в Порт-Артур. Герой стихотворения — «краснозвёздной гвардии солдат» — решил отметить этот знаменательный день. Первым делом он решил выпить, а затем:

Выпил он, и так солдат подумал:
«Чем ещё отметить этот день?»

В этом стихотворении, где даже волны кипят «словно брага», нельзя было раскрыть, — и поэт, конечно, не сумел этого сделать, — облик советского человека.

Критик Б. Смирнов утверждает, что поэт всюду видит трудящихся людей. Действительно, в сборнике есть стихотворения, посвящённые простым труженикам. К ним относятся «Горняк», «Кировск» и другие стихи. В «Горняке» Б. Кежун хотел дать

«Новый мир», № 8.

образ шахтёра, бывшего танкиста, прославившего себя в бою и в труде. Всё это было бы очень хорошо, но поэт забыл основную обязанность художника: показывать героев, а не просто рассказывать о них. Горняк Бронислава Кежуна не обладает ни одной живой, лишь ему присущей чертой, а потому превращается в абстрактную безличную фигуру:

Товарищ, тебя узнаю я:
Душа твоя та же, и взор,
Как прежде сквозь щель смотровую,
Всё так же летуч и остёр.

Да и кроме того, пора бы показывать современные, советские методы труда и современное оборудование шахт, а не горняка с допотопной карбидной лампой.

«Кежун — лирик», — пишет Б. Смирнов, и действительно несколько стихотворений сборника лиричны. К ним относится стихотворение «Запомни всё...» Поэт говорит, что нужно помнить и крики чаек, и невода, и электричку, и бездорожье, и «рейда переключку», и дороги, «и тундры тишь, и свет, и тьму»... В этом перечислении есть всё, кроме... советских людей, осваивающих Северный край. Спрашивается, зачем нужно запоминать всё это без человека?

Критик Б. Смирнов пишет, что «Кежуну чуждо стремление выражаться замысловато, чужда склонность к формальным вывертам и экспериментам, идущим в ущерб смысловому содержанию стиха». Но как совместить с этим утверждением хотя бы такую тёмную, грамматически путаную строфу:

В крошечную, замешанную круто,
Полярной ночи аспидную мглу
Мы заплутали, тропы перепутав,
В глубоком горно-егерском тылу.

{«Полярная звезда»}

Мы не отрицаем, что у поэта есть несколько хороших стихотворений, таких, как, например, «Эдельвейс», заканчивающийся строками:

Так мы вернули городам
Жизнь без тревог, без затемненья,
Цветам — цветенье, а словам —
Первоначальное значенье.

Или — «Ковач», где дан образ простого венгерского рабочего, который собственными руками куёт счастье своей страны. Или «Хватай-губа», где показано освоение Севера советскими людьми:

Пусть шумит океан Угрюмо —
Заполярные рыбаки
Добывают полные трюмы
Пикши, окуня и трески.

Мы идём в штормовом тумане,
Не страшась за свою судьбу,
Потому что мы — северяне —
Усмирли «Хватай-губу».

Из удачных стихотворений Кежуна видно, что поэт мог бы писать и должен писать хорошие стихи на современные темы.

Однако в сборнике их так мало, что они теряются в общей массе слабых или недоделанных стихов.

В заключение мы хотели бы повторить прекрасные слова Николая Островского: «Пусть книг будет меньше, но они должны быть ярче».

Ю. Пименов,
студент II курса ЛГУ.

Б. Рифтин,
студент II курса Политехнического института.
Ленинград.

Мысли о молодой поэзии

Я — студент Саратовского университета, рядовой читатель, интересующийся советской поэзией. Я хочу поделиться некоторыми своими наблюдениями и мыслями о молодых наших поэтах.

Молодая поэзия — это то, что идёт на смену поэзии старшего поколения, и поэтому именно к ней нужно особенно присматриваться, нужно заранее разобраться в её слабостях и недочётах, чтобы не создалась необходимость воспитывать и перевоспитывать поэтов после, с затратой (лишней) времени, энергии и других ценнейших в мире вещей.

Мне кажется, что стихи молодых поэтов (не всех, конечно, но довольно многих) очень часто совсем не привлекают к себе внимания широкого читателя. Говоря просто — их книги мало покупают, редко берут в библиотеках. И не потому, конечно, что советский читатель чужд поэзии, что он, дескать, ещё «не вырос» и «не дорос»; ведь читает же он стихи Исаковского, Михалкова, Симонова, Суркова, Щипачёва, поёт же он песни на слова советских поэтов и многие песни любит именно за слова, а не только за мотив!

Значит, эти поэты нашли дорогу к читателю и, следовательно, добились самого главного: труд их не пропал даром. Поэзию часто сравнивали с разного рода ремесленным трудом. Но если бы мастер, например, гончар, с которым сравнил недавно поэт Я. Хелемский, создавал изделия, которых никто бы не брал, то какой смысл был бы в его работе?

Названные поэты нашли дорогу к массовому читателю (не только к людям, имеющим какое-то отношение к поэзии) потому, что они просто, ясно, подлинно поэтично, с большим и глубоким чувством

выразили его заветные думы и настроения, вошли в жизнь советского человека, стали его голосом в поэзии. В этом их сила, их обаяние.

По моему убеждению, многие молодые поэты неправильно понимают поэзию, как стремление во что бы то ни стало придумать новый образ, пускай вычурный, холодный, но зато новый. Очевидно, когда они пишут стихи, они часто адресуют их своим же товарищам-поэтам, знакомым, а не многомиллионному рядовому читателю. А поэт, создавая стихи, должен мысленно видеть себя перед широчайшей аудиторией, чувствовать ответственность перед всеми людьми.

У многих молодых поэтов выработался особый приём: в трёх четвертях стихотворения говорить обо всём, а значит, и ни о чём, перечислять разнообразие факты, а под конец поставить несколько сильных красивых «итоговых» строк; таким образом, получается обман, брак, потому что ни цельной картины жизни, ни цельного образа в этих стихах нет.

Всё это и затрудняет для рядового читателя восприятие поэзии.

Конечно, могут сказать, что если все будут писать, как Исаковский, в поэзии, пожалуй, воцарится однообразие. Нам нужно больше поэтов, хороших и разных. И вот, поверхностно восприняв этот правильный лозунг, многие молодые поэты изо всех сил стараются написать что-нибудь такое про общеизвестное, что не походило бы на уже написанное, насильственно выдумывают, внешне экспериментируют, и в результате получается однообразие, утомительное в своей искусственности и манерности. Возьмите многие стихи В. Урина, Гл. Пагирева, А. Межиро-

ва (правда, только некоторые), Л. Кондырева, Л. Стекольников, И. Колтунова и ряда других, и вы найдёте в них одно общее свойство, заключающееся в каком-то бесчувственном, внешне изощрённом, но холодном изображении событий и человека. (А иногда людей вообще нет — у Колтунова, например, в стихотворении «Митинг на зимнем стадионе» — там вещи, внешнее описание подавляют всё)...

Чтобы реализовать лозунг Маяковского, нужно отказаться от погони за вычурным и сверхоригинальным, а вдуматься в жизнь, почувствовать своё место в ней, осознать своё «я» не само по себе, а по отношению к человеческому коллективу и отправляться в своём творчестве не от стихов же, не от книг, а от самой нашей действительности, от своего активного, глубоко прочувствованного отношения к ней, кровно близкой и дорогой каждому советскому человеку. Только тогда среди молчаливых поэтов появится больше поэтов — и хороших, и разных.

Я не говорю, что бесстрастность и равнодушие в изображении нашей действительности, наших замечательных советских людей свойственны всем стихам всех поэ-

тов молодого поколения. Возьмите М. Дудина с его стихами о войне (особенно «Соловьи», «Снег»), А. Недогонова (лирика и «Флаг над сельсоветом»), Н. Груднину («Поэма о балтийце»), С. Орлова (военные стихи), Расула Гамзатова («Песня гор») и других, и вы почувствуете в их стихе живую заинтересованность в происходящем, прочувзованность в поэтическом рассказе о жизни. Сравните такие стихи погибшего поэта Георгия Суворова:

В воспоминаньях мы тужить не будем.
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей... —

сравните их со стихами многих его сверстников — и сразу увидите разницу.

В советской молодой поэзии есть много здорового, есть обещающие ростки, которые необходимо развивать, бичуя в то же время формалистское равнодушие отдельных молодых поэтов. Пройти себе дорогу к душе читателя так, чтобы в будущем эта «народная тропа» не заросла, — вот задача молодой советской поэзии.

Е. Муратов,
студент Саратовского
университета.

Это — в традициях Маяковского

Прочёл в «Знамени» Вашу, тов. Соколов, поэму «Именем жизни». Очень хорошо Вы её написали! Ваша поэма близка к Маяковскому — не только по технике, она близка — и это хорошо — по духу. «Я с теми, кто вышел строить и мечь»... Человек болен страшным недугом, но он по праву — всей душой, всеми чувствами и мыслями — в одном строю с теми, кто вышел строить счастливую нашу жизнь. Честное слово, я, читатель, рад Вашей поэме!

Хорошо Вы сказали:

Прошу:
не лечите меня порошками...
Мне дышится легче,
мне легче становится,
Когда патриоты Вьетнама
Штыками
В бою опрокинут
жандармскую конницу...

Ведь это действительно так! Посмотришь — вот стоят наши солдаты у карты Корен, разговаривают о Вончжу, о Пхеньяне, как о своей родной деревне, о своём

родном городе... Это здорово! Радуются каждому успеху в Корее, словно сами идут в атаку в рядах Народно-освободительной армии Ким Ир Сена. Да и как могло бы быть иначе? Ведь идёт война против «долларов золотых бацилл»!

Молодостью веет от Вашей поэмы, жизнью. Нет в ней лазаретной безысходности, отчаянья больного человека. Кажется, у одного из наших молодых поэтов есть строчка: «Быть нужным — это счастье...» Вы чувствуете, что Вы нужны, нужны всем — и Ирине, и друзьям, и стране, и всему человечеству. Отсюда и сила в Вас. И это дорого читателям.

Несколько слов о недостатках — не обших, а частных. Знаете, сначала сразу вспомнился мне Пастернак. По ритмике, по манере: «Я мир, как поэму, хочу переписывать»... Правда, это ощущение очень скоро исчезло. Но всё же мне, как читателю, приятней было бы, если бы я ощущал в Вашей поэме только Маяковского — горлана, главаря, и никаких следов Гя-

стерняка, которому нужно лишь «достать чернил и плакать»...

Вот неточность:

В конце ноября наступила весна:
не снег за окном забелел,
а ромашки...

А разве весной ромашки белеют?

Нехорошо, по-моему, «звалились друзья—ещё с мальчишек»... Не совсем понятно.

«Рад бы с антенны строки лететь в рупора» — непонятно. Очень громоздко и вычурно

«Не призрак уже по Европе бредёт». Это у Вас. А в «Коммунистическом Манифесте» — «бродит». Но «бредёт» и «бродят» — слова, имеющие разный смысл, вернее, смысловой оттенок. А тут нужно быть совершенно точным.

Можно бы сделать и ещё ряд замечаний. Но вообще поэма хорошая, сильная, жизнеутверждающая. Большое спасибо Вам за неё.

Ю. Гольдман,
гвардии старший сержант.
Львов.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Козьмин. Выдающийся русский просветитель — Н. И. Новиков. — Г. Ленобль. В эстонских молхожах. — А. Тарасенков. Без огня, без вдохновения. — Б. Беляев. Прочный фундамент. — С. Слепынин. В погоне за занимательностью. — А. Ложечко. Ставропольский альманах. — П. Топер. Малая энциклопедия лжи и клеветы.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат исторических наук А. Кунина. Живые свидетельства американских злодеяний. — Кандидат исторических наук Е. Черняк. Традиции американских захватчиков. — Кандидат исторических наук А. Блинов. Чёрная война английских колонизаторов. — Генерал-майор Н. Гарнич. Ценный труд о Кутузове. — И. и Л. Крупениковы. Творцы русской лесной науки. — Б. Могилевский. Воспоминания русского учёного. — М. Буяновский. Три столицы.

Литература и искусство

Выдающийся русский просветитель — Н. И. Новиков

Деятельность Николая Ивановича Новикова — выдающегося русского писателя, журналиста и книгоиздателя — представляет собой замечательное явление в русском просветительстве XVIII века. Одним из первых выступив против самодержавия Екатерины II в защиту интересов крепостного крестьянства и развернув грандиозную по тем временам книгоиздательскую деятельность, Новиков, по словам Пушкина, «...подвинул на пол века образования нашего народа». Высокую оценку Новикову давали революционные демократы. Белинский назвал его «великим человеком», воодушевлённым высокой гражданской страстью «разливать свет образования в своём отечестве». Герцен видел в нём «подпольного идейного руководителя» передовых общественных сил России того времени. Добролюбов и Чернышевский ценили антикрепостнический характер деятельности Новикова.

Иначе отнеслись к Новикову представители буржуазного литературоведения. Они всячески пытались затушевать прогрессивную роль его просветительства, изобразить

его невеждой и недоучкой. В результате вокруг имени Новикова сложилась легенда, согласно которой он являлся не одним из крупнейших писателей второй половины XVIII века, а лишь бойким журналистом и книгоиздателем. При этом фальсифицировались общественно-политические взгляды Новикова: его объявляли чуть ли не соратником Екатерины II, а затем масоном, мистиком и реакционером. Советские учёные разбили эту легенду. Они показали антиправительственный и антикрепостнический характер сатирической журналистики Новикова, её связь с прогрессивным, демократическим направлением в русской литературе XVIII века. Однако круг материалов, используемых для характеристики творчества Новикова, почти не расширялся, и поэтому вопрос о Новикове как о писателе-новаторе до последнего времени не был поставлен. Кроме того, московский период его деятельности освещался по-прежнему, как период масонства, увлечения мистицизмом розенкрейцеров.

Книга Г. Макогоненко «Николай Новиков и русское просвещение XVIII века» ставит своей целью возможно полнее раскрыть облик выдающегося русского просветителя и окончательно развенчать ле-

Г. Макогоненко. «Николай Новиков и русское просвещение XVIII века». Редактор И. Сергиевский. Гослитиздат, М.-Л. 1951.

генду, созданную о нём буржуазным литературоведением.

Опираясь на архивные изыскания, Г. Макогоненко впервые в нашем литературоведении освещает пребывание Новикова в гимназии Московского университета.

Много нового вносит Г. Макогоненко в характеристику сатирической журналистики Новикова. Обычно появление «Трутня» и других журналов 1769 года объясняли тем, что Екатерина II подала пример изданием журнала «Всякая всячина», и в ответ на призыв императрицы появились другие журналы, которые, однако, вскоре встали к ней в оппозицию. Но, как убедительно доказывает исследователь, не издание «Всякой всячины» определило появление новиковского «Трутня». Он явился непосредственным откликом на важнейшее политическое событие того времени — деятельность Комиссии по составлению нового Уложения, в которой разгорелась ожесточённая борьба по вопросу о правах дворянства и крестьян. Новиков непосредственно участвовал в работе этой Комиссии, он вёл протоколы её заседаний и был свидетелем того, как демократические депутаты открыто заявляли о нуждах и чаяниях русского крестьянства. Г. Макогоненко показывает, что мировоззрение Новикова сложилось именно под влиянием крестьянских интересов, с которыми он так живо и тесно соприкасался во время работы Комиссии.

После роспуска Комиссии Новиков подал в отставку. Это было своего рода общественной демонстрацией. Новиков горел желанием поскорее напомнить русскому обществу о вопросах, поставленных и разрешённых Комиссией, и оказать влияние на работу частных комиссий, в которых вырабатывались новые законы и проекты о правах крестьян. Г. Макогоненко показывает, как жалобы крестьян на малоземелье, их протест против работы в воскресные дни, против сбора помещиками оброков во время недородов, прозвучавшие на Комиссии, отразились в журналах Новикова. Всё содержание «Трутня» соответствовало двум главным проблемам, поднятым Комиссией, — о правах дворян и правах крестьян. Эпиграф журнала — «Они работают, а вы их труд ядите» — не оставлял сомнения, на чьей стороне были симпатии издателя. Отсюда — и галерея са-

тирических образов русского дворянства, и «Отписки крестьянские» — первое в русской литературе произведение, в котором прозвучал голос самих крепостных крестьян.

Характеризуя мировоззрение Новикова, Г. Макогоненко раскрывает его сильные и его слабые стороны как отражение взглядов русского крестьянства того времени, его требований, высказанных на Комиссии в 1768 году. Автор приводит эти требования: путём вмешательства правительства изменить режим крепостного права — урегулировать отношения между помещиками и крестьянами на началах «справедливости» и «человеколюбия»; отменить личную власть помещика над крестьянами; строго соблюдать существующие законы; разрешить крестьянам получать образование. Новиков считал, что Россия должна быть государством хлебопашцев, труд которых организуется и направляется монархом. Дворяне в этом государстве не владеют крестьянами, а надзирают за их трудом. Юридически крестьяне и дворяне равноправны. В этом утопическом идеале Новикова нашло выражение и стремление крестьян освободиться от крепостного гнёта, и их наивная вера в царя-батюшку, и надежда на доброго барина. Убеждения Новикова сформировались в период, предшествовавший великой крестьянской войне под предводительством Пугачёва. Сказалась в них и дворянская ограниченность. Вера в силу человеческого разума и убеждения, Новиков стремился воспитать будущее поколение дворян в духе ненависти и презрения к крепостничеству.

Новиков ставил своей целью воспитание новых людей — в основном из третьего сословия, — которые утвердили бы справедливые отношения между классами русского государства. Воспитывать новое поколение, по мнению Новикова, надо таким образом, чтобы науки открывали перед ним общественную добродетель, включающую в себя веру в бога. Воспитывать юношество должно не правительство, а русские писатели, просветители. С конца 1772 года Новиков приступает к организации «Общества, старающегося о напечатании книг» и к налаживанию книжной торговли, независимой от правительства.

Г. Макогоненко показывает, как ловко Екатерина II использовала учение французских просветителей для укрепления

своего самодержавия. Однако лживая игра Екатерины II в политику просвещённого абсолютизма не могла обмануть русских просветителей — Козельского, Фонвизина, Новикова и Радищева, которые начали критику екатерининского режима. Это убедительно раскрыто в разбираемой книге.

Полемика новиковского «Трутня» с журналом Екатерины II носила героический характер. И хотя впоследствии Новиков переменял тактику и стал помещать в «Живописце» статьи, восхваляющие монархию, он не изменил своим взглядам на её правление, — и вслед за похвалами мудрой императрице, обеспечившей счастье своих подданных, он давал правдивые картины из русской действительности, разоблачавшие эти похвалы и придававшие им иронический оттенок. Более того, с необычайной смелостью Новиков разоблачил тактику императрицы, поместив в своём журнале «Рассуждения» Фридриха II. В них прусский король цинично писал о том, как путём прямого подкупа он добился, что Даламбер и другие французские писатели превозносили его дарования и добродетели.

Анализ особенностей русского просвещения является несомненным достоинством книги Г. Макогоненко о Новикове. Она связана в этом отношении с его предшествующими книгами о Радищеве и о Фонвизине. Автор этих книг исходит из совершенно правильной предпосылки, что отличие русского просветительства от западного объясняется отсутствием в России XVIII века революционно настроенной буржуазии; это определило антибуржуазные тенденции в русской литературе и помогло выразиться в ней интересам закреплённого крестьянства.

Совершенно по-новому исследован в книге московский период деятельности Новикова. Г. Макогоненко пересматривает вопрос о его взаимоотношениях с масонами. Как утверждает Г. Макогоненко, Новиков занимал среди масонов совсем особое и самостоятельное положение; он не разделял многих взглядов масонов и открыто полемизировал с ними. Масонство как общественную организацию он надеялся использовать в своих интересах. Но не только это влекло его к масонам. Их проповедь нравственного усовершенствования,

христианское учение о любви к людям и о всеобщем братстве людей было по душе Новикову, который, не умея понять причин социального зла, оценивал действительность, исходя из моральных категорий.

Идеализм в понимании истории, религиозность мешали борьбе Новикова с масонством, пишет автор; он выступил против антиобщественной идеологии масонов, находясь на распутье, бесконечно далёкий от революционного мировоззрения. Но он не изменил своим просветительским идеалам, не ослабил, а, наоборот, усилил и расширил просветительскую деятельность. От сатиры он перешёл к нравоведению.

Г. Макогоненко раскрывает борьбу Новикова за просвещение на протяжении всего периода его пребывания в масонстве. Он убедительно показывает, что между Новиковым и масонами существовали глубокие противоречия. В связи с этим новое освещение получают характер и объём деятельности Новикова в 70—80-х годах. В 1779 году Новиков арендует на десять лет типографию Московского университета. Она становится типографией масонов. Однако далеко не всё, что издавалось под маркой типографии Новикова, отражало его воззрения, утверждает исследователь. Ещё до аренды типографии Новиков издавал журнал «Утренний свет», но в этом журнале он вёл лишь философский отдел, а литературный отдел вёл Херасков, возглавлявший тогда дворянский сентиментализм. Принципы этого сентиментализма были глубоко чужды Новикову.

Новиков отвергал самые идеологические основы масонства, которые проповедывались в книге Иоанна Масона «Познание самого себя». Г. Макогоненко доказывает, что философские сочинения Новикова, которые печатались в «Утреннем свете», были направлены против масонской морали покорности — за активную общественную мораль, против принижения человека до роли раба — за учение о величии человеческой природы, против философии откровения — за развитие человеческого знания и наук, открывающих человеку путь к блаженству земному, а не небесному.

Новиков не уходил в мир нравственного самоусовершенствования и мистических исканий истины. Ярким свидетельством этого является издание им в 1779 году газеты «Московские ведомости», в которой

освещались наиболее значительные политические события того времени. Большое внимание уделяла газета такому важнейшему событию современности, как американская революция. Новиков приветствовал борьбу американцев против английского короля. Он глубоко ценил таких деятелей американской революции, как Франклин и Вашингтон. Но он с негодованием писал о рабстве негров и отвергал буржуазную мораль, основанную на стремлении к обогащению.

Г. Макогоненко не обходит молчанием наиболее трудные вопросы, связанные с масонством Новикова. Так, например, он даёт на наш взгляд верное объяснение выступлению Новикова в журнале «Московское издание» против морали чувственных удовольствий. Не против французских материалистов боролся Новиков в этом случае, а против их вульгаризаторов — русских вольтерьянцев. Характерно, что в «Московском издании» Новиков помещает статью Дидро «Философ», подчёркивая этим свою верность принципам просвещения.

Глава московских розенкрейцеров Шварц не мог оставлять без ответа выступления Новикова, которые подрывали основы идеологии масонов. Журнал «Вечерняя заря» Г. Макогоненко рассматривает, в отличие от установившейся точки зрения, не как новиковский, а как журнал, только выходявший в типографии Новикова, но руководившийся Шварцем, который вёл в нём полемику с Новиковым, выступая против философии разума и проповедуя мистику, божественное откровение и веру в загробное существование душ.

В это же время Новиков в периодическом издании «Городская и деревенская библиотека» напечатал цикл коротких рассказов «Пословицы российские», в которых он подверг осмеянию упражнения розенкрейцеров в магии и каббалистике. Таким образом, Новиков всё дальше и дальше отходил от ордена, сохраняя с ним связь в практических делах по типографии. Вскоре произошёл и окончательный разрыв Новикова с розенкрейцерами.

Тщательно исследуя журналистику Новикова, Г. Макогоненко устанавливает, что многие произведения, приписывавшиеся ранее другим писателям, и произведения, авторство которых не было известно, при-

надлежат Новикову. Он доказывает, что третье издание «Живописца» по сути дела было собранием сочинений Новикова, что «Пословицы российские» тоже написаны Новиковым. Благодаря этому наше представление о Новикове как о писателе значительно расширяется и конкретизируется. И это, безусловно, большая заслуга исследователя.

Г. Макогоненко делает попытку показать литературное новаторство Новикова. Он рассматривает новиковскую прозу, как явление, противостоящее дворянскому классицизму и дворянскому сентиментализму. Новаторство Новикова, по мнению исследователя, заключается в том, что он создал эстетику «действительной живописи», которая была определённым этапом на пути русской литературы к реализму и народности.

Однако характеристика Новикова как писателя слишком кратка и содержит в себе ряд ошибочных положений. Так, например, Г. Макогоненко заявляет, что Новиков развивал в русской литературе принципы критического реализма. Конечно, в эпоху Новикова критического реализма как сложившегося направления в русской литературе ещё не было.

Антиисторичны утверждения, что положительным героем Новикова был крестьянин, что он изображал крестьян как носителей подлинной нравственности, в основе которой лежит труд. Действительно, Новиков придерживался таких воззрений, но отсюда до изображения крестьян как основных положительных героев ещё очень далеко. И в самом деле — упоминание о высоких качествах крестьянства в «Отписках крестьянских» не равнозначно созданию образов крестьян. Даже у Радищева эти образы ещё только намечены.

Нельзя согласиться также с утверждением, что Фонвизин, Державин, Крылов и Радищев развивали новиковскую эстетику «действительной живописи». Во-первых, что касается Фонвизина, то он выступил со своим «Бригадиром» до появления новиковского «Трутня», а во-вторых, вряд ли можно назвать Державина и Радищева литературными последователями Новикова; это были могучие самообытные таланты, и к реализму они шли одновременно с Новиковым. Вопрос о влиянии учения Новикова о человеке на поэзию Державина тоже нуждается в уточнении.

Анализ художественной стороны творчества Новикова является наименее удачным местом в книге Г. Макогоненко. Общественно-политические и этические взгляды русского просветителя разобраны гораздо шире и убедительнее. Но и в характеристике политических воззрений Новикова автор допускает ошибки, не всегда придерживаясь того принципа, что историю нельзя ухудшать и нельзя улучшать. Чересчур сильно сказано, например, что «Живописец» наносил «сокрушительные удары по самым основам социального строя», и тем более, что в «Живописце» Новиков выступал против «самого принципа крестьянского права». Это противоречит и мнению Добролюбова, что сатира «новиковская нападала... не на принцип, не на основу зла, а на злоупотребления...» Это противоречит и изложению социальных взглядов Новикова в самой книге Г. Макогоненко, который в ряде случаев прямо говорит, что Новиков обличал дворян, злоупотребляющих своей властью над крестья-

нами, что он долго верил в возможность существования «добрых» помещиков.

Нарисованная автором картина взаимоотношений Екатерины II и французских просветителей убедительна, и здесь ему удалось сказать своё слово. Но иногда он несколько оглуляет французских просветителей, утверждая, что все они верили в Екатерину II как в идеального, просвещённого монарха. Ведь наряду с ластивыми отзывами Вольтера о русской императрице, известны его довольно иронические высказывания о ней.

Есть в исследовании Г. Макогоненко и другие неточности и ошибки (например, идеализация братьев Паниных). Кроме того, следует отметить, что в книге много повторений и композиция её недостаточно стройна. Однако она ценна основным — пересмотром устаревших и неверных взглядов на выдающегося русского просветителя и наиболее полным в нашем литературоведении освещением его деятельности.

М. КОЗЬМИН.

★

В эстонских колхозах

Новая повесть Г. Леберехта «В дороге» является как бы продолжением его первой книги «Свет в Коорди».

Молодой писатель в первом своём произведении ввёл нас в послевоенную эстонскую деревню. Он познакомил с её людьми — немногословными, неторопливыми, упорными в труде, основательно обдумывающими каждое дело, за которое они берутся. Писатель смело раскрыл перед нами те многочисленные трудности, которые встают на пути его героев. Но вместе с тем он показал неодолимость нового, огромную силу простых людей, почувствовавших себя хозяевами на своей земле.

Сюжетно повесть «В дороге» со «Светом в Коорди» не связана. Действие из волости Коорди перенесено в волость Тудувере и персонажи выведены другие. Однако при всех своих индивидуальных отличиях действующие лица в обоих произведениях имеют в то же время немало общего. Эта общность характеров и устремлений большинства героев позволяет резче

и отчётливее выявить то качественно-новое, что показано во второй повести Г. Леберехта.

События, изображаемые в повестях Леберехта, разделены всего двумя-тремя годами. Но за этот небольшой срок колхозное движение в Эстонии сделало значительный шаг вперёд, вступило в новый этап своего развития.

Повесть «Свет в Коорди», как помнит читатель, заканчивается тем, что, осуществляя вековую мечту своих предков, объединившиеся в колхоз крестьяне осушают Змеиное болото. Работают они лопатами и кирками, и если им удастся быстро справиться с болотом, то только потому, что парторг Муули приводит к ним на вокресник из соседнего города человек двести «кожевников, железнодорожников, пекарей и всяких других профессий рабочих». В первых главах повести «В дороге» мы видим, как по направлению к деревне Кяльги ползёт гусеничный экскаватор «Э-505», стальной гигант весом в двадцать три тонны. Это, выполняя сталинский план преобразования природы, социалистическое государство посылает в по-

Ганс Леберехт. «В дороге». Повесть. «Знамя» № 1 за 1951 год. Главный редактор В. Кожевников.

мощь эстонским колхозникам для трудоёмких мелиоративных работ могучую советскую технику.

Уже по одному тому, с какой свободой и простотой герои повести «В дороге», особенно молодёжь, говорят о комбайнах, тракторах, бульдозерах и прочих сложных машинах, можно судить об изменениях, происшедших в эстонском колхозном селе. Вырастают люди с дерзкими замыслами, заглядывающие далеко вперёд. Среди них в первую очередь выделяется Марта Нийлус, талантливый организатор, председатель передового колхоза «Будущее». Не без удивления рассказывает о Марте старый её друг Аугуст Ярвет, с молодых лет думающий о том, чтобы вместе с ней устроить свою жизнь: «Была батрачка Марта... Скрипу лестницы боялась, хозяина боялась, всего... О собственном доме и мечтать не смела. А теперь она орудует на восьмистах гектарах. У неё под рукой счетовод, бригадиры, доярки... Счёт в банке! Пятьдесят коров дойных в хлеву, чистых кровей жеребца купила за большие тысячи. Ей на каждом гектаре хочется сад развести, а вокруг — болота. Вот она и злится...» Такая здоровая, творческая злость, побуждающая, не покладая рук, работать над тем, чтобы переделать свою землю, превратить «стоялые мёртвые воды в живые, болота — в поля», зарождается у многих героев Г. Леберехта.

Однако, — и это ярко дано в повести, — старые навыки, старую психологию крестьянина-единоличника преодолеть не так-то легко. Писатель показывает это на самых обыкновенных происшествиях, повседневных мелочах жизни.

В начале повести, например, внезапно, без видимой причины, раздражается ссора между шестидесятилетним Мадисом Пяртелем и его соседкой пятидесятилетней Кай Лауба. Они осыпают друг друга оскорблениями, припоминают давние обиды — какие-то весенние потравы, перепаханые борозды, передвинутые межевые камни и тому подобное. Между тем они оба второй год уже состоят в одном колхозе и сейчас их споры и взаимные попреки лишены какого бы то ни было смысла.

Старое прочно укоренилось и в сознании Адама Туйска, председателя колхоза «Заря», членами которого являются как раз Мадис и Кай. На примере этого Туйска,

как, впрочем, и некоторых других своих персонажей, Г. Леберехт с большой наглядностью демонстрирует живучесть старого, обречённого на гибель, принимающего в зависимости от обстановки самые разнообразные и неожиданные, на первый взгляд, формы.

У Адама Туйска репутация яркого общественика и делового человека. Но, в сущности, он только деляга. Так, к примеру, он приобретает в государственном питомнике несколько серебристых лисиц-самок и спешно строит лисью ферму. Это дело представляется председателю и прибыльным, и не требующим особых усилий, — оттого он так охотно им и занимается. Приняться же всерьёз за налаживание основных отраслей колхозного хозяйства Туйск не решает, боится, хотя ему очень хочется «обставить» Марту Нийлус.

Понятно, при его методах хозяйствования об этом не может быть и речи. Стремясь всё устроить «потихоньку да по-добрососедски», он допускает в колхозе «Заря» весьма странные порядки. Здесь колхозники и пашут, и сеют на принадлежащих им раньше полях прежними своими лошадьми, прежним инвентарём. Такую систему работы, являющуюся якобы более «удобной» для колхозников, не нарушающую их старые привычки (а в действительности, не дающую использовать преимуществ колхозного производства), всячески отстает замаскировавшийся враг народа Хуго Маркус, пристроившийся при Адаме Туйске бригадиром и членом правления колхоза. Г. Леберехт находит выразительную деталь, которая превосходно характеризует положение в «Заре»: на колхозном поле стоит полусгнившая жердяная ограда, разделявшая в прошлом земли Мадиса Пяртеля и Кай Лауба. И хотя полосы их давно объединены, ограду эту они не ломают, и ясно почему: былые перегородки между колхозниками не сломлены ещё окончательно ни в хозяйственном быту, ни в сознании людей.

Разумеется, лучшие колхозники, вроде дочери Мадиса — Сальме Пяртель, не желают мириться с таким положением вещей. И писатель убедительно показывает, как появление в Кильги новой техники ускоряет развитие событий.

Марта Нийлус приезжает к Адаму Туйску с предложением — прорыть для обоих

колхозов сообща, на общие средства, прямой магистральный канал в реку: «Надо не упустить момента, пока экскаватор здесь». Тогда много бросовой земли можно будет превратить в пригодную для обработки. Но Туйск отказывается от этого заманчивого предложения, — не по силам оно, по его словам, колхозу «Заря». «Это всё правильно, Марта. Вот ты говоришь: шесть тонн сена вместо одной. Понимаем... А только мы и своей болотной травой не скосили потому, что даже пшеницу не успели ещё убрать. Понимаешь? Нам этот магистральный канал, как безрукому рукавица». Не так легко, однако, заставить Марту Нийлус отказаться от своего плана. «Я и об этом подумала, — отвечает она. — А если, дорогие товарищи, объединить наши колхозы? Тогда всё будет по силам...»

Конечно, и это предложение Туйск и Маркус признают преждевременным. Но оно встречает горячую поддержку колхозной массы — целесообразность и выгодность укрупнения колхозов, в особенности в условиях внедрения в сельское хозяйство новой, сложной техники, совершенно очевидна.

«В реке, а главное, в машине вся причина...» — угрюмо говорит своему другу Маркусу Адам Туйск, рутинёр и самовлюблённый, честолюбивый человек, отлично понимающий, что в объединённом колхозе ему уже не быть председателем. И у него невольно вырывается: «Провалиться бы этому ковшу в болото!»

У Адама Туйска слова эти — только «невинное пожелание», — всерьёз он о вредительстве, безусловно, не помышляет. Иное дело Хуго Маркус, этот злобный фашистский последыш, скрывающийся под маской безобидного, весёлого шутника. Он предпринимает попытку утопить экскаватор в болоте и ночью незаметно подпиливает брёвна настила, на котором стоит громадная машина. Преступный замысел Маркуса едва не увенчивается успехом. Лишь соединёнными силами колхозников «Будущего» и «Зари» и работников государственной мелиоративной станции удаётся спасти машину.

Этот эпизод решает судьбу не только Хуго Маркуса (которого, между прочим, разоблачает Мадис Пяртель), но и Адама Туйска, остающегося во время катастрофы верным себе. Увидев завязший экскаватор, он скептически замечает: «Легче оживить

мёртвого...» В спасательных работах он участия не принимает. Не удивительно, что после этого даже самые отсталые колхозники не хотят больше видеть его председателем колхоза.

Новое побеждает старое, отжившее, каким бы ожесточённым ни было его сопротивление...

Как и «Свет в Коорди», повесть «В дороге» свидетельствует о незаурядном мастерстве Ганса Леберехта, обладающего своей определившейся художественной манерой. Немногими словами, несколькими красочными мазками он умеет давать запоминающуюся характеристику человека. Лаконизм этот позволяет Г. Леберехту в своих сравнительно небольших по объёму книгах уместить множество действующих лиц, которых друг с другом не спутаешь.

Рисую портреты своих героев, писатель подчёркнуто «прозаичен». Его занимает в них обычное, «житейское» — их каждодневные заботы и интересы. Потому, в частности, он так много уделяет внимания различным экономическим, хозяйственным вопросам, с которыми приходится иметь дело его героям.

Но при всей видимой «прозаичности» у Г. Леберехта нет и намёка на натуралистическое пристрастие к «бытовщине». Писатель строго, взыскательно отбирает для обрисовки своих персонажей только такие бытовые подробности, только такие профессиональные чёточки, которые определяют их по существу. В результате у него и экономика, если можно так выразиться, очеловечена и не выглядит в повествовании чужеродным телом.

Весьма существенно, что, оставаясь сугубо реалистическими и житейскими, описания Г. Леберехта получают вместе с тем обобщённое, порой даже символическое значение. Вспомним хотя бы жердяную ограду на колхозном поле, разделяющую бывшие участки Мадиса Пяртеля и Каи Лауба. О ней в повести говорится несколько раз. Сальме Пяртель уговаривает отца убрать эту ограду, грозит, что сама её срубит, но в ответ слышит только одно: «Я поставил ограду, я и срублю, когда надо!» И в финале книги старый Мадис по собственной инициативе ломает полусгнившие жерди.

Другой пример — изменение цвета воды в реке Хальдя, бывшей когда-то непрогни-

цаемо-чёрной из-за болотного, торфяного дна. «После того, как машинисты углубили русло до светлосололистого гравия, вода стала прозрачной. И течение реки ускорилося...» Тут, разумеется, не только о реке идёт речь...

Сильная сторона дарования Г. Леберехта — его умение строить сюжет. У него все герои вовлечены в действие и все так или иначе необходимы для развития действия. В то же время мы не замечаем у него искусственных, надуманных сюжетных «ходов». Повествование развёртывается естественно, просто, основываясь на правдивых коллизиях и конфликтах.

Но иногда явно выступают и недостатки стиля Ганса Леберехта, — на это следует обратить внимание талантливого писателя. Нередко получается так, что все помыслы и чувства его героев прикованы лишь к тому, что составляет предмет их повседневной практики. А это по отношению к

ряду действующих лиц повести «В дороге» несправедливо. Не подлежит сомнению, например, что круг интересов комсомолки Сальме несравненно шире, чем, скажем, у её отца, и, надо полагать, думает она не только о мелиорации и организации труда в колхозе, но и о многих других вещах. Характерная для нашего времени широта интересов передовиков социалистической деревни Г. Леберехтом почти не показана.

Это сказалось и на образах таких героев повести, как секретарь укома Рамму, директор мелиоративной станции Каллас, главный механик станции Мельников, — они даны писателем недостаточно отчётливо, слишком эскизно. По мастерству изображения образы руководителей несомненно уступают полнокровным, выразительным образам колхозников, особенно старшего поколения.

Г. ЛЕНОБЛЬ.

★

Без огня, без вдохновенья

Есть книги, в которых налицо и вышедшая актуальность, и современность фабулы, и молодые, как будто бы полные энергии герои, а читатель остаётся равнодушным. Вот такое равнодушие рождает повесть Льва Филатова «Вторая рота».

Автор — дебютант. И можно было бы быть к нему снисходительней, если бы не одно обстоятельство, непостыжное ни зрелому мастеру, ни начинающему литератору: его повесть написана без огня, без вдохновенья, написана без той внутренней необходимости, без того непреложного ощущения — «не могу молчать!», которые в столь высокой степени свойственны всему настоящему в литературе и искусстве.

«Вторая рота» — повесть о зенитчиках прожектористах, стоявших на защите Москвы в годы Великой Отечественной войны. Москвичи и москвички, юноши и девушки из других городов и селений советской страны, одевшие армейскую форму, — солдаты и офицеры Великой Отечественной войны составляют круг действующих лиц повести. Главный её герой — молодой парт-

орг роты, старший сержант Федотов.

Временем действия автор избрал 1943—1944 годы, когда фашистские самолёты уже не решались налетать на Москву, когда Советская Армия, нанеся врагу один за другим сокрушительные удары, приближалась к границе СССР, а затем перешла её, вступив на территорию гитлеровской Германии и её сателлитов. Естественно, что прожектористы, служившие в зенитных соединениях, оберегавших Москву с воздуха, были обречены в эту пору на вынужденное бездействие. Лишь некоторые герои повести Л. Филатова — глухо и крайне бегло — вспоминают о своих боевых делах в 1941—1942 годах. На последних страницах внезапно — но мало правдоподобно — появляется шальной «мессершмитт», неизвестно как залетевший в 1944 году на подступы к советской столице. Прожектористы ловят его в перекрестие своих лучей, а советские лётчики где-то за линией горизонта сбивают вражеский самолёт, о чём герои повести и узнают с некоторым опозданием.

Герои повести Л. Филатова часто рассуждают (подчас очень выспренно) о том, что стоять на чеку в зенитном кольце вокруг Москвы — это тоже весьма важная

Лев Филатов. «Вторая рота». Повесть. Журнал «Знамя» № 7 за 1951 год. Главный редактор В. Кожевников.

задача. Но, к сожалению, рассуждения эти не получают художественно убедительными. Искусство знает единственно подлинное доказательство — действие. Этому учил советских писателей великий Горький. На этом основан и опыт всех лучших советских художников слова. Видимо, Л. Филатов решил, что умозрительные рассуждения его героев способны заменить живое действие, и вместо типических обстоятельств войны он может изобразить своих героев в мелочах их воинского (но такого по сути дела невоенного!) быта. Это решение было глубоко ошибочно. И повесть у молодого автора получилась скучной, назидательной, липённой впечатляющей жизненной силой, то есть, иначе говоря, не получилась вовсе.

В самом деле, присмотримся к тому, какие конфликты, какие противоречия, какие жизненные трудности встают на пути героев повести. Вот тяжело провинился начальник одной из прожекторных точек — Сычёв. Он отпустил в часы вахты своего слухача в колхоз — поиграть по просьбе колхозных девушек на гармони, — да ещё соврал командиру роты, что послал слухача ненадолго, за газетами. Вот порвана ветром линия связи роты с полком, и две девушки-связистки ликвидируют обрыв. Вот комсомолка Краснова влюбилась в своего начальника — командира «точки» — и это на время повредило дружбе маленького воинского коллектива. Вот парторг Федотов написал сперва удачную корреспонденцию в газету, а затем несколько неудачных, поверхностных, за что его и пробирают в редакции. Вот девушки одной из прожекторных точек увлеклись «мазаньем» губ... Такими и только такими «конфликтами» ограничивается развитие повести Л. Филатова, действие которой, повторяю, приурочено к грозным годам Великой Отечественной войны.

Но эпоха славных битв — лишь внешнее обстоятельство, а не суть повести Л. Филатова. Всё, касающееся войны, в ней не настоящее, а условное, игрушечное. ...Связистки Бережнова и Жигалова идут в метельную ночь проверять телефонный провод. Не забудем, что действие происходит в подмосковной—дачной—местности, в начале 1944 года, когда враг был отброшен от советской столицы уже на многие сотни километров.

«Вдруг Катя схватила Бережнову за рукав.

— Ты чего?

— Тш... Смотри, там кто-то шевелится!

— Где? Кто?

— Видишь? Прямо на линии.

Подруги замерли: Бережнова на шаг впереди, Жигалова сзади.

Тёмное пятно приближалось, и всё отчетливее вырисовывалась фигура человека. За короткое мгновение в памяти Бережновой мелькнули много раз читанные в газетах фронтовые эпизоды, как диверсанты перерезывали телефонный кабель и падали на связистов...

— Стой! Кто? — выкрикнула и неловко, горюпясь, сняла вянтовку».

Описанный с такой многозначительной таинственностью эпизод кончается ничем: мнимый диверсант оказывается хорошо знакомым «Димкой» — солдатом Никоновым, которого командир послал на помощь девушкам-связисткам.

К чему рассказан этот эпизод? Ни к чему. Просто так, для того, чтобы рассказать.

Но его игрушечность, его условность чрезвычайно характерны для повести. Подобно условному «диверсанту» Димке, условны и все другие военные герои и обстоятельства повести Л. Филатова.

Какая диспропорция между тем, чем жил в те годы советский народ, и тем, что изобразил автор! И ведь вот что обидно: он не лишён ни дара наблюдательности, ни умения изобразить увиденное, да только этот дар и это умение растрчены по пустякам.

Война проходит за кулисами повести Л. Филатова, и герои его скорее напоминают подмосковных дачников, довольно уютно устроившихся около своих прожекторных установок, нежели воинов великой победоносной армии. По повести не чувствуется, что завтра эти люди могут встать на переднем крае. Их мысли, их чувства далеки от этого.

Вот ещё одна из сцен Л. Филатова.

«...В комнату ворвались Бережнова и Жигалова (те же связистки. — А. Т.) ...Девушки расхохотались. Они покраснелись с мороза, им не сиделось; вдруг схватились за руки — совсем девчонки! — и принялись кружиться...

— Новичков (командир роты. — А. Т.)

хороший, Новичков хороший! — повторяла Жигалова — Он нам разрешил...

— Что с вами, что разрешил хороший Новичков? — спросил, наконец, Федотов.

— Очень-очень просто, товарищ парт-орг, — нараспев сказала Жигалова. — Он хороший, он разрешил устроить утренник по случаю встречи Нового года...

— Что ж, тогда надо ёлку рубить, — сразу заразившись их настроением, выпалил Федотов».

Всё это, может быть, и очень мило, даже трогательно, да к делу не идёт. Изобразил автор таким образом школьницу — всё было бы на месте. Но ведь речь идёт о девушках-воинках, об обороне Москвы, о Великой Отечественной войне. Нет, право, совсем не те краски...

В центре внимания автора — молодой парторг Федотов. Он, по замыслу, честен, пытлив, чуток, самоотвержен в работе. Он — инициатор товарищеского суда над провинившимся Сычёвым. Он находит дорогу к внутреннему миру Остроушко — замкнутому, недовольному службой пареньку, который на деле оказывается талантливым рационализатором и изобретателем. Он устраивает и личное счастье влюбчивой комсомолки Красновой, о которой уже упоминалось выше.

Все — и автор в особенности — чрезвычайно довольны Федотовым. Ему даже разрешено бесцветно влюбиться в бесцветную связистку Бережнову. Любовь эта носит абсолютную «голубой» характер. Добродетельно всё это до приторности. И столь же скучно.

К сожалению, личная жизнь героев находится в полном соответствии с их общественной жизнью. В повести живут и разговаривают не живые люди, со свойственными им страстями и характерами, а картонные манекены:

«— Хорошо бы сержантам опытом обменяться», — продолжал Гаврилов.

— Пойдите, Гаврилов, — перебил Ковалёв. — Я, помнится, слышал об этом предложении...

— На сержантской учёбе мы говорили.

— И вас не поддержали? — Ковалёв выпрямился и бросил суровый взгляд на Федотова.

Новичков встретился глазами с парторгом. Тот наклонился к нему и смущённо шепнул:

— Обидно, записал и забыл.

Новичков чувствовал и себя виноватым.

— Займёмся. Сегодня же вечером, — ответил он Федотову».

Подобными беспредметными разговорами полны страницы повести. Но ведь это не жизненная правда, а лишь унылое правдоподобие, ложная живость разговора, за которой не кроется решительно никакого серьёзного содержания и смысла. Подобные диалоги — лишь литературное суесловие, не более того. Литература всерьёз, литература как искусство подобного суесловия решительно не терпит, решительно не выносит.

Неудача молодого автора показательна. Намеренно отстранившись от изображения большой жизненной правды, он увлёкся внешним правдоподобием мелких житейских обстоятельств. Социалистический реализм Л. Филатов подменил натуралистическим копированием второстепенных подробностей. Те плоские фигурки, которые он поставил на место подлинных героев, не могут вызвать к себе ни любви, ни ненависти. И грешно прилетать ко всему этому слова о партийной работе. Слов-то о партийной работе в повести хоть отбавляй, а по существу её, конечно, нет, ибо нет в повести души, страсти, истинного вдохновения. А описание одного-другого заседания да нескольких мелко назидательных разговоров Федотова со своими подопечными — это не партработа, а так, — «птичка», которую ставят в планах чинуши, наивно полагая, что они тем самым способствуют выполнению этих планов.

В конце повести парторг Федотов выслушивает в редакции газеты суровые слова по поводу своих заметок. «Торопливо», «поверхностно», «набор фактов», «где тут вывод?» — слушал Федотов, и ему, как свидетельствует автор, было «невыносимо стыдно». Вернувшись в часть, Федотов признаётся своим товарищам, что он «чирикал, а не писал». Резкая прямота, что и говорить!

Думается, что только подобная же прямота в оценке его первой повести может помочь дальнейшему росту молодого литератора Л. Филатова. Сейчас он на ложном пути. Жаль, что его поощрила на этот путь и редакция журнала «Знамя».

А. ТАРАСЕНКОВ.

Прочный фундамент

Строго говоря, «Каменный фундамент» С. Сартакова — это не повесть, а цикл рассказов, объединённых общими героями. Последовательное описание их жизни, изображение их духовного роста составляет содержание этих рассказов.

При ознакомлении с первыми двумя главами книги создаётся впечатление, что перед нами сборник охотничьих и рыбацких рассказов. Автор с большой любовью описывает приключения рассказчика (от лица которого и ведётся повествование) и его друга Алексея Худогова — жителя небольшого сибирского городка, страстного охотника и рыболова.

Но чем ближе знакомишься с книгой, тем ясней вырисовывается идейный замысел автора: показать на примере жизни рядового рабочего лесозавода — Алексея Худогова и его жены Кати процесс духовного роста простого советского человека, расцвет его личности, постоянное его стремление вперёд.

Герой книги Алексей Худогов — таёжный житель, рыболов, охотник-следопыт — работает на лесозаводе (действие начинается в 30-х годах). Выполняя свои несложные обязанности, Алексей привязывается к заводу, гордится тем, что работает на государственном предприятии, живёт его интересами, но главный смысл его жизни попрежнему, как и в юности, составляют странствия по тайге с ружьём или вылазки на реку с бреднем.

В первых главах книги жена Алексея — Катя предстаёт перед читателем добродушной молодой женщиной, все помыслы которой направлены к тому, чтобы создать в доме семейный уют. Она очень далека от общественной жизни: этому мешают и её домашнее хозяйство, и её неграмотность, и её обыкновенные представления о женщине-общественнице. Но уже в главах «Катюшина затея» и «Громобой» показано начало её роста.

Желая усовершенствовать производственный процесс на транспортировке плотов, Алексей задумывает построить самодельный катер. Он отдаётся всей душой этому делу, забывает походы в тайгу и выезды на рыбную ловлю и успешно осу-

ществляет свой замысел. Алексей занимает почётное место среди передовых рабочих лесозавода, его имя становится известным всему коллективу.

Но он не испытывает ещё чувства полного удовлетворения. «Вот я на заводе работаю, постоянно с людьми, всюду, надо не надо, свой нос сую, людей учу, и люди меня учат, — рассуждает он. — А Катюша что? Как в кругу приворожённая. И вот чувствую я себя перед ней нехорошо».

И у самой Катюши начинает пробуждаться желание не отставать от мужа. Тайком от него, чтобы сделать ему приятный сюрприз, она учится грамоте. Правда, замыслы её пока не велики: «выучиться настолько, чтоб для дому было полезно». Не без боязни берётся она за выполнение первой общественной обязанности — работы в санитарной комиссии, куда её выбрали женщины-работницы и домохозяйки. Поняв, что советской женщине нельзя замыкаться в узкие рамки домашнего хозяйства, Катя выполняет свои общественные обязанности старательно и добросовестно.

Наступает Великая Отечественная война. Алексей уходит на фронт. Катя поступает на лесозавод, на котором работал её муж, создаёт бригаду, с которой выезжает на лесосплав — на труднейший участок производства, где до войны работали только мужчины, — и выходит победительницей из борьбы с трудностями.

Вернувшись с лесосплава, она поступает на медицинские курсы, работает в госпитале, готовится к отправке на фронт.

Возвратившись с фронта Алексей застаёт жену на ответственной работе — она заведует медицинским пунктом; она выступает с критикой недостатков на производстве, участвует в организации культурного досуга рабочих, по-хозяйски, по-партийному вмешивается в жизнь. Её избирают депутатом городского совета; наконец, исполняется её заветное желание — она вступает в ряды партии.

Образ Кати Худоговой, показанный в книге в процессе развития, в процессе духовного и политического роста — бесспорно, творческая удача автора.

Менее удался автору образ Алексея Худогова, духовный рост которого пока-

зан не столь убедительно. Читатель видит готовые результаты этого роста, а как он происходил, чем был обусловлен — этого автор не показывает.

Подчас С. Сартаков неравномерно распределяет авторское внимание. Он подробнейшим образом знакомит читателя с тем, как в тайге собирают кедровые орехи или бьют острой на реке ночью спящую рыбу. Но показывая работу Алексея, влияние на него рабочего коллектива, партийной организации, автор как бы избегает тех необходимых конкретных деталей, которые делают повествование живым и убедительным. Так в первых главах книги краевед-натуралист берёт верх над художником-психологом.

В созданных С. Сартаковым образах бросается в глаза ограниченность их кругозора. И Алексей, и Катя, и все окружающие их люди живут только тем, что совершается в их родном Н-ске, их мысли, темы их бесед не выходят за пределы совершающихся здесь событий. Н-ск — небольшой сибирский городок, но разве он не связан тысячами нитей со всей огромной страной? Вот эта-то связь автором не показана. И в этом — существенный недостаток повести.

В книге «Каменный фундамент» читатель найдёт реалистические эпизоды, относящиеся к дням Великой Отечественной войны. Но писатель подчас отступает от реализма, нагромождая одно за другим случайные события, неожиданные встречи, маловероятные ситуации.

Художественно слаб образ рассказчика. В первых главах книги его роль носит чисто служебный характер — он должен композиционно связать несколько рассказов в

одно цельное произведение. И с этой его ролью можно было бы согласиться. Но в последующих главах автор начинает уделять рассказчику всё больше и больше места в развитии самого сюжета. Это обязывало автора глубже, полнее раскрыть образ, но сделать это ему не удалось.

Не удалось также автору портретные характеристики.

Следует сделать и ещё одно частное замечание. Вызывает недоумение организация строительства катера — первой самостоятельной работы Алексея на лесозаводе. Слишком ю-кустарному, «на глазок» оно ведётся. Директор лесозавода предоставляет в распоряжение Алексея материал и инструменты. Однако, зная, что у молодого рабочего нет необходимых технических знаний, он почему-то не решается направить к нему в помощь заводского инженера или техника. Алексей тайком от всех получает необходимую ему техническую консультацию и в конце концов преодолевает встретившиеся перед ним трудности. Всё это мало соответствует действительности. Может быть, так строили бы катер до революции, на каком-нибудь частном предприятии, но в условиях советского государственного завода подобная ситуация воспринимается как неправдоподобная.

И всё же С. Сартакову удалось заставить нас полюбить героев книги — Алексея и Катюшу, сделать для нас близкими их радости и горести, раскрыть в их характерах черты советских патриотов — строителей коммунизма, непрерывно растущих вместе с родной страной и являющихся тем каменным фундаментом, который обеспечивает силу и крепость советского строя.

Б. БЕЛЯЕВ.

★

В погоне за занимательностью

Среди многочисленных писем, полученных А. М. Горьким от советских школьников, есть такое письмо: «Уважаемый тов. Горький! Не забудьте про приключения по нашей стране: как добывают золото, как с тиграми дерутся, как удивительные комсомольцы спаслись от ужасной

опасности». Это бесхитрое письмо — одно из свидетельств большого интереса, который проявляют юные читатели к произведениям приключенческого жанра.

Одной из отличительных черт этого жанра является занимательность. Однако свои воспитательные задачи книга приключенческого жанра выполнит только в том случае, если занимательный сюжет будет подчинён содержательному идейному замыслу,

О. Коряков. «Тропой смелых». Повесть. Ответственный редактор Н. Максимова. Детгиз, 1950.

если этот сюжет будет жизненно правдив, если его развитие будет определяться закономерным развитием образов, характеров героев произведения. Если же в угоду внешней занимательности автор построит искусственный сюжет, не связанный ни с основным содержанием книги, ни с её идейным замыслом, художественная ценность книги будет значительно снижена.

Подобная неудача постигла автора приключенческой повести «Тропой смелых» О. Корякова.

Композиционно повесть распадается на две параллельные сюжетные линии. Одна из них — рассказ о краеведческом походе группы советских школьников, об их патристических мыслях и поступках, об их стремлении к познанию природы. Другая линия связана с историей скрещённых стрел и таинственным незнакомцем в кожаной куртке. По своему идейному и художественному уровню обе эти, как бы самостоятельно существующие, части повести неравноценны.

В повести рассказывается о том, как четверо друзей — Лёня Тикин, Дима Веслухин, Миша и Вова Дубовы — отправились в поход в Джакарскую пещеру. В походе ребята изучают природу родного края, узнают много нового и интересного. В пути с ними происходят различные приключения. Они сражаются с горными орлами, тушат лесной пожар, путешествуют по реке на сооружённом собственными руками плоту. В самой пещере ребята находят много интересного и неожиданного. Преодолевая трудности, встречающиеся на их пути, герои книги проявляют качества, типичные для советских ребят, — смелость, волю к борьбе, находчивость, любознательность, стремление помочь товарищу в беде. Впрочем, иногда автор теряет чувство меры, загромождая повесть описаниями слишком уж сложных препятствий и даже опасностей, которые якобы стерегут ребят на каждом шагу в их странствиях.

Повесть О. Корякова не лишена познавательного значения. В живой увлекательной форме автор сообщает интересные сведения о прошлом и настоящем Урала, о его природных богатствах. Ребята узнают о чудесном камне нефрите, о происхождении земли. С увлечением они изучают окружающий их мир. Богатый научно-популярный материал естественно входит

в ткань повествования. Интересно показаны в повести изменения, преобразующие географию нашей страны. Ребята в поход взяли карту, которую им рекомендовали как «самую свежую, последнего выпуска». Но эта «свежая» карта очень скоро их подвела. То, что на ней обозначено как лесная тропа, стало большой дорогой. А в том месте, где на карте отмечен глухой лес, неожиданно оказался завод с рабочим посёлком.

Всё, что раскрывается перед глазами участников похода, обогащает их духовный мир, расширяет их кругозор. Один из участников похода, Вовка, попадает в уральский колхоз. Жизнь колхоза развёртывается перед ним, городским мальчиком, как чудесная сказка. Электрическая машина заменила ручной труд колхозников, с помощью электроэнергии здесь стригут овец, доят коров. Вовку поразили необыкновенный, невиданной формы трактор, передвигающийся почти без шума. Это был электротрактор.

В книге много ярких и поэтичных описаний природы. Читатель как бы слышит шорохи леса, чувствует дыхание ветра, дым костра. Вся повесть овеяна романтикой дальних походов и исследований.

Но наряду с этими достоинствами в повести есть серьёзные недостатки, значительно снижающие её ценность.

Автору показалось, что путешествие ребят, преодоление ими трудностей похода, их патристические чувства и поступки сами по себе ещё недостаточно увлекательны, и ради ложно понятой занимательности он ввёл в повесть дополнительную сюжетную линию, никак не связав её с основным замыслом книги. Эта линия занимает в повести большое место (главы «Вожак становится сыщиком», «Встреча с незнакомцем», «Секрет скрещённых стрел»). Но автор не ограничивается и этим — вторая, третья и четвёртая главы заканчиваются появлением незнакомца в кожаной куртке и вслед за ним — записки с нарисованными на ней стрелами.

Кстати, подобные интригующие концовки автор использует неоднократно, повидимому считая, что именно они придаст повести особую занимательность.

Всё это сделано для того, чтобы создать в повести атмосферу таинственности, загадочности. Чем дальше, тем больше эта та-

индивидуальность усиливается, сюжет всё усложняется. Внимание читателя всё больше отвлекается от основной темы произведения и концентрируется на дополнительной сюжетной линии, не связанной, однако, ни с основным содержанием повести, ни с развитием характеров основных действующих лиц. Эта линия не подчинена идейному замыслу произведения, не помогает раскрытию высших моральных качеств юных героев и таким образом становится для автора самоцелью.

В последних главах повести неожиданно выясняется, что человек в кожаной куртке — советский инженер-геолог, и что вся история со скрещёнными стрелами связана с одним из героев книги — Витей Черноскутовым, одноклассником юных путешественников. В угоду придуманной им сюжетной схеме автор отправил Витю в одиночный поход. Он-то и подбрасывает интригующие записки с изображением скрещённых стрел. Для этого писатель заставляет своего героя совершать ряд поступков, нехарактерных для всего его облика.

Так, например, для того, чтобы не пойти в поход вместе с товарищами, Витя обманывает их, подделывает дату в письме, полученном от отца.

Воспитательный смысл поступков Вити автора в данном случае мало беспокоил. Ему важно было одно: сюжетно оправдать поход Вити в одиночку, вне коллектива. Поведение Вити надо было оправдать не только сюжетно, но и психологически. И тут

О. Коряков впал ещё в одну ошибку. Он пишет, что Витя хотел прийти в пещеру первым и этим доказать ребятам своё превосходство. Он уже заранее наслаждался комплиментами и восторгами своих товарищей. «Витя представил удивлённые лица товарищей, их возгласы восхищения, и ему стало приятно».

В повести говорится, что Витя оказался неплохим товарищем. Он любил коллектив, был отзывчив. Но вот в угоду искусственному нежизненному сюжету автор наделяет своего героя не свойственными ему чертами. Образ оказался двойственным, художественно неубедительным. Произошло это потому, что не развитие характеров определило развитие сюжета, а наоборот — второстепенная сюжетная линия определила характер Вити Черноскутова и отношение к нему его товарищей.

Погоня за ложной занимательностью разрушила художественную цельность произведения и снизила его воспитательную ценность.

Советская приключенческая повесть, в противоположность буржуазному детективу, должна отличаться правдивостью, идейной целеустремлённостью и художественной убедительностью.

Приключенческое произведение нужно создавать не в угоду мёртвым сюжетным схемам, а на материале нашей героической действительности. Только при этом условии книга будет воспитывать юных читателей в духе советского патриотизма и коммунистической морали.

С. СЛЕПЫНИН.

★

Ставропольский альманах

«Ставропольский альманах» — орган краевого отделения Союза советских писателей — выходит не часто. Между появлением пятой и последней, шестой, книги прошёл год. Такой большой промежуток времени между выходом очередных номеров, казалось бы, даёт возможность редколлегии отбирать произведения с должной требовательностью.

На страницах шестой книги альманаха напечатана повесть о животноводах и первая часть повести об организации лесоза-

щитной станции; стихи об урожае, о труде колхозников, о златном чабане, об учителе; очерк о новой жизни, возникшей там, где когда-то сражались отряды легендарного Кочубея; статья о борьбе трудящихся Ставрополя за победу советской власти; научно-популярная статья о многолетней фрунзе; очерк о виноградарском совхозе: несколько рецензий.

Материалы эти не равноценны по своим художественным достоинствам и зачастую свидетельствуют о недостаточной строгости редколлегии при отборе рукописей.

Наиболее интересна повесть Ильи Чу-

мака «Марьины колодцы». Автор взялся за серьёзную тему, решив показать борьбу колхозников за создание высокопродуктивного стада.

Основной конфликт повести заключается в столкновении старшего чабана овцеводческой фермы Андрея Яковенко, разработавшего свой метод повышения продуктивности стада, с заведующим фермой Агеевым, считающим, что главная задача овцеводческой фермы — увеличение поголовья.

Агеев глубоко переживает то, что молодой чабан вздумал перечить ему, старому и опытному животноводу. Райком партии, куда Андрей писал по поводу неправильной практики Агеева, одобряет новаторское предложение чабана Яковенко. Однако заведующий фермой не сдаётся — происходит ряд столкновений между Яковенко и Агеевым. Эти столкновения кончаются совершенно неожиданно: Агеев получает путёвку на курорт, где встречается с известным специалистом-животноводом профессором Филипповым, быстро убеждающим его в неправильности прежних взглядов.

«С «Тёплых вод» Василий Иванович приехал помолодевшим, бодрым и разговорчивым. Казалось, он забыл все свои обиды». Изменялось и его отношение к делу — Агеев стал поддерживать молодёжь.

В повести «Марьины колодцы» есть хорошие поэтические страницы. Автор с любовью рисует природу — бескрайние прикаспийские просторы, синие туманы, белополынные степи и шелест сухих трав. Тепло изображает он любовь Андрея и Кати, дочери Агеева; с чувством описаны переживания арбички Матрёны, мужа которой замучили фашисты. Запоминается сцена, когда зоотехник Люба во время бури старается спасти отару овец. Но всё это — не главное в повести.

Серьёзный недостаток произведения в том, что основной конфликт лишён закономерного развития. Читатель ждёт показа того, как сама жизнь убедила Агеева в ошибочности его взглядов, как Андрей применял на практике свой метод повышения продуктивности стада. Но ничего этого в повести нет. Вместо того, чтобы художественными средствами показать естественное, логическое течение событий, ав-

тор «разрушает узел», послав Агеева на «Тёплые воды» и столкнув его с профессором Филипповым.

И. Чумак не показал своих героев в труде, в борьбе, в осуществлении замыслов. Может быть, именно поэтому эскизные, лишённые глубины образы действующих лиц.

Видно, что И. Чумак — автор способный, умеющий наблюдать. Чувствуется, что он знает материал, положенный в основу повести. Но произведение его оказалось непродуманным, сырым.

В первой части повести Ив. Кожевникова-Степного «Суровые рубежи» нарисована картина создания лесозащитной станции в засушливых степях Ставрополя, в станице, «затерянной среди песчаных сугробов».

Ив. Кожевников-Степной рассказывает, как пустыня превращалась в край садов, лугов и озёр; как «навстречу злему восточному ветру в ногайскую степь... шёл народ из разных мест»; как комсомольцы пробивали новую трассу по нехоженным местам; строили будущий посёлок, готовились к высадке молодых саженцев. С волнением рассказывает писатель о зимней стоянке партизан Великой Отечественной войны. Запоминается описание нападения голодных волков в степи на директора станции Чекурду.

Повесть написана неровно; она состоит как бы из отдельных эпизодов, и некоторые из них кажутся лишними. Так, болезнь старшего агронома Вали Мигулиной необъяснима, случайна, не играет никакой роли в развитии сюжетной линии или в раскрытии образов героев.

Слишком увлекается автор чисто внешними эффектами (например, директора лесозащитной станции Чекурду, искусственно волками, спасает не кто иной, как сын его фронтowego друга Федя, о встрече с которым Чекурда давно мечтал). Иной раз автор сухо перечисляет события и факты, не раскрывая и не конкретизируя их. Так, например, Захар Чекурда горюит Вале: «Здесь нашли воду, закончили строительство землянок, мастерских, красного уголка и пищеблока. Провели планирование усадьбы согласно проекту. Пробили трассу землемеры. По граням лесополосы поставлены вехи до самого Сталинграда...» Но картина работ не развёрнута в повести, и слова Захара Чекурды остаются художественно не аргументированными.

Так же бегло говорится об успехах звена Григория Трепакова, а описание партийного собрания, на котором обсуждались ближайшие задачи лесозащитной станции, напоминает добросовестно написанный протокол.

Схематичны и образы людей — автор не сумел их в достаточной степени индивидуализировать. Секретарь райкома Шербаков, секретарь парторганизации станции Калюкин — только названы по именам. Недостаточно раскрыты образы ногайца Мурата Манкаева, Вали, стахановца Григория Трепакова, да и главного героя — Чекурды.

Значительное место в альманахе занимают очерки. В очерке «Самое дорогое» Б. Речин, рассказывая о тех местах, где в годы гражданской войны действовал легендарный Кочубей, показывает прошлое и настоящее этого края. Очеркист наблюдателен, чувствуется его стремление отразить различные стороны колхозной жизни; подчас ему удаётся нарисовать правдивые, живые сцены. Однако прошлое описывается автором убедительнее, ярче, чем настоящее. Слова жены артельного плотника, Натальи Ивановны, с которыми она обращается к молодой колхознице Анне, пытающейся рассказать о чертах нового в окружающей их жизни: «Ты говоришь, ровно газету читаешь», — невольно хочется адресовать самому автору.

В очерке Б. Орловского с несколько претенциозным названием «Гроздь радости» речь идёт о виноградарском совхозе «Суворовский». При чтении очерка создаётся впечатление, что он написан не в результате глубокого изучения жизни, а после эпизодической поездки в совхоз. Автор перечисляет показатели, которых добились стахановки, но не раскрывает характеры людей; упоминает о создании новых сортов винограда, но не показывает методов, с помощью которых работники совхоза добились этих успехов. Определения «замечательные мастера», «незаурядные знания» и пр. остаются бездоказательными. Язык очерка излишне цветист, автор злоупотребляет такими «ювелирными» образами, как «топаз», «бронза», «золотистая раскраска», «золототканная парча» и т. д.

Отсутствию строгой требовательности и редакторской работы заметно и при ознакомлении с другими разделами альманаха.

В поэме «Кавказская сторона» А. Иса-

ков рассказывает о старом чабане Грыбасе, которому колхоз поручил выводить больных овец; Грыбас отлично справился с этой задачей, изучив труды профессора Крылова, с которым впоследствии встречается старый чабан.

Образы поэмы бледны; написана она невыразительным языком:

Бубнит старик, а денёк горячи,
Время не спит, шагает.
Зоотехники в степь идут и врачи,
Врачуют овец и купают.

Поэма изобилует надуманными образами, которым автор зачастую приносит в жертву элементарный смысл фразы.

...Правду плеснул на листы,—

пишет А. Исаков:

или:

Степь, как огромный парус,
На котором мастер нарисовал
Возвышенностей цветистый ярус,
Сады, хутора, канал.

Или:

В весеннюю сетку звонко
Март забивает мяч.

Отсутствие ясности и простоты свойственно и стихотворению В. Марьинского «Перед тобою тридцать ребят», в котором речь идёт о работе педагога. В. Марьинский пытается подражать Маяковскому, но подражание это чисто внешнее. Автор не ищет точных и ясных образов, а ограничивается тем, что пишет рублеными строками; новаторство Маяковского в области языка и образов он подменяет манерными и часто вовсе непонятными выражениями:

С трепетным сердцем,
как в рану вглядываясь,
В ребячьей тетради
изъян ищи,
Хлебая успехов пьянящую радость.
Умей
неудач выхлебывать ши...

Невысок также уровень и отдела критики и библиографии.

Отдел открывается обзорной статьёй В. Тамахиной «Колхозное крестьянство в художественной литературе», статьёй, носящей поверхностный характер. Анализ тех или иных явлений литературы автор подменяет характеристикой отдельных исторических этапов, ссылаясь на отдельные литературные произведения.

В статье есть неточные формулировки: «Социалистический реализм как качественно новый творческий метод обогатил литературу революционным содержанием». Автор, видимо, превратно понимает литературный процесс: ведь новое, революционное содержание породило и новый творческий метод — социалистический реализм.

Нередко встречаются и путанные фразы: «...мы не знаем всей суммы деяний усть-небинских и других колхозов в этих грандиозных претворениях»; «В отдельных сценах парторг Фёдор Озимов — прямо-таки злая шутка»; «...все эти недостатки насколько не закрывают положительных сторон нашей художественной литературы о колхозном крестьянстве».

Слабы и рецензии, опубликованные в альманахе. В рецензии на роман С. Бабаевского «Свет над землёй» А. Гмыхов отрывает анализ идеи и центральных образов романа от анализа художественной манеры автора. Поговорив о героях романа, об их интеллектуальном росте, разобрав несколько образов действующих лиц, автор ставит три звёздочки и переходит к новому разделу, долженствующему раскрыть творческий метод С. Бабаевского. Однако конкретный анализ заменён общими определениями такого рода:

«Всего удачнее получаются у Бабаевского массовые сцены». «Бабаевский делает и

хорошие портретные зарисовки», «...Ещё не побывав в действии, герой даёт нам основание что-то предполагать».

В рецензиях А. Гирько на роман А. Чаковского «У нас уже утро» и Г. Пустошкина на «Ясный берег» В. Пановой авторы ограничиваются, в основном, пересказом содержания разбираемых книг. Пытаясь сделать какие-то обобщения творческого пути В. Пановой, Г. Пустошкин пишет, например:

«Но как и в более ранних произведениях В. Пановой, в «Ясном берегу» обнаруживается одно не вполне заслуживающее одобрения качество — эскизность в описке героев». Кстати, эта не вполне грамотная фраза неправильна и по существу — и в ранних произведениях В. Пановой и в «Ясном берегу» далеко не все образы эскизные. Не прав автор, утверждая, что в повести «Ясный берег» «нет отрицательных типов в традиционном смысле этого слова». Почему-то бюрократа и формалиста Иконникова, ограниченного маленького человека с узко личными интересами Г. Пустошкин отрицательным типом не считает.

Недостатки альманаха серьёзны. При чтении его создаётся впечатление, что редакция не ведёт достаточной работы с авторами, ограничиваясь тем, что предоставляет им страницы альманаха.

А. ЛОЖЕЧКО.

★

Малая энциклопедия лжи и клеветы

Перед нами три небольших томика, выданных в Швейцарии на немецком языке под общим названием «Малая литературная энциклопедия». Как сказано в аннотации, цель этого издания — дать «серьёзное и авторитетное, доступное, но вместе с тем не слишком упрощённое освещение научных вопросов». Составители включили в энциклопедию «всех поэтов, писателей, философов, историков и дошедшие до нас безымянные произведения», — всё, что, по мнению составителей, имеет право

представлять литературу человечества от Гомера до наших дней.

Метод, по которому создавалась энциклопедия, становится понятным при простом арифметическом подсчёте. Из русской литературы — кроме упоминания о былинах и «Слове и полку Игореве» — в энциклопедию включено 33 писателя, в том числе и... Екатерина Вторая, «София Августа Анхальт-Цербстская, русская царица с 1744 года», которая «содействовала развитию русской литературы по французским и английским образцам и сама внесла в неё свой вклад, сочиняя на русском и французском языках оперы, комедии, сказки и трактаты».

Литературе Америки, Англии, Франции и Италии посвящено 339 статей. Если при-

Kleines literarisches Lexikon. I—Weltliteratur. II—Deutsche Literatur. III—Literarisches Sachwörterbuch. A. Francke A. G. Verlag, Bern, 1946—48. (Малая литературная энциклопедия. Том I — Мировая литература; том II — Немецкая литература; том III — Словарь литературных терминов. Берн, 1946—48).

нять во внимание, что в это число не входит немецкая литература, выделенная в особый том, что на другие менее крупные страны Западной Европы падает свыше ста, а на античный мир ещё около ста статей, то станет ясным: «мировая литература» в понимании составителей энциклопедии — это, говоря попросту, литература буржуазного Запада.

Этим и объясняется, что великой русской литературе конца XVIII века и литературе XIX века, достигшей небывалых высот и оказавшей и продолжающей оказывать могучее воздействие на культуру всего мира, отведено вдвое меньше места, чем английской или французской литературе того же времени. Составители не включили в свою энциклопедию таких писателей, как Фонвизин, Радищев, Карамзин, Рылев, Батюшков, Языков, Кольцов, Г. Успенский, Короленко и многих других; они сделали вид, будто не существовало Чернышевского и Добролюбова. Из всей плеяды русских революционно-демократических критиков назван только Белинский — и то лишь для того, чтобы лживо утверждать, будто бы он «боролся за приближение России к западноевропейской культуре». Зато в энциклопедии подробно рассказано о мистике Владимире Соловьёве, и статья о нём занимает больше места, чем, например, статья о Салтыкове-Щедрине.

Всё, что сказано в энциклопедии о русской литературе, свидетельствует об элементарной невежественности, неумении понять великие идеи русской литературы, нежелании оценить её роль в истории культуры человечества. — всё проникнуто настойчивым стремлением принизить русскую литературу, поставить её в зависимость от западноевропейских образцов.

Оценка творчества не входила в задачи составителей; как сказано в аннотации, энциклопедия должна содержать «краткую, объективную, свободную от субъективных оценок биографию», а также библиографию (которая, кстати сказать, составлена из рук вон плохо). Однако для «быстрого ориентирования в важнейших явлениях мировой литературы» составители всё же иногда высказывают свои суждения.

О Пушкине, например, в словаре сказано следующее: «В своих юношеских произведениях он обнаруживает зависимость

от влияния Байрона и других английских и немецких романтиков... Благодаря изучению творчества Шекспира он постепенно преодолел романтизм и стал реалистом и национальным поэтом».

О Гоголе в энциклопедии написано: «В 1847 году издал «Выбранные места из переписки с друзьями», произведение морально-пророческого и художественно-критического содержания, которое не нашло никакого понимания даже у его ближайших друзей и было оценено по достоинству только семьдесят лет спустя».

Мережковского авторы энциклопедии зачисляют в одно «социально-сантиментальное направление» с Некрасовым.

В таком же антинаучном духе написаны все статьи о русских писателях. Но, пожалуй, наиболее ярко характеризует энциклопедию то, как отражена в ней литература современности и недавнего прошлого. Русская литература XX века представлена... пятью именами. Расположив эти имена соответственно размерам статей о них, мы увидим, как составители представляют место этих писателей в литературе: Мережковский, Горький, Сологуб, Брюсов (который, как выражаются составители, «при большевистском господстве создал в Москве нечто подобное Академии для воспитания писателей») и Блок (который «родился в Петербурге, умер там же от недоедания!»)

Статья о мракобесе и бешеном враге советской власти Мережковском пространнее всех остальных и вообще одна из самых больших статей, посвящённых русской литературе. Горькому отведено гораздо меньше строк, и в них мы не найдём оценки его творчества — именно здесь составители лишились дара речи. А сообщая (весьма невразумительно) о жизни великого писателя, они ухитрились перевернуть и дату его рождения, и дату смерти.

Советской литературы, к которой сегодня обращены взоры писателей всего мира, в энциклопедии нет. Нет А. Толстого, А. Серафимовича, Д. Фурманова, Н. Островского. Нет В. Маяковского. Это надругательство над советской литературой объясняется, очевидно, следующим «принципом»:

«Из прошлого мы приводим по возможности всех писателей и все произведения, которые принято причислять к «мировой

литературе», — говорится в предисловии. — При этом круг имён скорее расширен, нежели сужен. Чем ближе мы подвигались к современности, тем труднее во многих случаях было решить, включить то или иное имя в словарь или нет. Мы всегда стремились быть благожелательными. При этом определяющим часто была не только художественная ценность творчества, но и степень влияния того или иного писателя на развитие литературы. Так, например, несмотря на некоторые сомнения, мы решили включить имена Конан Дойля и Эдгара Уоллеса, как основателей и наиболее известных представителей детективного романа».

Выходит, что творчество Маяковского имеет меньше влияния на настоящее и будущее мировой литературы, чем творения авторов детективного чтива!

Ныне живущих писателей нет в энциклопедии. Вот как объясняется в предисловии эта методологическая тонкость: «Мы принципиально не приводили живущих; можно только сожалеть, что такие выдающиеся личности, как, например, Андре Жид и Поль Клодель, отсутствуют; но мы решили, что лучше допустить подобные пробелы, чем подвергать себя упрекам в субъективности выбора и партийном подходе».

Конечно, удобно, прикрываясь профессорской беспристрастностью и беспартийностью, сужать круг писателей по мере приближения к сегодняшнему дню, обойти молчаньем всю идеологическую борьбу современности, закрыть двери перед советской литературой, несущей всему миру великие идеи мира и социализма (сделав при этом реверанс в сторону мракобесов от литературы и политики, открытых пособников поджигателей войны). Но этим не скроешь «субъективности выбора». Цели составителей ясны: затушевать всё истинно прогрессивное, передовое, революционное, что было в истории человеческой культуры, увековечить всё, что служит прославлению современной культуры капиталистического Запада, буржуазной идеологии.

Так, например, сообщая данные почти о ста античных писателях и философах, из которых наибольшее внимание уделено представителям идеалистической философии, отцам церкви и их непосредственным предшественникам — Платону, Плотину, Тертуллиану, Амвросию и другим, составители не

сочли нужным даже упомянуть о великих материалистах древности — Фалесе, Эмпедокле, Демокрите. Есть Платон, но нет Демокрита! Позиция составителей энциклопедии как нельзя более ясна. Студентам и специалистам, для которых, как сказано в предисловии, и предназначен словарь, — не нужно знать о философии Демокрита, как незачем изучать советских писателей; творчество Горького, не к чему знать о существовании Чернышевского и Радциева!

Литература народов Советского Союза вовсе не отражена в энциклопедии. Нет ни слова об украинских и белорусских писателях, о литературе народов Кавказа и Средней Азии. Нет Тараса Шевченко, Шота Руставели, Алишера Навои; классики таджикской литературы безапелляционно причислены к персидским писателям. «Не повезло» и нашим братским славянским народам: нет ни одного болгарского писателя; среди чехов не назван Ярослав Гашек; среди поляков — Элиза Ожешко.

Но и литература тех стран, которые стоят в центре внимания составителей, представлена в изуродованном, фальсифицированном виде. Здесь много имён второстепенных буржуазных писателей, но тщетно мы искали бы в статьях об английской литературе имена Эрнеста Джонаса или Ральфа Фокса, в статьях о французской литературе — Жюль Валлеса, Эжена Потье, Поля Лафарга. Подробно рассказано о множестве французских декадентов, но нет ни слова о Поле Вайян Кутюрье, об Анри Барбюсе — замечательном художнике и патриоте, пламенном борце за мир, авторе книги «В огне» — одной из самых популярных книг XX века! Среди китайских писателей нет Лу Синя, среди испанских — Антонио Мачадо. Из прошлого человеческой культуры заботливо вытравляется всё, что есть в ней подлинно прогрессивного, что и ныне звучит, как обвинение разлагающемуся буржуазному миру. В числе крупных произведений Марка Твена не названы его знаменитые памфлеты; среди книг Джека Лондона не упомянута «Железная пята»; среди книг Виктора Гюго нет романа «93-й год»; у Карела Чапека не названы «Война с саламандрами» и «Мать». И так далее, и так далее...

Немецкая литература выделена в особый том; в нём перечислено свыше трёхсот немецких писателей, но среди них не

нашлось места для Георга Веерта, которого Ф. Энгельс называл «...первым и самым значительным поэтом немецкого пролетариата»¹.

«В этот том включены не только те писатели, которые принадлежат к «мировой литературе», — говорится в аннотации. Кого имеют в виду составители, говоря о «не принадлежащих» к мировой литературе? Уж не Генриха ли Гейне, которому отведено меньше строк, чем Аридту или Ахиму фон Арним, и среди произведений которого не упомянуты ни «История религии и философии в Германии», ни «Французские дела», ни «Современные стихотворения», а в библиографии «Reisebilder» («Путевые картины») названы «Reiselieder» («Путевые песни»)!»

Отступая от своих правил, составители довели том, посвящённый немецкой литературе, до наших дней и включили в него и ныне живущих писателей. Но странно: предоставив страницы энциклопедии множеству литераторов гитлеровской Германии, они забыли упомянуть о крупнейших писателях, нашедших признание и в немецком народе, и далеко за пределами

¹ К. Маркс. Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 155.

Германии, — тех, кто сохранил честь немецкой литературы в годы гитлеровского варварства — об А. Зегерс, А. Цвейге, В. Бределе, Э. Вейнерте. Лучшей иллюстрацией к «объективизму» и не придумаешь!

Тем же «объективизмом» проникнуты и страницы третьего тома — «Словаря литературных терминов». В нём не только не упоминается о социалистическом реализме — а о каком литературоведении может сегодня идти речь без этого понятия? — но и вообще нет ни одного термина из введённых советскими учёными и получивших распространение во всём мире. Во всём томе, даже в таких статьях, как «эпос», «роман», «рассказ», «песня», «литературная критика», — нет упоминаний русских писателей, нет ссылок на русские книги.

Швейцарская «Малая литературная энциклопедия» — не случайность на книжном рынке буржуазных стран. Она представляет собой образчик той клеветы на жизнь и фальсификации истории, которые под видом науки преподаются в старинных стенах западноевропейских университетов и которые направлены к тому, чтобы расчистить путь для идеологии фашизма и войны.

П. ТОПЕР.

★

Политика и наука

Живые свидетельства американских злодеяний

Американские так называемые «учёные» и публицисты приложили и прилагают немало усилий к тому, чтобы вычеркнуть из памяти народов одну из наиболее позорных страниц истории США — вооружённую интервенцию против советского народа в 1918—1920 годах. В своих «мемуарах», написанных по прямому заданию тогдашнего военного министра США Бекера, командующий американскими войсками на Дальнем Востоке и в Сибири генерал Грэвс пытался представить американское вторжение на советскую территорию ничем иным, как... «помощью» США Советской России! Эти смехотворные утверждения фальсифи-

катора Грэвса подхватили в дальнейшем многие буржуазные историки.

Воспоминания бывших партизан, участников боёв с американскими войсками в Приморье, — живые свидетельства истинных дел американских империалистов — «...палачей и жандармов русской свободы...»¹. Эти воспоминания ярко показывают хищнический облик кровавого американского империализма, полностью опровергая «мемуары» его наёмных писак.

К числу наиболее гнусных вымыслов, распространяемых американскими фальсификаторами истории, относится лживая басня о том, что американские войска, вторгнувшись на советскую территорию, якобы не участвовали в военных действиях против Красной Армии и партизан, а лишь «охра-

«В боях за советское Приморье. Сборник воспоминаний бывших красных партизан-приморцев». Литературная обработка С. Н. Николаева. Редактор В. Свиньин. Примиздат, Владивосток, 1951.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 28, стр. 188.

няли» железные дороги... в интересах советского народа!

В действительности же американские войска, наряду с японскими, захватив летом 1918 года железные дороги Дальнего Востока и Сибири, использовали это для того, чтобы обеспечить наступление Колчака против Красной Армии.

Весной 1919 года партизаны Приморья направили интервентам декларацию, в которой заявляли, что не позволят использовать железные дороги для снабжения колчаковского фронта. Однако генерал Грэвс выпустил воззвание к населению, в котором требовал «не вмешиваться в железнодорожные дела».

На это наглое требование мужественные партизаны Приморья ответили беспощадной борьбой под лозунгом: «Ни один эшелон не должен дойти до фронта». Отряды партизан пускали под откос поезда, взрывали железнодорожные мосты, разрушали путь.

Действия американских оккупантов отнюдь не ограничивались захватом железных дорог. В сборнике приведены многочисленные факты, свидетельствующие о той злобешей роли, которую играли США на Дальнем Востоке. Американские захватчики были инициаторами крупных операций, направленных против широко развернувшегося партизанского движения. Военные действия интервентов сопровождалась кровавой расправой над мирным населением.

В июне 1919 года американцы организовали нападение на село Сергеевку, где происходил съезд трудящихся Ольгинского уезда, избравший Сергея Лазо командующим всеми партизанскими отрядами Приморья.

Ворвавшись в деревню Казанку, через которую они наступали на Сергеевку, американцы, по свидетельству очевидцев, вели себя как настоящие бандиты: «Они сожгли несколько крестьянских домов и здание школы, а из одного дома вытащили слепого старика, бывшего лесного объездчика тов. Ерченко, и расстреляли его». Однако, несмотря на все усилия интервентов, им не удалось сорвать съезд. Партизаны Приморья остановили их наступление.

Взбешенные неудачей, американцы в июле 1919 года организовали новое наступление на села Сучанской долины, где они творили невиданные зверства. Американ-

ские захватчики, вспоминает И. Я. Мелехин, запарывали до потери сознания крестьян, у которых партизаны останавливались ночевать, а всех подозреваемых в сочувствии партизанскому движению предавали страшным пыткам.

После безуспешных попыток разгромить небольшой партизанский отряд, наносивший интервентам значительный урон, батальон американцев учинил жестокую расправу над крестьянами. Заняв село Степановку, американско-японские разбойники разгромили его. Вот как описывает это страшное побоище очевидец А. Я. Яценко: «Запретив кому бы то ни было выходить на улицу, они закрыли снаружи двери всех домов, подперев их кольями и досками. Затем они подожгли шесть домов с таким расчётом, чтобы ветер перебросил пламя на все остальные избы. Перепуганные жители стали выскакивать из окон, но тут интервенты принимали их на штыки. По всему селу в дыму и пламени рыскали американские и японские солдаты, стараясь никого не выпустить живым».

Партизаны сформировали из крестьян близлежащих сёл отряд и выбили американцев из занятых ими деревень. Захватчикам пришлось с большими потерями отойти к Спасску, где стоял японский гарнизон.

В боях с интервентами советские партизаны убедились в трусости и лицемерии американских вояк.

«Нам хорошо была знакома гнусная повадка американцев, — пишет В. Л. Клименко. — Когда небольшая группа их солдат встречалась где-нибудь с численно превосходящим их партизанами, они всегда выказывали самые «дружеские чувства» — угощали сигаретами и шоколадом, говорили «русс карашо» и т. д. Но едва только они видели своё преимущество в численности и вооружении, как начинали вести себя совсем иначе».

А. Я. Яценко вспоминает, как американский отряд, оккупировавший село Духовское, пустился наутёк при появлении группы партизан в двадцать человек, а в другом случае большая группа американских солдат, заняв деревню, тотчас же окружила избу, в которой ночевал только один партизан Николай Мясников. Мужественный партизан, защищаясь, открыл огонь по американцам. «Однако силы были не-

равны, — рассказывает Яценко. — Американцы ворвались в избу, схватили партизана и выволокли на улицу. Они подвергли Мясникова мучительной казни: сперва отрубили у него уши, потом нос, ноги, руки — живого изрубили на куски!»

Подлое лицемерие американских оккупантов, которые, не переставая, трубили о своём «нейтралитете», особенно возмутительно проявилось в передаче захваченных ими партизан белогвардейцам. Когда в руки американцев попал партизан Кирилл Хлыст, они сначала зверски избили его, а затем отправили на расправу к калмыковцам, отличавшимся среди других белобандитов особенной жестокостью.

Глубокое возмущение вызывает рассказ о расправе американцев над захваченными ими ранеными партизанами и красногвардейцами. Американцы помешали раненых в свои госпитали якобы для излечения. На самом же деле начальство госпиталя, по словам А. Д. Борисова, передавало всех партизан и красногвардейцев в руки колчаковцев.

Так советские люди на собственном тяжёлом опыте убеждались в том, что значили «нейтралитет» и «помощь» американских интервентов. «Бездарные и трусливые, и в то же время циничные и жестокие, американские интервенты оставили о себе недобрую память в сёлах и городах Приморья», — пишет А. Яценко.

Терпя поражение за поражением в боях с партизанами, интервенты пытались вести подрывную работу среди населения, стремясь всеми средствами сломить его сопротивление. В деревнях и сёлах Приморья американцы создавали шпионскую сеть под видом баптистских общин. Как вспоминает М. А. Шпарийчук, «они рассылали по сёлам баптистских проповедников, вербовавшихся ими за деньги среди белого отребья. Эти проповедники ездили по деревням, выступая перед крестьянами со своими проповедями и втихомолку сколачивали из кулаков и их подпевал шпионские центры, которые и действовали по их указке».

Авторы воспоминаний рассказывают, с каким мужеством партизаны Приморья под руководством партии большевиков боролись против американских и иных интервентов. Плохо вооружённые, часто разутые и раздетые, они показывали высокие об-

разцы храбрости в неравных боях с захватчиками.

М. А. Шпарийчук приводит замечательный пример героизма, проявленного красногвардейцами Васильевым и Кузьминым. Васильев был командиром небольшого броневика (моторной дрезины, обшитой бронёй), прозванного партизанами «черепахой», а пулемётчик Кузьмин — его помощником. На своей «черепахе» славные советские бойцы творили чудеса. «Они врывались на ней по железной дороге в гущу расположения вражеских частей, поливали их свинцовым дождём, поднимали невероятный переполох, а затем быстро и всегда благополучно откатывались назад», — вспоминает Шпарийчук. В бою под Спасском летом 1918 года, когда «черепаха» оказалась отрезанной от своих, Васильев и Кузьмин в течение целого дня отбивали атаки японцев. В этом бою героически погиб командир броневика Васильев после того, как он вместе со своим товарищем убил до двухсот японцев.

Население Приморья, в том числе женщины, старики, дети, с опасностью для жизни всецело помогли партизанам в их борьбе с иноземными захватчиками. Жители сёл и деревень вливались в партизанские отряды, число которых росло изо дня в день.

Бывшие партизаны с особенной теплотой вспоминают светлый образ Сергея Лазо. Они рассказывают о той огромной роли, какую Лазо сыграл в организации победы над интервентами, о той любви, которой он пользовался среди народа. Гибель С. Лазо — чудесного большевика, героя партизанского движения на Дальнем Востоке — чёрное пятно на совести американо-японских интервентов.

Воспоминания партизан, собранные в книге, являются ценным документальным вкладом в литературу об иностранной военной интервенции и гражданской войне. Конкретными фактами подтверждают авторы, что американские империалисты, развязывающие ныне новую войну, творящие дикие зверства в Корее, всегда были злейшими врагами советского народа.

Отметим некоторые недостатки сборника, не влияющие, впрочем, на общую положительную оценку этой интересной и полезной книжки. Отдельные эпизоды, о которых вспоминают участники боёв, часто

представляют отрывочные рассказы, мало связанные между собой. Порой неизвестно даже, в каком году происходило то или иное событие. Мало связаны эпизоды и с общими событиями гражданской войны. В рассказе Мелехина, например, даётся описание весны 1919 года, но при этом ничего не говорится о том, что в эту весну началось наступление Колчака, начался первый поход Антанты. Многие эпизоды можно было бы изложить более ярко.

Следует одобрить инициативу Примиздата, выпустившего сборник. Хотелось бы, чтобы собрание и обработка воспоминаний партизан и очевидцев событий времён интервенции были бы продолжены не только Примиздатом, но издательствами других городов, где тоже орудовали американские, японские и иные интервенты.

Кандидат исторических наук
А. КУНИНА.

★

Традиции американских захватчиков

Выступая в 1950 году с речью по случаю годовщины провозглашения независимости США и говоря о событиях в Корее, матёрый поджигатель войны Джон Фостер Даллес объявил, что Америка ныне «продолжает ту же самую битву, которую начала в 1776 году». Опытный политический шулер попытался поставить знак равенства между освободительной борьбой американских колонистов против угнетавшей их Англии и захватническими войнами, которые в дальнейшем вели и везут США.

Впрочем, справедливости ради следует заметить, что этот мошенический трюк не является изобретением Даллеса. Традиции оправдания агрессивной политики с помощью «демократической» фразы, лживых уверений в «миролюбии», на которые никогда не скупилась американская буржуазные политики, восходят едва ли не к XVIII веку.

История США — это история почти непрерывных войн против индейских племён, против слабых соседей, земли которых стремилась захватить американская буржуазия. По официальным правительственным данным, американская армия до 1903 года вела 114 войн и принимала участие в 8600 сражениях и стычках, в большинстве своём являвшихся просто зверским истреблением почти безоружного противника. Только за первые семьдесят лет существования США (1783—1853) их территория выросла более чем в восемь с

половиной раз. Каждую из многочисленных агрессивных американские политики пытались оправдывать различными псевдонаучными «доводами», лживыми «теориями», многие из которых и поныне широко используются поджигателями войны.

Изданная в Нью-Йорке новейшая «основополагающая» монография Р. А. Биллингтона по истории агрессии США пытается свести воедино все старые и добавить к ним изобретённые в последние годы новые аргументы для доказательства «законности», «естественности», «неизбежности», «благотворности» прошлых и будущих американских авантю.

Подобные аргументы издавна широко использовались американскими империалистами для обоснования аннексий, произведённых Соединёнными Штатами. Ещё во время войны за независимость идеологи американской буржуазии выдвигали «географические» доводы в пользу захвата Соединёнными Штатами Канады. Будущий генеральный секретарь, а впоследствии президент США Джон Адамс в 1778 году доказывал, что Канада «предназначена самой природой нам во владение». В 1801 году комитет палаты представителей американского конгресса рекомендовал на основе «естественного права» захватить принадлежащие французам и испанцам Новый Орлеан и Флориду. Одна из влиятельных газет того времени — «Нью-Йорк ивнинг пост» писала 28 января 1803 года: «США имеют право устанавливать судьбы всей Северной Америки. Земля эта — наша».

Когда в 1811 году был поставлен вопрос о присоединении Канады, конгрессмены поспешили найти новые обоснования аме-

R. A. Billington. „Westward Expansion. A history of American Frontier“. New York, 1949. (Р. А. Биллингтон. «Экспансия на запад. История американской границы». Нью-Йорк, 1949).

риканским притязаниям. Биллингтон приводит высказывания одного конгрессмена, объявившего, что «воды реки Святого Лаврентия и Миссисипи переплетаются в ряде мест и господь решил, что эти две реки должны принадлежать одному и тому же народу».

Вскоре возникли планы захвата Кубы, и немедленно Джон Квинси Адамс сделал открытие, что остров является «естественной принадлежностью американского континента». Преемник Адамса на посту государственного секретаря Генри Клей добавил, что «закон расположения» островов Вест-Индии «требует, чтобы они были присоединены к США».

Включение в состав США принадлежавшего Мексике Техаса американская пресса щипично оправдывала ссылками на... плодородие его территории. Например, газета «Нэшвил рьябликен» писала: «По эту сторону реки Рио Гранде область плодородна и в любых отношениях крайне пригодна для народа Соединённых Штатов. На другой стороне земли неплодородны... они полностью приспособлены для такого ленивого пастушечьего народа, как мексиканцы».

Забоченный тем, как бы причесть старые теории «законности» агрессии на современный лад, Биллингтон представляет занятие Соединёнными Штатами Техаса «нормальным и естественным явлением». Реакционный историк оправдывает эту апнексию ссылкой на то, что она была необходимым условием... для будущих американских захватов на Западе!

Всё чаще экспансия стала провозглашаться «провиденциальным законом национальной жизни». Президент Бьюкенен в 1856 году даже, прямо объявил, что «экспансия в будущем станет политикой нашей страны». А десятилетием позднее многие конгрессмены уже совершенно открыто повторяли слова члена палаты представителей Мэйнара: «дух экспансии, если вам угодно, агрессии... сделает США владыкой мира».

В то же время идеологами американской буржуазии была изобретена теория, согласно которой все государства Западного полушария по «закону политического тяготения» должны и даже стремятся стать частями США. Известный экспансионист Паркер уверял, что народы Аме-

рики якобы с нетерпением ждут, «когда они смогут называть наш флаг своим собственным».

Эту «аргументацию» призваны были дополнять расистские теории. Изуверский расизм нужен был правящим классам США для оправдания рабства, для разжигания национальной розни между эмигрантами, облегчавшей их нещадную эксплуатацию американской буржуазией.

Расистские теории были поставлены на службу американской агрессии. Например, во время войны против Мексики (1846—1848 гг.) комиссия по иностранным делам палаты представителей лицемерно утверждала, что США «против своей воли вовлечены в конфликт с полуварварским народом». Известный писатель Лоуэль вкладывал в уста своего героя — американского солдата — такие людоедские фразы: «мексиканцы — это не люди. Это нация оранг-утанов».

Подобные шовинистические высказывания сопровождались прославлением «расового превосходства» англо-саксов. Газета «Миссури рипортер» писала: «Мексика должна быть поглощена англо-саксонской расой, ные заполняющей континент». Известный политический деятель Эбел Смит указывал, что войны служат американизации континента, «являющейся провиденциальной миссией англо-саксонской расы».

Расистские теории постоянно проповедывались в американской печати. Через десять лет после окончания войны с Мексикой один из самых крупных политических журналов «Демократик ревью» утвердил, что «никакая раса, кроме нашей, не может... владеть землями Западного полушария».

В своей работе Биллингтон пытается обновить и другие ветхие доводы защитников и апологетов агрессии США. Американские захваты, пишет Биллингтон, переживая американских политиков XIX века, были не аннексиями, а «насильственным спасением» других народов. Широко пропагандируя уже в XIX веке теорию «исключительности» американского капитализма, правящие круги США пытались прикрыть ею свой разбой.

Адвокаты американской агрессии постоянно твердили, что «миссия» США — распространять демократические институты по всей земле. «Нью-Йорк ивнинг пост» ещё

в 1803 году писала, что американская агрессия «соответствует интересам человечества». Сопротивление же американским захватчикам объявлялось покушением на свободу и демократию.

Во время войны с Мексикой американские газеты договорились до того, что США якобы вели войну исключительно... в интересах самих мексиканцев.

Всё это писалось более ста лет назад. Но недалеко ушёл от этих старых защитников американской захватнической политики и современный историк-реакционер Биллингтон, расписывающий «миролюбие» правительства США и «гуманитарные поводы», побуждающие Вашингтон развязывать войну.

В середине прошлого столетия наиболее яркими экспансионистами в США были плантаторы-рабовладельцы и контролируемая ими демократическая партия. Понятно, что один из лидеров этой партии вице-президент США Кэлхаун утверждал, что, мол, провидение уготовило США «роль стража и хранителя менее счастливо устроенных территорий» (то есть территорий, где было отменено рабство). Введение там невольничества, писал один из ведущих органов демократической партии «Южный литературный вестник», является страстной мечтой каждого истинного американца, «спремиающегося, чтобы рабство распространилось по всей земле как средство обновления человеческого рода». Тогдашние проповедники американского образа жизни объявляли устами конгрессмена Сэмпла, что целью внешней политики США должно всегда служить «расширение границ свободы при помощи расширения границ рабства». Достижение этой цели, как уверял губернатор Гамманд, было бы «самым славным американским актом освобождения человечества».

Эти планы «освобождения человечества» нередко преподносились в обрамлении теории космополитизма. В 80-х годах XIX века церковник Джон Фиске откровенно призывал к созданию «всемирного федерального государства». Само собой разумеется, идеи создания всемирного государства сочетались у Фиске со звериным расизмом и требованием установления мирового господства англо-саксов.

С возникновением империализма в США появились сотни проповедников необходи-

мости новых территориальных захватов, широко использовавших в своей агитации весь идеологический арсенал прежних пропагандистов. Так, сенатор Беверидж установил, что бог «указал из всех рас на американский народ, который в конечном счёте должен добиться возрождения (читай — завоевания.— Е. Ч.) мира».

Другой глашатай американского экспансионизма, Стронг, писал, что «в англосаксонской расе разовьются особые агрессивные черты, рассчитанные на то, чтобы привить её учреждения всему человечеству, распространить её господство на весь мир». Сенатор Лодж, будущие президенты США Теодор Рузвельт и Тафт и множество других американских буржуазных политиков громко прославляли экспансию, как «долг», «бремя белого человека», «неотвратимую судьбу», как «борьбу с варварством» и т. п.

После окончания империалистической американо-испанской войны 1898 года президент Мак-Кинли, побивая все рекорды лицемерия, объявил её, а также занятие Соединёнными Штатами Филиппин и Кубы, осуществлением «планов прогресса человечества». Реакционная пресса с цинизмом писала, что «американский суверенитет является лишь другим названием для свободы Филиппин» (газета «Нью-Йорк трибюн»). Сенатор Нельсон клялся, что предоставление народу Филиппин независимости было бы «величайшей жестокостью» по отношению к... самим филиппинцам!

«Вряд ли какая-нибудь война между нациями или гражданская война велась с такой гуманностью, как американские операции на Филиппинах», — уверял командующий войсками США генерал Макартур (отец кровавого палача Кореи). Неплохим комментарием к этой декларации служил приказ одного из подчинённых Макартура отца генерала Смита своим войскам: «Жгите и убивайте, теперь не время брать в плен. Чем больше вы убьёте, тем лучше. Убивайте всех, кто старше десяти лет...»

Злодеяния американских агрессоров в XX веке, явившиеся причиной неслыханных страданий и гибели сотен тысяч людей, опираются на прочные традиции насилий, грабежа и захватов, из которых складывалась внешняя политика США на всём протяжении их истории. При этом амери-

канские агрессоры всегда — и в XIX и в XX веке — были щедры на ханжеские фразы о «миролюбии» США, об их «борьбе за свободу и демократию».

Кровавой историей кровавого империализма называл В. И. Ленин прошлое американской буржуазии. История американской экспансии, которую тщетно пытаются фальсифицировать Биллингтон и другие

учёные лакеи монополистов, начисто опровергает басни о «миролюбии» буржуазии США. Факты истории разоблачают и те грязные приёмы, которые использует пропагандистская машина Уолл-стрита для идеологической подготовки новой войны.

Кандидат исторических наук
Е. ЧЕРНЯК.

★

Чёрная война английских колонизаторов

Книга известного австралийского писателя и публициста Тернбалла посвящена одной из самых мрачных и позорных страниц истории английского капитализма. Речь идёт о чудовищном преступлении, совершенном английскими колонизаторами в первой половине XIX века — истреблении целой народности — тасманийцев. Автор пишет, что «никогда, может быть, до этого не происходило полного уничтожения расы людей в течение 75 лет».

Тернбалл правильно указывает на трудность изучения этого вопроса, поскольку многие документы были уничтожены или самими преступниками, или их прямыми потомками, боявшимися разглашения позорящих их фактов. Но и сохранившиеся материалы достаточно красноречиво рассказывают о злодеянии английских захватчиков.

Повествуя о первых встречах жителей Тасмании с белыми путешественниками, Тернбалл отмечает искреннее миролюбие тасманийцев и их дружественное отношение к европейцам. Иной была политика англичан, которые твердили о своей приверженности к высоким идеям человеколюбия и гуманизма, а на деле осуществляли кровавую расправу над беззащитным населением. Тем самым лишний раз раскрывается подлинный характер политики английского империализма по отношению к закабалённым им народам, полигикки, остающейся неизменной вплоть до наших дней.

Тернбалл приводит немало примеров двурушничества колонизаторов. Цитируя инструкцию английского адмиралтейства,

C. T u r n b a l l. „Black War. The Extermination of the Tasmanian Aborigines“. Melbourne and London. 1948. (К. Тернбалл. «Чёрная война». Истребление коренных жителей Тасмании». Мельбурн и Лондон, 1948.),

рекомендующую завязывать с тасманийцами мирные и дружественные отношения, автор затем рассказывает, как эта инструкция была применена на практике. В октябре 1803 года, при первой встрече английских захватчиков с тасманийцами, английские моряки ещё до высадки на берег без всякого повода открыли огонь, в результате которого трое тасманийцев были ранены и один убит. «Сношения с туземцами, — пишет Тернбалл, — были начаты и продолжались в основном в том же направлении».

Вскоре после этого произошла встреча тасманийцев с англичанами и на суше, окончившаяся не менее трагически. Когда около двухсот безоружных тасманийцев с зелёными ветвями — символом мира — приблизилось к английскому поселению у Рисдена, они были встречены огнём английского воинского подразделения. Преступники, ответственные за эту бойню, впоследствии пытались утверждать, что тасманийцы первыми напали на них. Тщательные исследования Тернбалла полностью опровергают эту лживую выдумку.

С момента захвата англичанами Тасмании началась настоящая охота на коренных жителей острова. Тернбалл приводит страшный список злодеяний, которые могут сравниться лишь со зверствами, чинимыми американскими войсками в Корее. Английские захватчики совершали насилия над женщинами, убивали или увечили мужчин, подчас сжигая их заживо. Детей эти изверги умерщвляли, разбивая их головы о камень.

Миролюбивые тасманийцы в течение долгого времени сносили подобные злодеяния, но, наконец, их терпение истощилось, и они начали мстить своим поработителям. Это сопротивление колонизаторам, поддержан-

ным войсками, не могло, конечно, быть сколько-нибудь серьёзным. Всё же оно встревожило захватчиков, и они истощно завопили о необходимости полного истребления тасманийцев или, по крайней мере, их выселения из Тасмании. Местная газета писала в 1826 году: «Правительство должно убрать туземцев. В противном случае они явятся предметом охоты, как дикие звери, и будут уничтожены».

С 1828 года началось массовое и планомерное истребление жителей, не желавших уходить со своей земли и уступить её англичанам. В этом же году специальной прокламацией английского вице-губернатора для тасманийцев были выделены особые резервации, куда им предписывалось немедленно переселиться; на территории Тасмании в период изгнания населения вводилось военное положение. Эта прокламация получила одобрение английского министерства колоний.

Тасманийцы, не знавшие английского языка, не имели никакого представления о прокламации и продолжали «злонамеренно» оставаться на своей земле. Тогда было принято новое решение — загнать тасманийцев на пустынный полуостров. Местные власти организовали на них настоящую облаву, мобилизовав для этой цели всех белых жителей, включая и посланных сюда из Англии каторжников. Всего в «операции» приняло участие около трёх тысяч человек. Всё же облава окончилась полной неудачей.

Тогда колониальная администрация Тасмании приняла решение выселить коренных жителей на близлежащие Флиндерские острова. Туда и стали ссылать тасманийцев, захваченных во время новых облав. Английские власти всеми силами старались истребить туземцев. Тернбалл приводит такой пример зверской расправы с ни в чём не повинными людьми. В начале 30-х годов пятнадцать тасманийцев, обвинённых в том, что они являются организаторами восстания, были схвачены и брошены на пустынную гранитную скалу. Их оставили там без пищи, воды и одежды. После пяти дней ужасных страданий несчастные были сняты случайно проходившим мимо кораблём.

В 1834 году выселение тасманийцев было закончено. Сосланные на Флиндерские острова, они не только подвергались там

притеснениям и насилиям, но и голодали, так как посылавшийся для их пропитания скот ни разу не доходил до места назначения и всегда бесследно исчезал.

Процесс вымирания тасманийцев происходил настолько быстро, что к 1843 году из многотысячной народности осталось в живых 200 человек. В 1877 году умерла последняя женщина-тасманийка.

Такова страшная история истребления английскими колонизаторами людей, виновных лишь в том, что они не хотели уступить своей земли чужеземным захватчикам и превратиться в рабов.

В эпилоге к своей книге автор вынужден признать, что подобная участь угрожает в наши дни и австралийцам. Говоря о сходстве судеб жителей Тасмании и Австралии, Тернбалл, к сожалению, не приводит конкретных фактов, хотя и утверждает, что их можно найти немало.

Книга Тернбалла, разоблачающая преступную политику английских колонизаторов, страдает, однако, целым рядом существенных недостатков. Автор её, являясь либерально настроенным буржуазным историком, сам пытается смягчить потрясающее впечатление от своей книги, произвольно толкуя некоторые факты, делая неверные выводы и т. п.

Легко, например, видеть, что истребление тасманийцев проходило не в течение 75 лет, как утверждает Тернбалл, а в течение всего-навсего шести лет — с 1828 года, когда началось их массовое уничтожение, до 1834 года, когда оставшиеся в живых тасманийцы были переселены на Флиндерские острова.

Стремясь по возможности обелить английских захватчиков, Тернбалл ссылается на их «темноту», на жестокие нравы того века и т. л. Он пишет, что в те времена неведомо было лучшее отношение к людям. В этом ему вторит автор предисловия, австралийский антрополог Ян Хогбин: «Белые в Тасмании, учитывая их окружение и время, в которое они жили, могут быть в конечном счёте признаны морально невинными». Не является ли это попыткой с негодными средствами подвести какую-то базу для оправдания и современных аппрессоров?

Тернбалл явно старается всячески затуманить основную причину истребления тасманийцев — стремление англичан к захвату

их земель. Вместо этого он приводит ряд других, якобы не менее важных причин — «непонимание» английскими колонизаторами разницы между добром и злом и т. п.

Что же предлагается в качестве средства для спасения последних австралийцев от неизбежного их истребления в условиях колонизаторской политики капитализма?

На этот важный вопрос отвечает в своём предисловии Ян Хогбин, и автор, как видно, с ним соглашается. Хогбин пишет: «Резервация, защищаемая многими, — естественно, на земле, непригодной для скотоводства, — создаст только человеческий зоопарк такого же сорта, как тот, в котором последние тасманийцы умерли на Флиндерских островах. Действительное решение заключается в энергичном проведе-

нии политики ассимиляции, вводящем абригенов в нашу культуру и превращающем их в австралийских граждан».

Ни автор книги, ни автор предисловия не хотят или не смеют ничего сказать о великом опыте Советского Союза по возрождению и развитию культуры отсталых народов. Вместо этого предлагается иной путь — отказ от борьбы с захватчиками и капиталистами, путь полной ассимиляции австралийцев в чуждой им западной капиталистической культуре. Тем самым автор, книга которого, казалось бы, написана в защиту истребляемых народов и племён, вольно или невольно играет наруку империалистическим колонизаторам.

Кандидат исторических наук
А. БЛИНОВ.

★

Ценный труд о Кутузове

Отечественная война 1812 года — величайшее событие в истории русского народа — неразрывно связана с именем замечательного русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова.

Однако во многих литературных, исторических, публицистических и военно-теоретических трудах, изданных не только за границей, но и в царской России, деятельность М. И. Кутузова показана неверно, зачастую в искажённом виде.

Книга полковника П. А. Жилина «Контрнаступление Кутузова в 1812 г.» ставит своей целью правдиво рассказать о том, как гениальный русский полководец организовал разгром и уничтожение вторгшихся в Россию иноземных орд. П. А. Жилину удалось отчётливо и убедительно показать превосходство полководческого искусства Кутузова над полководческим искусством Наполеона.

Во введении к книге П. А. Жилин критикует антинаучные концепции, а подчас и прямо враждебные теории о роли Кутузова в разгроме Наполеона.

Официальные историки царской России — Михайловский-Данилевский и Богданович, пытались всячески украсить личность императора Александра I, оклеветали М. И. Ку-

тузова, характеризуя его как нерешительного и посредственного полководца.

Буржуазные историки и литераторы Западной Европы уже давно и последовательно пытаются опорочить героическую историю русского народа, доказывая отсутствие самостоятельного и передового русского национального военного искусства и оспаривая выдающееся творчество русских полководцев.

Эти фальсификаторы истории, объясняя войну 1812 года, объясняли поражение армии Наполеона экономикогеографическими и климатическими причинами: огромной территорией России, недостатком продовольствия, морозами, особенностями местности обширного театра военных действий.

Другая группа иностранных публицистов и военных теоретиков, и в частности немецкие националисты, пытались приписать главную роль в войне 1812 года прусским генералам, служившим тогда в русской армии. К числу фальшивок, в которых пропагандировались подобные взгляды, относятся и «Мемуары генерала Толя», изданные Бернгарди в 1850 году якобы от имени умершего Толя, состоявшего на службе в 1812 году в штабе Кутузова. В этих «мемуарах» основная роль в проведении всех решающих мероприятий отводится Толю, а Кутузов показан как безвольный и малоподвижный старец.

П. А. Ж и л и н. «Контрнаступление Кутузова в 1812 г.». Редактор полковник А. Г. Афанасьев, Воениздат, М., 1956.

Некоторые советские историки также неправильно оценивали деятельность М. И. Кутузова.

Так, по мнению академика Е. В. Тарле, Наполеон, владея стратегической инициативой, заставил Кутузова дать генеральное сражение, не допустив русские войска оторваться от французов. Е. В. Тарле пишет, что Кутузов якобы не хотел дать Бородинского сражения и «...решил дать эту битву, ненужную, по его глубочайшему убеждению, как он дал в своё время, тоже против совести и убеждения Аустерлицкое сражение», что Кутузов «...ещё меньше, чем до него Барклай, искал генеральной битвы с Наполеоном под Москвой, как не искал он ни Тарутина, ни Малюгославца, ни Красного, ни Березины». Недооценённая многочисленными документами Отечественной войны 1812 года, хранящиеся в архивах СССР, и, в частности, известные письма Кутузова адмиралу Чичагову, генералу Тормасову и генералу Витгенштейну, в которых изложен стратегический замысел русского полководца, Е. В. Тарле попросту отрицает у Кутузова наличие какого-либо плана военных действий против армий вторгнувшихся в Россию иностранных захватчиков.

Единственно правильная, глубоко научная оценка полководческого творчества М. И. Кутузова впервые была дана И. В. Сталиным.

В ответе полковнику Разину товарищ Сталин так оценил стратегический замысел Кутузова, яввшийся основой всего плана войны 1812 года: «Я говорю о контрнаступлении после успешного наступления противника, не давшего, однако, решающих результатов, в течение которого обороняющийся собирает силы, переходит в контрнаступление и наносит противнику решительное поражение. Я думаю, что хорошо организованное контрнаступление является очень интересным видом наступления... Очень хорошо знал об этом также наш гениальный полководец Кутузов, который загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления»¹.

Указания товарища Сталина помогли советским историкам, в том числе и автору рецензируемой книги, с правильных позиций осветить полководческую деятельность

Кутузова. Нужно, однако, отметить, что подобных работ у нас появилось ещё далеко не достаточно.

П. А. Жилин убедительно показывает, что Кутузов создал превосходный план войны, главной целью которого было уничтожение всей армии Наполеона, всей его живой силы. Стратегический замысел русского полководца состоял в том, чтобы всемерно, количественно и качественно, ослабить вражескую армию, одновременно сберегая и усиливая русские вооружённые силы для последующего полного уничтожения противника.

Кутузов стремился организовать непрерывное и целеустремлённое взаимодействие русских войск на всём стратегическом фронте, укрепить моральное состояние армии и организовать всенародную войну против Наполеона.

Неторопливо выбирал Кутузов позицию для решительного сражения в наиболее благоприятных для русской армии условиях. Он остановил свой выбор на Бородине.

П. А. Жилин правильно определил значение Бородинского сражения как одного из основных мероприятий Кутузова по подготовке контрнаступления.

Автор подчёркивает, что действия русских войск в Бородинском сражении являются образцом активной обороны. В ходе битвы русские войска действовали значительно более активно и энергично, чем наступавшие французы.

Кутузов, выполнив у Бородина часть своего стратегического плана — обескровить и деморализовать противника, — считал Бородинское сражение, отход к Москве, а затем оставление Москвы только первым стратегическим этапом войны.

Подробно и всесторонне описан в книге Тарутинский период подготовки контрнаступления.

Кутузов передвинул свою армию на Старую Калужскую дорогу, чтобы прикрыть Тулу, производившую оружие, Брянск и Калугу с их запасами и богатый юг России. Вместе с тем он занял район юго-западнее Москвы, нависая над коммуникациями Наполеона. Манёвр Кутузова быстро и внезапно изменил всю стратегическую обстановку.

Автор подробно и убедительно показывает, что после прибытия армии в Тарути-

¹ Ответ тов. Сталина на письмо тов. Разина. «Большевик» № 3 за 1947 год.

но стратегическая пауза предоставляла Кутузову необходимое время для подготовки контрнаступления. В этот период соотношение сил было ещё в пользу Наполеона: французы имели, войдя в Москву, свыше 100 тысяч человек, а Кутузов, вступив в Тарутинский лагерь, имел 85 тысяч человек, из которых 15 500 были ополченцы, вооружённые только пиками, и около 8 тысяч — необученные новобранцы. Однако, принимая ещё в августе 1812 года командование, русский полководец заранее позаботился о подготовке многочисленных резервов. П. А. Жилин правильно указывает, что, кроме формирования отдельных полков, Кутузов создавал в районах Мурома и Арамаза целую резервную армию.

К началу контрнаступления Кутузов значительно увеличил силы в Тарутинском лагере и располагал уже 120 тысячами человек и 622 орудиями.

Предвидя, что противник будет разгромлен и попытается спастись бегством из России, Кутузов ещё в дни оставления Москвы приказал командующему Дунайской армией адмиралу Чичагову и командующей группой русских войск генералу Витгенштейну взять под наблюдение и контроль район между Днепром, Березиной и Двиной и подготовить выдвижение туда главных сил с задачей — в тесном взаимодействии отрезать все пути отхода армии Наполеона.

Подчёркивая в третьей части книги характерные особенности контрнаступления, автор ярко рисует ведущую роль Кутузова, как главнокомандующего и организатора всенародной борьбы против иностранных захватчиков.

Преследование, организованное Кутузовым, имело целью не столько изгнание французов из России, сколько полное уничтожение в боях и сражениях всех вражеских армий. Для этого русские войска и партизаны наносили отступающим французам непрерывные последовательные удары. У Березины произошло окружение вооружённых сил противника. Русские войска во

главе с Кутузовым окончательно загубили Наполеона и его армию

В конце своей книги П. А. Жилин обобщает выводы своего исследования.

Стремясь к мировому господству, Наполеон рассчитывал, что сумеет в войне с Россией в 1812 году быстро достигнуть решительной цели — разгромить русские вооружённые силы в одном-двух генеральных сражениях. Свои стратегические планы Наполеон выстроил на массовом характере и подвижности своей армии. Однако материальные ресурсы Франции и её тогдашних союзников оказались недостаточными для борьбы с таким противником, как Россия. Поэтому наполеоновский план не отвечал реальным условиям войны.

Кутузов точно и дальновидно определил сильные и слабые стороны армии противника и её полководца. Против авантюристической, захватнической стратегии Наполеона Кутузов выдвинул свою стратегию, основанную на учёте всех факторов войны: вооружённых сил, моральных качеств людей, политической обстановки, театра войны, а главное, такого решающего фактора, как мощь русского народа. В условиях трудной военно-стратегической обстановки Кутузов нашёл новые формы борьбы. Он обескровил врага, вырвал у него наступательную инициативу, мастерски подготовил и осуществил контрнаступление, следствием которого было полное уничтожение опасного и сильного противника.

Величие стратегии Кутузова состоит в том, что он сумел создать взаимодействие между регулярной армией и всенародным партизанским движением. Кутузов почнул народный характер справедливой войны против захватчиков и возглавил всенародную борьбу против Наполеона.

Книга П. А. Жилина является одной из первых работ, правильно освещающих контрнаступление Кутузова в 1812 году, и представляет ценный вклад в историю русского военного искусства.

Генерал-майор
Н. ГАРНИЧ.

Творцы русской лесной науки

Передовые русские учёные — естествоиспытатели, агрономы, лесоводы на протяжении столетий создавали единое цельное учение о лесе. Впервые в мировой практике они разработали стройные основы степного лесоразведения и преобразования природы степей.

Насаждение лесов в степях и даже в пустынях приобрело у нас в стране невиданный размах. Миллионы советских людей, выполняющих сталинский план преобразования природы, глубоко интересуются вопросами лесоводства и лесоразведения. Некоторые из этих вопросов освещены в рецензируемом сборнике статей о выдающихся деятелях русского лесоводства.

Сборник составлен в общем удачно, в нём ясно показаны приоритет отечественной лесной науки и её крупнейшие достижения.

Русский народ издавна стремился постигнуть секрет успешного разведения леса в степи. Жители степных краёв с незапамятных времён старались оградить свои усадьбы и жилища от климатических невзгод с помощью искусственно посаженных деревьев и кустарников.

Результатом несомненного знакомства с уже существовавшим народным опытом явились первые государственные попытки степного лесоразведения, в довольно больших масштабах предпринятые при Петре I.

В 1696 году (по другим данным — в 1698) при личном участии Петра были проведены посевы дуба в сухой степи вблизи Таганрога в урочище Большая черепаха. Опыт оказался удачным, лес этот существует и поныне. В петровские времена подобные опыты разведения леса были проведены и в других районах южной России, особенно на Украине.

В начале XVIII столетия, когда западноевропейская наука ещё и не помышляла о каких-либо трудах по лесоразведению в засушливых местностях, в России уже появилось своего рода первое руководство по степному лесоразведению. Этим руководством, где содержались попытки научного обобщения опытов по искусственному разведению леса в степях России, была книга выдающегося русского учёного, эконо-

номиста, выходящая из среды русского крестьянства, Ивана Посошкова. В своём замечательном труде «Книга о скудости и богатстве» (1724) он писал, что в степной полосе возле каждой деревни надо создать специальные лесные насаждения, «десятидесятков, другой». Посошков советует, чтобы степной житель, «вспахав бы, осенью наметал бы семян — лесного, берёзового, и липового, и кленового, и осинового, и дубового, и вязового, и орехов спелых сырых четверик-другой тут же разместить. И как тот сеяный лес взойдёт, то от пожара бы берегли. И первый год надобно его и попольоть, чтобы степная трава не заглушила его».

И. Т. Посошков уже в те времена предлагал создавать защитные насаждения смешанного типа с участием различных пород деревьев. Он уделял внимание и агротехнике ухода за молодыми насаждениями, а также охране их от степных пожаров. Книга Посошкова свидетельствует о том высоком уровне, на котором находилась «лесная наука» на Руси ещё в самом начале XVIII столетия.

Положения, сформулированные Посошковым в результате галантливого обобщения русского народного, а отчасти и государственного опыта лесоразведения, явились основой дальнейшего развития науки о лесе и практики степных лесопосадок в России.

Составителям рецензируемого сборника можно сделать вполне заслуженный упрёк по поводу того, что в сборнике нет очерка о Посошкове и первых работах по посадке лесов в степях России.

М. В. Ломоносов не только знал, но и пропагандировал взгляды Посошкова. Страстный призыв Посошкова развивать в России отечественную промышленность и улучшать сельское хозяйство нашли у Ломоносова горячий отклик. Ломоносов является первым представителем научного лесного почвоведения. Правильное понимание роли леса в развитии природы, признание положения о воздушном питании растений, в том числе и древесных, помогли Ломоносову широко и разносторонне оценить значение лесов для России.

Научные воззрения Ломоносова на лес достаточно ярко охарактеризованы на страницах сборника в очерке профессора

«Выдающиеся деятели отечественного лесоводства», Редактор И. И. Карпенко. Гослесбумиздат, М.-Л. 1950.

И. С. Мелехова. Следовало бы лишь отметить, что Ломоносов придавал лесам особое значение в деле переделки природы. Он мечтал о том времени, когда можно будет не только предсказывать погоду, но и переделывать климат. В «Письме о пользе стекла» Ломоносов говорит, что наступит время, когда можно будет повсеместно «предсозвещать»:

...коль скоро будут ветры,
Коль скоро дождь густой на нивах
зашумит,
Иль, облака прогнав, их Солнце осушит.
...Коль могут счастливы селяне быть
оттоле,
Когда не будет зной ни дождь опасен
в поле.

Заметное место в истории русской науки занимает Е. Ф. Зябловский — видный географ и лесовод конца XVIII — начала XIX столетия.

Перу этого учёного принадлежит первый в мировой науке капитальный труд «Начальные основания лесоводства», изданный в 1804 году. Сходный по названию и содержанию с этим трудом первый западно-европейский курс «Основания лесоводства» немецкого учёного Котта появился на тринадцать лет позднее.

Зябловский написал немало ценных работ по географии России, где содержится целый ряд важных сведений о лесах нашей страны. Жаль, что очерк профессора В. Г. Нестерова о Зябловском слишком краток (всего две страницы) и не даёт достаточного представления об этом учёном.

Огромный творческий вклад в изучение русских лесов внёс А. Ф. Рудзкий, характеристике научных взглядов которого посвящён хороший очерк профессора Н. П. Анучина. Рудзкий — блестящий знаток наших лесов — настаивал на необходимости самостоятельных путей развития русской лесной науки, предупреждал о том большом вреде, который причиняет русскому лесоводству слепое преклонение правящих кругов и части учёных перед иностранными авторитетами.

В это время (вторая половина прошлого века) в Россию стали проникать идеи и методы немецкого лесоводства, стоявшего много ниже русского. Да и те из немецких методов, которые были сами по себе правильны, не соответствовали русским условиям. Рудзкий резко критикует немецкие

пухлые учебники — гробовики. «Достоинство учебника состоит, конечно, не в размерах его, — писал он, — а во внутреннем содержании, и уснащение этого содержания рисунками разных диких инструментов и выводом трёхаршинных формул может, пожалуй, ослепить профана, но оно лишь умалывает действительное достоинство учебника, уменьшает у многих уважение к изучаемому искусству и затемняет понимание действительного содержания его».

Прекрасный очерк профессора В. П. Тимофеева посвящён видному русскому лесоводу — энтузиасту и «подвижнику» степного лесоразведения — Виктору Егоровичу Граффу. Много лет своей жизни он отдал разведению леса в степи недалеко от северного побережья Азовского моря и создал широко известное и сейчас Велико-Анадольское лесничество, доказав возможность облесения высокой безводной и открытой степи.

В 1910 году в Велико-Анадоле был открыт памятник Граффу. На торжественном собрании, посвящённом этому событию, председатель научного Петербургского лесного общества ярко охарактеризовал значение работ Граффа в истории степного лесоразведения:

«Заслуги Виктора Егоровича перед государством и обществом весьма велики. В то время как авторитеты Запада — Мурчисон, Нордман, Пешель, Кемц и др. — отрицали возможность разведения леса в открытой высокой степи, русский лесничий Графф доказал, что и в степи можно развести лес там, где его нет и, быть может, никогда не было... С лёгкой руки Граффа степное лесоразведение сделалось нашей национальной работой, работой русских лесничих, а не заимствованной с Запада работой, которой справедливо мы можем гордиться».

В XIX столетии в России в разных частях степного пояса с большим успехом были проведены посадки леса с целью изменения климата и улучшения условий ведения земледелия. Многолетние успешные труды на этом поприще И. Я. Данилевского, В. Я. Ломиковского, В. П. Скаржинского и других не нашли, к сожалению, отражения на страницах сборника.

Компактный и яркий очерк профессора В. Г. Нестерова посвящён создателю современного научного лесоведения, выдаю-

щемуся русскому учёному Георгию Фёдоровичу Морозову. Творчески развивая дарвинизм, Морозов рассматривал лес как единство организмов и среды. Находясь под огромным влиянием идей В. В. Докучаева о необходимости целостного изучения и целостного освоения природы, Морозов создал учение о лесе, как о закономерном комплексе растительных организмов и условий их существования в их взаимодействии и развитии. Он обосновал и важную идею активного изменения леса человеком.

В своей книге «Учение о лесе» Морозов указывал, что данное учение «возникло на русской почве, географические условия которой должны были способствовать этому, как они в своё время создали современное учение о почве В. В. Докучаева». Мы должны к этому добавить, что и научное почвоведение, и научное лесоведение своим зарождением и оформлением именно в России были обязаны не только особым природным условиям нашей страны, но в значительно большей мере самобытному характеру и необычайно быстрому темпу развития русской науки в XVIII и XIX столетиях.

Г. Ф. Морозов настаивал на том, что приёмы лесоразведения должны изменяться в зависимости от природных условий той или иной части России. Он писал: «Пора всероссийских рецептов миновала так же точно, как прошла пора «неметчины», т. е. простого переноса западноевропейских, преимущественно немецких, образцов хозяйства на русские леса».

Заключительный, самый большой очерк сборника, написанный профессором П. С. Погребняком, посвящён выдающемуся советскому лесоводу, географу и почвоведу академику Георгию Николаевичу Высоцкому.

му, исключительно разностороннему учёному, создавшему крупные и оригинальные труды в области лесоводства, почвоведения, геоботаники, метеорологии, физической географии, агрономии.

Высоцкий был учеником Докучаева, который называл своего молодого товарища по работе «замечательным исследователем». В. Р. Вильямс включал Высоцкого в число «богатырей степной науки». Академик Т. Д. Лысенко советует сейчас нашим лесоводам тщательно и глубоко изучать труды Высоцкого. Развивая идеи Докучаева, Высоцкий конкретно обосновал гидрологическую, водорегулирующую роль леса в разных природных условиях и выступил в 1939 году с проектом «гидромелиорации нашей равнины, главным образом с помощью леса».

В рецензируемом сборнике освещены научные заслуги ещё целого ряда видных русских лесоводов и хорошо показано победоносное развитие отечественной лесной науки, пришедшей в советский период к величайшим теоретическим обобщениям, которые надёжно вооружили нас в работах по преобразованию природы.

Однако значительные пробелы, встречающиеся в рецензируемой книге, вызывают необходимость издания ещё одного сборника. В нём должно быть рассказано о таких деятелях нашей лесной науки, как И. Т. Посошков, И. И. Комов, И. Я. Данилевский, В. Я. Ломиковский, В. П. Скаржинский и другие, и, вместе с тем, должно быть ярко и всесторонне отображено понимание роли и значения леса в гениальном учении выдающихся русских естествоиспытателей и преобразователей природы — В. В. Докучаева, П. А. Костычева, В. Р. Вильямса.

И. и Л. КРУПЕНИКОВЫ.

★

Воспоминания русского учёного

Основатель современной хирургии, выдающийся деятель отечественной педагогики, один из героических участников Севастопольской обороны — таким во-

И. И. Пирогов. «Севастопольские письма и воспоминаний». Редакция и комментарии С. Я. Штрайха. Издательство Академии наук СССР. М. 1950.

шёл в историю нашего народа Николай Иванович Пирогов.

Ещё при жизни великого русского учёного возникла обширная литература, посвящённая его деятельности. За годы, прошедшие со дня смерти Пирогова, количество биографических очерков, исследований, монографий неизмеримо выросло. В далеко

не полной библиографии, составленной Государственной публичной библиотекой имени Салтыкова-Щедрина, упомянуто более тысячи пятисот названий различного рода изданий и статей, посвящённых Пирогову.

Рецензируемая книга позволяет читателю впервые ознакомиться с письмами и воспоминаниями самого Н. И. Пирогова, не искажёнными царской цензурой.

В четырёх больших разделах книги: «Севастопольские письма», «Воспоминания о Крымской войне», «Из дневника старого врача», «Письма и документы» — Пироговым дана правдивая и строгая оценка не только самому себе, но и обществу, в котором он жил, боролся и творил.

«Дневник старого врача» Н. И. Пирогов начал писать в конце 1879 года, незадолго до смерти. В первых же строках автор указывает, что для «любопытного человека нет предмета, более достойного внимания, как знакомство с внутренним бытом каждого мыслящего человека... Мне хочется из архива моей памяти вытащить все документы для истории развития моих убеждений...»

«Дневник» оказался значительно шире замысла автора. Н. И. Пирогов рассказал не только о своей жизни, но честно и смело обрисовал гнетущую обстановку в России в период царствования Николая I.

Перед нами проходят картины детских и юношеских лет Пирогова — школа, Московский университет, где преподавали русские учёные — Мудров, Мухин, Ледер, Иовский, зарисовки чиновничьего Петербурга, тихого университетского Дерпта.

Молодой Пирогов отправляется за границу. Хвалёная наука Запада ужасает его. В берлинском Шарите — образцовом госпитале — больные гибнут от гнояного заражения в послеоперационный период. Даже известные профессора оперировали, не зная анатомии человеческого тела, — это были хирурги с завязанными глазами.

«Я застал в Берлине, — пишет Пирогов, — практическую медицину почти совершенно изолированную от главных реальных её ослов: анатомии и физиологии. Было так, что анатомия и физиология сами по себе, а медицина — сама по себе. И сама хирургия не имела ничего общего с анатомией. Ни Руст, ни Грефе, ни Диффен-

бах (наиболее известные немецкие хирурги. — Б. М.) не знали анатомии».

В эпоху, когда в хирургии ещё не было обезболивания, быстротечность операции считалась высшим благодеянием для больного. В Германии Пирогов встретил многих хирургов — защитников медленного производства операций. Одним из них был профессор Текстор в Вюрдбурге.

«Его аудитория нередко могла наслаждаться такого рода зрелищем Большой лежит на операционном столе, приготовлен к отнятию бедра. Профессор, вооружённый длиннейшим скальпелем, вкалывает его, как можно тише и медленнее, насквозь... через мышцы бедра. Вколотый нож оставляется в этой позиции, и профессор начинает объяснять слушателям, какое направление намерен он дать ножу, какую длину разреза и т. п... И это всё делалось без анестезирования, при воплях и криках мучеников науки или, вернее, мучеников безмозглого доктринёрства. Что касается до меня, то мой темперамент и приобретённая долгим упражнением на трупах верность руки сделали мне поистине противною эту злую медленность по принципу».

Не лучше обстояло дело в Англии и во Франции. Приехав в 1838 году в Париж, Пирогов вскоре убедился, что и здесь хирургия влечит жалкое существование.

«Париж не сделал на меня особенно благоприятного впечатления в хирургическом отношении. Госпитали смотрели угрюмо: смертность в госпиталях была значительная».

Путешествия Пирогова убедили его в том, что медицина и, в частности, хирургия в странах Западной Европы находилась на крайне низком научном уровне. Молодой Пирогов, только начинавший свою научную деятельность, уже тогда был на голову выше «знаменитых» иностранных профессоров.

Возвратившись на родину, Пирогов был лишён возможности работать в Московском университете. Он остался в Дерпте, где занял кафедру хирургии. С первых же шагов своей деятельности Пирогов принял за правило: «...открыть как можно скорее свои ошибки для предупреждения других, менее опытных». Это критическое отношение к себе — постоянная и выдающаяся черта Пирогова-учёного. Опубликованные им «Анналы Дерптской хирургической кли-

ники» — классический пример бесстрашной самокритичности.

Из Дерпта Пирогов переезжает в Петербург. Здесь в Медико-хирургической академии — крупнейшем русском учебном заведении, готовившем военных врачей, он организует первую в мире кафедру госпитальной хирургии. Впервые в истории медицины Пирогов учреждает и особое гангренозное отделение. Он строго изолирует больных с гнойными ранами, чем преграждает путь к распространению смертельных послеоперационных инфекций. В 1841 году Пирогов, гениально предугадывая роль микробов в заразных болезнях, вводит в хирургическую практику применение антисептиков — иодистой настойки, хлорной воды и т. д. Так Пирогов открывает новую эру в хирургии.

Написанный в лучших традициях русской художественной литературы, «Дневник» живым, образным языком рассказывает о служении Пирогова отечественной науке, о борьбе его с царскими чиновниками-бюрократами.

Два раздела книги посвящены событиям героической обороны Севастополя.

«Севастопольские письма» Пирогова занимают особое место в историографии Крымской войны. Их художественная сила равна их публицистическому значению. В своих письмах Пирогов обличал бездарность главного командования, клеймил мародёров и казнокрадов и прославлял героических защитников Севастополя. «Письма» быстро стали известными в столице, попали даже в Сибирь к декабристам.

Первую свою встречу с главнокомандующим князем Меншиковым Пирогов описал так: «В конурке аршина три в длину и столько же в ширину стояла сгорбившись, в засаленном архалуке судьба Севастополя». Познакомившись с Меншиковым поближе, Пирогов дал ему исчерпывающую характеристику: «Право, если взглянуть на эту смесь посредственности, бесталанства, односторонности и низости, то поневоле начинаешь опасаться за участь Севастополя и, следовательно, целого Крыма».

Работа на перевязочных пунктах и госпиталях была изнурительна и опасна. То один, то другой врач или сестра погибали на своём посту. Однако в ответ на многочисленные просьбы близких людей о его возвращении в Петербург Николай Ивано-

вич писал: «Чем же я виноват и перед кем, что у меня в сердце ещё не заглохли все порывы к высокому и святому, что я не потерял ещё силу воли жертвовать... Служить здесь мне во сто крат приятнее, чем в академии; я здесь, по крайней мере, не вижу удручающих жизнь, ум и сердце чиновнических лиц, с которыми по воле и неволе встречаюсь ежедневно в Петербурге»...

В Севастополе Пирогов создаёт свою замечательную систему организации помощи раненым. Учёный был убеждён, что «к достижению благих результатов в военно-полевых госпиталях необходима не столько научная хирургия и врачебное искусство, сколько дельная и хорошо учреждённая администрация».

Среди военных врачей было немало хороших хирургов, они спасли жизнь сотням защитников Севастополя. Но тысячи раненых, сваленных под открытым небом или собранных в грязных и тесных помещениях, не дождавшись своей очереди попасть на операционный стол, погибали от ран, истекали кровью, заражались смертельными госпитальными инфекциями. Требовалась такая система, которая могла бы обслужить не горстку раненых, а всю массу людей, нуждающихся в срочной врачебной помощи.

Такую систему создал Пирогов. Он предложил гениальную по простоте и эффективности сортировку раненых на перевязочных пунктах, которая в зависимости от ранения определяла необходимую медицинскую помощь. Для одних это был лишь уход сестёр милосердия, для других — срочная операция, для третьих — эвакуация в тыловые госпитали и, наконец, для легко раненых — перевязка и возвращение в строй. Каждый работник в госпитале знал своё место и свои обязанности, дело пошло быстро и организованно.

Пирогову медицина обязана не только созданием военно-полевой хирургии, но и учреждением института сестёр милосердия.

Многогранная деятельность Пирогова — глубокого теоретика, замечательного экспериментатора и выдающегося практика — двинула далеко вперёд медицинскую науку. Трудно назвать такую её область, которую не обогатил бы гений Пирогова. Советская медицина гордится великим русским учёным и широко использует его богатейшее наследие. Открытия Пирогова, учёного-

патриота, помогли советским военным врачам выполнить свой благородный долг на полях Великой Отечественной войны.

Книга «Севастопольские письма и воспоминания» несомненно привлечёт внимание широкого круга читателей — и не только работников медицины. Обширный и удачный комментарий редактора издания С. Я. Штрайха обогащает книгу. Некоторые возражения вызывает, однако, расположение материала. Целесообразнее было бы начать книгу с «Дневника старого врача», а затем перейти к «Севастопольским письмам». При таком порядке была бы соблюдена хроно-

логическая последовательность. Недостатком издания является также отсутствие биографического очерка, который охватил бы все стороны жизни и творчества замечательного русского учёного и патриота, связал бы в единое целое разнообразный материал книги. В биографическом очерке можно было бы дать полную картину великого вклада Пирогова в русскую науку и культуру и подвергнуть критической оценке некоторые ошибочные положения автора «Дневника» и «Севастопольских писем».

Б. МОГИЛЕВСКИЙ.

★

Три столицы

Три народа, три союзные республики, три столицы...

Как ни различны эти народы — киргизы, таджики и армяне — по своей истории, по национальному складу, по культуре, — они имеют много общего в прошлом, у них единое настоящее и одинаково светлое будущее.

В течение ряда веков эти народы вынуждены были отбиваться от многочисленных и сильных врагов. Неоднократно они теряли свою независимость и попадали под иноземное иго. Великая Октябрьская социалистическая революция застала эти три народа почти на краю гибели — обездоленными, угнетёнными, с чрезвычайно слабо развитым хозяйством.

Октябрьская революция знаменовала собой подлинное возрождение этих народов. Они освободились от гнёта эксплуататорских классов, построили свою государственность, невиданными темпами создают своё хозяйство и развивают свою культуру — национальную по форме, социалистическую по содержанию.

Союзные столицы — это не просто крупные города, значительные хозяйственные

центры нашей страны. Это в то же время и подлинные центры национальной культуры народа, средоточие всей его многообразной жизни, центры, от которых во все уголки республик протягиваются организующие и направляющие нити.

Правильно поступил Географгиз, приняв издание серии «Столицы союзных республик». Три рецензируемые книжки этой серии рассказывают о городах Фрунзе, Сталинабад, Ереван.

Столице советской Киргизии Фрунзе посвящена книжка С. Н. Рязанцева. До революции Пишпек (ныне город Фрунзе) был небольшим провинциальным уездным городком Семиреченской области, городком без железной дороги, оторванным от экономических центров страны. Его население в 1914 году насчитывало всего 14 тысяч человек. С 1924 года Пишпек — центр Киргизской автономной области, с 1926 года — центр Киргизской АССР. С 1936 года город Фрунзе стал столицей Киргизской ССР. А три года спустя его население составляло уже 92 тысячи человек.

В городе Фрунзе созданы разнообразные промышленные предприятия. Он превратился в крупнейший промышленный центр Киргизской республики. Вместе с этим Фрунзе стал основным культурным центром киргизского народа. В городе были открыты Киргизский государственный педагогический и медицинский институты. В 1943 году там создан Киргизский филиал Академии наук СССР, организующий и возглавляющий всю научную работу в республике.

С. Н. Рязанцев. «Фрунзе — столица Киргизской ССР». Ответственный редактор чл.-корр. АН СССР проф. Н. Н. Баранский. Географгиз, М. 1950.

Д. А. Чумичёв. «Сталинабад — столица Таджикской ССР». Ответственный редактор доктор географических наук проф. О. А. Константинов. Географгиз, М. 1950.

Л. Е. Иофа. С. М. Дульян. «Ереван — столица Армянской ССР». Ответственный редактор доктор географических наук проф. О. А. Константинов. Географгиз, М. 1950.

Вместе с промышленным и культурным ростом города совершенно преобразился его внешний вид.

Дореволюционный Пишпек походил на крупное селение с небольшими саманными домиками, крытыми камышом, обнесёнными глиняными заборами (дувалами). Широкие мало застроенные улицы были покрыты слоем тонкой пыли, которая в жаркое время года при ветре поднималась и обволакивала весь город словно туманом, а в дождливое время превращалась в непролазную грязь.

За годы советской власти Фрунзе превратился в один из красивейших городов страны. Город хорошо распланирован, озеленён, в нём построено много красивых каменных многоэтажных зданий, весь центр асфальтирован.

Особенно хорош Фрунзе весной, когда ещё нежарко и время от времени перепадают дожди, когда воздух чист и прозрачен. Город напоён благоуханием свежей, только что распустившейся зелени и выглядит, точно курорт.

Книжка Д. А. Чумичёва посвящена Сталинабаду — столице Таджикской ССР.

О Сталинабаде даже трудно сказать, что он существовал до революции. На месте, где он находится, было всего три кишлака, наиболее крупный из них — Дюшамбе. «Город» этот в 1907 году насчитывал немногим более пятисот дворов, огороженных дувалами, за которыми располагались глинобитные сакли с двускатной камышовой крышей. В Дюшамбе не было ни одного каменного здания. По-настоящему городом Дюшамбе стал лишь в 1925 году. В 1929 году была проложена железная дорога между Дюшамбе и Термезом. Город был переименован в Сталинабад и стал столицей Таджикской ССР. В 1926 году в Дюшамбе было свыше пяти с половиной тысяч жителей, а в 1939 году население Сталинабада уже превышало 82 тысячи человек. Удивительные изменения произошли за этот короткий срок во всём облике города.

На быстрой горной реке Варзоб, в 12 километрах от Сталинабада, была построена крупная гидроэлектростанция, которая залила Сталинабад электрическим светом и дала энергию его новым многочисленным промышленным предприятиям.

Как и все столицы республик Советского Союза, Сталинабад стал не только крупным промышленным городом, но и центром национальной культуры народа. Таджикский филиал Академии наук СССР, находящийся в Сталинабаде, объединяет шесть научно-исследовательских институтов и несколько других научно-исследовательских организаций. В городе имеется университет, педагогический и медицинский институты.

Реформированная письменность облегчила развитие таджикской печати. В Сталинабаде большими тиражами издаются газеты, журналы, книги. За четверть века своей деятельности Таджикгосиздат издал свыше сорока миллионов книг на таджикском языке. Д. А. Чумичёв верно отмечает, что «впервые за много веков весь таджикский народ, а не избранные единицы, могут читать своих классиков, писавших на таджикском языке. Издаются произведения Рудаки, Фирдоуси, Омар Хаями и др.».

В Сталинабаде широкие прямые улицы, много зелени: знойным летом при обильном искусственном орошении деревья растут быстро. Главные улицы города представляют собой аллеи и бульвары.

Отмечая быстрое превращение маленького кишлака Дюшамбе в красивый благоустроенный город, Д. А. Чумичёв пишет: «Годы роста Сталинабада — это годы, когда строится весь Советский Союз, когда многие города растут со сказочной быстротой. Но строительство такого грандиозного размаха, как в Сталинабаде, знают, пожалуй, лишь немногие города страны».

Это утверждение автора, конечно, объясняется обычным увлечением географа, изучающего определённый район. Мы можем назвать десятки городов Советского Союза, которые развивались не менее быстро, чем Сталинабад, и строительство которых имело ещё больший размах. Таковы Магнитогорск, Сталииск, Караганда, Сталинград, Ереван и многие другие.

Это подтверждает и книжка о Ереване, написанная Л. Е. Иофа и С. М. Дульяном.

Ереван — столица Армянской ССР — расположен в Араратской котловине на высоте около тысячи метров над уровнем моря. К северо-западу от города возвышается массив горы Арагац (Алагёз), а к югу —

виден двуглавый Арарат, увенчанный вечными снегами и находящийся уже за пределами СССР.

До революции Ереван (Эривань) был центром Эриванской губернии. Он представлял собой небольшой провинциальный городок с глинобитными домиками, обращёнными фасадами внутрь двора и отгороженными от улиц высокими заборами. Его население в 1915 году не превышало 35 тысяч человек.

Немногие каменные дома были расположены, главным образом, на центральных улицах. В городе было много пыли летом и грязи осенью и весной.

С установлением советской власти в Армении Ереван становится столицей Армянской ССР. Город быстро превращается в крупнейший хозяйственный центр республики. В самом Ереване и близ него строятся крупные гидроэлектростанции. На базе вырабатываемой ими электроэнергии в Ереване создаётся разнообразная промышленность. Ряд крупнейших предприятий оборудован по последнему слову техники.

Подлинного расцвета достигла в Армении и культура. В Ереване насчитываются десятки научно-исследовательских учреждений и вузов. В 1943 году создана Армянская Академия наук, которая объединяет 43 научных учреждения.

Гордостью Армении и всего Советского Союза является находящееся в Ереване хранилище древних рукописей — Матенадаран, в котором сосредоточены исключительно ценные древние армянские, сарийские, грузинские, азербайджанские, иранские и другие манускрипты. Древнейшие из рукописей и книг относятся к пятому веку.

С необычайным трудолюбием и блестящим мастерством неутомимые переписчики на протяжении ряда веков переписывали на пергаменте и бумаге особыми нетускнеющими чернилами работы известных писателей, поэтов, медиков, алхимиков, астрономов, математиков, историков, философов и других учёных, украшая рукописи прекрасными миниатюрами. К сожалению, лишь небольшая часть этих рукописей (около десяти тысяч) дошла до наших дней. Огромное же большинство их было уничтожено в разные периоды различными завоевателями.

Целый ряд произведений древних римских и греческих авторов дошёл до нас только в армянских переводах, хранящихся в Матенадаране. Всё это ставит Матенадаран в ряды величайших в мире хранилищ рукописей.

Параллельно с промышленным и культурным развитием города увеличивалось и его население. В 1926 году в Ереване было 64 тысячи жителей, в 1939 году — 200 тысяч, а в 1946 году — уже 300 тысяч человек.

Ереван богат красивейшими зданиями. В этом заслуга известного архитектора академика А. И. Таманяна и целой плеяды возглавляемых им армянских архитекторов. Не только правительственные здания, но и многие жилые дома отличаются фундаментальностью, красотой и оригинальностью архитектурного стиля. Большая часть зданий Еревана построена из армянского туфа, а также из других красивых каменных пород, добываемых в окрестностях города.

Таково вкратце содержание трёх рецензируемых книг. В них рассказывается о необычайно быстром росте трёх столичных городов. Этот рост в свою очередь отражает развитие и огромные достижения советских народов — киргизов, таджиков и армян.

Укажем на отдельные недостатки, имеющиеся в книге «Сталинабад». Д. А. Чумичёв, рассказывая об энергобазе Сталинабада, пишет: «Уже много веков уголь горит здесь под землёй, драгоценное тепло бесполезно улетучивается в воздух, но использовать его ещё не под силу». А в примечании к этой фразе сказано: «В местной печати высказывались соображения о разработке проекта газификации раватских углей с последующей передачей газа по трубам в Сталинабад, но эти соображения не получили отклика. Высказывалась также мысль о возможности строительства туннеля через Гиссарский хребет для вывода узкоколейной железной дороги на его южную сторону, но серьёзному обсуждению и эта мысль не подвергалась».

Автор, как экономгеограф, должен был сам подвергнуть анализу эти предложения и выяснить, — почему одни из них «не получили отклика», а другие «серьёзному

обсуждению не подвергались». Автор должен был либо отвергнуть их как несерьёзные (тогда нечего было о них и писать), либо отстаивать их, и тогда нужно было развить аргументацию в пользу их осуществления.

На стр. 6 этой же книги помещена не совсем удачная карта, на которой заштрихована значительная часть республики. «тяготящая» к Сталинабаду. Непонятно, о каком «тяготении» идёт речь и к чему

же «тяготет» почти вся Горно-Бадахшанская автономная область?

Книги серии «Столицы союзных республик» знакомят читателя с наиболее значительными советскими городами, рассказывают о кипучей многообразной жизни нашей Родины. Хочется пожелать издательству побыстрее завершить выпуск этой интересной, нужной серии.

М. БУЯНОВСКИЙ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Июнь — июль 1951 года

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Шаг вперёд, два шага назад. 219 стр. Цена 3 р.

И. Сталин. Ещё раз о социал-демократическом уклоне в нашей партии. 120 стр. Цена 1 р. 45 к.

И. Сталин. К вопросам аграрной политики в СССР. 32 стр. Цена 30 к.

И. Сталин. Коротко о партийных разногласиях. 39 стр. Цена 50 к.

И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. 55 стр. Цена 50 к.

И. Сталин. Национальный вопрос и ленинизм. 20 стр. Цена 25 к.

И. Сталин. Ответ «Социал-Демократу». 16 стр. Цена 20 к.

И. Сталин. О трёх основных лозунгах партии по крестьянскому вопросу. 16 стр. Цена 20 к.

И. Сталин. О хозяйственном положении Советского Союза и политике партии. 36 стр. Цена 25 к.

И. Сталин. Политический съезд Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б). 128 стр. Цена 1 р. 45 к.

М. А. Алпатов. Реакционная историография на службе поджигателей войны. 87 стр. Цена 1 р.

Д. Вадимов. Защита отечества — священный долг граждан СССР. 80 стр. Цена 1 р.

А. Денисов. Буржуазная демократия — рай для богатых и обман для народа. 80 стр. Цена 80 к.

Г. Колюхов. Тринадцатая конференция РКП(б). 68 стр. Цена 85 к.

А. Л. Орлов. Борьба народов мира за мир. 280 стр. Цена 4 р. 60 к.

К. А. Петросян. Советский метод индустриализации. 272 стр. Цена 4 р. 50 к.

А. Поскрёбышев, А. Поселов. Великая сила сталинских идей. (О тринадцатом томе сочинений И. В. Сталина). 64 стр. Цена 75 к.

А. Пясковский. Первая (Таммерфорская) конференция РСДРП. 87 стр. Цена 1 р. 20 к.

Б. Родов. Роль США и Японии в подго-товке и развязывании войны на Тихом океане 1938—1941 гг. 199 стр. Цена 4 р.

Ф. Ф. Чернов. Советское социалистическое государство. 192 стр. Цена 2 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Илья Авраменко. Стихотворения. 284 стр. Цена 5 р. 25 к.

Ираклий Андроников, М. Ю. Лермонтов (новые разыскания). 320 стр. Цена 10 р.

А. Баковиков. Уходим в море. Повесть. 288 стр. Цена 7 р.

Мирза Ибрагимов. Наступит день. Роман. Авторизованный перевод с азербайджанского Азиза Шарифа. 496 стр. Цена 11 р.

Сатира и юмор в поэзии народов Советского Союза. Избранные переводы Бориса Тимофеева. 264 стр. Цена 6 р.

Юрий Смолич. Мы вместе были в бою. Роман. Авторизованный перевод с украинского В. Тарсиса. 254 стр. Цена 6 р.

ГОСЛИТИЗДАТ

Микола Бажан. Английские впечатления. Перевели с украинского П. Антокольский и Н. Заболоцкий. 48 стр. Цена 3 р. 50 к.

С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография. Том I. Издание второе, дополненное. 587 стр. Цена 11 р. 75 к.

Паис Мирный. Собрание сочинений в четырёх томах. Перевод с украинского под редакцией А. Белецкого и А. Дейча. Том 2. Гулящая. Роман. 520 стр. Цена 10 р.

Алексей Недогонов. Флаг над сельсоветом. Поэма. 96 стр. Цена 1 р. 50 к.

Галина Николаева. Жатва. Роман. (Роман-газета № 4) 76 стр. Цена 2 р. 50 к. Окончание. (Роман-газета № 5). 88 стр. Цена 2 р. 80 к.

А. П. Чехов. Рассказы и повести. 204 стр. Цена 2 р. 75 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Константин Ваншенкин. Песня о часовых. 84 стр. Цена 3 р.

Платон Воронько. Мой мир. Стихи. 208 стр. Цена 4 р. 50 к.

Олесь Гончар. Встречи с друзьями. 108 стр. Цена 2 р. 60 к.

Виктор Гончаров. Стихи. 142 стр. Цена 3 р. 50 к.

Виталий Губарев. Королевство кривых зеркал. Фантастическая повесть. 82 стр. Цена 4 р. 50 к.

Е. Долматовский. Песни. 119 стр. Цена 5 р.

Ю. Долматовский. Повесть об автомобиле. 197 стр. Цена 7 р.

Андрей Досталя. Утро. Стихи. 111 стр. Цена 3 р. 50 к.

Молодёжная эстрада. Выпуск 2. Репертуарный сборник для художественной самодельности. 160 стр. Цена 4 р.

Николай Старшинов. Друзьям. Стихи. 95 стр. Цена 3 р. 20 к.

ДЕТГИЗ

А. Алексин и С. Баруздин. Флажок. Стихи. 24 стр. Цена 1 р. 10 к.

Д.-Г. Байрон. Избранное. Составление, вступительная статья, общая редакция Ю. Кондратьева. 352 стр. Цена 5 р. 35 к.

Братья Лю. Китайские народные сказки под редакцией Эми Сяо. 72 стр. Цена 2 р. 60 к.

В. Бычко. Родной дом. Стихи. Перевод с украинского. 96 стр. Цена 2 р. 50 к.

Н. Грибачёв. Лесная сказка. 32 стр. Цена 4 р. 20 к.

В. Дрицкова. Счастливый сад. Стихи. 32 стр. Цена 2 р.

Н. Забила. Под ясным солнцем. Избранные стихи и поэмы. Авторизованный перевод с украинского. 152 стр. Цена 5 р. 40 к.

О. Иваненко. Куда летал журавлик. Перевод с украинского. Сказки. 176 стр. Цена 7 р. 70 к.

И. А. Куратов. Стихотворения. Перевод с коми-языка Ив. Молчанова. 96 стр. Цена 1 р. 80 к.

С. Маршак. Волга и Вазуза. 16 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. Маршак. На страже мира. Поэма. 24 стр. Цена 80 к.

И. Нехода. Детям. 160 стр. Цена 5 р. 40 к.

Э. Ниношвили. Гогня Умшвили. Повести и рассказы. Перевод с грузинского Ф. Гвалтвадзе. 104 стр. Цена 2 р. 10 к.

М. Познанская. На родной земле. Поэма. Перевод с украинского Е. Благиной. 48 стр. Цена 1 р. 70 к.

М. Рыльский. Избранные стихотворения. 160 стр. Цена 4 р. 10 к.

Н. Тихонов. Избранное. Стихи. 160 стр. Цена 4 р.

П. Тычина. Избранные стихотворения. Перевод с украинского. 96 стр. Цена 4 р. 20 к.

В. Шкловский. О мастерах старинных. 104 стр. Цена 3 р. 40 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Денисов. Боевая слава советской авиации. 186 стр. Цена 4 р. 15 к.

Н. Н. Денисов и М. Д. Карпович. Великий советский лётчи В. П. Чкалов. (Научно-популярная библиотека солдата) 146 стр. Цена 2 р.

Ю. Дольд-Михайлик. Степи жаждут. Очерки. 60 стр. Цена 70 к.

Е. Дырин. На боевом курсе. Очерк о дважды Герое Советского Союза И. С. Палбине. 127 стр. Цена 2 р. 75 к.

Льготы и государственное обеспечение военнослужащих и их семей. Справочник. 168 стр. Цена 3 р. 85 к.

Г. Мусрепов. Солдат из Казахстана. 220 стр. Цена 5 р. 70 к.

В. Очеретин. Я твой, Родина! Повесть. 258 стр. Цена 7 р.

И. Свистунов. Песнь о солдате. Повесть. 24 стр. Цена 3 р. 75 к.

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Песни о военно-морском флоте. 252 стр. Цена 18 р.

ГЕОГРАФИЗ

Заповедники СССР. Том 1. 455 стр. Цена 12 р. 75 к.

В. В. Покшишевский. Поволжье. 106 стр. Цена 1 р. 75 к.

Ю. Г. Саушкин. Великое преобразование природы Советского Союза. 123 стр. Цена 2 р.

Н. Г. Фрадкин. С. П. Крашенинников. 40 стр. Цена 65 к.

ГИЗЛЕПРОМ

В. А. Гордеев, П. В. Волков. Ткачество. 490 стр. Цена 16 р.

С. Д. Кашкарова-Герцог. Руководство по рукоделию. 100 стр. Цена 8 р.

В. В. Линде и П. А. Осипов. Технология шёлка. 614 стр. Цена 20 р.

И. Г. Маслов. Кожевенное производство. 228 стр. Цена 10 р. 75 к.

ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

А. Д. Дубах. Лес, как гидрологический фактор. 160 стр. Цена 4 р. 95 к.

М. Е. Ткаченко. Материалы о степном лесоразведении. 84 стр. Цена 2 р. 60 к.

ГОСПЛАНИЗДАТ

Европейские страны народной демократии на пути к социализму. 276 стр. Цена 8 р.

ГОССТРОИЗДАТ

В. П. Иванов. Малярные и стекольные работы. 166 стр. Цена 5 р. 10 к.

Н. Д. Пашенко, П. А. Черёмушкин. Организация и производство санитарно-технических работ. 320 стр. Цена 15 р.

Г. Н. Сиверцев. Пробождённый бетон. 96 стр. Цена 2 р. 20 к.

Справочное пособие по технике безопасности в строительстве. Под редакцией Н. Д. Золотницкого. 392 стр. Цена 14 р. 50 к.

А. М. Шепелёв. Штукатур. 172 стр. Цена 6 р. 50 к.

ГОСТЕХИЗДАТ

Е. В. Болдаков. Жизнь рек. (Научно-популярная библиотека). 63 стр. Цена 1 р.

В. М. Дуков. Пётр Николаевич Лебедев, его жизнь и деятельность. («Люди русской науки»). 110 стр. Цена 1 р. 65 к.

А. В. Кармишин. Ветер и его использование. (Научно-популярная библиотека). 62 стр. Цена 90 к.

Р. В. Куницкий. Развитие взглядов на строение солнечной системы. 79 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Л. Левшин. Фотолюминесценция жидких и твёрдых веществ. 456 стр. Цена 27 р. 35 к.

А. А. Санин. Радиотехнические методы исследования излучений. 388 стр. Цена 14 р. 60 к.

М. Ф. Спасский и П. И. Страхов. Избранные работы по физике и атмосфере. (Библиотека русской науки) 342 стр. Цена 12 р. 75 к.

ГОСТОПТЕХИЗДАТ

А. А. Аляев. Новые отечественные автомобили. 346 стр. Цена 17 р.

В. Р. Андерс и Н. Ф. Пантаев. Автоматическое регулирование процессов переработки нефти. 231 стр. Цена 7 р. 50 к.

Ф. Д. Бублейников. По следам залежей нефти и угля. Популярные очерки из истории открытий. 333 стр. Цена 12 р. 50 к.

Газопровод Саратов—Москва. Опыт строительства. 163 стр. Цена 7 р. 50 к.

Г. В. Демидов. Как пользоваться газовой плитой. 37 стр. Цена 1 р.

К. К. Кнапп. Как пользоваться газовой колонкой. 37 стр. Цена 1 р.

ГОСФИНИЗДАТ

М. З. Гранц, Л. П. Чудинович. Учёт исполнения государственного бюджета СССР. 300 стр. Цена 8 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

В. Н. Белицер. Народная одежда удмуртов. 141 стр. Цена 15 р.

Вопросы диалектического и исторического материализма в труде И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». 254 стр. Цена 15 р.

История культуры древней Руси. Том II. 545 стр. Цена 32 р.

Н. А. Качинский. Почва, её свойства и жизнь. 239 стр. Цена 13 р.

Б. А. Келлер. Избранные сочинения. 495 стр. Цена 36 р.

Г. С. Маслова. Народный орнамент верхневолжских карел. 137 стр. Цена 15 р.

Материалы и исследования по истории русского литературного языка. Том II. 283 стр. Цена 21 р.

Против буржуазного искусства и искусствознания. 154 стр. Цена 8 р.

Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании. Сборник статей. Часть первая. 431 стр. Цена 25 р.

Д. Н. Приишников. Избранные сочинения. Том I. 494 стр. Цена 35 р.

А. Н. Студитский и А. Р. Стриганова. Восстановительные процессы в скелетной мускулатуре. 170 стр. Цена 15 р.

И. И. Удальцов. Очерки из истории национально-политической борьбы в Чехии в 1848 г. 251 стр. Цена 16 р.

М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Том I. 876 стр. Цена 45 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Л. П. Бущик. История СССР в средней школе. 324 стр. Цена 9 р. 20 к.

Ф. Н. Гоноболин. Очерки психологии советского учителя. 156 стр. Цена 4 р. 85 к.

Задачи школ и отделов народного образования по подготовке к новому 1951/52 учебному году. 96 стр. Цена 2 р. 50 к.

Материалы объединённой научной сессии, посвящённой трудам И. В. Сталина по языкознанию. 160 стр. Цена 4 р. 80 к.

Н. Г. Петрякова. Воспитание сына. 48 стр. Цена 1 р. 20 к.

Д. И. Писарев. Избранные педагогические сочинения. 416 стр. Цена 9 р.

По мичуринскому пути. Под редакцией Н. М. Верзилина. 336 стр. Цена 9 р.

И. И. Савостьянов. Поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин». 64 стр. Цена 1 р. 10 к.

К. А. Сонгайло. Элементы географии на краеведческой основе. 208 стр. Цена 5 р. 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ю. Барбаг. Экономическая география Польши. Перевод с польского. 112 стр. Цена 5 р. 70 к.

П. Жорж. Франция. Экономическая и социальная география. Перевод с французского. 234 стр. Цена 15 р.

Итальянская коммунистическая партия. Перевод с итальянского. 159 стр. Цена 6 р. 20 к.

М. Монтаньяна. Воспоминания туринского рабочего. Перевод с итальянского. 362 стр. Цена 14 р.

Андре Силь. «Сена» вышла в море. Перевод с французского. 174 стр. Цена 5 р. 15 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

М. М. Голлербах. Водоросли, их строение, жизнь и значение. 176 стр. Цена 8 р.

Е. П. Спангенберг. Записки натуралиста. Книга II. 256 стр. Цена 8 р.

Фауна и экология грызунов. Под редакцией проф. А. Н. Формозова. 200 стр. Цена 8 р.

Я. А. Цингер. Очерки о животных нашей страны. 224 стр. Цена 8 р.

«ИСКУССТВО»

А. В. Виннер. Как пользоваться масляными красками. 61 стр. Цена 3 р.

А. Корнейчук. Калиновая роща. 109 стр. Цена 3 р.

А. Н. Островский. Бесприданница. 111 стр. Цена 3 р.

Ю. Ченурии. Совесть. 109 стр. Цена 2 р. 50 к.

И. Шток. Победители ящи 86 стр. Цена 2 р. 40 к.

МАШГИЗ

С. А. Алексеев и др. Техническое нормирование в машиностроении. 475 стр. Цена 20 р.

В. З. Васильев и др. Детали машин. Справочник. 283 стр. Цена 20 р.

И. А. Верховский и **И. Ф. Старшинов.** Опыт развития движения шифёров-стоты сячников. 168 стр. Цена 5 р.

М. М. Гулько. Автоматические линии станков. 136 стр. Цена 7 р. 90 к.

Металловедение и литейное дело. Выпуск 1. (Уралмашзавод. Обмен техническим опытом). 88 стр. Цена 3 р.

Г. А. Николаев. Сварные конструкции 348 стр. Цена 12 р. 50 к.

И. А. Рабинович. Методы работы знатных стахановцев Московского завода шлифовальных станков. 187 стр. Цена 6 р. 20 к.

Н. А. Шапошников. Механические испытания металлов. 384 стр. Цена 14 р. 50 к.

К. А. Шишкин и др. Советские тепловозы. 292 стр. Цена 24 р. 80 к.

МЕДГИЗ

В. Г. Архангельский. О вреде курения. 24 стр. Цена 40 к.

Ф. И. Валькер. Развитие органов человека после рождения. 116 стр. Цена 4 р. 60 к.

В. Х. Василенко. Внутренние болезни. 472 стр. Цена 9 р. 20 к.

М. С. Коварский. Санитарная охрана границ СССР. 208 стр. Цена 8 р.

А. Н. Марзеев. Коммунальная гигиена 620 стр. Цена 19 р. 80 к.

М. С. Маршак. Краткий справочник по лечебному питанию. 280 стр. Цена 6 р. 95 к.

Н. С. Назарова. Организация среды и обслуживание детей в домах ребёнка. 32 стр. Цена 1 р.

В. В. Хижняков, Г. М. Вайндрах, Н. В. Хижнякова. Творчество Мечникова и литература о нём. (Библиографический указатель) 192 стр. Цена 10 р. 70 к.

В. Д. Чаплин. Оперативная ортопедия. 500 стр. Цена 30 р. 50 к.

И. П. Червоцкий. Туберкулёз и борьба с ним. 40 стр. Цена 30 к.

Е. С. Шахбазян, П. И. Дьяконов (1855-1908). 180 стр. Цена 7 р. 20 к.

МЕТАЛЛУРГИЗДАТ

Н. И. Красавцев. Подручный горнового доменной печи. 260 стр. Цена 9 р. 65 к.

В. Е. Лопушанский и **А. Ф. Платонов.** Справочник горного мастера. 410 стр. Цена 19 р.

В. Т. Маркелов и **П. С. Поклонский.** Практика разработки никелевых месторождений Урала. 70 стр. Цена 2 р. 80 к.

Сталевары-новаторы Магнитогорского металлургического комбината. (Передовой опыт В. Захарова, М. Зинурова и И. Семёнова). 40 стр. Цена 95 к.

М. П. Кузнецов и др. Опыт мастера скоростного сталеварения П. С. Кочеткова. 48 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Н. Добрецов и др. Лучший рационализатор Ленинграда слесарь-лекальщик И. М. Сурахян. 28 стр. Цена 75 к.

Н. А. Стариков. Вскрытие рудных месторождений. 172 стр. Цена 7 р. 30 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

С. Беликов. Послевоенное развитие сельского хозяйства СССР. (Постановление Федерального пленума ЦК ВКП(б) 1947 г. в действии). 62 стр. Цена 1 р. 25 к.

В. Макеев, Д. Голозанов, Д. Родионов. Колхозная пасека. 67 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. Максимов. Сборные дома из крупных панелей. 114 стр. Цена 3 р.

И. М. Пугишкин. Завод работает по часовому графику. 54 стр. Цена 1 р.

МУЗГИЗ

А. Альштейн. Опыт анализа творчества П. И. Чайковского. 256 стр. Цена 14 р.

В. Васина-Гроссман. Первая книжка о музыке. 160 стр. Цена 4 р.

Т. Попова. Музыкальные жанры и формы. 300 стр. Цена 9 р. 50 к.

В. Слетов, И. С. Козловский. 48 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Соловцов, Н. А. Римский-Корсаков. 36 стр. Цена 1 р. 10 к.

ПРОФИЗДАТ

М. Палладисва, Р. Семячкин. «Лисицкий бор» на Волге. Маршруты туристских путешествий и экскурсий. 40 стр. Цена 75 к.

Сборник многоактных пьес. II. 540 стр. Цена 10 р. 25 к.

Фабрика, где все учатся. 96 стр. Цена 1 р. 80 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

К. А. Иванович. Основы обучения и воспитания в сельскохозяйственной школе. 264 стр. Цена 5 р. 10 к.

И. И. Карасёв. Организация кормовой базы. 256 стр. Цена 5 р.

М. М. Максимович. Семеноводство картофеля. 164 стр. Цена 2 р. 60 к.

В. К. Милованов. Новое в биологии размножения сельскохозяйственных животных. 400 стр. Цена 9 р. 65 к.

Н. П. Чирвинский. Избранные сочинения. Том II. 412 стр. Цена 10 р. 15 к.

«СОВЕТСКАЯ НАУКА»

М. М. Голлербах и В. И. Полянский. Определитель пресноводных водорослей СССР. Выпуск I. Общая часть. 200 стр. Цена 4 р. 70 к.

А. Г. Головач. Фенологические наблюдения в садах и парках. 60 стр. Цена 70 к.

Г. И. Роскин. Микроскопическая техника. 448 стр. Цена 18 р. 50 к.

ТРУДРЕЗЕРВИЗДАТ

И. Вишнепольский. Из опыта воспитательной работы в специальных ремесленных училищах. 60 стр. Цена 1 р. 25 к.

Л. Гумилевский. На стальных магистралях. 56 стр. Цена 1 р. 50 к.

Их растит страна. Сборник. 144 стр. Цена 10 р.

К. Львова. Настойчивый характер. 160 стр. Цена 5 р. 50 к.

«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»

Владимир Архангельский. В гостях у Курбана. Рассказы. 106 стр. Цена 2 р. 50 к.

В. В. Гориневский. Избранные произведения. Том I. 317 стр. Цена 14 р.

Кирилл Левин. Михаил Ботвинник. 144 стр. Цена 2 р. 25 к.

Обучение шофера-любителя. 55 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. А. Панин-Коломенкин. Страницы из прошлого. (Воспоминания спортсмена). Том I. 211 стр. Цена 5 р. 50 к.

В. Н. Панов. Шахматы для начинающих. Руководство по теории и истории шахматной игры и по организации шахматной работы в деревне. 127 стр. Цена 4 р. 15 к.

КРЫМИЗДАТ

П. Гаврилов. Егорка. Повесть. 160 стр. Цена 6 р.

Е. Степанов. Партизанскими тропами. (Воспоминания участника партизанского движения в Крыму в годы Великой Отечественной войны). 304 стр. Цена 10 р.

К. Юдин. Электрификация сельского хозяйства Крыма. 120 стр. Цена 2 р. 50 к.

КУЙБЫШЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Коллектив авторов. Волжские зори. (Литературно-художественный сборник для детей). Выпуск второй. 147 стр. Цена 7 р. 75 к.

Н. Борисов. Светлый ключ. Роман. 463 стр. Цена 12 р. 45 к.

С. Эйдлин. Сказки. 32 стр. Цена 75 к.

КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Снопченко. Комсомольцы колхоза имени Андреева. 32 стр. Цена 50 к.

П. Стрижков и В. Савич. Герой Социалистического Труда У. К. Быкова. 36 стр. Цена 80 к.

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. В. Крылов. Полезащитное лесоразведение в Новосибирской области. 82 стр. Цена 1 р. 20 к.

Г. Кунгуров. Золотая степь. Рассказы о Монголии. 184 стр. Цена 5 р. 85 к.

М. Михеев. Лесная мастерская. Стихи. 24 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Пухлячёв. Сказки старого Тыва. Второе издание. 64 стр. Цена 1 р. 50 к.

Лев Черноморцев. Моя Сибирь. Стихи. 80 стр. Цена 2 р. 70 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес)
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К-5-06-96

Сдано в набор 13/VI-51 г.

Подписано к печати 20/VII-51 г.

А 05239

Объем 18 п. л.

Тираж 104.000

Заказ № 1224

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб.